XX ВЕК: ФАШИЗМ

И. Фест

АДОЛЬФ ГИТЛЕР

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга И. Феста с большим запозданием доходит до российского читателя, ей долго пришлось отлеживаться на полках спецхранов, как и большинству западных работ о фашизме.

Тогда был опасен эффект узнавания. При всем своеобразии коричневого и красного тоталитаризма сходство структур и вождей было слишком очевидно.

В наши дни внимание читателей скорее привлекут поразительные аналогии и параллели между Веймарской Германией и современной Россией. Социально-экономический кризис, вакуум власти, коррупция, коллективное озлобление, политизация, утрата чувства безопасности – вот питательная почва для фашизма. Не нужно забывать, что и сам фашизм был мятежом ради порядка».

Наш жестокий собственный опыт побуждает по-новому взглянуть на многие из книг и концепций, которые мы раньше подвергали высокомерной критике. И книга Иоахима Феста, без сомнения, относится к разряду тех трудов, знакомство с которыми необходимо для формирования нашего исторического самосознания, политической и духовной культуры, а следовательно, и для выработки иммунитета по отношению к фашистской и всякой тоталитарной инфекции.

- Иоахим К. Фест
  - КНИГА ШЕСТАЯ
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
    - ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ III: НЕУДАВШАЯСЯ ВОЙНА
  - КНИГА СЕДЬМАЯ
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
  - КНИГА ВОСЬМАЯ
    - Глава I
    - Глава II
    - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ: НЕСПОСОБНОСТЬ К ВЫЖИВАНИЮ
  - БИБЛИОГРАФИЯ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42
  - 43

- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87

- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131

- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175

- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219

- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263

- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307

- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351

- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 377.1
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394

- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438

- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482

- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526

- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570

- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 603.1
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613

- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657

- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701

- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745

- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753

Иоахим К. Фест
Адольф Гитлер (Том 3)

КНИГА ШЕСТАЯ
ГОДЫ ПОДГОТОВКИ

Глава I
ОТВОЕВАННАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Недостаточно сказать, по примеру французов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие. Подобные фразы не разрешают загадки, а только иначе ее формулируют.

Карл Маркс

Горе тому, кто слаб!

Адольф Гитлер

Цели Гитлера и европейские народы. – Довлеющее настроение: антикоммунизм. – Слабости иного рода. – Гитлер и Англия. – Хрупкая европейская солидарность. – Соглашение с Англией о флоте. – Абиссинский конфликт. – Муссолини изменяет курс. – Захват Рейнской области. – Гражданская война в Испании. – Гитлер и Муссолини. – Новое обхаживание Англии. – Союз с Японией. – Внутриполитическое эхо.

Историки не без замешательства обращаются к середине тридцатых годов, когда Гитлеру удалось в той же манере игрока и с не меньшим успехом повторить во внешней политике апробированные внутри страны приемы обезвреживания противников. В соответствии со своим правилом, согласно которому, «прежде чем побеждать внешних врагов, надо сперва уничтожить противника внутри своей страны» [1], он в предшествующие годы вел себя в отношении внешнего окружения скорее пассивно и только выходом из Лиги наций и заключением договора с Польшей на короткое время озарил международную сцену светом драматических перемен. Тем временем Гитлер начал втайне наращивать военный потенциал, так как прекрасно понимал, что поле маневра бессильной в военном отношении страны ограничено узкими рамками. На переходный период, который нельзя было миновать без нарушений договоров и

провокаций в отношении могучих соседей, он поставил на карту все. Опять, как в начале захвата власти, прогнозы не сулили ничего хорошего, опять многочисленные наблюдатели предрекали конец его магической силы и предстоящее крушение. Однако серией внешнеполитических ходов ему удалось в течение немногих месяцев устранить все ограничения Версальского договора и выйти на исходные позиции для задуманной экспансии.

Поведение европейских наций перед лицом вызова, брошенного им Гитлером, понять тем труднее, что процесс захвата власти с кровавым финалом «дела Рема» дал определенное представление о политике этого деятеля. Но как и в том, что касается самих немцев, их поведение не определялось моральной слабостью, раболепием или злокозненностью заговорщиков; в то же время их уступчивость нельзя объяснить тем вызванным кризисом помутнением сознания, которое привело многих немцев на сторону Гитлера; хотя было, конечно, немало причин, делавших их податливыми к его обманным маневрам. «Моей программой, – заявил Гитлер в речи в январе 1941 года раздраженно, но совершенно справедливо, – было устранение Версаля. Пусть сегодня в других странах не изображают из себя недотеп, как будто бы эту программу я разработал только в 1933, 1935 или 1937 году. Господам надо было лишь прочитать написанное мной, причем тысячу раз. Нет другого человека, который бы так часто заявлял и писал о своих замыслах, как я, а писал я всегда одно – устранить Версаль!» [2]

Действительно, по меньшей мере относительно этой цели с первого же мгновения никто не мог заблуждаться, она проступала под толстым слоем словесного камуфляжа в каждой речи, ей служила каждая акция. Поскольку она противоречила непосредственным интересам почти всех европейских наций, должны были иметься более сильные, хотя, может быть, не лежащие прямо на поверхности мотивы, ломавшие волю к сопротивлению и позволявшие Гитлеру, наряду с другими факторами, добиваться триумфа с такой легкостью.

Решающее значение тут явно имел опять-таки тот элемент двойственности, который был частью сокровенной сущности Гитлера и накладывал на его линию поведения, тактические, политические и идеологические концепции ни с чем не сравнимый отпечаток. Справедливо отмечали, что если бы он был лишь ярым националистом – поборником немецкого равноправия, пангерманистом вроде Гугенберга, антикоммунистом или тем более бешеным антисемитом типа Штрайхера, то он наткнулся бы на дружное сопротивление европейских наций или вообще

цивилизованного мира. Но поскольку в нем смешивались все эти элементы, и он обладал способностью противопоставлять каждому пробуждаемому им опасению надежду на благополучный исход, «акцентируя или затушевывая в зависимости от ситуации один или другой момент, разделял противников, не отказываясь от своего «я»… это был гениальный рецепт» [3].

Основным средством, позволявшим убаюкать подозрения в отношении его персоны и политики, ему служил глубинный антикоммунистический настрой либерально-консервативной буржуазной Европы. Хотя весной 1933 года французский писатель Шарль Дю Бо заверял одного своего немецкого друга, что между Германией и Западной Европой разверзлась пропасть [4], но это, видимо, было верно лишь в моральном, но отнюдь не в психологическом плане. Несмотря на всю противоположность интересов, проявлявшуюся по всем направлениям враждебность, Европа сохраняла свои общие установки, прежде всего вековой страх перед революцией, произволом и общественным беспорядком, тогда как образ их победителя в Германии Гитлер столь успешно создал себе при помощи самовосхваления. Конечно, в 30-е годы коммунистическая мессианская идея и обещания светлого будущего в значительной степени утратили свою силу и наступательную мощь. Но эксперимент с Народным фронтом во Франции, гражданская война в Испании или, скажем, московские процессы вновь напомнили о призраке, который когда-то бродил по Европе, и хотя они терпели полный провал, но вместе с тем развили энергию, достаточную для оживления старых страхов. Интуитивно чувствуя настроения и тайные мотивы контрагентов, Гитлер использовал этот страх, на все лады расписывая в многочисленных речах «подрывную работу большевистских заправил», их «тысячи каналов переброски денег и развертывания агитации», «революционизацию континента», постоянно нагнетая тот психоз страха, о котором он порой говорил: «загорелись бы города, деревни обратились бы кучами развалин, люди бы перестали узнавать друг друга. Класс боролся бы с классом, сословие с сословием, брат с братом. Но мы избрали иной путь». Свою собственную миссию он описал в беседе с Арнольдом Дж. Тойнби так: «он появился на свет для того, чтобы решающим образом продвинуть вперед человечество в этой неизбежной борьбе с большевизмом» [5].

Сколько глубоких чувств тревоги пробуждала эта своеобразно отчужденная, впавшая в атавизм гитлеровская Германия повсюду в Европе, столько же ожиданий, в которых не хотели признаться самим себе, связывалось с тем, что она вновь возьмет на себя

старую роль рейха быть «сдерживателем зла», бастионом или волнорезом, как говорил сам Гитлер, в то время, когда казалось, что «по земле опять несся волк Фенрир[6]» [7]. В рамках таких общих соображений, прежде всего западных соседей Германии, презрение Гитлера к праву, его экстремизм или же его многочисленные проявления зверства, несмотря на все кратковременные вспышки негодования, не имели особого веса – пусть сами немцы с ними разбираются. Наоборот, как раз жуткие, дикие черты в облике этого человека, который при всей своей отчужденности, странности, правда, по-прежнему, казался более понятным, чем Сталин, по представлениям консервативной Европы, шли к лицу защитнику и коменданту крепости, однако его роль, как полагали благоразумные головы, не должна быть более значительной и властной.

Это была, вплоть до второстепенных мелочей, та же самая смесь наивности, расчетливости и обусловленного историей самомнения, которую с давних времен демонстрировали консервативные политики от Кара до Папена в игре с Гитлером. Конечно, под спудом таились многие мрачные опасения и нередко искреннее отвращение к «гангстеру» Гитлеру, но в политике эти чувства в расчет не принимались; когда Чемберлен услышал рассказ Раушнинга о целях Гитлера, он, недолго думая, отказался верить этому. «Мы не можем рассматривать Гитлера просто как автора «Майн кампф», – так сформулировал британский посол в Берлине сэр Эрик Фиппс концепцию европейских держав по укрощению Гитлера, – и мы не можем позволить себе делать вид, что его не существует. Не целесообразнее ли связать этого страшно динамичного человека? Связать соглашением, под которым была бы его подпись, которую он поставил бы сам, свободно и в условиях, не задевающих его гордости? Может быть, он какой-нибудь неисповедимой извилиной мозга почувствовал бы себя обязанным соблюдать его… Своей подписью он, как ни один другой немец на протяжении всего германского прошлого, связал бы всю Германию. Потом прошли бы годы, и даже Гитлер смог бы остепениться и благоразумие изгнало бы его страх». Гитлер любил называть консервативных «умиротворителей» в Лондоне и Париже иронично, не без чувства гротескного, повторяющегося вплоть до физиогномического подобия характера событий «мои Гугенберги» [8].

На Гитлера работала, разлагая противостоящий фронт по обе стороны границ, и притягательная сила авторитарной модели. Он сам охарактеризовал «кризис демократии» как доминирующее явление времени, и некоторым его современникам «идея

диктатуры представлялась столь же заразительной, как и в прошлом веке идея свободы» [9]. Несмотря на все вызывавшие страх сопровождающие моменты, жестко управляемая Германия стала притягательной силой, противодействовавшей прежде всего влиянию Франции, которое до тех пор доминировало в Восточной и Южной Европе. Неслучайно в рабочем кабинете польского министра иностранных дел Бека были фотографии Гитлера и Муссолини с их автографами; они, а не их противники в Париже или Лондоне с тонким изяществом анахронического бессилия казались подлинными «чревовещателями духа времени». Эпоха была убеждена в том, что разум в свободной игре общественных и политических интересов всегда проигрывает, и что основой нового порядка является насилие. Главным представителем этого порядка, успех которого в короткий срок и с большей силой воздействия преобразовал политическую атмосферу Европы, был Адольф Гитлер.

В той смеси, в которой он соединял тенденции или настроения, они работали на него. Немалую выгоду он извлекал из европейского антисемитизма, у которого было много сторонников прежде всего в Польше, Венгрии, Румынии или, скажем, в балтийских государствах, но он был распространен и во Франции, и даже в Англии в 1935 году он вдохновил руководителя одной фашистской группы на предложение – радикально и гигиенично решить еврейскую проблему при помощи «камер смерти» [10]. Кроме того Гитлер извлекал выгоды из противоречий существующей системы поддержания мира. Версальский договор впервые ввел в межгосударственные отношения моральные соображения. Мотивы вины, чести, равенства, самоопределения – именно этими формулами оперировал Гитлер, все больше акцентируя их; какое-то время он, как верно отмстил Эрнст Нольте, парадоксальным образом казался последним верным приверженцем давно померкнувших принципов Вудро Вильсона. В этой роли крупного кредитора держав-победительниц, с пачкой их невыполненных обязательств в руке, он добился значительного эффекта прежде всего в Англии, где его призывы задевали не только больную совесть нации, но и отвечали традиционной английской политике равновесия сил, которая уже давно с беспокойством отмечала возросшее влияние Франции на континенте. Прежде всего именно англичане каждый раз ободряли Гитлера, «Тайме» называла всякий порядок, который не отводил рейху сильнейшие позиции на континенте, «искусственным», и один руководящий сотрудник британского министерства авиации заявил в начале 1935 года немецкому собеседнику, что «в Англии не стали бы возмущаться», если бы

Германия объявила о создании военно-воздушного флота вопреки положениям Версаля [11]. И те, и другие – как англичане, так и континентальные европейцы, как победители, так и побежденные, как сторонники авторитаризма, так и демократы – были исполнены предчувствия предстоящего наступления новой эпохи, Гитлер использовал это в своих интересах. «Мы и все народы чувствуем приближение поворотной точки века, – заявлял он порой, – не только мы, когда-то побежденные, но и победители внутренне убеждены, что кое-что не в порядке, что разум, похоже, оставил людей… Люди чувствуют, пожалуй, повсюду: в особенности на этом континенте, где народы живут в столь тесном контакте, должен быть установлен новый порядок. Его лозунгами должны быть: разум и логика, взаимопонимание и учет интересов партнера! Те, кто полагает, что над входом этого нового порядка может быть слово „Версаль“, заблуждаются. Это было бы не краеугольным камнем нового порядка, а его надгробием» [12].

Поэтому, если свести все воедино, можно сказать, что Европа имела почти столько же слабых мест, которыми воспользовался Гитлер, сколько и Германия. Одно из заблуждений оказанного с запозданием сопротивления состоит в том, что отмечают только противоречия между Гитлером и Европой, в то время, как имелся целый ряд совпадающих чувств и интересов. Не без горечи Томас Манн говорил от имени меньшинства единомышленников о «мучительно медленном, каждый раз почти полностью отрицаемом осознании того факта, что той Европы, о приверженности к которой мы, немцы внутренней и внешней эмиграции, заявляли и которую мы считали нашей моральной опорой, в действительности за нами не было» [13].

Многообразные ободряющие знаки со стороны Англии оправдывали самые смелые ожидания Гитлера. Он неизменно придерживался разработанной в начале 1923 года концепции союза с Англией, идея раздела мира была центральной мыслью его внешней политики вообще. Согласно ей Англия как доминирующая морская держава должна была владеть морями и заморскими территориями, а Германия как неоспоримая континентальная держава – огромным евразийским континентом. В центре всех внешнеполитических соображений первых лет была поэтому Англия – ничто не укрепляло так уверенность Гитлера в правильном выборе пути, как отклик, который находили его акции как раз по ту сторону Ла-Манша. Хотя досадный прием, оказанный Розенбергу в мае 1933 года во время визита в Лондон, способствовал этим намерениям так же мало, как и нашумевший

выход из Лиги наций, убийство австрийского федерального канцлера Энгельберта Дольфуса австрийскими национал-социалистами также заметно отбросило Гитлера назад, хотя, как кажется теперь, он не был посвящен в планы покушения. Но интересы, как всегда, оказались сильнее всякого морального возмущения, тем более что сам Гитлер без колебаний принес причастных к покушению в жертву. Бежавших в Германию участников покушения он выдал австрийскому правительству, тут же сместил курировавшего Австрию инспектора НСДАП Тео Хабихта и отозвал в Берлин замешанного в эти дела немецкого посланника д-ра Рита. Его место занял Франц фон Папен, который все еще фигурировал в своего рода роли бывшего вице-канцлера, католик, консерватор и со времени марбургской речи вновь гарант забот граждан.

Единодушие реакции заграницы относительно покушения на Дольфуса продемонстрировало Гитлеру, что ему следует действовать осмотрительнее, разделять врагов и прежде всего не давать морали легко брать верх над его целями; что хладнокровие, терпение и дисциплина необходимы в большей степени, чем это было проявлено в скороспешно подготовленной и плохо скоординированной попытке переворота в Вене. Кроме того, он понял, что его позиция была еще недостаточно сильной для больших схваток и что ему было лучше ждать провоцирующих поводов или так незаметно загонять противника в цугцванг, чтобы собственные, давно задуманные акции можно было камуфлировать под ответные действия.

Обстоятельства сложились таким образом, что Гитлер добился ожидавшегося укрепления престижа уже вскоре после этого благодаря проведенному 13 января 1935 года плебисциту в Саарской области, когда отделенная по Версальскому договору от рейха земля подавляющим большинством проголосовала за воссоединение с Германией: 445 000 голосам «за» противостояло лишь 2 000 голосов «против», требовавших присоединения к Франции, в то время как около 46 000 человек высказалось за статус-кво – сохранение управления Лиги наций. Этот результат в целом никогда не подвергался сомнению, Гитлеру было не очень-то трудно выдать итоги плебисцита за личный успех: наконец-то, устранен один из версальских актов несправедливости, заявил он тремя днями позже в интервью, которое дал в Оберзальцберге американскому журналисту Пьеру Хассу [14]. Уже спустя немного недель западные державы предоставили ему предлог для одного из тех контрударов, которыми он с этого момента главным образом и оперировал.

Тактическая слабость ведущих европейских держав перед

Гитлером была обусловлена прежде всего их безусловным желанием вести переговоры: они со всех сторон устремились с предложениями, которые должны были связать этого неистового деятеля или загнать его в угол. В начале 1935 года имелись, в частности, предложения Англии и Франции расширить Локарнский пакт соглашением о защите от нападений с воздуха, а также предложения относительно заключения аналогичных пактов с государствами Восточной и Центральной Европы.

Гитлер отнюдь не собирался серьезно рассматривать их, но они были ему кстати как поле для его тактических маневров; они позволяли ему распространять настроения неуверенности, добиваться нужного эффекта лживыми декларациями и скрывать неуклонно претворявшиеся в жизнь намерения.

Уже в течение 1934 года он предпринял шаги для заключения соглашения с Англией о воздушных вооружениях. За этим крылся тактический расчет уже самим вступлением в переговоры подвести Лондон к тому, чтобы рассматривать направленный против Германии запрет на данные вооружения, содержащийся в Версальском договоре, как несуществующий; одновременно он исходил из того, что переговоры и аура интимности, которую они должны были распространять, служили прекрасным средством подогревать недоверие между Англией и Францией, по этой причине он был готов ободрить английскую сторону на широкие усилия по наращиванию вооружений. После того как переговоры были прерваны в обстановке возбуждения после убийства Дольфуса, Гитлер обратился к британскому правительству с новым предложением. Характерно, что он при этом, как это всегда бывало после поражений, повысил требования. Если до сих пор он настаивал на том, чтобы мощь ВВС Германии составляла лишь половину от английской, то теперь он в сделанном вскользь замечании назвал «само собой разумеющимся» их равенство; однако этот вопрос как предмет переговоров уже его не занимал, в центре внимания было предложение о морском договоре с Англией.

Несколько преувеличивая, идею этого предложения называли «королевской» [15], и она бесспорно содержала остроумный дипломатический ход. Переговоры, касающиеся соглашения о воздушных вооружениях, сорвались не только из-за венских событий, но прежде всего по той причине, что англичане, хотя и проявляли интерес, но не были действительно готовы к заключению двустороннего договора. Предложение же о подписании морского пакта задевало их более уязвимую сторону. Правда, в тот момент уже шли переговоры об общем морском договоре, так что англичане и теперь поначалу заколебались. Но

несмотря на препятствия и срывы, идея Гитлера брала свое. Он облегчил первые контакты щепетильным партнерам, говоря поначалу, что речь-де идет они к чему не обязывающих обменах мнениями, сами переговоры дали ему достаточные возможности польстить британским притязаниям на господство на море, к которым примешивались и сентиментальные мотивы, и довести заинтересованность своих противников в решении проблемы почти до измены собственным принципам, поскольку для них представление о Британии, правящей на волнах, было несравненно доходчивее проблематичного принципа коллективных пактов. В конце концов он ошеломил их внезапным демаршем, которому они и поддались не без признаков растерянности.

Первые намеки поступили от специального уполномоченного Гитлера – Риббентропа, когда последний встретился в середине ноября 1934 года в Лондоне с лордом-хранителем печати Иденом и британским министром иностранных дел сэром Джоном Саймоном. В начале 1935 года контакты были продолжены. 25 января Гитлер «неофициально» принял лорда Аллена Хэртвуда, а четырьмя днями позже, опять «неофициально», либерального политика лорда Лотиана. Германский канцлер жаловался на медленный ход переговоров по разоружению, подчеркивал совпадение обоюдных интересов., констатировал бесспорность позиции владычества Британии на море, а затем впервые внес конкретное предложение, заявив о своей готовности заключить договор, согласно которому мощь флотов Германии и Англии устанавливалась в соотношении 35 к 100, однако Германия должна была получить в соответствии со своей национальной традицией более сильную сухопутную армию. Такова была схема предложенной общей концепции, которой Гитлер в заключение беседы с лордом Лотианом еще придал оригинальный поворот: если ему можно высказаться не в роли рейхсканцлера, а как бы «человека, осмысливающего уроки истории», сказал он, то самую надежную гарантию мира он видел бы в совместном германо-английском заявлении, согласно которому обе страны в будущем привлекут к ответственности и накажут каждого, кто нарушит мир [16].

Более близким по срокам и конкретным шагом стала достигнутая позже договоренность о визите британского министра иностранных дел в Берлин, который был назначен на 7 марта. Та дискуссия, которую вызвало предложение Гитлера, еще и сегодня показывает, как точно он оценил интересы и психологию другой стороны: она прямо-таки в идеальной модели выявляет те приемы самоуспокоения англичан, которые, несмотря

на все разочарования, определяли политику в последующие годы. Их основное предположение заключалось в том, что Гитлер остро нуждается в договоре, который придал бы законный характер наращиванию его военного потенциала и наконец сделал бы Германию союзоспособной, и что эту карту ни в коем случае нельзя упустить. Это предоставляет шанс покончить с гонкой вооружений, держать вооружение Германии в контролируемых границах и в конечном счете все-таки посадить Гитлера на цепь. Ставка самой Англии в этой игре относительно невелика, по сути дела речь идет лишь об и так устаревшем пятом разделе Версальского договора, который содержал положение о разоружении Германии. Хотя Франция и будет опасаться германо-английского договора, ей придется осознать, «что у Англии нет постоянных друзей, а есть лишь постоянные интересы», как писал «Нейвал ревью» – орган британских ВМС [17]. Именно этим интересам, как полагали, отвечало бы признание британских претензий на господство на морях со стороны такой великой державы, как Германия, тем более на столь умеренных условиях, которые выдвинул Гитлер. Эра Версаля, которая значила так много для Франции, отошла в любом случае в прошлое и, как говорилось в докладной записке Форин оффис от 21 марта 1934 года, «если уж проводить похороны, то лучше сейчас, пока Гитлер настроен оплатить услуги похоронной конторы» [18].

Основное значение всех этих соображений – отказ от солидарности, возникшей в ходе мировой войны и подкрепленной в Версале; приходится, не без смешанного с замешательством уважения, констатировать вновь продемонстрированную способность Гитлера разбивать единый фронт противников и обращать их друг против друга. Однако еще более удивительна его способность добиться того, что по примеру побежденных теперь и среди победителей стало распространяться растущее чувство невыносимости того мирового порядка, который они сами всего лишь за 15 лет до того торжественно провозгласили. Впервые его талант, проявившийся уже в предвыборных боях агонизирующей республики, подать проблематичную ситуацию как абсурдную и цинично несправедливую успешно сработал и во внешней политике. Правда, какое-то время казалось, что его противники все же хотят сформировать блок сопротивления. В реальности же получилась только имитация отпора, которая слишком явно должна была прикрыть их робость, – Гитлера она не смогла обмануть. А затем они тем более беспрепятственно уступили ему поле битвы.

Словно для того, чтобы прикрыть своего министра иностранных дел, британское правительство опубликовало 4

марта «Белую книгу», которая осуждала открыто нарушавший Версальский договор широкомасштабный рост вооружений в Германии, возлагала на нее вину за усиливающееся чувство неуверенности в связи с официально поощряемым духом воинственной агрессивности и тем самым обосновывала необходимость программы увеличения воздушных вооружений. Но Гитлер не дал себя запугать этим и выразил свое недовольство тем, что со ссылкой на внезапную «простуду» был отменен визит сэра Джона Саймона. Одновременно он использовал якобы совершенную в его отношении несправедливость для контратаки и 9 марта официально уведомил иностранные правительства, что в Германии уже создана своя авиация. Когда после этого французское правительство все-таки объявило об увеличении срока службы солдат тех годов рождения, когда была низкая рождаемость, а британский министр иностранных дел лишь невозмутимо заявил в нижней палате, что он и мистер Идеи по-прежнему собираются предпринять поездку в Берлин, Гитлер в конце следующей недели сделал еще один провоцирующий шаг: ссылаясь на меры соседей, которым Германия со дней Вудро Вильсона все вновь и вновь – и каждый раз напрасно – оказывала доверие, пока не оказалась в окружении сильно вооруженных государств в «недостойном и в конечном счете опасном состоянии бессильной беззащитности», он объявил о том, что 16 марта вновь вводится всеобщая воинская повинность, и о создании нового вермахта мирного времени в составе 36 дивизий общей численностью 550 тыс. человек [19].

Гитлер увязал это заявление с блестящим военным праздником. 17 марта, в «день памяти героев», как теперь именовали всенародный день траура по павшим, он после патетического пышного заседания в Государственной опере организовал большой парад, в котором уже участвовали подразделения новых люфтваффе. Рядом с престарелым фон Маккензеном, единственным еще живым маршалом кайзеровской армии, он прошел в сопровождении высшего генералитета по Унтер-ден-Линден к террасе берлинского замка, чтобы прикрепить к знаменам и штандартам армии почетные кресты. Затем он под аплодисменты многих десятков тысяч собравшихся принял парад. И хотя восстановление всеобщей воинской повинности было в Германии популярно как демонстративное выражение антиверсальского самосознания, Гитлер все же не решился, как это сопутствовало всем прежним аналогичным акциям, провести по этому вопросу плебисцит.

В этот момент гораздо важнее была реакция держав, подписавших Версальский договор, в связи с его открытым

нарушением. Однако уже через несколько часов неопределенности Гитлер увидел, что его рискованный шаг оправдал себя. Хотя британское правительство выступило с серьезным протестом, оно уже в ноте протеста запрашивало, не хочет ли еще Гитлер принять министра иностранных дел; для немецкой стороны это было «сенсацией в нужном направлении» [20], как заметил один из участников событий. Франция и Италия были опять готовы идти более решительным курсом и собрали в середине апреля конференцию трех держав в Стрезе на берегу озера Лаго-Маджоре. В первую очередь Муссолини настаивал на том, чтобы остановить дальнейшие поползновения Германии, но представители Великобритании с самого начала дали понять, что их страна не собирается применять санкции. Дело обернулось простым обменом мнениями. Консультации – последнее прибежище нерешительности перед лицом реальности, – записал Муссолини, имея в виду данную конференцию [21].

Вследствие этого Саймону и Идену, когда они прибыли в конце марта в Берлин, пришлось иметь дело с самоуверенным Гитлером, с терпеливой вежливостью выслушивающим предложения собеседников, но уклоняющимся от каких бы то ни было конкретных договоренностей; после долгих заклинаний по поводу большевистской угрозы он вновь, ссылаясь на нехватку «жизненного пространства» у немецкой нации, предложил глобальный союз, первой ступенью которого должен был стать морской договор. Когда другая сторона, однако, сухо отказалась рассматривать вопрос об установлении особых германо-английских отношений и принести им в жертву согласие с Францией, Гитлер оказался на переговорах в более трудном положении.

В какой-то момент показалось, что вся его идея союза, великая концепция, потерпела крах, но он оставался непреклонным. Только когда беседы последующего дня дали новый шанс, он использовал его для смелого блефа. На вопрос о нынешней силе немецких люфтваффе, который сэр Джон Саймон задал в ответ на требование немецкой стороны установить паритет в военной авиации, Гитлер после короткой паузы, вроде бы поколебавшись, ответил, что Германия уже достигла паритета с Англией. Это сообщение вызвало шок, другая сторона лишилась дара речи, какое-то время никто не произносил ни слова, как вспоминает один из участников, лица англичан выражали озадаченность, удивление и сомнение, но это был поворот. Теперь было понятно, почему Гитлер оттягивал переговоры до сообщения о создании люфтваффе и введении воинской повинности: простыми уговорами склонить Англию на свою сторону было

невозможно, он мог придать вес своим предложениям только при помощи давления и угроз. Когда Гитлер непосредственно после этого тура переговоров вместе с Герингом, Риббентропом и некоторыми членами кабинета приехал на завтрак в английское посольство, хозяин дома сэр Эрик Фиппс выстроил в салоне приемов своих детей, которые приветствовали Гитлера вытянутыми в фашистском приветствии ручонками и смущенным «Хайль!» [22].

В любом случае англичане были под сильным впечатлением от услышанного, и хотя еще раз представилась возможность изолировать Гитлера, когда Совет Лиги наций 17 апреля осудил нарушение Версальского договора Германией, и Франция вскоре после этого заключила договор о союзе с СССР, они соблюдали оговоренные в Берлине сроки переговоров о морском договоре. Судя по всему, Гитлер уже в этом разглядел кардинальное признание слабости, которое он собирался теперь использовать. Он дал указание своему специальному уполномоченному Риббентропу начать беседу в Форин оффис 4 июня ультимативным требованием принять соотношение сил на море как 35: 100; это не просто немецкое предложение, а непоколебимое решение фюрера, принятие которого является непреложной предпосылкой начала переговоров. Побагровев от гнева, Саймон одернул главу немецкой делегации и покинул затем помещение, но Риббентроп упорно настаивал на своем условии. Претенциозный и ограниченный, он явно не чувствовал, каким афронтом для другой стороны были выдвинутые им сразу в начале переговоров требования согласиться с тем, что она совсем недавно осудила в «Белой книге», потом в ноте протеста в связи с восстановлением всеобщей воинской повинности, затем в Стрезе и только что в Совете Лиги наций. Все возражения Риббентроп, пользуясь любимым словом его заключительного доклада, «категорически» отметал, он говорил об «историческом немецком предложении», назвал срок союза просто-напросто «вечным», а на соответствующее возражение ответил, что все равно, когда обсуждать трудные вопросы – в начале или в конце [23]. Кончилось дело тем, что участники бесед безрезультатно разошлись.

Тем сильнее было удивление, когда двумя днями позже англичане попросили о новой встрече, которую они начали заявлением, что британское правительство решило принять требования рейхсканцлера за основу дальнейших переговоров между двумя странами о флотах. И как будто те особые доверительные отношения с Англией, которых добивался Гитлер, уже стали налаживаться, Саймон со сдержанным жестом

сообщника сказал, что надо всего лишь переждать несколько дней, «считаясь особенно с положением во Франции, где позиции правительства, к сожалению, не столь стабильны, как в Германии и Англии» [24]. Когда несколькими днями позже переговоры по согласованию текста договора, который не представлял больше проблем, были завершены, днем подписания избрали – не без чувства символики – 18 июня, день, когда 120 лет тому назад британцы и пруссаки победили французов у Ватерлоо. Риббентроп вернулся в Германию великим государственным деятелем, «еще более великим, чем Бисмарк», как заметил позже Гитлер. Сам Гитлер назвал этот день «самым счастливым в своей жизни» [25].

Это был действительно необыкновенный успех, он давал Гитлеру все, на что он мог надеяться в данный момент. Британские апологеты постоянно ссылались на потребности Великобритании в безопасности и на шанс укротить Гитлера при помощи уступок; но все же остается вопрос, могли бы эти потребности и расплывчатые ожидания оправдать действия, в силу которых санкционировалась политика дерзких нарушений договоров, окончательно взрывалась изнутри западная солидарность, и политическая ситуация Европы пришла в движение, о котором никто не мог знать, когда и где оно остановится. Морской договор по праву называли «событием века», «симптоматическое значение которого несравненно больше его конкретного содержания» [26]. Прежде всего оно укрепило Гитлера в представлении, что средствами шантажа можно добиться прямо-таки всего, и подпитывало его надежду на великий союз по дележу мира: этот договор, восторженно говорил он, представляет собой «начало нового времени… Он твердо верит в то, что британцы добивались взаимопонимания с нами в этой области лишь в качестве начала сотрудничества, которое идет гораздо дальше. Германо-британская комбинация будет сильнее всех остальных держав, вместе взятых». Ввиду серьезности его исторических претензий вручение Гитлеру точной копии меча Карла Великого в начале сентября в Нюрнберге было, пожалуй, чем-то более значительным, чем просто пустым торжественным жестом.

Заключение англо-германского морского договора привело, однако, к еще одному результату, – именно он по-настоящему закрепил поворот в европейских отношениях. Два с половиной года после назначения Гитлера рейхсканцлером Муссолини, несмотря на все идеологическое родство, придерживался в отношении Гитлера политики критической сдержанности, «более

ясно ощущая экстраординарное и угрожающее в национал-социализме, чем большинство западных государственных деятелей» [27]. Личное удовлетворение победой фашистского принципа в Германии не могло заглушить глубокое беспокойство по поводу существования соседа на севере, который обладал той динамикой, жизненной силой и дисциплиной, которые он упорно и не без трудностей старался внушить собственному народу. Встреча в Венеции скорее подтвердила его скепсис в отношении Гитлера, но и, вероятно, впервые уже пробудила тот комплекс «второсортности», который он все больше и больше стремился компенсировать гримасами гордости, имперскими акциями и ссылками на прошлое, но который, в конечном счете, все глубже затягивал его в роковое партнерство с Гитлером. Три тысячелетия истории позволяют итальянцам, сказал он в одной из речей вскоре после встречи, имея в виду расовые теории Гитлера, «с величественным равнодушием взирать на известные доктрины, существующие по ту сторону Альп, разработанные потомками тех людей, которые в дни Цезаря, Вергилия и Августа еще не знали грамоты». По свидетельству из другого источника, он назвал Гитлера «фигляром», заклеймил расовое учение как «еврейскую выдумку» и саркастически выразил сомнение, удастся ли превратить немцев в «расово чистое стадо»: «При самом благоприятном раскладе… для этого потребуется шесть столетий» [28]. В отличие от Франции или тем более Англии он временами был готов ответить на наглые внешнеполитические вылазки Гитлера демонстрациями военной силы: «Самый лучший способ затормозить немцев – призвать в армию родившихся в 1911 году». После убийства Дольфуса он перебросил на северную границу несколько итальянских дивизий, обещал по телеграфу австрийскому правительству всяческую поддержку в защите независимости страны и в конце концов разрешил итальянской прессе популярные в стране выпады против Гитлера и немцев.

Теперь он ожидал награду за столь долгое образцовое поведение. Его взоры обратились при этом на Эфиопию, которая занимала империалистическую фантазию Италии уже с конца XIX века, когда попытка расширить колонии Эритрею и Сомали позорно провалилась. Англия и Франция, как он ожидал, не станут чинить препятствий завоевательному походу, поскольку они и далее нуждаются в Италии для организации отпора Гитлеру. Расположенная в своего рода «ничейной земле» Аддис-Абеба для них не могла в реальности быть важнее Берлина. Половинчатые выражения согласия, высказанные Лавалем во время его январского визита в Рим, и молчание британцев в Стрезе он истолковал как знак осторожного одобрения. Кроме

того, он отдавал себе отчет в том, что морской договор еще более повысил ценность Италии для западных держав, прежде всего для Франции.

При помощи подстроенных пограничных инцидентов и конфликтов в районах оазисов он нагнетал настроения в пользу колониальной войны, которая производила впечатление странного анахронизма. Франция, опасаясь лишиться еще одной опоры в своей системе союзов, заверила его в пассивной поддержке, все посреднические попытки он отметал жестами Цезаря. И тут, как ни удивительно, в дело вмешалась Англия. После того как она еще в апреле отказалась применить санкции в ответ на подрывающие мир действия Гитлера, она потребовала их в отношении Муссолини и в знак своей решимости демонстративно усилила средиземноморский флот. Но здесь стала возражать Франция, которая не собиралась рисковать добрыми отношениями с Италией как раз ради Англии, которая только что в сговоре с Гитлером показала себя весьма ненадежной союзницей; это, в свою очередь, вызвало раздражение Англии, в то время как в Италии лихорадочное возбуждение дошло до того, что стали хвастливо говорить о превентивной войне против Великобритании (ее насмешливо называли «Операция "Безумие"») – короче говоря, все договоренности и долголетние дружественные связи теперь открыто распадались. Во Франции влиятельные сторонники Муссолини, прежде всего многочисленные интеллектуалы, открыто поддерживали экспансионистские устремления Италии. Шарль Моррас, видный представитель французских правых, публично угрожал смертью всем парламентариям, требовавшим санкций против Италии; пораженческая ирония забавлялась вопросом: «Чего ради умирать за негуса[29]?»; а вскоре такой же вопрос зададут и о Данциге [30].

Жест Англии мог иметь оправдание, тем более, если принять во внимание, каков был Гитлер, только в том случае, если бы британское правительство было готово со всей решительностью выступить против агрессии Муссолини и при этом не побоялось бы риска войны. Но Англия явно не собиралась идти так далеко в реализации своего решения, и поэтому последнее должно было лишь ускорить роковую развязку. Теперь Муссолини мог в любом случае считать гордость и честь Италии задетыми прозвучавшими угрозами в такой степени, что можно было начинать военные действия. 2 октября 1935 года он заявил на массовом митинге, трансляцию которого слышало более 20 миллионов человек на улицах и площадях во всех частях страны, что Италия по собственному решению объявляет войну Эфиопии: «Пробил великий час в истории нашего Отечества… Сорок миллионов

итальянцев как скрепленное общей клятвой сообщество не позволят лишить себя места под солнцем!» Достаточно было перекрыть Суэцкий канал или ввести эмбарго на поставки нефти, чтобы тут же сделать небоеспособной насыщенную военной техникой итальянскую экспедиционную армию и нанести Италии такое же сокрушительное поражение, какое ей 40 лет тому назад на той же территории приготовил император Менелик; Муссолини заверял позже, что это было бы для него «невообразимой по своим последствиям катастрофой» [31]. Но Англия и Франция, равно как и остальные нации, на это не отважились; дело ограничилось половинчатыми мерами, неэффективность которых лишь снизила тот престиж, которыми еще обладали демократии и Лига наций. Конечно, за этой осторожностью скрывались многие причины. Например, чехословацкий премьер-министр Бенеш, который отличился в роли особо энергичного поборника экономических санкций, благоразумно не распространял их на собственный экспорт в Италию.

Внутренние противоречия Европы предоставили Муссолини почти неограниченную свободу маневра. Итальянская армия, оснащенная современным вооружением, стала громить и уничтожать неподготовленного, почти безоружного противника с небывалой жестокостью, утверждая новый стиль бесчеловечного ведения войны, применяя даже отравляющие газы. Столь же беспрецедентным моментом было то, что известные офицеры, в том числе сыновья Муссолини Бруно и Витторио с гнусным высокомерием хвастались, что они устраивали веселую охоту на целые толпы, сотни и тысячи людей и истребляли их зажигательными бомбами и бортовым оружием своих самолетов [32]. 9 мая 1936 года итальянский диктатор мог наконец объявить с балкона палаццо Венеция перед восторженной толпой о «своем триумфе над пятьюдесятью нациями» и о «воскрешении империи на судьбоносных холмах Рима».

Гитлер поначалу придерживался в абиссинском конфликте строгого нейтралитета – не только потому, что у него было достаточно причин обижаться на Муссолини, скорее дело было в том, что эфиопская авантюра дуче создавала помехи осуществлению его главной внешнеполитической концепции, в основе которой с момента ее возникновения постоянно была идея партнерства с Англией и Италией. Начавшаяся схватка приводила к противостоянию двух важнейших будущих партнеров и ставила Гитлера перед непредусмотренной альтернативой [33].

Как это ни удивительно, он после продолжительных колебаний решил поддерживать итальянскую сторону и стал

поставлять ей сырье, прежде всего уголь, хотя он за несколько месяцев до того приветствовал англо-германский договор как начало нового времени. Так он поступил не из идеологических соображений и явно не по экономическим причинам, сколь бы весомы они ни были при принятии данного решения. Гораздо важнее было то обстоятельство, что он видел в конфликте шанс взломать устоявшийся порядок в Европе. Логика наращивания кризиса требовала помогать слабой стороне против более сильной. Так, уже летом 1935 года Гитлер направил негусу в ходе двух трансакций, проводившихся в обстановке высочайшей секретности, военную технику на 4 млн. марок, в том числе 30 противотанковых пушек, которые явно предназначались для боев с итальянским агрессором, и точно так же он поддерживал теперь Муссолини в противостоянии западным державам [34]. Принять такое решение было ему тем более легко, поскольку он, как показывает его секретное выступление в апреле 1937 года, не принимал всерьез обязательства, взятого на себя Англией, ибо те принципы, за которые она выступала: неприкосновенность малых наций, защита мира, право на самоопределение – для него ничего не значили, в то время как империалистическая акция Италии была в его глазах реализацией закона и логики политики. Это была та же серьезнейшая ошибка, которую он повторил в августе и сентябре 1939 года, она была связана с его рационалистической неспособностью принимать в расчет какие-либо иные интересы, кроме голых мотивов борьбы за власть. Кроме того, вдохновленный своими быстрыми успехами, он чувствовал себя уже достаточно уверенно, чтобы в известной степени испытать на прочность только что заключенный союз с Англией ради завоевания на свою сторону и другого союзника, который пока, , несмотря на все усилия, почти враждебно отворачивался от него.

Однако Гитлер использовал войну в Абиссинии не только для прорыва изоляции на юге. Еще важнее было для него воспользоваться ставшей очевидной нерешительностью западных держав, а также параличом Лиги наций для нового ошеломляющего внешнеполитического демарша: 7 марта 1936 года немецкие войска заняли Рейнскую область, которая являлась демилитаризованной зоной со времени заключения Локарнского договора. По логике событий это было неизбежным следующим шагом, но, по всей видимости, он совершился даже для Гитлера неожиданно быстро. Судя по документам, он стал в середине февраля размышлять, не целесообразнее ли провести эту акцию, которая первоначально намечалась на весну 1937 года, ввиду сложившегося международного положения в более ранний срок [35]. И, очевидно, уже несколькими днями позже он решился

провести эту операцию, поскольку Муссолини два раза подряд с небольшим интервалом заверял его, что дух Стрезы мертв, и Италия ни в каких акциях против Германии участвовать не будет. Правда, Гитлер и на этот раз ожидал повода, который позволил бы ему выступить перед миром в великой роли обиженного и сослаться, выдвигая контробвинения, на совершенную в его отношении несправедливость.

Предлогом ему послужил на этот раз французско-советский договор о взаимопомощи, переговоры о заключении которого шли уже долгое время[36], но он еще не был ратифицирован. Договор, тем более подходил в качестве предлога для ответного хода Гитлера, что был предметом долгих споров внутри Франции и вызывал значительную озабоченность далеко за ее пределами, прежде всего в Англии. Для маскировки своих намерений он дал 21 февраля интервью Бертрану де Жувенелю, в котором выразил свое желание обоюдного сближения и в особенности дистанцировался от резко антифранцузской тональности книги «Майн кампф». Тогда, заявил он, Франция и Германия были врагами, но тем временем все основания для конфликтов исчезли. На вопрос де Жувенеля, почему книга, которая повсеместно считается своего рода политической библией, переиздается все вновь и вновь в неизменном виде, Гитлер ответил так: он не писатель, который перерабатывает свои произведения, а политик: «Мои исправления я провожу в своей внешней политике, которая сориентирована на взаимопонимание с Францией… Мои исправления я вношу в великую книгу истории!» [37]. Когда интервью было опубликовано в «Пари-Миди» лишь неделей позже и как раз на следующий день после ратификации французско-советского пакта палатой депутатов, Гитлер счел себя обманутым. С послом Франсуа-Понсе, который посетил его 2 марта, он говорил в раздраженном тоне, разгневанно заявив, что его хотели обвести вокруг пальца, что своевременная публикация интервью была сорвана из-за интриг политических кругов, все его заявления с того момента устарели и теперь он выдвинет новые предложения.

Тем же 2 марта датирована директива фон Бломберга, касающаяся занятия Рейнской области. Гитлер осознавал большой риск своего шага, позже он назвал первые двое суток после утра 7 марта 1936 года, когда его части под аплодисменты населения, засыпаемые букетами цветов, переходили Рейн, «самым волнующим моментом» своей жизни, в ближайшие десять лет он не хочет брать на свои плечи подобного груза, заверил он. Ведь строительство вермахта только начиналось, в случае серьезной схватки он мог выставить лишь горстку дивизий против

почти двухсот дивизий Франции и ее восточноевропейских союзников, в состав которых теперь надо было включать и вооруженные силы Советского Союза. И если у самого Гитлера, очевидно, никакого нервного срыва, вопреки утверждению одного из участников событий, не было, нервы отказали у его сангвинического военного министра, который вскоре после начала акции возбужденно советовал отвести части назад ввиду ожидавшейся французской интервенции. «Если бы французы вошли тогда в Рейнскую область, – признал все-таки Гитлер, – нам пришлось бы с позором и бранью отходить, ибо имевшихся у нас военных сил не хватило бы даже для умеренного сопротивления [38].

Тем не менее Гитлер не колеблясь пошел на риск, и его готовность к этому шагу была, бесспорно, связана с заметно становившейся все более презрительной оценкой Франции. Прикрытие акции он обеспечил уже отработанным способом. Он опять назначил ее на выходные дни, когда, как он знал, руководящие органы западных держав не способны принять решения, опять он сочетал на этот раз двойное нарушение договоров – Версальского и Локарнского – с клятвами в благонамеренности своего поведения и головокружительными предложениями союза, в том числе даже пакта о ненападении с Францией на 25 лет и возвращения Германии в Лигу наций, опять он подвел под свою акцию демократическую законную основу, проведя плебисцит, на котором он впервые получил «показатель, о котором мечтают тоталитарные режимы» [39] – 99 процентов голосов, «это оказало сильнейшее воздействие на людей в стране и за ее пределами», – отмечал он позже. То, что концепция внезапных насильственных действий, сопровождаемых маскирующей болтовней, применялась сознательно, следует из его замечания в ходе одной из «застольных бесед», в котором он критиковал уступчивость Муссолини перед папской курией: «Я бы ввел войска в Ватикан и вытащил оттуда всю компанию, а потом бы сказал: „Извините, я ошибся!“ – но ее бы там уже не было!» Эту фазу, которой его тактика придавала столь характерный облик, он не без основания называл «эпохой свершившихся фактов» [40].

Речь в рейхстаге, которой Гитлер оправдывал акцию в Рейнской области, была шедевром демагогической игры на противоречиях, страхах, желании мира, характерных и для Германии, и для Европы. Он пространно живописал «ужасы интернациональной коммунистической диктатуры ненависти», опасность с жуткого Востока, которую Франция тянет в Европу, ратовал за то, чтобы «вывести проблему общих противоречий между народами и государствами из сферы иррационального, из

области страстей и рассмотреть ее спокойно в свете высшего разума». Конкретно он обосновывал свой шаг тем, что по нормам немецкого права французско-советский пакт о взаимопомощи должен рассматриваться как нарушение Локарнского договора, поскольку он однозначно нацелен против Германии; французы возражали, но доводы Гитлера все же не были лишены оснований [41], хотя именно его политика радикального пересмотра существующего порядка заставила Францию, озабоченную своей безопасностью, пойти на данный союз. Как бы то ни было, его аргументы и заверения произвели свое впечатление. Хотя, как нам теперь известно, правительство в Париже в какой-то момент подумывало о военном контрударе, но, учитывая господствовавшие в стране пацифистские настроения, побоялось проводить всеобщую мобилизацию. Англия снова понимала вообще с трудом возбуждение французов, по ее оценке Германия всего-навсего возвращается «в свой собственный сад»; когда Идеи посоветовал премьер-министру Болдуину учесть обеспокоенность Франции и по меньшей мере установить контакты между штабами вооруженных сил, он получил такой ответ: «Нашим ребятам неохота заниматься этим» [42]. По сути дела, среди французских союзников готовность вмешательства продемонстрировала только Польша; но французское правительство своей пассивной позицией дезавуировало ее, и в конце концов поляки попали в весьма затруднительное положение, когда им пришлось искать более или менее невинно звучащее обоснование готовности вмешаться в события, когда об этом стало известно в Берлине.

Таким образом, все шло по модели предшествовавших кризисов. За молниеносной акцией Гитлера последовали громкие протесты и угрозы, затем озабоченные консультации, потом конференции (с Германией и без нее), и так до тех пор, пока всплеск энергии, вызванный актом попрания права, не уходит в тягучую болтовню. Хотя взволнованный Совет Лиги наций поспешил собраться на чрезвычайное заседание в Лондоне и единогласно объявил Германию виновной в нарушении договоров, он тем не менее не преминул отметить с чувством благодарности вновь проявленную Гитлером «волю к сотрудничеству» и предложил вступить в переговоры с нарушителем договора, как будто данная Советом оценка случившегося была плодом всего лишь абсурдного каприза. Когда решение Совета потребовало создания в Рейнской области двадцатикилометровой нейтральной зоны и отказа Германии от укреплений в этом районе, Гитлер лаконично заявил, что он не подчинится никакому диктату и что немецкий суверенитет

восстанавливался не для того, чтобы тут же позволить его ограничить или аннулировать: державы-победительницы последний раз говорили тоном победителей, тоном одержавших ту победу, которая уже давно выскользнула из их рук. Очевидно, именно это не в последнюю очередь имела в виду лондонская «Тайме», которая в своей публицистике продолжала, невзирая ни на что, бодро выступать в качестве выразителя благожелательности к Германии и увидела в поведении Гитлера «шанс заново построить здание» международных отношений, – так она озаглавила свою передовицу.

Все эти реакции трудно было истолковать иначе, как неспособность или нежелание западных держав защищать далее свою созданную в Версале и после него систему сохранения мира. Уже год тому назад, после вялой реакции на восстановление всеобщей воинской повинности, Франсуа-Понсе с озабоченностью отмечал, что Гитлер, должно быть, теперь убежден в том, что может «позволить себе все и диктовать Европе законы» [43]. Ободренный в равной степени ликованием собственного народа, а также слабостью и эгоизмом другой стороны, он, подобно альпинисту, пробирающемуся по карнизу над пропастью, подымался все выше и выше. Во время возвращения из триумфальной поездки по вновь занятой Рейнской области, после речи перед Кельнским собором, которую предварял звон колоколов, а завершала Нидерландская благодарственная молитва и последующая пятнадцатиминутная пауза в работе радиостанций, он еще раз выразил в своем специальном поезде в небольшом кругу приближенных облегчение тем, что другая сторона была так нерешительна: «Как я рад! Господи, как я рад, что дело прошло так гладко. Да, мир принадлежит смелому. Ему помогает Бог». Во время поездки через ночной Рур, мимо зарниц домен, мимо отвалов и шахтных копров, им овладело одно из тех настроений взлета над своим обычным «я», которое пробуждало в нем желание слушать музыку. Он попросил поставить пластинку с музыкой Рихарда Вагнера и после увертюры к «Парсифалю» впал в медитацию: «Свою религию я строю из „Парсифаля“. Служба Богу в торжественной форме… Без наигранного смирения… Богу можно служить только в одеянии героя». О том, как недалеко он ушел от своего начального этапа эволюции с его пропитанной обидами затхлостью даже теперь, когда он был избалован почти непостижимыми успехами и был еще почти оглушен ликованием, как мало спокойствия и великодушия было в нем даже в моменты счастья, свидетельствует его замечание, сделанное после того, как прозвучал траурный марш из «Гибели богов»: «Впервые я услышал его в Вене, в опере. До сих пор

помню, как будто это было сегодня, какое омерзение у меня вызвал вид лопочущих между собой евреев, в их лапсердаках, мимо которых пришлось пройти, возвращаясь домой. Более резкого противоречия вообще нельзя себе представить: великолепная мистерия умирающего героя и это еврейское отребье!» [44]

Поначалу занятие Рейнской области почти не изменило фактического соотношения сил между европейскими державами. Но оно позволило Гитлеру получить прикрытие на Западе, которое было ему безусловно необходимо для достижения целей на Юго-Востоке и на Востоке, становившихся все более близкими. Как только волнения из-за этой акции улеглись, он начал сооружать линию укреплений вдоль немецкой западной границы. Германия поворачивалась на Восток.

Частью психологической подготовки поворота на Восток было усиливающееся осознание коммунистической угрозы. И как будто бы он сам сидел за клавишами исторического процесса, события стали идти по весьма выгодному для Гитлера руслу. Одобренная прошедшим летом Коминтерном новая тактика Народного фронта привела к впечатляющим успехам сперва в феврале 1936 года в Испании, а вскоре затем и во Франции, где победа объединенных французских левых на выборах помогла прежде всего коммунистам, которые смогли увеличить число своих мандатов с 10 до 72; 4 июня 1936 года Леон Блюм сформировал правительство Народного фронта. Шестью неделями позже, 17 июля, военный мятеж в Марокко положил начало гражданской войне в Испании.

На обращение испанского правительства за помощью к французскому правительству Народного фронта и к Советскому Союзу вождь мятежников генерал Франко ответил аналогичной просьбой в адрес Германии и Италии. Вместе с испанским офицером два национал-социалистических функционера отправились из марокканского города Тетуан в Берлин, чтобы передать Гитлеру и Герингу личные письма Франко. Хотя и в МИД, и в военном министерстве отказались официально принять делегацию, Рудольф Гесс решил проводить их к Гитлеру, который находился на ежегодном вагнеровском фестивале в Байрейте. Вечером 25 июля три посланца передали письма возвращавшемуся с открытой фестивальной площадки Гитлеру, и под воздействием эйфорического настроения момента, без согласования с соответствующими министрами было принято решение активно поддержать Франко. Геринг как главнокомандующий люфтваффе и фон Бломберг

незамедлительно получили соответствующие указания. Самой важной и, может быть, сыгравшей даже решающую роль мерой было скорейшее направление нескольких соединений самолетов Ю-52, при помощи которых Франко мог перебросить свои части через море и создать плацдарм в континентальной части Испании. В последующие три года он получал поддержку в виде поставок военной техники, технического персонала, советников и прежде всего помощи известного легиона «Кондор», однако немецкое содействие не оказывало существенного влияния на ход войны, по своим масштабам оно бесспорно далеко уступало численности сил, выделенных Муссолини. Изучение документов, касающихся этой войны [45], позволяет сделать весьма примечательный вывод, что Гитлер и в этом случае опять руководствовался в своих действиях прежде всего тактическими соображениями, проявляя холодный рационализм, совершенно свободный от идеологических факторов: он годами почти ничего не предпринимал для обеспечения победы Франко, но делал все, чтобы не дать погаснуть конфликту. Он давно понял, что его шанс был связан только с кризисом. Лишь необходимость признаться в подлинных интересах, чего требует каждая критическая ситуация, разлад прежних связей, их разрыв и переориентация дают простор для игры политической фантазии. Поэтому подлинная выгода, которую мог извлечь Гитлер из гражданской войны в Испании и действительно извлек, искусно управляя ходом событий, состояла в той встряске, которой он подверг прочно сложившиеся отношения в Европе.

В сравнении с этим блекнет всякий иной выигрыш, как бы велико ни было значение возможности опробования немецкой авиации и танковых частей в боевых условиях. Еще более весомым моментом было впервые продемонстрированное в военной схватке превосходство над всеми соперничавшими политическими системами. В криках возмущения, наполнявших весь цивилизованный мир в связи с обстрелом порта Альмерия или бомбардировкой Герники, сквозил все же и трепет извращенного уважения к нечеловеческой дерзости, с которой здесь был брошен вызов коммунистической угрозе и в конце концов дан ей отпор: это был, в более широкой сфере, старый опыт Гитлера, приобретенный во времена побоищ в залах собраний, который говорил о привлекательной силе воздействия террора на массу.

Уже вскоре стало различимо то направление, в каком война толкала развитие событий: она и здесь демонстрировала давным-давно известные черты. Конечно, верно, что антифашизм создал на полях битв в Испании свою легенду [46], когда расколотые на

многочисленные клики и фракции, измотанные внутренними распрями левые сплотились в интербригады словно для того, чтобы дать последний и решительный бой и еще раз показали, что старые мифы еще сохраняют свою силу. Однако тезис о мощи и опасности левых никогда не был чем-то более существенным, нежели легендой, и в качестве легенды он сыграл свою самую серьезную по последствиям роль: сплотил и мобилизовал силы противостоящей стороны.

Их борьба в Испании, несмотря на все срывы, имела прежде всего тот эффект, что так долго державшиеся порознь, медлительно сближавшиеся фашистские державы окончательно сплотились и создали провозглашенную 1 ноября 1936 года Муссолини «ось Берлин-Рим», которая расценивалась ими как новый триумфирующий элемент порядка, вокруг которого в призрачном вихре кружились декадентские демократии и человеконенавистнические террористические системы левого толка: только в этот момент возник международный фашизм с излучающим гипнотическое воздействие центром власти. Одновременно впервые обрисовались и контуры расстановки сил ко второй мировой войне.

Несмотря на все побудительные импульсы извне данный союз возник не без трудностей и попятных движений. Как на итальянской, так и на немецкой стороне имелись значительные возражения против тесного единения. Замечание Бисмарка, что с этой южной страной, в равной степени ненадежной как в роли друга, так и врага, нельзя заниматься политикой, обрело в первую мировую войну статус общепринятой истины, и общественному мнению разъяснить целесообразность союза с Италией было столь же трудно, как и в случае союза с Польшей. Хотя неприязнь не заходила так далеко, как предполагал Муссолини, который сказал в декабре 1934 года немецкому послу в Риме Ульриху фон Хасселю, что, как он чувствует, ни одна война не была бы так популярна в Германии, как война с Италией; но, с другой стороны, в Германии не были склонны верить заверениям Чиано, что фашистская Италия отказалась от мании поиска самых выгодных для нее комбинаций и перестала быть, как утверждало в прошлом одно бранное определение, «шлюхой демократий» [47].

Установлению столь тесных связей способствовала прежде всего личная симпатия, которая возникла у Гитлера и Муссолини друг к другу в период после неудавшейся встречи в Венеции. Несмотря на все различия в частностях – экстравертная подвижность Муссолини, его неосложненная рефлексией трезвость, спонтанность и жизнелюбие находились в явном противоречии с торжественной зажатостью Гитлера – оба были

весьма похожи. Воле к власти, жажде величия, раздражительности, хвастливому цинизму и театральности манер одного отвечали родственные черты другого. Муссолини чувствовал себя старшим и с удовольствием, не без покровительственности давал почувствовать известное фашистское первородство в отношении немца. Как бы то ни было, некоторые высокопоставленные национал-социалистические функционеры стали читать Макиавелли. В рабочем кабинете Гитлера в Коричневом доме стоял тяжелый бронзовый бюст итальянского диктатора; в октябре 1936 года, во время визита итальянского министра иностранных дел в Берхтесгаден, он совершил совсем необычный жест почтения, назвав Муссолини «ведущим государственным деятелем мира», «с которым никто даже отдаленно не может сравниться» [48].

Поначалу Муссолини воспринимал явное ухаживание Гитлера не без скептической сдержанности, которая была вызвана не только укоренившимся страхом перед «германизмом», но и тем, что интересы его страны имели противоположную направленность. Хотя он приобрел колониальные владения в Восточной Фрицатвовать во взлете к величию, проявлять динамизм, пробуждать веру, удовлетворять старую «тоску по войне» [49] – были и другие лозунги судьбоносного экстаза. Поэтому, какой бы зловещей ни представлялась ему на удивление мрачная фигура немецкого диктатора, – его смелость, с которой он вопреки всем выкладкам обычного разума ушел из Лиги наций, объявил о введении воинской повинности, все вновь и вновь бросал вызов миру и привел в движение устоявшиеся европейские порядки, мучили Муссолини и импонировали ему тем больше, что это и была собственно «фашистская» политика «встряски», которую демонстрировал миру нескладный гость Венеции. Озабоченный своим реноме, Муссолини стал думать о сближении.

Самое серьезное препятствие Гитлер устранил тактическим маневром: будучи убежденным, что позже между друзьями все можно будет уладить по-хорошему, он внешне уступил в австрийском вопросе. В июле 1936 года он заключил с Веной соглашение, которым прежде всего признавал австрийский суверенитет, клялся в невмешательстве и в обмен на это получил обещание, что «приличным» национал-социалистам не будут мешать занимать ответственные политические посты. Понятно, что Муссолини расценивал договор в высокой степени как личный успех. Тем не менее он все-таки испугался бы идеи более тесных отношений с Германией, если бы как раз в этот момент обстоятельства не изменились в его пользу, что не могло не

спутать его представлений. Дело в том, что в июле державы-члены Лиги наций аннулировали свое малоэффективное решение о санкциях против Италии и тем самым выдали Абиссинию завоевавшему ее агрессору, признав собственное бессилие. Одновременно Муссолини мог укрепить уверенность в себе действиями в Испании, где его вмешательство намного превосходило помощь Гитлера и где он выступал в качестве ведущей фашистской силы. Когда Ханс Франк посетил его в сентябре и прежде чем изложить предложение об установлении тесного сотрудничества, передал приглашение Гитлера с самыми лестными заверениями относительно доминирующей позиции Италии в Средиземноморье, Муссолини реагировал все еще с явной сдержанностью; но это было, очевидно, лишь демонстрацией величественной непоколебимости великого деятеля. Ибо месяцем позже он послал в Германию прозондировать обстановку своего зятя, министра иностранных дел графа Чиано. Вскоре после этого приехали Туллио Чианетти, Ренато Риччи, а затем тысяча «авангардистов»[50] и, наконец, в сентябре 1937 года – сам Муссолини. В честь гостя Гитлер устроил прием со всей помпой в стиле Европы Во время их первой встречи Гитлер не только наградил его высшим немецким орденом, но и золотым партийным знаком, который до тех пор носил только он один. В Берлине по эскизам художника-декоратора Бенно фон Арента от Бранденбургских ворот до Вест-Энда была сооружена многокилометровая триумфальная аллея, создававшая впечатляющую кулису происходившего с ее пышными драпировками, гирляндами, искусно связанными полотнищами знамен, дикторскими связками, свастиками и другими эмблемами. На белоснежных пилонах по обе стороны аллеи были установлены символы обоих режимов. На Унтер-ден-Линден стояли сотни колонн, на которых возвышались позолоченные имперские орлы. В ночное время сценарий предусматривал феерии света зелено-бело-красных цветов Италии и знамени со свастикой. Перед торжественным прибытием Муссолини в Берлин Гитлер, сопровождавший его, попрощавшись, пересел на другой спецпоезд и, когда поезд итальянского диктатора достиг границы города, на параллельном пути неожиданно появился поезд Гитлера и последний участок дороги шел вровень с вагоном гостя, а потом почти незаметно опередил его, когда Муссолини прибыл на вокзал Хеэрштрассе, фюрер уже ждал в назначенном месте, протягивая навстречу руку для приветствия. В столицу рейха он въезжал, стоя рядом с Гитлером в открытом лимузине, масштабы и очевидная искренность оказанных ему почестей произвели на него глубокое

впечатление. Выезды, парады, банкеты и митинги сменяли друг друга. На полигоне в Мекленбурге ему были продемонстрированы новейшие виды оружия и ударная мощь вермахта, а у Круппа в Эссене потенциал немецкой военной промышленности. Вечером 28 сентября на Майфельд, недалеко от олимпийского стадиона, состоялся «народный митинг ста пятнадцати миллионов», на котором Гитлер льстил гордости своего гостя как государственного деятеля: Муссолини, «один из немногих деятелей времени, – воскликнул он, – которые не служат истории материалом для ее экспериментов, а сами вершат историю». Явно потрясенный впечатлениями блеска и силы, которые обрушились на него в эти дни, дуче в своей произнесенной по-немецки речи противопоставил «поддельным и ложным идолам Женевы и Москвы» «сияющую правду»: завтра Европа будет фашистской. Он не успел закончить речь, как мощная гроза с проливным дождем обрушилась на толпу, которая в панике стала разбегаться, так что дуче неожиданно оказался брошенным. На Майфельд, отмечал Чиано иронически, была «чудесная хореография: много растроганности и масса дождя». Промокшему до нитки Муссолини пришлось возвращаться в Берлин. Но тем не менее визит в Германию он не забыл до конца жизни.

«Я восхищен вами, фюрер!» – воскликнул он в Эссене при виде совершенно секретного до тех пор гигантского орудия, но и Гитлер отвечал ему взаимностью. Хотя в остальных случаях он был мало способен на целостные безраздельные чувства, к итальянскому диктатору он испытывал на редкость открытую, выглядевшую почти наивной симпатию и пронес ее сквозь многообразные разочарования: Муссолини был одним из редких людей, к которым он относился без мелочности, расчетливости или зависти. При этом было немаловажно, что тот, как и он сам, был простого происхождения, и общение с ним не вызывало у него скованности, как контакты с представителями старого буржуазного класса почти повсюду в Европе. Их взаимопонимание было – во всяком случае, после неудачной встречи в Венеции – спонтанным. Полагаясь на это, Гитлер отвел в протоколе на политические консультации лишь один единственный час. Конечно, Муссолини обладал рассудительностью и политической проницательностью, но практикуемый Гитлером стиль личностной внешней политики, метод прямых договоренностей, рукопожатий, «разговора по-мужски» отвечали более сильной стороне его сущности. Он все больше и больше попадал под влияние Гитлера, демонстрируя, так же как и многие другие, странную беззащитность, подавленность и в конце концов опустошенность. Уже сейчас,

купившись на лесть и грандиозные зрелищные эффекты, утратив политическую осмотрительность, он был по сути дела обречен и можно было предчувствовать бесславный конец на бензоколонке Пьяццале Лорето[51] без малого восемью годами позже. Ибо для него было жизненно важно, несмотря на всю идеологическую общность с Гитлером, не упускать из виду фундаментальное различие интересов, существующее между слабой, насытившейся и сильной, нацеленной на экспансию властью. О том, насколько радикально он перешел под воздействием стимулирующих впечатлений визита от категорий политики к неполитической категории слепой связанности судеб, свидетельствует одно из основных положений его берлинской речи, согласно которому один из главных принципов фашистской и личной морали требует от того, кто нашел друга, «идти с ним до конца» [52].

Таким образом, Гитлеру удалось на удивление быстро реализовать одну часть своей концепции союзов. Впервые в современной истории два государства сплотились под знаком идеологии для «единства действий… и вопреки всем предсказаниям Ленина это были не два социалистических, а два фашистских государства» [53]. Вопрос теперь заключался в том, удастся ли Гитлеру после такого союза со столь явной идеологической подоплекой завоевать на свою сторону и другого идеального, по его мнению, партнера – Англию, не сделал ли он уже тут, исходя из собственных предпосылок и целей, шаг к роковой для него развязке.

Уже вскоре после ввода войск в Рейнскую область Гитлер предпринял новый смелый демарш, чтобы привлечь Англию на свою сторону. Он опять обошел МИД, который скоро стал играть лишь роль технического аппарата, выполняющего рутинные внешнеполитические задачи; работу по достижению своих центральных целей он в значительной степени переключил на себя при помощи системы специальных уполномоченных. Звездой, самобытнейшим дипломатическим талантом и экспертом по Англии считался с момента успешного завершения морского договора бывший торговец спиртными напитками Иоахим фон Риббентроп. Теперь Гитлер пустил его в дело, чтобы увенчать союзом с Англией свою великую внешнеполитическую концепцию.

Его выбор вряд ли мог быть более ошибочным, но и более показательным. Ни одна из фигур в руководстве «третьего рейха» не вызывала, пожалуй, такого мощного хора голосов неодобрения, как Риббентроп. И друзья, и враги не признавали за ним не только ни одной симпатичной черты, но и малейшей

деловой компетентности. Та благосклонность и протекция, которыми пользовался ограниченный исполнитель с лета 1935 года, показывают, в какой высокой степени Гитлер нуждался уже в это время в недумающих инструментах и людях, отличающихся прежде всего фанатичной личной преданностью. Высокопарное чванство в отношении других сочеталось в Риббентропе с почти лунатическим раболепием перед Гитлером. Всегда с тенью напряженных дум на челе, он был воплощением типа мелкого обывателя, выдвинувшегося в ходе классовых сдвигов, которые происходили с 1933 года; свои претензии и склонности к катастрофам этот тип стилизовал под демонизм исторического величия. На рукавах вычурного дипломатического мундира, созданного вскоре по его указанию, был вышит земной шар, на котором хозяйски расположился имперский орел.

Теперь Риббентроп обратился через посредника к английскому премьер-министру Болдуину и предложил ему лично встретиться с Гитлером: исход беседы будет «определять судьбу поколений», ее успех будет означать исполнение «самого большого желания всей жизни» немецкого канцлера. Болдуин был очень тяжелый на подъем, флегматичный человек с милой склонностью к комфорту. Окружению премьера, как мы знаем от одного из доверенных лиц, не без труда удалось оторвать его от вечернего пасьянса и зажечь частью того энтузиазма и надежд, которые пробудила идея предложенной встречи у всех склонных к миротворчеству сил. Болдуина поначалу настораживали осложнения, с которыми был связан план, ему были неинтересны как Гитлер, так и вся Европа, о которой, как метко заметил Черчилль, он мало что знал, а то малое, что было ему известно, ему еще и не нравилось. А если уж проводить встречу, то пусть приедет Гитлер, он сам не любит ни самолетов, ни морских путешествий, и только ради бога не устраивать никаких церемоний; может быть, рассуждал он перед горящими энтузиазмом советниками, канцлер приехал бы в августе, чтобы встретиться в горах, в озерном районе Камберленда, и так участники дискуссии восторженно проговорили до самой ночи. «Потом еще немного мальвернской минералки и в постель», – заканчивается рассказ. Позже прикидывали, не встретиться ли на корабле вблизи английского побережья; сам Гитлер, вспоминал его тогдашний адъютант, «сиял от радости» при мысли о предстоящей встрече [54].

Тогда он добавил в великую концепцию союзов еще одну грандиозную идею – вовлечь Японию. Впервые он упомянул эту дальневосточную страну как возможного Союзника наряду с Англией и Италией весной 1933 года; несмотря на все моменты

расовой несовместимости, она представлялась дальневосточным эквивалентом Германии: с запозданием в развитии, дисциплинированная и неудовлетворенная. Кроме того, она граничила с Россией. Согласно новой концепции Гитлера, Англия должна была лишь спокойно вести себя в Восточной Европе и Восточной Азии, тогда Германия и Япония могли сообща, не имея угрозы за спиной, напасть с двух сторон на Советский Союз и разбить его. Таким образом они освободили бы не только британскую империю от острой угрозы, но и существующий порядок, старую Европу от ее самого заклятого врага и, кроме того, обеспечили бы себе необходимое «жизненное пространство». Эту идею всепланетарного антисоветского союза Гитлер стремился реализовать на протяжении двух лет, пытаясь убедить в ней прежде всего английского партнера. В начале 1936 года он изложил ее лорду Лондондерри и Арнольду Дж. Тойнби.

До сегодняшнего дня не выяснено до конца, из-за чего сорвалась запланированная встреча с Болдуином, но, по всей видимости, немаловажную роль тут сыграли энергичные возражения Идена. И хотя Гитлер, по словам человека из его окружения, был «сильно разочарован» [55] тем, что англичане отвергли и четвертую его попытку добиться сближения, он не оставлял своих планов. Летом 1936 года он назначил Риббентропа преемником скончавшегося немецкого посла в Лондоне Леопольда фон Хеша. Он поручил ему передать англичанам предложение «прочного альянса», «причем от Англии требуется одно – дать Германии свободно действовать на Востоке». Это было, как сказал Гитлер вскоре после этого Ллойд Джорджу, «последней попыткой» объяснить Великобритании цели и необходимости германской политики [56].

Данная попытка сопровождалась новой кампанией против коммунизма, «старого, заклейменного каиновой печатью врага человечества», как это весьма характерно выразил Гитлер теологизирующей формулой [57]. Гражданская война в Испании обогатила его ораторский набор массой новых аргументов и образов. Так, он живописал «жестокую массовую расправу с офицерами-националистами, сжигание облитых бензином жен офицеров-националистов, истребление детей, в том числе и грудных, чьи родители были из националистического лагеря», и предрекал такие же ужасы Франции, которая уже перешла к Народному фронту: «Тогда Европа утонет в море крови и слез, – пророчествовал он, – на смену европейской культуре, история которой, оплодотворенная античностью, насчитывает без малого два с половиной тысячелетия, придет самое свирепое варварство всех времен». Одновременно он преподносил себя в этих

любимых им апокалипсических картинах избавителем, создателем спасительного бастиона: «Даже если весь мир станет гореть вокруг нас, национал-социалистическое государство сохранится как слиток платины среди этого большевистского огня» [58].

Однако многомесячная кампания не дала ожидаемого эффекта. Конечно, и англичане осознавали наличие коммунистической угрозы, но их флегматизм, трезвость и недоверие к Гитлеру были сильнее их страха. С другой стороны, в ноябре 1936 года Берлину удалось успешно завершить обхаживание Японии подписанием Антикоминтерновского пакта. Договор предусматривал совместные меры противодействия коммунистической активности, обязывал партнеров не заключать политических соглашений с СССР и в случае спровоцированного Советским Союзом нападения не предпринимать никаких мер, которые могли бы облегчить его ситуацию. В целом Гитлер надеялся, что вес германо-японо-итальянского треугольника скоро станет достаточно большим, чтобы подкрепить охаживания Англии некоторым нажимом. Похоже, что он впервые в это время начал думать 6 том, чтобы угрозами заставить упрямый остров открыть ему дорогу на Восток; судя по всему, с конца 1936 года он уже не исключал возможность войны с Англией, расположения которой он упорно и напрасно добивался [59].

В психологическом отношении такой поворот, бесспорно, объяснялся окрепшей самоуверенностью, которую ему придала серия недавних успехов. «Мы опять стали мировой державой!» – воскликнул он 24 февраля 1937 года в очередную годовщину образования партии в мюнхенской пивной «Хофбройхауз». Во всех его речах того времени слышится новый тон вызова и нетерпения. Во впечатляющем перечне успехов четырехлетней деятельности правительства, который Гитлер изложил 30 января в рейхстаге, он «самым торжественным образом» аннулировал подпись Германии под дискриминирующими положениями Версальского договора, затем съязвил по поводу «эсперанто – языка мира и взаимопонимания народов», на котором как раз и говорила целые годы разоруженная Германия: «Оказалось, что этот язык на международной арене понимают все-таки не так уж хорошо. Только с того момента, как у нас появилась большая армия, наш язык опять стали понимать». Он использовал старинный образ Белого рыцаря из «Лоэнгрина», с которым он любил себя сравнивать: «Мы идем через мир как миролюбивый, но закованный в железные латы ангел» [60]. Это представление дало ему теперь уверенность демонстративно проявить свое недовольство. Хотя он весной предпринял новую попытку

сблизиться с Англией, предложив гарантии безопасности Бельгии, одновременно он позволил себе бесцеремонность в отношении британского правительства, отменив, недолго думая, уже объявленный визит фон Нойрата в Лондон. Когда лорд Лотиан посетил его 4 мая 1937 года во второй раз, он не скрывал плохого настроения и резко критиковал британскую политику, которая не способна осознать коммунистическую угрозу и вообще не понимает своих интересов. Он-де всегда, еще в бытность свою «писателем», был настроен проанглийски. Вторая война между их народами была бы равнозначна выпадению обеих держав из истории, она была бы столь же бесполезной, сколь и разорительной; он предлагает вместо этого сотрудничество на базе четко определенных интересов [61]. Он еще раз на протяжении полугода ждал реакции Лондона. Когда ее не последовало, он переменил свою концепцию.

Хотя, таким образом, в идеальной схеме Гитлера одна существенная предпосылка осталась невыполненной, тем не менее он осуществил свои намерения в удивительном объеме: привлек на свою сторону Италию и Японию, Англия колебалась, ее престиж был ослаблен, Франция была скомпрометирована своим бессилием. Не менее важным был тот момент, что он разрушил принцип коллективной безопасности и восстановил в качестве торжествующего политического принципа sacro egoismo[62] наций. В условиях быстро меняющегося соотношения сил в особенности явно занервничали малые государства и тем еще ускорили распад противостоящего фронта: после Польши и Бельгия теперь также повернулась спиной к бессильному французскому альянсу, переориентировались Венгрия, Болгария и Югославия; после смертельного удара, который Гитлер нанес Версальской системе, ожили бесчисленные конфликты, которые этот порядок лишь подавил, но не устранил. Вся Юго-Восточная Европа пришла в движение. Естественно, ее государственные деятели восхищались примером Гитлера, который преодолел бессилие своей страны, положил конец оскорблениям ее гордости и заставил жить в страхе былых победителей. В качестве «нового бога европейской судьбы» [63] он вскоре увидел себя в центре многочисленного и широкого политического паломничества; его советом и помощью стали дорожить. Огромные успехи, которых он добился, казалось, доказывали более высокую дееспособность тоталитарных режимов, либеральные демократии с их говорильней, лабиринтами инстанций, священными уик-эндами и их мальвернской минералкой в этом соревновании безнадежно отставали. Франсуа-Понсе, который в то время имел обыкновение

встречаться с коллегами-дипломатами дружественных или союзных государств за обедом в роскошном берлинском ресторане «Хорхер», рассказывал, что круг участников встреч, подобно шагреневой коже в романе Бальзака, с каждым успехом Гитлера. становился все меньше и меньше [64].

Воздействие на саму Германию было, естественно, значительно глубже. Оно лишало оснований для сомнений прежде всего и без того тающее как снег на солнце число скептически настроенных оппонентов режима. Айвон Киркпатрик, работавший в британском посольстве в Берлине, описывал, каким «ужасным» эффектом обладали внутри страны акции Гитлера, осуществленные в выходные дни, благодаря западной нерешительности: «Те немцы, которые призывали к осторожности, были опровергнуты, Гитлер еще больше укреплялся в своей вере, что он может позволить себе все, и вдобавок ко всему под знамена Гитлера вставало немалое число всех тех немцев, которые были против Гитлера только из-за опасений, что он приведет страну к катастрофе» [65]. Вместо этого он добивался успехов, престижа, авторитета. Все еще глубоко задетая в своем самосознании нация наконец-то увидела, что ее представляют внушающие к себе уважение люди, и получала жестокое удовлетворение от ошеломляющих демаршей и вызываемой ими каждый раз беспомощности столь могучих вчера победителей: удовлетворялась элементарная потребность в реабилитации.

Успехи режима внутри страны в особой степени отвечали этой потребности. Страна еще недавно была в самом жалком состоянии, ее казавшееся безвыходным отчаянное национальное и социальное положение, похоже, соединяло в себе все кризисы и беды времени – и вдруг ею восхищаются как примером; столь разительные перемены Геббельс назвал в духе характерной саморекламы «величайшим политическим чудом XX века» [66]. Приезжали делегации со всех концов света и изучали мероприятия Германии по достижению экономического подъема, устранению безработицы и обширную систему социальных достижений: улучшение условий труда, питание в заводских столовых и обеспечение жильем на основе дотаций государства, сооружение спортивных площадок, парков, детских садов, соревнование между предприятиями, конкурсы на звание лучшего по профессии, систему поездок в отпуск на судах организации «Сила через радость», и дома отдыха для рабочих. Проект четырехкилометровой массовой гостиницы на острове Рюген, который для быстрой доставки десятков тысяч гостей предусматривал собственную сеть метро, получил главную

премию на парижской Всемирной выставке 1937 года. Эти достижения производили сильное впечатление и на критически настроенных наблюдателей; К. Я. Буркхардт восславлял в письме к Гитлеру «строительство автострад и систему трудовой повинности, как достойные гетевского Фауста» [67].

В большой речи перед рейхстагом 30 января 1937 года Гитлер объявил «период сюрпризов» законченным. Его последующие шаги логично вытекали из того исходного положения, которое он занимал в каждой предшествующей акции. Как договор с Польшей дал ему главный ключ для броска на Чехословакию, так и достижение согласия с Италией служило основой для аншлюса Австрии. Частыми визитами польских политиков в Германию, заверениями в дружбе и заявлениями об отказе от каких-либо претензий Гитлер пытался приблизить к себе Польшу; по его указанию Геринг заявил во время визита в Варшаву, что у немцев нет заинтересованности в польском коридоре, а сам Гитлер заверил польского посла в Берлине Юзефа Липского, что Данциг, этот предмет долгих споров, связан с Польшей и никаких изменений в этом плане не будет [68]. Одновременно он придавал более интенсивный характер связям с Италией. В начале ноября 1937 года он уговорил ее – опять при помощи Риббентропа – присоединиться к Антикоминтерновскому пакту, заключенному с Японией. Американский посол в Токио Джозеф Грю, анализируя этот «треугольник мировой политики», полагал, что его участники «не только имеют антикоммунистическую ориентацию, – их политика и практика идут вразрез также и с политикой так называемых демократических держав»; налицо коалиция нищих, которые преследуют цель «опрокинуть статус-кво». Примечательно, что в беседах с Риббентропом, которые предшествовали церемонии подписания пакта, Муссолини заявил, что он устал от роли сторожа независимости Австрии: итальянский диктатор собирался пожертвовать статус-кво ради новой дружбы. Похоже, что он не догадывался о потере своей последней карты в результате этого. «Мы не можем навязывать Австрии независимость», – говорил он [69].

В тот же день 5 ноября 1937 года, когда в Палаццо Венеция происходил этот разговор, а Гитлер в Берлине заверял польского посла в неприкосновенности Данцига, вскоре после 16 часов в имперской канцелярии были собраны командование вермахта и рейхсминистр иностранных дел. В четырехчасовой секретной речи Гитлер раскрыл им свои «основополагающие идеи»: старые представления о расовой угрозе, страхе за существование и нехватке пространства, из всего этого он видел «единственный, и, может быть, на первый взгляд фантастический выход в

завоевании нового жизненного пространства», в создании территориально замкнутой великой мировой империи. После захвата власти и нескольких лет подготовки эти идеи с удивительной последовательностью открывали период экспансии.

Глава II
ВЗГЛЯД НА БЕЗЛИКУЮ ЛИЧНОСТЬ

Он стоит, как монумент, уже превышающий масштабы земного.

«Фелькишер беобахтер» о выступлении Гитлера 9 ноября 1935 г.

Сломленный жизненный путь. – Режиссерский талант Гитлера. – Эстетическое преображение смертью. – Праздники и массовые гуляния. – Психологическая взаимосвязь. – Утверждение стилей своего поведения и страх. – Театральный темперамент Гитлера – Отношение к музыке. – Планы насчет Линца. – Мифологизация собственной жизни. – Отсутствие социальных корней. – Женщины. – Окружение. – Инфантильность Гитлера. – Искусство и архитектура – Античное и германское. – Новый человек. – Боязнь времени. – Болезни.

Нашего обращающегося к истории современника, с его представлениями о морали и исторической литературе, наверно смутит то обстоятельство, что в описаниях тех лет речь все вновь и вновь почти исключительно идет об успехах и триумфах Гитлера. И все же это действительно были годы, когда он проявил исключительное превосходство и силу, всегда в нужный момент то подталкивая вперед, то проявляя терпение, угрожая, обхаживая, действуя так, что всякое сопротивление перед ним рассыпается в прах, и он обращает на себя все внимание, все любопытство и весь страх эпохи. Эта способность подкреплялась еще уникальным умением преподнести свою силу и свои успехи во всей их подавляющей мощи и сделать их демонстрацию впечатляющим фактором своей популярности.

Это обстоятельство отвечает странному дроблению жизненного пути Гитлера. Он характеризуется столь резкими переломами, что нередко трудно найти соединительные элементы между различными фазами. В пятидесяти шести годах его жизни есть не только водораздел между первыми тридцатью годами с их отупляющими, асоциальными, темными обстоятельствами, с одной стороны, и словно внезапно

наэлектризованной, политической второй половиной жизни – с другой. Будет вернее сказать, что и более поздний период распадается на три четко выделяющихся отрезка. В начале – примерно десять лет подготовки, идеологического становления и экспериментирования с тактикой, тут Гитлер выступает не более чем второразрядной радикальной фигурой, хотя и весьма изобретательной по части демагогии и политической организации. Затем следуют те десять лет, когда он становится центром эпохи, в исторической ретроспективе он предстает перед нами в сплошной цепочке картин массового ликования и наэлектризованной истерии. Ощущая сказочный характер этой фазы и приметы избранности, которые, как ему казалось, выступали в ней, он заметил, что «она была не просто человеческим творением» [70]. А потом следуют шесть лет с доходящими до гротеска ошибками, промахом за промахом, преступлениями, судорожными состояниями, манией уничтожения и смертью.

Все это побуждает вновь пристальнее вглядеться в личность Адольфа Гитлера. Ее индивидуальные черты остаются в значительной степени бледными, и порой почти кажется, что тот отпечаток, который он наложил на государственные и общественные отношения, больше говорит о нем, чем биографические данные; как будто тот монумент, в который он превратил себя со всей помпой политической саморекламы, больше говорит о его сути, чем стоящее за ним явление. Политические события периода успехов сопровождались непрестанным фейерверком грандиозных зрелищ, парадов, освящений, факельных шествий, костров в горах, маршей. Уже давно было указано на тесную взаимосвязь между внешней и внутренней политикой тоталитарных режимов, однако гораздо теснее взаимосвязь и той, и другой с политикой в области пропаганды. Памятные даты, инциденты, официальные визиты, сбор урожая или смерть одного из сподвижников, заключение или расторжение договора создавали обстановку постоянной экзальтации и вне зависимости от содержания события служили импульсом для развертывания масштабных кампаний психологической обработки с целью еще большего сплочения народа и культивирования ощущения общей мобилизации.

Эта взаимосвязь в гитлеровском государстве была особенно тесной и многокрасочной, столь тесной, что порой как бы наступало смещение центра тяжести, в ходе которого политика, казалось, утрачивала свой примат и становилась служанкой грандиозных театральных эффектов. Обсуждая проект

крупнейшей роскошной улицы будущей имперской столицы, Гитлер ради такого эффекта даже загорелся идеей восстания против его господства и не без мечтательных ноток живописал, как СС с их бронированной техникой будут медленно продвигаться к его дворцу по проспекту шириной в 120 метров подобно гигантскому, неотразимому паровому катку [71]: его театральная натура невольно всякий раз прорывалась наружу и толкала его на то, чтобы подчинять политические категории соображениям эффектной инсценировки. В этой амальгаме эстетических и политических элементов ярко прослеживалось происхождение Гитлера из позднебуржуазной богемы и его длительная принадлежность к ней.

На его происхождение указывает и стиль национал-социалистических мероприятий. В нем видели влияние любящего пышность красочного ритуала католической церкви, но не менее очевидно воздействие наследия Рихарда Вагнера с его предельной театральной литургичностью: Макс Хоркхаймер показал большое значение помпы и пышности для мира бюргеров – в оперной монументальности имперских партийных съездов театр бюргерства как бы достиг своих предельных возможностей. Широкое гипнотическое воздействие этих мероприятий, которое чувствуется еще и сегодня в материалах кинохроники, связано не в последнюю очередь с происхождением из этого источника. «Я провел шесть лет перед войной ж период наивысшего расцвета русского балета в Санкт-Петербурге, – писал сэр Невилл Гендерсон, – но никогда не видел балета, который можно было бы сравнить с этим грандиозным зрелищем» [72]. Оно свидетельствовало о точных знаниях как режиссуры крупной постановки, так и психологии маленького человека. От леса знамен и игры огней факелов, маршевых колонн и легко запоминающейся яркой музыки исходила волшебная сила, перед которой как раз обеспокоенному картинами анархии сознанию трудно было устоять. Сколь важен был для Гитлера каждый эффект этого действа, видно из того факта, что даже в ошеломляющих по масштабам празднествах с огромными массами людей он лично проверял мельчайшие детали; он тщательно обдумывал каждое действие, каждое перемещение, равно как декоративные детали украшений из флагов и цветов и даже порядок рассаживания почетных гостей.

Для стиля мероприятий «третьего рейха» характерно и показательно, что режиссерский талант Гитлера по-настоящему убедительно раскрывался на торжествах, связанных со смертью. Казалось, что жизнь парализует его изобретательность, и все попытки воспеть ее не поднимались выше банального фольклора

мелких крестьян, который воспевал счастье танца под майским деревом, благословение детей или простой обычай, в то время как фольклорно настроенные функционеры луженными глотками выводили нечто псевдонародное. Зато в церемонии смерти его темперамент и пессимизм неустанно открывали все новые потрясающие эффекты; когда он под звуки скорбной музыки шел по широкому проходу между сотнями тысяч собравшихся почтить память павших через Кенигсплац в Мюнхене или через нюрнбергскую площадь партийных съездов, то это были действительно кульминации впервые разработанной им художественной демагогии: в таких действах политизированной магии Страстной пятницы, в которых «блеск создавал рекламу смерти» [73] – то же самое говорили о музыке Рихарда Вагнера, – воплощались представления Гитлера об эстетизированной политике.

С тем же эстетическим почитанием смерти была связана любовь к ночи. Все время горели факелы, костры, огненные колеса, которые, по утверждениям тоталитарных мастеров создания нужного настроения, якобы воспевали жизнь, но на самом деле доказывали своим пафосом, что жизнь человеческая мало чего стоит на фоне апокалипсических образов, трепета перед всемирным пожаром, которому они придавали некий возвышенный смысл, и картин гибели, в том числе и собственной.

9 ноября 1935 года Гитлер провел большое торжество в честь павших в ходе марша к «Фельдхеррнхалле», по образцу которого этот ритуал повторялся в последующие годы. Архитектор Людвиг Троост соорудил на Кенигсплац в Мюнхене два классических храма, шестнадцать бронзовых саркофагов должны были принять эксгумированные останки первых «мучеников за идею». Накануне вечером, пока Гитлер выступал с традиционной речью в пивной «Бюргерброй-келлер», гробы были установлены в «Фельдхеррнхалле», стены которого затянули коричневой тканью и украсили горящими светильниками. Незадолго до полуночи Гитлер проехал, стоя в открытой машине, через триумфальную арку и улицей Людвигштрассе, освещенной мерцающими огнями светильников на пилонах, к Одеонсплац. Факелы штурмовиков и эсэсовцев образовывали вдоль улицы две колышущиеся огненные линии, за ними стояла густая толпа. После того как машина медленно подъехала к пантеону, Гитлер с поднятой рукой поднялся по ступеням, устланным красной дорожкой. Погруженный в себя, он постоял перед каждым гробом, «ведя неслышимый диалог», а затем мимо покойных молча прошло 60 тысяч соратников в мундирах, с бесчисленным множеством знамен и всеми штандартами партийных формирований.

Следующим серым ноябрьским утром началась процессия поминовения. По пути следования марша 1923 года были установлены сотни обтянутых кумачом пилонов, на постаментах которых золотыми буквами были начертаны имена «павших за движение». Из громкоговорителей беспрерывно звучал «Хорст Вессель», смолкавший на то время, когда колонна подходила к одному из пилонов и выкрикивалось имя павшего. Во главе колонны шагала рядом с Гитлером группа «старых борцов» в коричневых рубашках или форме образца 1923 года (серая куртка и лыжное кепи «Модель-23», выданные службой по организации торжеств 8-9 ноября). Символически переписывая историю, у пантеона, где когда-то участники марша разбежались под огнем армейских винтовок, к колонне присоединились представители вооружейных сил, и над городом прогремело шестнадцать артиллерийских залпов. Затем наступала гробовая тишина: Гитлер возлагал гигантский венок у мемориальной доски. Под торжественные звуки национального гимна «Германия, Германия превыше всего» все направились, осененные тысячами приветственно склоненных знамен, «маршем победы» на Кенигсплац. Проходила «последняя перекличка»: выкрикивались по очереди имена погибших, и толпа, словно оживший герой, произносила: «Здесь!» – это означало, что павшие стоят на «вечном посту».

Аналогично воздание почестей павшим находилось и в центре внимания нюрнбергского партсъезда, но спекулятивная идея смерти присутствовала, далеко выходя за рамки этого ритуала, почти в каждом церемониале, в речах и обращениях продолжавшегося несколько дней съезда. Черные парадные мундиры личной охраны фюрера, которые с самого начала появлялись, знаменуя начало события, прежде чем Гитлер под колокольный звон въезжал в украшенный флагами, запруженный колышущимися густыми толпами город, как бы задавали тон дальнейших торжественных актов, который проявлялся как в культе «Знамени крови»[74] так и в церемонии в Луитпольдхайне, когда Гитлер в сопровождении двух следующих на почтительной дистанции по обе стороны от него сподвижников шагал между двумя гигантскими квадратами выстроенных штурмовиков и эсэсовцев числом много больше ста тысяч по бетонной полосе, «дороге фюрера», к монументу памяти павших. Склонялись знамена, а он долго стоял, погруженный в себя, с выражением возвышенной скорби на лице, фигура отбрасывала узкую, резко очерченную тень – наглядное воплощение понятия вождя: посреди застывших в молчании солдат партии, но в то же время «отделенный от всех непреодолимым пространством одиночества

великих цезарей, которое принадлежит только ему и павшим героям, принесшим себя в жертву, веря в него и его миссию» [75].

Для усиления магического эффекта многие мероприятия переносились на вечерние или ночные часы. На партсъезде 1937 года Гитлер выступил перед выстроившимися на плацу политическими руководителями около восьми часов вечера. Сразу после рапорта Роберта Лея, что построение закончено, пространство внезапно залили потоки света. «Как метеоры, – говорилось в «Официальном сообщении», – лучи ста пятидесяти гигантских прожекторов врезались в покрытое черно-серыми облаками небо. На уровне облаков столбы света соединились в сияющий четырехугольник. Потрясающая картина: слабый ветер развевает флаги на трибунах вокруг поля. Ослепительный свет выделяет главную трибуну, увенчанную сияющей золотом свастикой в дубовом венке. На левом и правом пилоне из огромных чаш полыхает огонь» [76]. Под звуки фанфар Гитлер выходит на высокий центральный блок главной трибуны, и по команде с трибун на другой стороне вниз на арену устремляется поток более чем тридцати тысяч знамен, серебряные наконечники и бахрома которых вспыхивают в огне прожекторов. И как всегда, Гитлер был первой жертвой этой инсценировки из человеческой массы, света, симметрии и трагического чувства жизни. Именно в речах перед старыми сподвижниками после минуты молчания в память о погибших он нередко впадал в тон опьяненной экзальтации и в необычных выражениях свершал своего рода мистическое причащение, пока прожекторы не направлялись на середину поля, играя на кумаче, серебре и золоте знамен, мундирах и инструментах оркестров. «Я всегда ощущал, – воскликнул он в 1937 году, – что человек, пока ему подарена жизнь, должен стремиться к тем, с кем он ее строил. Чем бы была моя жизнь без вас! Вы нашли в свое время меня и поверили в меня – и это дало вашей жизни новый смысл, новую задачу! Я нашел вас – и только это позволило мне обрести настоящую жизнь и вступить в мою борьбу!» Годом раньше он сказал на такой же манифестации:

> «Разве можно не почувствовать в этот час то чудо, которое свело нас воедино! Однажды вы услышали голос, который захватил ваши сердца, пробудил вас, и вы пошли за ним. Вы шли целые годы, даже не видя человека, который говорил с вами; вы только слышали голос и шли за ним.
>
> Когда мы собираемся здесь, нас охватывает чувство чуда этой встречи. Не каждый из вас видит меня и не

> каждого из вас я вижу. Однако я чувствую вас, а вы чувствуете меня! Вера в наш народ сделала нас, маленьких людей, великими, сделала нас, бедняков, богатыми, сделала нас, робких, потерявших мужество, запуганных людей, смелыми и отважными, дала заблуждавшимся прозрение и объединила нас!» [77]

Сравнимые по пышности с церковной службой имперские партсъезды были не только высшей кульминацией национал-социалистического календаря, – они были и для самого Гитлера захватывающим осуществлением монументальных мечтаний его юности о костюмированных действах. Люди из его окружения рассказывали о том возбуждении, которое каждый раз охватывало его во время нюрнбергской недели и прорывалось наружу неиссякаемым потоком речей. Обычно за эти восемь дней он выступал по 15-20 раз, тут надо прежде всего отметить директивный доклад по вопросам культуры и большое заключительное слово, а между ними – до четырех выступлений в день: перед Гитлерюгендом, женщинами, представителями службы трудовой повинности или вермахта, как того требовал твердо сложившийся ритуал партийного съезда. Кроме того, почти каждый год он удовлетворял свою страсть к строительству все новыми закладками первого камня объектов грандиозно запланированного города-храма; и потом опять марши, парады, заседания, опьянение красками. Партсъезды приобретали значение и как место принятия политических решений: закон об имперском флаге или нюрнбергские расовые законы были приняты на партсъездах, хотя они и были наскоро сымпровизированы; можно себе представить, что этот форум с течением лет превратился бы в своего рода генеральную ассамблею тоталитарной демократии. И опять массовые манифестации, освящения штандартов, демонстрация мощи, единообразия и воли к порядку. В заключение сотни тысяч человек, волна за волной, проходили на протяжении пяти часов по средневековой Рыночной площади перед храмом Богородицы мимо Гитлера, который, словно окаменев, стоял с вытянутой вверх рукой в своем автомобиле. Вокруг него в старинном городе царило романтическое приподнятое настроение, «почти мистический экстаз, своего рода священное безумие», как отмечал один иностранный наблюдатель; подобно ему многие в эти дни забывали о своей критической сдержанности и могли признаться сами себе по примеру одного французского дипломата, что они становились в те мгновения национал-социалистами [78].

Твердо установленный календарь главных праздников национал-социалистического года, который открывался Днем захвата власти 30 января и завершался 9 ноября [79], включал в себя множество освящений, торжественных сборов, процессий и дней памяти. Специальное «Ведомство по организации праздников, досуга и торжеств» разрабатывало «Типовые программы торжеств национал-социалистического движения и указания по порядку проведения национал-социалистических митингов на основе сложившихся в период борьбы традиций» – так официально формулировалась его задача – и издавало специальный журнал [80]. Кроме того, были многочисленные торжества по таким случаям, которые нельзя предвидеть заранее. Их кульминацией, распространившей во всем мире обманчивый образ «третьего рейха», строгого, но обеспечивающего своим гражданам благосостояние, хотя, правда, не лишенного отдельных грубых черт, стали Олимпийские игры 1936 года. Берлин был избран местом их проведения еще до прихода Гитлера к власти, национал-социалисты умело, с блеском использовали уникальный шанс принять у себя представителей всего мира для того, чтобы противопоставить страшному образу лихорадочно вооружающегося, решившегося на войну нацистского рейха идиллические картины мира и созидания. Уже за несколько недель до начала игр прекратились все антисемитские тирады и, например, было дано указание руководителям районных отделов пропаганды НСДАП удалить со стен домов и заборов еще заметные следы антиправительственных лозунгов, не вывешивать злых карикатур и даже добиться того, чтобы «каждый владелец дома содержал палисадник в безукоризненном порядке» [81]. 1 августа под торжественный звон олимпийского колокола Гитлер открыл игры в окружении королей, принцев, министров и многочисленных почетных гостей; когда бывший чемпион-марафонец из Греции Спиридон Луис передал ему оливковую ветвь как «символ любви и мира», хор запел созданный Рихардом Штраусом гимн, и в небо взвились стаи голубей мира. В эту картину примирившейся планеты, созданную Гитлером, вполне вписывалось то обстоятельство, что некоторые из входивших на стадион команд – в том числе надо особенно упомянуть только что подвергшихся провокации французов, – проходя мимо трибуны, вскидывали руки в фашистском приветствии, которое они позже, наверстывая очки по части сопротивления, охотно объявили «олимпийским приветствием» [82]. На протяжении всех 14 дней непрерывный ряд блестящих мероприятий зачаровывал и восхищал гостей. Геббельс пригласил тысячу человек на ночной бал под открытым

небом на Павлиньем острове, Риббентроп устроил прием для почти такого же числа гостей на своей вилле в Далеме, в то время как Гитлер принимал многочисленных посетителей, которые воспользовались предоставленным играми случаем, чтобы увидеть человека, который, как казалось, держал в руках судьбу Европы и, может быть, мира.

Главным образом острая потребность в торжествах и массовых празднествах была, безусловно, продиктована необходимостью занять фантазию населения и мобилизовать его волю в едином направлении, но за ней проступают и мотивы, которые явно связаны с личностью и психопатологией Гитлера. Мы имеем в виду не только его неспособность жить буднями, его наивную потребность в музыкальных приветствиях, фанфарах и масштабных зрелищах, которая, бесспорно, владела им, не только уже отмеченную склонность рассматривать собственную жизнь как череду грандиозных выступлений на сцене, где он все вновь и вновь декламирует великую роль героя перед затаившей дыхание публикой, рисуя величественные картины в ослепительном свете блещущих из-за кулис молний. Скорее в страсти режима к праздникам и торжествам проявлялось старое стремление прикрыть действительность грандиозными декорациями. Световой купол, построенный в ночном небе лучами прожекторов, как магически отгораживающая стена – не только самый выразительный символ этой потребности. Альберт Шпеер рассказывал, что на это открытие его вдохновило желание скрыть при помощи комбинации темноты и разительных световых эффектов в высшей степени банальную деталь реальности – тучность разжиревших на своих теплых местах политических руководителей [83].

Кроме того, повсеместная склонность к церемониям выявляет также напряженную волю стилизовать реальное под желаемое, попытку продемонстрировать беспокойному бытию, которому все вновь и вновь угрожал хаос, триумф порядка. Это как бы заклинания «чур меня» напуганного сознания, и сравнения с ритуалами первобытных племен, на которые часто наводил проницательных современников вид марширующих колонн, море знамен и выстроенных в гигантские прямоугольники шеренг, отнюдь не так надуманы, как это представляется на первый взгляд. С психологической точки зрения это была та же воля к стилизации, которая с самых ранних времен определяла существование Гитлера и побуждала его ориентироваться и утверждаться в мире при помощи все новых амплуа: от ранней роли юноши из хорошей семьи и студента-повесы, который

прогуливался по Линцу с тросточкой и в лайковых перчатках, и далее, проходя через различные роли фюрера, гения и избранника судьбы, до стилизованного под Вагнера конца, который пытался воспроизвести в действительности оперный финал: он всегда подавал себя, занимаясь самовнушением, в чужих костюмах и «взятых взаймы» формах существования. Назвав себя после удавшегося внешнеполитического трюка с хвастливым простодушием «величайшим актером Европы» [84], он отметил тем самым не только способность, но и потребность в этом..

Эта потребность порождалась опять основным мотивом Гитлера – неуверенностью и страхом. Он избегал проявлять чувства столь же тщательно, сколь искусно ему удавалось изображать их. Он подавлял всякую спонтанность, но его все же выдавали отдельные, вроде бы не очень примечательные особенности – прежде всего глаза, которые никогда не приходили в спокойствие и даже в те моменты, когда Гитлер застывал как статуя, беспокойно бегали по сторонам; явно боясь открытого чувства, он смеялся, косо прикрывая лицо ладонью; он не терпел, например, когда другие видели его играющим с собакой, при появлении людей, как рассказывала одна из его секретарш, он «грубо выгонял собаку» [85]. Его непрерывно мучила озабоченность, как бы не показаться смешным или не подорвать свой авторитет каким-нибудь промахом своего окружения, даже перед домоправителем Прежде чем отважиться появиться на публике в новом костюме или новом головном уборе, он фотографировался в нем чтобы проконтролировать впечатление. Он не плавал, никогда не садился в лодку («Что я забыл в лодке?!»), не садился на лошадь, он вообще «не любил залихватства. Как часто оно оборачивается бедой, показывает опыт множества хрестоматийных случаев» [86], а жизнь свою он рассматривал как своего рода непрерывный парад перед гигантским собранием публики. Так, он пытался отучить Геринга от курения, обосновывая это в высшей степени характерным способом: нельзя же представить памятник с «сигарой во рту»; когда Генрих Хоффман привез осенью 1939 года из Москвы фотографии, на которых у Сталина была в руке папироса, он запретил их публикацию как бы из коллегиальных интересов, чтоб не нанести ущерб монументальной картине бытия диктатора [87]. По той же причине его мучил страх, что раскроется его частная жизнь. Характерно, что не сохранилось ни одного его частного письма, даже Ева Браун получала лишь коротенькие сухие записки, которые он, тем не менее, при всем своем недоверии, никогда не посылал по почте. Та комедия, которую он

до самого последнего момента разыгрывал перед своим широким окружением, должна была создать впечатление, что отношения с ней не носят близкого характера, это тоже свидетельствует о его неспособности жить без позерства. Самое личное письмо, которое осталось от него, – это, как ни парадоксально, объяснительная записка 24-летнего Адольфа Гитлера, скрывшегося от призыва, в адрес магистрата города Линца. «Особо важное правило, – говорил порой Гитлер, – подтвержденное старым жизненным опытом политических лидеров: никогда не фиксируй письменно то, что можно обсудить устно. Никогда!» Другой раз он высказывался так: «Люди слишком много пишут, начиная от любовных писем и кончая политическими. И всегда в них есть нечто, что могут повернуть против тебя» [88]. Он постоянно следил за своим поведением, и по свидетельству одного из окружавших его в быту людей, не говорил ни одного необдуманного слова; он знал лишь тайные страсти, скрытые чувства, суррогаты, и широко распространенный образ не контролирующего свои эмоции, дико жестикулирующего Гитлера отражает не правило, а исключение; он был предельно сосредоточенным человеком, дисциплинированным до комплексов.

Знаменитые порывы гнева Гитлера были, очевидно, нередко тщательно продуманными сценами самовозбуждения. Один из бывших гауляйтеров описывал, как у бушующего Гитлера в один из таких приступов буквально текла слюна по подбородку – таким, совершенно не отвечающим за себя и взбешенным он казался, но его логичная, рассудительная аргументация, которую он ни на мгновение не прерывал, говорила о наигранности внешнего поведения [89]. Предположение, что он сознательно хотел вызвать у людей нечто вроде «священного трепета» перед подобным неистовством, бесспорно, заходит слишком далеко; можно считать, что он и в таких ситуациях не утрачивал самоконтроль и использовал собственные чувства не менее целенаправленно, чем эмоции других. Как правило, вначале был трезвый расчет, и только в ходе его реализации он «раскручивал» свой темперамент в соответствии с обстоятельствами: он мог располагать к себе, проявлять трогательнейшее обаяние и быть жестоким и бесчеловечным, умел лить слезы, умолять и взвинчиваться до того часто описанного неистового возбуждения, которое приводило в крайний ужас всех собеседников и так часто ломало их сопротивление: он обладал «ужаснейшей силой воздействия на людей». К этому надо добавить особую способность подавлять собеседника внушением. Руководящий состав партии, гауляйтеры и «старые борцы», которые вместе с

ним достигли высот власти, бесспорно, представляли собой «сборище эксцентриков и эгоистов, каждый из которых гнул свою особую линию», конечно, они не были подобострастны в обычном смысле; то же самое можно сказать и, по меньшей мере, о части офицерства, и все же Гитлер навязывал им свою волю, как ему заблагорассудится: причем это происходило не только в период апогея его власти, но и в такой же степени и раньше, когда он был периферийной политической фигурой, на которую едва обращали внимание, и в конце, когда он был всего лишь выгоревшей оболочкой некогда могущественного деятеля. Некоторые дипломаты, прежде всего союзных держав, попадали под столь сильное влияние, что, казалось, они были скорее доверенными людьми Гитлера, чем представителями своих правительств [90]. В противоположность расхожим карикатурным описаниям, он никогда не обращался к своим собеседникам как к массовому собранию, как раз разнообразие его средств «ловца душ» придавало личным беседам нередко большую эффективность; атмосфера же митинга по-прежнему приводила его в настроение неизменной сильнейшей экзальтации, особенно с тех пор, как он стал пользоваться микрофоном и упиваться многократно усиленным металлическим звучанием собственного голоса.

Справедливо отмечалось [91], что способность Гитлера демагогически использовать свой темперамент наиболее наглядно проявлялась в его отношении к немецким меньшинствам за границей: полностью исходя из собственных интересов, он мог или громко жаловаться на их судьбу, или забывать о них. На немцев в Южном Тироле, Польше или Прибалтике он не обращал никакого внимания, пока этого требовала его внешнеполитическая концепция, но в случае изменения обстановки он тут же заходился неистовым гневом от «невыносимой несправедливости в отношении вернейших сынов нации». Взрывы его негодования были, очевидно, не только актерской игрой, но от более проницательных наблюдателей не укрывался содержавшийся в них элемент искусственного возбуждения, он тайком использовал тот гнев, который, как казалось, безудержно охватывал его. При этом ему очень хорошо помогали его неординарная способность вжиться в образ, его актерский талант полного вхождения в роль. Нередко он демонстрировал самые разные стороны своей личности в ходе одной и той же беседы, переходя, например, от сдержанного тона, резко меняя мимику, к внезапным взрывам гнева, бил кулаком по столу или нервно барабанил по подлокотнику кресла, а спустя несколько минут представал надменным хозяином положения,

искренним страдальцем или триумфатором. В годы, предшествующие его канцлерству, он порой копировал в узком кругу других людей, в том числе с мастерской беспощадностью показывал, как Матильда Кемниц, которая позже стала женой Людендорфа, напрасно пытается его, Гитлера, женить на себе… Гитлер словно снимал с этой светской дамы все ее оболочки набожности, философичности, научных интересов, эротики и так далее, пока от нее не оставалась одна злая кусачая мегера» [92].

Он, заблуждаясь, считал себя любителем музыки, но в действительности она мало что значила для него. Он посещал бессчетное число раз все оперы Рихарда Вагнера и только «Тристана» или «Майстерзингеров» слушал более ста раз, но не проявлял почти никакого интереса к симфонической и тем более камерной музыке, зато бывал, также огромное количество раз, на представлениях «Веселой вдовы» или «Летучей мыши», тут характерно сочетание интересов к грандиозному и незатейливо-облегченному. Редко и только в случае неимения лучшего слушал пластинки, ибо они лишали его возможности жить происходящим на сцене; в выборе того, что он порой слушал, ограничивался большими бравурными отрывками. Люди разного склада из его окружения подчеркивали, что после посещения оперы он говорил почти исключительно о вопросах сценической техники или режиссуры и почти никогда – о музыкальной интерпретации [93]. Ибо, строго говоря, музыка была для него не более чем весьма действенным акустическим средством усиления театральных эффектов. Тут он не мог обойтись без нее, к драматургии без музыки он был безразличен. Одна из его секретарш заметила, что в его библиотеке не было ни одного произведения классиков поэзии, и даже во время многочисленных визитов в Веймар он бывал только в опере и никогда не посещал театра. Высшим оперным достижением он считал финал «Гибели богов». Всегда, когда в Байрейте в огне крушился под звуки взрыва музыки храм богов, он в темноте ложи взволнованно целовал руку сидящей рядом с ним внучке композитора Винифред [94].

Эта потребность в театре проистекала из сути его личности. У него было особое чувство, что он выступает на сцене, и поэтому ему были нужны потрясающие все государственные акции, впечатляющие эффекты с громом и молнией и с грохотом оркестровой меди. Одержимый старым страхом актеров наскучить публике, он мыслил эффектными номерами и делал все, чтобы превзойти прежнее выступление. Та неуемность, которая характеризует его политические действия и придает им столь ошеломляющий характер, не позволяющий всем противникам прийти в себя, связана с этим точно так же, как его

завороженность катастрофами и мировыми пожарами, в которых его пессимистическая жажда эффектов видела возможности самого мощного воздействия на ход событий. Если вдуматься, в эффекты он верил больше, чем во все идеологии, и был, по сути дела, театральным существом, которое ощущало себя в своей среде, собственно говоря, только в тех иллюзорных мирах, которые оно противопоставляло действительности. Его недостаточная серьезность, лицемерие, мелодраматичность, дешевое злодейство, которые были в нем неистребимы, точно так же коренятся в этом, как презрение к реальности, которое было его сильной стороной до тех пор, пока сочеталось со своеобразным сильным ощущением действительности и методичной сосредоточенностью.

Особую роль в рамках этих усилий по стилизации себя под выбранный образ играют попытки мифологизировать собственное существование. Один из консервативных современников Гитлера, содействовавший его возвышению, заметил, что он никогда не терял ощущения разрыва между своим скромным происхождением и «удачным прыжком наверх» [95]; как и в юные годы, он продолжал мыслить сословными категориями. Порой он пытался заглушить сознание своего происхождения, вызывавшего чувство стеснения, тем, что демонстративно называл себя «рабочим», а иногда даже «пролетарием» [96]; но в общем у него преобладало стремление прикрыть низкую сословную принадлежность мифологизирующей аурой. То, что судьба избирает «одного из малых сих», самого обычного человека – это старый, апробированный мотив политической узурпации. Во вступительной части своих речей он постоянно культивировал миф о себе как «человеке из народа», представляя себя «неизвестным фронтовиком первой мировой войны», избранным Провидением «человеком без имени, без денег, без влияния, без сторонников» или «одиноким путником из ниоткуда» [97]. С этим же связана его любовь к пышным мундирам в своем окружении, на фоне которых пафос простой формы, которую носил он сам, производил тем больший эффект. Эту непритязательность, а также присущие ему строгость и мрачность, отсутствие у него женщин и замкнутость можно было превосходно объединить для общественного сознания в образ одинокого, великого, отягощенного бременем избранности деятеля, которого судьба отметила мистической печатью самопожертвования. Когда госпожа фон Дирксен порой говорила ему, что часто думает о его одиночестве, он подтверждал ее оценку: «Да, я очень одинок, но меня утешают дети и музыка» [98].

Как свидетельствуют такие высказывания, он не проявлял

цинизма в оценке собственной личности и роли и смотрел на себя скорее с возвышенными чувствами. Под Бергхофом находился угловатый горный массив Унтерсберг, в котором, согласно преданию, спал император Фридрих[99], который однажды вернется, разобьет врагов и выручит из беды свой народ. Не без взволнованности Гитлер видел в том факте, что его частная резиденция была напротив этой горы, важную примету: «Это не случайно. Я вижу в этом выражение моей миссии». Все чаще он удалялся туда, особенно когда хотел отдохнуть от «язвительных» берлинцев или «грубых» мюнхенцев, он предпочитал добродушие рейнландцев и еще спустя годы блаженно вспоминал, как люди во время визита в Кельн от восторга стали ритмично раскачиваться: «это была самая большая овация в моей жизни» [100]. Убеждение в своей высшей избранности побуждало его отныне регулярно апеллировать к Провидению, когда он описывал суть своей исторической миссии:

> «Я осознаю, на что способен человек и где пределы его возможностей, но я уверен, что созданные Богом люди должны выполнять волю Всемогущего. Бог создал народы не для того, чтобы они легкомысленно забывали о своей сути, портились и гибли… Сколь слаб в конечном счете отдельный человек во всей своей сути и действиях перед лицом всемогущего Провидения и его воли, столь неизмеримо сильным он становится в тот момент, когда действует в духе этого Провидения! Тогда в него вливается та сила, которая отличает все великие явления мира» [101].

Это убеждение лежало в основе его идеологических представлений и придавало им весомость религиозного принципа: оно давало ему твердость, решимость и непреклонную волю к осуществлению задуманного. Оно также разожгло культ его личности и подсказывало ему формы чистого идолопоклонства: Роберт Лей назвал его единственным человеком, который никогда не ошибался, Ханс Франк говорил, что он уникален как Христос, а один группенфюрер СС заверял, что фюрер больше того Бога, у которого было лишь двенадцать неверных апостолов, в то время как Гитлер стоит во главе спаянного одной клятвой народа. Пока Гитлер хладнокровно воспринимал подобные восхваления и использовал приемы культа гения лишь как психологическое средство укрепления своей власти, они служили значительным источником энергии. Когда же он не мог более справиться с задачей уравновешивания жгучего сознания своей миссии макиавеллистской

расчетливостью и сам уверовал в свою сверхчеловеческую суть, началось его падение [102].

Его социальная «неприкаянность» была лишь оборотной стороной этого мифологизированного взгляда на самое себя. Чем выше он поднимался, тем больше распространялся человеческий вакуум вокруг него. Он упорнее, чем когда-либо прежде, уходил от всех попыток «старых борцов» пообщаться с ним и их мучительного притязания на личную близость к нему. Он едва ли знал отношения иные, чем инсценированные, где каждый был статистом или инструментом: люди в действительности никогда не пробуждали его интереса и его участия. Его максима, что «связи с простым народом уделяется недостаточное внимание» [103], выдает уже казенным стилем формулировки искусственный характер этого намерения. Характерно, что и его склонность к архитектуре ограничивалась сооружением гигантских кулис; нам известно, с какой скукой он знакомился с проектами строительства жилых районов.

Всего лишь другой стороной того же процесса обеднения социальных связей было то, что в его присутствии какая-либо беседа становилась невозможной: или, как свидетельствовали различные очевидцы, говорил Гитлер, и все остальные слушали, или все другие беседовали, а Гитлер сидел погруженный в свои мысли, апатичный, отключившийся от окружения, не поднимая глаз, «ужаснейшим образом ковыряясь в зубах, – как вспоминает один из бывавших у него, – или беспокойно расхаживая. Он не давал собеседнику высказаться, постоянно прерывал его, его мысли невообразимыми прыжками метались от одной темы к другой» [104]. Его неспособность выслушивать других доходила до того, что он не слушал даже выступления по радио иностранных политических деятелей [105], отвыкнув от возражений, он знал лишь состояние absence [106] или монологи. Поскольку он больше почти не читал и терпел в своем окружении только поддакивающих или восхищающихся, он скоро оказался во все более плотной интеллектуальной изоляции, как бы замкнутом пространстве, которое отражало лишь его самого и доносило идущее со всех сторон эхо его непрерывного монолога с самим собой, но это была изоляция, к которой он сам стремился: он был раз и навсегда зафиксирован на прежних, имевших вид общих тезисов убеждениях, которые он ни расширял, ни менял, а лишь заострял.

Он непрестанно говорил о них, словно опьяняясь собственным голосом, неограниченной свободой мысли. Воспроизведенные в книге Германа Раушнинга беседы Гитлера

начала тридцатых годов отражают в какой-то степени, несмотря на всю стилизацию, маниакальный тон человека, как бы завороженного собственными тирадами и, казалось бы, открывающего для себя фантастические возможности словотворчества; сходное впечатление, хотя и с заметно меньшим накалом, производят застольные беседы в ставке фюрера: «Слово, – говорил Гитлер, – наводит мосты в неизведанные области» [107]. Во время официального визита Муссолини в Германию Гитлер после трапезы более полутора часов непрерывно обрушивал на гостя поток своей речи, не давая ему возможности высказаться, хотя тому тоже не терпелось изложить свои мысли. В подобную ситуацию попадали почти все посетители или сотрудники особенно в период войны, когда поток речи неутомимого оратора затягивался до глубокой ночи, отчаянно борющийся со сном генералитет должен был уважительно выслушивать «высокопарные рассуждения» об искусстве, философии, расе, технике или истории: ему всегда были нужны слушатели. Правда, они играли роль своего рода статистов, необходимых ему для развития идеи и самовозбуждения: он отпускает своих посетителей, заметил один проницательный наблюдатель, как «человек, только что сделавший себе укол морфия» [108]. Звучавшие порой возражения только стимулировали дальнейшие сумбурные ассоциации без пределов, без порядка и без конца.

Бедность человеческих привязанностей, которая изолировала его в человеческом отношении, работала на него в политическом плане: он знал лишь фигуры, которыми можно играть. Никто не мог преодолеть ту зону, которой он отделил себя от других, люди из ближайшего окружения были удалены всего лишь на меньшую дистанцию. Характерно, что самые сильные чувства он испытывал к некоторым покойным. В личных покоях его резиденции в Оберзальцберге висел портрет матери и умершего в 1936 году водителя Юлиуса Шрека, портрета отца не было, и Гели Раубаль была ему после смерти также явно ближе, чем при жизни. «В известном отношении Гитлер просто не человек, он не достижим, до него не дотянешься», – отмечала Магда Геббельс уже в начале тридцатых годов [109]. Уже на вершине власти, находясь в центре внимания миллионов, он сохранял в себе нечто от того как бы бесследно исчезнувшего молодого человека венского или мюнхенского периода, обстоятельства жизни которого были неизвестны даже ближайшим родственникам. Альберт Шпеер, в ком он временами, не без сентиментальных чувств, видел воплощение своей юношеской мечты о блестящей и изящной жизни буржуа, заявил на Нюрнбергском процессе: «Если бы у

Гитлера вообще были друзья, то я наверняка был бы одним из них» [110]. Но и он не преодолел ту полосу, отделявшую Гитлера от других, и, несмотря на столь многие дни и ночи, проведенные за разработкой планов и самозабвенными грандиозными мечтами, он никогда не был кем-то большим, чем исполнителем, которому отдавалось предпочтение перед другими. Хотя Гитлер и называл его, воздавая необыкновенную честь, «гением», он оказывал ему доверие только в рамках деловых вопросов. И оно отсутствовало в отношениях со следами эротического мотива, не было его и в связи с Евой Браун: в отличие от Гели Раубаль она была лишь его любовницей, со всеми страхами, играми в прятки и унижениями, с которыми связано это положение. Она сама рассказывала, как она сидела три часа рядом с Гитлером во время ужина в мюнхенском отеле «Четыре времени года», а он ей не разрешал говорить с ним, только незадолго до ухода, он сунул ей «конверт с деньгами».

Он познакомился с ней в конце двадцатых годов в фотоателье Генриха Хоффмана, и это знакомство, возможно, явилось одним из мотивов, толкнувших Гели Раубаль на самоубийство. Спустя некоторое время после смерти племянницы, Гитлер сделал Еву Браун своей любовницей. Она была простой девушкой с непритязательными мечтами и мыслями, в которых центральное место занимали любовь, моды, кино и сплетни, постоянное опасение, что ее бросят, а также эгоцентрические капризы Гитлера и его замашки мелкого домашнего тирана. В своем стремлении к запретам он запретил ей загорать, танцевать и курить («Если бы я заметил, что Ева курит, я тут же бы порвал с ней»). Его ревность была сильной, но в тоже время он обиднейшим образом не уделял ей внимания [111]. «Чтобы не быть совсем одной», она несколько раз просила у него собачку («это было бы так чудесно»), но Гитлер делал вид, будто ничего не слышал. Долгое время он держал ее в почти оскорбительно скромных условиях. Дневниковые записи, оставшиеся после нее, дают представление об ее несчастном положении. Вот один характерный пассаж:

> «Хочу только одного: тяжело заболеть и хотя бы 8 дней ничего не знать о нем. Почему со мной ничего не происходит, почему я должна терпеть все это? Лучше бы я никогда его не видела. Я в отчаянии. Теперь я опять покупаю снотворные порошки, после них я нахожусь в состоянии полутранса и думаю об этом не так много.
>
> Почему меня дьявол не заберет к себе? У него было бы наверняка лучше, чем здесь. Я ждала три часа перед

«Карлтоном» и должна была наблюдать со стороны, как он покупает цветы Ондре и приглашает ее на ужин. Я ему нужна только для определенных целей, ничего другого и быть не может.

Когда он говорит, что любит меня, то это его сиюминутное настроение. Все равно что его обещания, которые он никогда не выполняет. Почему он меня так мучает и не покончит дело сразу?»

Когда Гитлер в середине 1935 года три месяца не проявлял никаких знаков внимания, и она вдобавок к этому узнала, что с недавнего времени его постоянно сопровождает некая «валькирия» («он любит такие габариты»), она приобрела смертельную дозу снотворного и написала письмо, в котором ультимативно потребовала от Гитлера объяснений, хотя бы через посредника. «Боже, как я боюсь, что он сегодня не объявится, – говорится в последней записи того периода. – Я решила принять 35 доз, чтобы на этот раз все сработало наверняка. Ну хоть бы сказал, чтобы мне позвонили».

Ева Браун дважды пыталась совершить самоубийство. Первый раз уже в ноябре 1932 года, выстрелив из пистолета в шею, а второй раз – в ночь с 28 на 29 мая 1935 года. Этим она значительно встревожила Гитлера, тем более, что еще не была забыта история с Гели Раубаль. Только когда сводная сестра Гитлера фрау Раубаль, мать Гели, покинула в 1936 году Бергхоф и Гитлер взял на ее место Еву Браун, напряженность в отношениях прошла. Правда, она и дальше оставалась на «полулегальном» положении, ей приходилось прокрадываться боковыми входами и служебными лестницами и довольствоваться фотографией Гитлера во время завтраков и т. п., когда он оставлял ее одну; ей по-прежнему почти не разрешали появляться в Берлине и, как только приезжали гости, Гитлер почти всякий раз отсылал ее к себе в комнату. Но ее растущее чувство уверенности действовало на него, и она скоро уже вошла в тот самый узкий круг людей, в котором он не разыгрывал из себя великого человека, где он засыпал во время чая в кресле или в расстегнутом пиджаке приглашал других на просмотр фильмов или беседу у камина. Большая непринужденность выявляла вместе с тем его грубые, бесчувственные черты. Как-то он сказал Альберту Шпееру в присутствии своей любовницы: «Люди с очень развитым интеллектом должны выбирать себе примитивных и глупых женщин. Что было бы, если бы у меня сейчас была женщина, которая вникала бы в мою работу! В свободное время я хочу покоя» [112]. В некоторых сохранившихся узкопленочных

любительских фильмах можно видеть Еву Браун в обществе Гитлера на террасе резиденции Бергхоф: всегда в том слишком задорном настроении, чтобы в него можно было без труда поверить.

Распорядок обычного дня Гитлера неоднократно описывался: как он утром приоткрывал дверь своей спальни, которую имел обыкновение постоянно закрывать на ночь, как его рука механически нащупывала газеты, положенные на банкетке перед дверью, и опять исчезала [113]. Прогулки, поездки, обсуждения строительных проектов, приемы, выезды на автомобиле за город не составляли внешних рамок дня, а только делили его на вереницу развлечений. Сколь оригинальным был образ, который Гитлер умел придать публичным мероприятиям, столь же безликим был его личный стиль, который складывался из всех этих действий и спонтанно реализуемых капризов дня; частной жизни у него не было.

Его окружение состояло по-прежнему из адъютантов, секретарш, шоферов, ординарцев, «часть его сопровождения составляли эфебы[114], – описывает один наблюдатель, – волосы вьются мелкими кудряшками, ординарный, неотесанный народ с манерными жестами». Он продолжал предпочитать некритичную, не привыкшую много размышлять среду простых людей, к которой он привык с раннего детства, особенно если они «как он сам… были так или иначе выбиты жизнью из колеи». В их обществе он проводил в Оберзальцберге по неизменному монотонному порядку вечера, от которых у одного из участников осталось «лишь воспоминание странной пустоты» [115]. Вначале регулярно три-четыре часа смотрели кино, Гитлер любил прежде всего комедии на современные темы с плоскими шутками и сентиментальным концом. В список его любимых лент, которые он смотрел по десять раз и больше, входили «Квакс, невезучий пилот» и «Пунш на каминных щипцах» Хайнца Рюмана, комедия Белого Фердля о носильщике «Два тюленя», развлекательные ревю Вилли Форста, а также многочисленные иностранные фильмы, часть которых не шла в открытом прокате. Усталое и со словно налитыми свинцом конечностями общество собиралось затем у камина, настоящая, беседа никогда не завязывалась. Как и за большим объединенным столом, и здесь внушительная, широко расставленная мебель мешала кому бы то ни было обмену мыслями. В то же время на окружение парализующе действовал сам Гитлер, «лишь немногие люди чувствовали себя в какие-то моменты хорошо в его присутствии», – заметил один из старых его сподвижников уже за несколько лет до описываемого периода. Час-два сидели за мучительно тянувшимся, все время

обрывавшимся после пары банальных фраз разговором, Гитлер или молчал, или смотрел задумчиво на огонь, остальные смолкали из уважения и усталости; «Нужно было большое самообладание, чтобы присутствовать на этих бесконечных посиделках перед неизменно той же декорацией пляшущего огня» [116]. Только после того, как Гитлер между двумя и тремя часами ночи чопорно прощался с Евой Браун и вскоре после этого уходил сам, оставшиеся, словно освободившись, оживали в недолгом лихорадочном веселье. Аналогично проходили вечера и в Берлине, только там гостей было больше, и атмосфера была более напряженной. Все попытки внести какое-то разнообразие разбивались о сопротивление Гитлера, который в тривиальной пустоте этих часов старался отдохнуть от давления исполняемой им на протяжении дня роли. Резкой противоположностью тому был классический мотив тоталитарной пропаганды об окне, которое одиноко горит в ночи: «Каждую ночь до шести-семи часов утра был виден свет из его окна», – заявлял Геббельс; в стихотворении, которое зачитывали на праздниках молодежи, говорилось:

> «В твоем окне всю ночь не гаснет свет…
> А мы спокойно спим, не ведая заботы.
> В раздумьях ищешь ты единственный ответ.
> И вдохновенный плод твоей работы —
> Решенье найдено! – приветствует рассвет»[117][118].

Летом 1935 года Гитлер решил перестроить дачу в Оберзальцберге в импозантную резиденцию и сам разработал план, виды с разных сторон и сечение нового сооружения с указанием масштаба. Проекты эти сохранились и подтверждают зацикленность Гитлера на однажды разработанной схеме; он был просто не в состоянии еще раз по-новому взглянуть на стоящую задачу: в его эскизах всегда просматривался первоначальный проект, изменения были весьма незначительны. Не менее примечательна утрата чувства пропорции, например, в эскизе гигантского окна, из которого открывался вид на Берхтесгаден, гору Унтерсберг и Зальцбург, которое Гитлер позже любил представлять гостям как самое большое в мире опускающееся окно. «Основная инфантильная черта в сущности Гитлера», которую отмечал Эрнст Нольте прежде всего на основе анализа его неконтролируемой жажды присвоения, того неистового и неукротимого стремления получить желаемое, которое, например, заставляло подростка Адольфа в короткий срок посетить «Тристана» тридцать-сорок раз или побуждало

рейхсканцлера на протяжении полугода не менее шести раз ходить на представление «Веселой вдовы» [119], не в меньшей степени проявляется в этой сохранявшейся всю жизнь рекордомании: и в том и в другом случаях налицо были склонности человека, которому никогда не удалось преодолеть свою юность и ее мечты, травмы и обиды. Еще в шестнадцатилетнем возрасте он хотел удлинить 120-метровый фриз в линцском музее на 100 метров, чтобы город стал обладателем «величайшего пластического фриза на континенте», а спустя годы он хотел осчастливить город мостом, возвышающимся над потоком на 90 метров, «не имеющим себе равных в мире» [120]. Той же черте отвечала и его манера еще в предшествующий канцлерству период устраивать на шоссе гонки с другими машинами – прежде всего тяжелыми американскими автомобилями – и то упоение, которое он испытывал, вспоминая о превосходстве двигателя своего «Мерседеса». Самое большое опускающееся окно дополнялось огромным столом с 6-метровой мраморной плитой, самыми высокими куполами, самыми исполинскими трибунами, грандиознейшими триумфальными арками, короче, в неразборчивом возведении гигантских аномалий в норму. Как только он слышал от кого-нибудь из своих архитекторов, что он в своем проекте «побил» габариты какого-нибудь исторически известного здания, Гитлер приходил в восторг. Мегаломанические сооружения «третьего рейха» сочетали эту инфантильную одержимость рекордами с традиционным «фараоновским комплексом» тщеславных диктаторов, которые хотели компенсировать преходящий характер господства, которое держалось лишь на их особе, гигантскими стройками. В многочисленных высказываниях Гитлера эта установка звучит всякий раз именно так, например, на партсъезде 1937 года он сказал:

> «Поскольку мы верим в вечность этого рейха, и эти сооружения должны быть вечными, т. е. они предназначены не для 1940 или 2 000 года – они подобно соборам нашего прошлого должны войти в грядущие тысячелетия.
>
> И если Бог велит сегодня поэтам и певцам быть борцами, то он зато дал борцам архитекторов, которые увековечат успех этой борьбы в непреходящих произведениях уникального великого искусства. Это государство не должно быть исполином без культуры и силой без красоты» [121].

При помощи огромных сооружений Гитлер, помимо прочего,

хотел с запозданием удовлетворить свои былые мечтания в области искусства. В одной речи, относящейся к тому же периоду, он заявил, что «если бы не первая мировая война, он… вероятно, стал бы одним из лучших, если не лучшим архитектором Германии» [122]. Теперь он стал ее главным распорядителем строительных работ. Вместе с несколькими отобранными архитекторами он разработал концепцию реконструкции многих немецких городов, которая предусматривала появление исполинских зданий и объектов; их подавляющие размеры, отсутствие привлекательности и стилизованные под античность элементы формы создавали в целом впечатление помпезной укрощенной пустоты. В 1936 году он принял план превращения Берлина в столицу мира, «сопоставимую только с древним Египтом, Вавилоном или Римом» [123]: в течение примерно 15 лет он хотел преобразовать весь центр города в сплошной представительный монумент имперского величия, с широкими проспектами, сверкающими огнями гигантскими постройками, над всем этим ансамблем должно было царить сооружение в виде храма с куполом высотой почти в триста метров – самое высокое здание мира, способное вместить 180 тысяч человек. С возвышения внутри здания, под позолоченным орлом размером с целый дом он собирался обращаться к народностям Великогерманского рейха и диктовать законы поверженному в прах миру. Великолепная пятикилометровая улица связывала это сооружение с триумфальной аркой высотой в 80 метров, символом множества побед в основавших мировую империю войнах, «каждый год, – мечтал Гитлер в разгар войны, – через столицу рейха будут проводить толпу киргизов, чтобы они могли представить себе мощь и величие каменных памятников столицы» [124]. Аналогичные размеры были у Дома фюрера, напоминавшего дворец-крепость в самом центре Берлина, под него отводилось два миллиона квадратных метров земли, наряду с жилыми и служебными помещениями Гитлера он должен был включать в себя многочисленные залы для больших приемов, галереи, сады на крышах, фонтаны и театр. Не без оснований у его архитектора-фаворита, наткнувшегося позже на старые проекты, всплывали ассоциации с «архитектурой сатрапов в фильме Сесила Б. де Милла»[125]: эти проекты Гитлера отвечали духу времени, от которого его, как казалось, так многое отделяло; каменные свидетельства этой незаметной для непрофессионала внутренней гармонии можно видеть еще и сегодня в Москве, и, пожалуй, также в Париже, Вашингтоне и Голливуде.

В обширных планах перестройки почти всех крупных немецких городов реализовался гитлеровский идеал художника-

политика. Даже при занятости неотложными государственными делами он постоянно находил время для долгих разговоров об архитектуре. Когда его мучила бессонница, он часто рисовал по ночам планы или эскизы, он все время ходил через так называемый министерский сквер за рейхсканцелярией в бюро Шпеера, где, стоя перед тридцатиметровой моделью «образцовой улицы», освещаемой софитами, восторгался вместе со своим более молодым собеседником фантастическими проектами, которым не суждено было воплотиться в жизнь. Среди сооружений, запланированных для того, чтобы придать городу Нюрнбергу «его будущий вечный облик», были и стадион на 400 тысяч зрителей, которому предназначалось стать одной из самых грандиозных построек в истории, плац для построений с трибунами на 160 тысяч мест, улица парадов и несколько зданий для съездов – все это было объединено в гигантский комплекс храмов, проект которого получил на Всемирной парижской выставке 1937 года «Гран-при». Особое внимание Гитлер обращал, следуя совету Шпеера, на выбор строительного материала, чтобы сооружения даже в виде руин, заросшие плющом и с обрушившейся кладкой, свидетельствовали бы о величии его господства, как пирамиды Луксора говорят о мощи и славе фараонов. «Если однажды, – заявил он на закладке первого камня Дворца конгрессов в Нюрнберге, – движению суждено будет смолкнуть, то и спустя тысячелетия будет говорить этот свидетель. Посреди священной рощи древних дубов люди будут с благоговейным удивлением восхищаться этим первым колоссом среди сооружений третьего рейха» [126].

Однако архитектура была лишь дисциплиной искусства, которой он отдавал предпочтение и к которой проявлял особый интерес; у него были не ослабевавшие с дней юности склонности к живописи, музыкальному театру и, собственно говоря, ко всем искусствам. В соответствии со своим воззрением, что художественный уровень эпохи лишь отражает ее политическое величие, он видел основное доказательство законности своей государственной деятельности в культурных свершениях. На этом идеологическом фоне надо рассматривать самоуверенные пророчества начального периода «третьего рейха», что с его возникновением наступит «небывалый расцвет германского искусства» или же «новый художественный ренессанс арийцев». Тем больше было раздражение Гитлера, когда его мечта стать новым Периклом была развеяна [127], и все усилия дали не более чем воинствующий бидермайер. Отгородившись от мира, гордясь узостью своего мирка, он культивировал псевдоромантический культ заката, который за глухими окнами призывал

сосредоточиться на основном: вспаханное поле, от которого идет пар, героизм стальных шлемов, горные вершины с шапкой вечных снегов и все вновь и вновь полные сил труженики, одерживающие очередную трудовую победу. Порождаемое столь резким неприятием «фелькише» всего «ненашего» хирение культуры было очевидно не только в литературе, но и в изобразительном искусстве, хотя ежегодно проводившиеся общие выставки в Мюнхене, на части которых Гитлер сам возглавлял жюри, пытались прикрыть царившую пустоту триумфами нового, на которое не жалели средств. Злые нападки Гитлера на «ноябрьское искусство», проводившееся в прошлом «оболванивание под видом искусства» говорят о том, как твердо он приравнивал художественные нормы к политическим: он грозил посадить «неандертальцев от культуры» под врачебный надзор или в тюрьму и отдавал указания уничтожать «интернационалистскую художественную пачкотню», которая является не чем иным, как «порождением наглой бесстыдной претенциозности» [128]. На проведенной в 1937 году выставке «Выродившееся искусство» эта угроза была частично приведена в исполнение.

И в восприятии Гитлером искусства наталкиваешься на феномен сохранения в застывшем виде однажды выработанных взглядов, что характеризует весь мир его мыслей и представлений: с венского периода, когда все бури в художественном и интеллектуальном мире прошли бесследно мимо него, его критерии оценки не изменились. Холодная классическая пышность с одной стороны и помпезный декаданс – с другой, например, Ансельм фон Фойербах и Ханс Макарт были основными ориентирами его художественного чувства, которое он с озлоблением провалившегося абитуриента академии художеств возвел в обязательную норму. Кроме того, он восхищался прежде всего итальянским ренессансом и искусством раннего барокко, большинство картин в Бергхофе относится к этим двум периодам, особенно он любил картину с полуобнаженной натурой тициановского ученика Бордоне и большой раскрашенный эскиз Тьеполо; художников немецкого ренессанса он отвергал из-за их лишенной пышности строгости [129]. Педантичная точность воспроизведения изображаемого на его собственных акварелях позволяет предположить, что он в каждом случае требовал мастерской точности передачи, он ценил раннего Ловиса Коринта, но его поздние произведения, созданные в своего рода гениальном старческом озарении, вызывали у него раздражение, он приказал убрать их из музеев. Характерно, что он помимо всего этого любил сентиментальную жанровую живопись вроде изображений бражничающих монахов и толстых хозяев винных

погребов Эдуарда Грютцнера: он уже в юные годы, – рассказывал Гитлер своему окружению, – мечтал о таком успехе в жизни, чтобы позволить себе приобрести настоящего Грютцнера [130]. В его мюнхенской квартире на Принцрегентенплац висели многие работы этого художника, рядом с ними трогательное изображение идиллической сценки жизни маленьких людей кисти Шпицвега, портрет Бисмарка Ленбаха, сценка встречи в парке Ансельма фон Фейербаха и многочисленные версии «Греха» Франца фон Штука. В «Проекте Германской национальной галереи», который он набросал на первой странице своего альбома эскизов в 1925 году, мы находим этих художников и далее такие имена, как Овербек, Мориц фон Швинд, Ханс фон Маре, Дефреггер, Беклин, Пилота, Ляйбль и, наконец, Адольф фон Менцель, которому он отвел ни много ни мало пять залов [131]. Он весьма рано начал закупать через специальных уполномоченных все значительные произведения этих художников, готовя фонд музея, который он хотел создать в Линце после достижения своих целей и которым сам хотел руководить.

Однако как все, за что он брался, мгновенно и неумолимо разрасталось до гигантских размеров, так и планы строительства линцской галереи быстро достигли невообразимых масштабов. Поначалу он хотел собрать там только репрезентативные образцы немецкого искусства XIX века, но во время поездки в Италию в 1938 году богатство итальянских музеев, очевидно, произвело на него столь потрясающее впечатление, что он, как бы принимая вызов, решил построить в Линце нечто адекватное и колоссальное: в его фантазии возникла идея «величайшего музея мира», в начале войны этот замысел был расширен до окончательных рамок и связан с планом перераспределения всего европейского художественного достояния, согласно которому все произведения из так называемых германских зон влияния должны были быть перевезены в Германию и сведены в единую экспозицию прежде всего в Линце, который становился своего рода немецким Римом. Гитлер нашел компетентного специалиста-исполнителя этих планов. Им был генеральный директор Дрезденской галереи доктор Ханс Поссе. Вместе с большой командой помощников он прочесывал все, что предлагала европейская торговля, покупал или конфисковывал позже прежде всего в оккупированных странах все более или менее ценные художественные произведения и составлял их опись в многотомных «каталогах для фюрера». Помеченные Гитлером картины доставлялись в Мюнхен, и уже во время войны он, попав в этот город, первым делом посещал Дом фюрера, чтобы осмотреть отобранные произведения и, удалившись от

действительности, забыться за долгими разговорами об искусстве. Еще в 1943/44 году для Линца было приобретено три тысячи полотен, на их покупку, несмотря на все трудности с военным бюджетом, было потрачено 150 млн. рейхсмарок. Когда помещений в Мюнхене стало не хватать, Гитлер дал указания хранить коллекции в замках, таких как Хоэншвангау и Нойщванштайн, в монастырях и горных пещерах. Только в хранилище Альт-Аусзее, соляной шахте XIV века, к концу войны было спрятано 6755 полотен старых мастеров, а также рисунки, произведения графики, гобелены, скульптуры и бесчисленное количество антикварной мебели – последнее выражение разросшейся до невообразимых размеров инфантильной жадности. Среди картин были произведения Леонардо да Винчи и брюггская «Мадонна» Микеланджело, знаменитые работы Рубенса, Рембрандта, Вермеера, «Гентский алтарь» братьев ван Эйк и рядом с ними, например, картина «Чума во Флоренции» Ханса Макарта, которую Гитлер принял в подарок от Муссолини по его настоятельной просьбе. Команда взорвать хранилище, которая поступила из бункера ставки фюрера и была передана дальше гауляйтером Верхнедунайского округа Августом Айгрубером, пригрозившим за неисполнение казнью, не была выполнена [132].

Во внешности Гитлера всегда был какой-то странный налет неполноценности, вызывающий впечатление узости и недоведенности до конца, которое не могли вытеснить и многочисленные триумфы. Все личные черты не делали из него личности. Рассказы и воспоминания его окружения, дошедшие до нас, не дают осязаемого образа, он движется по сцене как некая безликость в маске, хотя он бесспорно владел этим сценическим пространством. Будучи одним из величайших ораторов в истории, он не оставил ни одного запоминающегося крылатого выражения, точно так же нет и ни одного яркого исторического анекдота о нем, хотя он обращался с властью как ему заблагорассудится, столь бесцеремонно и произвольно, как ни один другой политический деятель после конца абсолютизма.

Именно это преобладание эксцентричного личного начала побуждало различных наблюдателей называть его дилетантом; и действительно, если считать, что суть такого типа деятеля определяется господством склонности над долгом и настроения – над правилом и строгим постоянством, то деятельность Гитлера означала вторжение дилетанта в политику. Уже ранние обстоятельства его жизни постоянно несли на себе отпечаток этого свойства, которое в конечном счете вывело его в политику,

время его власти было прямо-таки сплошной демонстрацией нормативной силы личностного начала. С ним, этим качеством были связаны его манера идти напролом и радикальность используемых методов, благодаря которой он добился стольких успехов. Он был настоящим homo novus[133], его не обременяли ни опыт, ни уважение правил игры, он не знал сдерживающих моментов, которые существовали для специалистов, и не отступал в страхе перед непродуманным. Прежде всего он интуитивно схватывал общее направление, однако не представлял себе практических трудностей осуществления масштабных проектов, для него все было лишь детской игрой или актом воли, его смелость не осознавала самой себя. С «дилетантской отвагой в принятии решений» [134] он повсюду вмешивался, высказывал свои мнения, давал указания и делал вещи, на которые другие вряд ли вообще отважились бы. Дилетантским был его страх признать ошибку и его стремление демонстрировать знание тоннажа, калибров и вообще статистики; его эстетические склонности: восхищение гигантским, наивная любовь к трюкам, внезапным действиям и эффектам фокусника – также свидетельствуют о его дилетантской сущности. Характерно, что озарению он доверял больше, чем мысли, а гениальности – больше, чем прилежанию [135].

Этот дилетантизм он пытался скрыть пренебрежением к чувству меры, он доводил его до монументальности, чтобы сделать невидимым. В этом смысле он был деятелем XIX века – человеком, преклоняющимся перед величием в любой форме – будь то в размерах, будь то в людях. Величие было легитимизацией всего, мир был для него экспериментальным полем или просто кулисой, и в соответствии с беспардонным высказыванием Ницше он был уверен, что народ не что иное, как обходной путь природы для создания нескольких великих деятелей.. «Гении исключительного рода, – заявлял он, имея в виду самого себя, – не считаются с обычными людьми», их более глубокое понимание вещей, их высокая миссия оправдывают любую жестокость, в его представлениях сумма отдельных людей, копошащихся у ног гениев, претендующих на величие и славу, представлялась лишь «населяющими планету бациллами» [136].

В этих картинах гениальности, величия, славы, миссии и борьбы миров проявляется характерное начало мира представлений Гитлера: он мыслил мифологическими, а не общественными категориями, и его «современность» была пронизана архаическими элементами. Мир и человечество, состоящие из тысяч нитей переплетения интересов, темпераментов и энергетических зарядов, сокращались до

немногих инстинктивно схваченных противоречий, были друзья и враги, добро и зло, чистое противостояло нечистому, бедные богатым, рыцарь в сияющих латах на странно разрывающейся картине – охраняющему сокровище дракону. Гитлер отмечал, что Розенберг избрал для своего главного произведения «неудачное заглавие»: национал-социализм противопоставляет собой не миф XX века духу, а «веру и знание XX века мифу XIX века» [137]; в действительности же он был гораздо ближе к позиции философа партии, чем об этом говорят подобные высказывания. Дело в том, что рациональное в нем постоянно ограничивалось методичностью и не высвечивало темных уголков его страхов и аффектов; отталкиваясь от менее мифологических предпосылок, он действовал с планомерной трезвостью, и только отметив эти ничем не связанные между собой холодность и заблуждения, макиавеллизм и завороженность магией, можно описать феномен в целом.

Традиционную схему немецкой истории в решающей степени определяли некоторые огрубленные, произвольно сфабрикованные положения, извлекаемые из макулатурной груды трактатов целых поколений отечественных профессоров и лжепророков, эта схема была мифологизирована доктринами о существовании вечных врагов, сжимающих страну кольцом окружения, эти тезисы внедрили в сознание легенду об «ударе кинжалом в спину», верности Нибелунгов и радикальной альтернативе «победа или смерть». Верно, что национал-социализм не знал, в отличие от итальянского или французского фашизма, того феномена «искушения историей» [138], который относится к основным чертам фашистского мышления вообще: он не имел идеальной эпохи, которая мобилизовала бы его тщеславие и героический порыв к подражанию; он знал критическое отрицание истории, т. е. попытку стимулировать нынешнее тщеславие карикатурной картиной бывшей слабости и раздробленности. Гитлер, безусловно, извлекал из отрицания прошлого такой же заряд динамизма, как Муссолини – из заклинания славой Римской империи; чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить такие понятия, как Версаль или «период системы», Геббельс, например, дал указание руководителям пропаганды представлять период с 1918 по 1933 г. как «преступный» [139]. История, заметил как-то Поль Валери, представляет собой самый опасный продукт, изготовленный химией человеческого мозга, она Заставляет народы мечтать или страдать, делает их больными манией величия, тщеславными, невыносимыми, порождает у них чувство горечи; во всяком случае, ненависть и страсти народов в первой половине столетия

гораздо сильнее возбуждались фальсифицированной историей, чем всеми расовыми идеологиями.

Гитлеру пришлось использовать средство отрицания отечественного прошлого уже по той причине, что он не восхищался ни одной из его эпох: его идеалом был мир античности – Афины, Спарта («наиболее чистая форма расового государства в истории мира»), Римская империя. Он всегда чувствовал большую близость к Цезарю или Августу, чем к Арминию, их, а не неграмотных обитателей германских лесов он причислял к тем «самым светлым умам всех времен», которых он надеялся встретить на «Олимпе, … куда я вознесусь» [140]. Его все вновь и вновь занимала проблема гибели древних империй: «Я часто размышляю над тем, почему погиб античный мир». Он откровенно потешался над попытками Гиммлера воскресить разные бутафорские элементы язычества и древнейшие доисторические верования и саркастически реагировал на фольклор глиняных черепков и изыскания об использовании трав германцами, он «отнюдь не поклонник этих вещей»: «В то время, когда наши предки изготавливали каменные корыта и глиняные кувшины, с которыми теперь носятся наши исследователи доисторических времен, в Греции был построен Акрополь» [141]. В другом месте мы читаем: «Германцы, которые остались в Голыптейне, и спустя два тысячелетия были еще дикарями и находились на не более высокой ступени культуры, чем сейчас маори»; только перекочевавшие на юг народности пережили культурный подъем: «Наша страна была дикой… Когда нас спрашивают о наших предках, мы всегда должны называть греков» [142].

Наряду с античными государствами прежде всего Англия вызывала его восхищение, подстегивая его честолюбие, поскольку она смогла объединить в себе национальную сплоченность, сознание нации господ и умение мыслить широкими категориями – она была противоположностью немецкому космополитизму, немецкой робости и немецкой узколобости. И, наконец, объектом тайного, невольного изумления и табуизированных страхов и здесь выступали евреи. Их расовой самоизоляцией и чистотой он восхищался не меньше, чем их сознанием собственной исключительности, их упорством и острым умом; по сути дела он видел в них что-то вроде отрицательного сверхчеловека. Даже германские народы примерно той же расовой чистоты, – заявлял он в застольных беседах, – уступают им: если перебросить в Швецию пять тысяч евреев, то они в кратчайший срок завоюют все ведущие позиции [143].

Из этих умозрительных элементов, какими бы неточными и

эклектичными они ни были, он сконструировал идею «нового человека»: тип, который сочетал в себе спартанскую твердость и непритязательность, римский этос, английскую манеру человека-господина и расовую мораль еврейства. Эта расистская фантасмагория возникала все вновь и вновь из жажды власти, самоотдачи и фанатизма, из преследований и военного угара: «Тот, кто понимает национал-социализм только как политическое движение, – заверял Гитлер, – почти совсем не разбирается в нем. Он более чем религия: он воля к созданию нового человека» [144].

Это было его сокровеннейшей и отраднейшей мыслью, представлением, которое компенсировало все страхи и лишения, его позитивной идеей: собрать арийскую кровь, пропадающую втуне во всех садах Клингзора[145] этого мира и обеспечить сохранность этой драгоценной чаши на все времена, чтобы стать неуязвимым властелином мира. Перед видением «нового человека» замирали все расчеты тактики укрепления власти и всякий цинизм. Уже весной 1933 года Гитлер дал указание принять первые законодательные меры, которые вскоре расширились до обширного набора целенаправленно используемых средств, частично предназначенных для того, чтобы остановить так называемую деградацию расы, а частично для «возрождения нации… при помощи сознательного формирования нового человека». На Нюрнбергском партсъезде 1929 г. Гитлер заявил в заключительном слове: «Если бы в Германии ежегодно рождался миллион детей и 700-800 тысяч самых слабых уничтожались, то конечным результатом, возможно, стало бы даже укрепление наших сил»; теперь интеллектуальная обслуга режима подхватила эти идеи и сконцентрировала их до объявления «всемирной войны… дегенератам и зараженным»; представитель расовой философии Эрнст Бергман, по его словам, «бестрепетно устранил бы миллион экземпляров человеческого мусора, которым набиты большие города» [146]. Параллельно с антисемитскими мерами проходили многочисленные акции по «обеспечению хорошей крови» – от принятия особых законов о браке и наследственном здоровье до обширных программ стерилизации и эвтаназии[147].

Меры по линии евгеники[148] дополнялись педагогической деятельностью: ибо «духовная раса», – считал Гитлер, – есть нечто более солидное, стойкое, чем просто раса», этот тезис он обосновывал «превосходством духа над плотью» [149]. Отобранная по расовым критериям элита должна была получать идеологическую закалку и разнообразную подготовку в системе образования нового типа – в национально-политических воспитательных заведениях («Напола»), школах Адольфа Гитлера,

орденсбургах и прежде всего – в организованных Розенбергом высших школах, создание которых, однако, не продвинулось дальше начальной стадии. В одном из своих монологов перед немногими доверенными лицами Гитлер описывал новый тип человека, воплощенный отчасти в СС: ему присущи свойственные хищнику демонические черты, он «бесстрашен и свиреп», сам он-де испытывает ужас при его виде [150]. Хотя уже с первого взгляда понимаешь, что такие схемы были выжимкой из трудов различных авторов, в них были ходульные элементы, сочиненные ради литературного эффекта; присущие тоталитарному режиму интересы удержания власти и самосохранения не позволили бы им осуществиться; эти интересы требовали формирования не демонического, а дисциплинированного, не бесстрашного, а агрессивного типа, правда, с дрессированной агрессивностью, которую можно было использовать для любых целей. Однако особенностью и поразительной силой Гитлера была способность превращать книжные схемы в реальность. Новый человек, по образу которого должна была формироваться юная элита будущего Великогерманского рейха, был страшен не описанными выше, а совсем другими свойствами: его отличали исключительная податливость и узколобый идеализм, он был не столько свирепым, сколько механически заведенным, строго выполняющим команду, смелым в деле и исполненным сознанием своей роли господина, в основе которого лежало «стремление уничтожить других», как заявил Гитлер 13 февраля 1945 в одном из последних записанных монологов [151].

Однако пока этот тип вырисовывался лишь в контурах. Быстро возродить арийскую кровь и превосходство из материала, изрядно замутненного в расовом отношении, было нельзя. «Мы все страдаем пороком перемешанной, испорченной крови», – заявлял порой Гитлер, и действительно, в явлении нового человека нетрудно разглядеть страдание от собственной нечистоты и слабости. Он вел счет на долгие десятилетия [152]. В речи, относящейся к январю 1939 года, он говорил, что данный процесс будет продолжаться лет сто. Только после его завершения большинство немецкого народа будет располагать теми качествами, которые позволят завоевать мир и господствовать над ним. Он не сомневался в успехе дела. «Государство, – писал он уже в послесловии к „Майн кампф“, – которое в век загрязнения рас уделяет внимание уходу за своими лучшими расовыми элементами, однажды должно стать властелином Земли» [153].

У него же самого оставалось немного времени; как тревожно

прогрессирующий упадок расы, так и сознание непродолжительности человеческой жизни гнали его вперед. Несмотря на апатичный основной настрой, его жизнь характеризуется лихорадочной неуемностью. Уже в письме, датированном июнем 1928 года, он писал, что сейчас ему 39 лет, так что «в самом благоприятном случае остается лет двадцать» для выполнения его «огромной задачи» [154]. Опасение, что его жизнь может пройти бесполезно, стало с этого времени постоянно дающим о себе знать доводом, его постоянно мучила мысль о преждевременной смерти. «Время торопит, – сказал он в феврале 1934 года и продолжил: – Моей жизни не хватит… Я должен заложить фундамент, на котором после меня будут строить другие. Я не увижу завершения дела» [155]. Он также боялся покушений, того, что какой-нибудь «преступник, идиот» устранит его и не даст свершить свою миссию.

Из таких комплексов страха он развил педантичную заботу о себе. Он старался продлить свою жизнь при помощи обширнейших мер – от непрерывно расширявшейся гиммлеровской системы слежки, которая, как огромный глаз, пристально следила за всей страной, до вегетарианства, к которому он перешел в начале тридцатых годов, как бы неуместно ни показалось бы нам сегодня обеспечивать выполнение «огромной задачи» полицейским аппаратом и одновременно мучными супами. Он не курил, не пил, даже избегал кофе и чая, довольствуясь жидким отваром из трав. В более поздние годы – тут дело не обошлось без его личного врача профессора Морелля – он попал прямо-таки в медикаментозную зависимость, он непрестанно принимал какие-то средства или по меньшей мере сосал пастилки. Он с ипохондрической тщательностью наблюдал за самим собой. Появлявшиеся порой колики он считал симптомом надвигающегося рака. Когда один из сторонников посетил его весной 1932 года во время предвыборной кампании на пост президента в одной гамбургской гостинице, он заявил ему, поглощая овощной супчик, что у него нет времени ждать, «нельзя терять ни одного года. Я должен быстро прийти к власти, чтобы решить в остающееся мне время гигантские задачи. Должен! Должен!» [156] В высказываниях более поздних лет и отдельных речах также встречаются схожие идеи, в кругу близких к нему лично людей он постоянно говорил, что «у него осталось уже немного времени», «что скоро он уйдет отсюда», что «ему осталось жить лишь несколько лет».

Заключения врачей мало что говорят. Да, Гитлер страдал и в более поздние годы болями в желудке и жаловался порой после 1935 года на нарушения кровообращения. Но ни одно из

имеющихся заключений врачей не позволяет объяснить его неуемную активность иными, нежели психогенными причинами, известными по биографиям многих исторических деятелей с особо ярко выраженным сознанием своей миссии. Это предположение подтверждается его одержимостью поездками, напоминающей непрерывную попытку бегства, а также бессонницей, которая с каждым годом увеличивалась, а во время войны привела к тому, что день и ночь в ставке фюрера буквально поменялись местами. Задерганность лишала его способности заниматься какой бы то ни было регулярной деятельностью или трудом; то, что он начинал, надо было тут же довести до конца, в этом контексте правдоподобно уверение, что он вряд ли внимательно прочел до конца хоть одну книгу. Словно оглушенный наркотиком, он мог днями не делать ничего серьезного, «дремля, как крокодил в иле Нила», а потом внезапно развивать бурную активность. В относящейся к апрелю 1937 года речи в «орденском замке» Фогельзанг он говорил о своих «расшатанных нервах» и добавил почти заклинающе: «Я должен привести в порядок свои нервы… Это совершенно ясно. Заботы, заботы, заботы, сумасшедшие заботы – это действительно чудовищный груз. Теперь я хочу очень многое перепоручить другим; надо привести опять в порядок нервы» [157]. Стоя перед моделью своей столицы с влажными глазами, он сказал Альберту Шпееру: «Если бы только я был здоров». Многочисленные акции, молниеносный характер которых казался плодом хладнокровного расчета, были не в последнюю очередь выражением этого нетерпения, которое порождалось его предчувствиями смерти: «Я уже не увижу завершения дела!» В речи перед руководителями пропаганды он сказал в октябре 1937 года, согласно записям одного из участников:

> «Ему, Гитлеру, осталось по человеческим меркам не так уж долго жить. В его семье долгожителей не было. И мать, и отец умерли рано.
>
> Поэтому необходимо развязаться с проблемами, которые требуют своего решения, как можно раньше, при его жизни. Последующие поколения с этим уже не справятся. Лишь он в состоянии осилить их.
>
> После тяжелой внутренней борьбы он освободился от еще имевшихся с детства религиозных представлений. «Я чувствую себя теперь свежим, как жеребенок на лугу!» [158]

В основе все более настойчивого нажима Гитлера был психологический мотив. Многочисленные признаки говорят о

том, что у него с конца 1937 года росла озабоченность, как бы приторможенная завершением захвата власти революция не утратила в целом свою динамику и не ушла в песок. Умеренность внутри страны, жесты мира направо и налево, постоянные праздники – короче говоря, весь этот маскарад режима, опасался он, люди могут принять всерьез и вследствие этого можно пропустить момент «броска к великим конечным целям» [159]. В своей почти неограниченной вере в мощь пропаганды он считал ее способной превратить искусно сооруженные идиллические декорации в саму идиллию. В важной секретной речи 10 ноября 1938 года перед главными редакторами отечественной прессы он наглядно проанализировал этот разрыв:

> «Обстоятельства заставляли меня на протяжении десятилетий говорить почти только о мире. Лишь постоянно подчеркивая волю немцев к миру и их мирные намерения, я мог отвоевывать пядь за пядью для немецкого народа свободу и давать ему вооружения, которые были необходимы для следующего шага. Само собой разумеется, что подобная пропаганда мира на протяжении десятилетий имеет и свои нежелательные стороны; в умах многих людей может легко закрепиться воззрение, что сегодняшний режим на самом деле решил сохранять мир при всех обстоятельствах.
>
> Однако это привело бы не только к неверной оценке целей нашего строя, это прежде всего привело бы к тому, что немецкой нацией… овладел бы дух, который в перспективе, создавая пораженческое слюнтяйство, неизбежно свел бы на нет успехи нынешнего режима.
>
> Я был вынужден говорить о мире. Теперь необходимо постепенно психологически перенастроить немецкий народ и без спешки объяснить ему, что есть вещи, которые, если их нельзя добиться мирными средствами, должны быть достигнуты силой…
>
> Эта работа потребовала целых месяцев; она была планомерно начата, продолжена, усилена» [160].

Действительно, со второй половины 1937 года заблокированной радикальной энергии был вновь дан свободный ход, и нация стала последовательнее, чем когда-либо прежде, организовываться в соответствии с предусматривающими использование насилия намерениями режима. Только теперь начался расцвет государства СС, которое находило свое самое наглядное выражение в увеличении числа концлагерей и ускоренном формировании вооруженных эсэсовских соединений.

«Красному кресту» было дано указание готовиться на случай мобилизации, а Гитлерюгенду – заменить рабочих, призываемых из военной промышленности. Массивные нападки на юстицию, церкви и бюрократию создавали новые комплексы запуганности, в то время как Гитлер с небывалой резкостью развернул атаки на скептически настроенных интеллектуалов («эти наглые, бесстыжие писаки», совершенно ненужные в качестве «компонентов народного сообщества») и восхвалял простодушных людей. В ноябре 1937 года печать получила директиву не обсуждать публично начавшиеся во всех звеньях НСДАП приготовления к «тотальной войне» [161].

Подготовка в этом направлении проводилась с возрастающей последовательностью и в экономической области. Предприниматели, вопреки теории о мощно доминировавшей роли интересов крупного капитала в «третьем рейхе», опять оказались в положении угодливых исполнителей, которые «имели на политические решения не больше влияния, чем их подсобные рабочие» [162]: если они не справятся с предъявляемыми требованиями, то «погибнет не Германия, а самое большее несколько предпринимателей», заверял Гитлер уже осенью 1936 года в меморандуме, в котором была изложена его экономическая программа. Как всегда, он и тут исходил исключительно из соображений эффективности; истолковывать экономическую политику режима в ключе ее подчиненности идеологическим моментам означало бы уже с самых первых шагов анализа не видеть свободную от доктринерства рассудочность Гитлера в подходе ко всем практическим вопросам; хотя по сути налицо был капиталистический строй, он был многократно завален и искажен до неузнаваемости авторитарными командными структурами.

В меморандуме Гитлер впервые в качестве канцлера обязывающе заявил о своих планах экспансии. Необходимость ускорить их реализацию он обосновывал тревожным положением в области снабжения Германии сырьем и продовольствием, рисуя при этом кошмарные картины чудовищно перенаселенной страны, где на одном квадратном километре проживает 140 человек, этот образ стал к тому времени расхожим штампом. Предпосылкой проведения политики расширения жизненного пространства должен был стать «четырехлетний план» по образцу Советской России. Его осуществление было возложено на Германа Геринга, который, не стесняясь в средствах, не считаясь с затратами и экономическими последствиями, заставлял предприятия выполнять планы обеспечения автаркии и роста военного производства. Все меры, потребовал Геринг на заседании кабинета министров, на котором был изложен

меморандум Гитлера, должны выполняться так, как если бы «над нами нависала угроза войны», несколько месяцев спустя он разъяснял на встрече с промышленниками, что сейчас главное не экономичность производства, а вообще производство – это была последовательная программа хищнической эксплуатации ресурсов, которая была нацелена на завоевательную войну и оправдывалась только ею: надо «постоянно помнить, – заявлял во время войны сам Гитлер, – что в случае поражения все, как ни крути, будет потеряно» [163]. Когда Яльмар Шахт стал критиковать эти методы, произошел разрыв, в результате которого ему пришлось вскоре уйти из кабинета министров[164]. Теперь Гитлер считал, что время выжидания истекло. В меморандуме он заявлял, что переход экономики на военные рельсы должен проводиться «в том же темпе, с той же решимостью и, если необходимо, с той же беспощадностью», как политические и военные приготовления к войне; эта цель была сформулирована им в заключительных строках меморандума: «Я ставлю следующие задачи: первая – через четыре года немецкая армия должна быть боеспособна; вторая – через четыре года немецкая экономика должна быть готова к войне» [165].

Донесения с оценкой настроений того времени говорят об «известной усталости и притупленности восприятия» [166]. Порой невыносимая заорганизованность жизни людей, политика режима в отношении церкви, нападки на меньшинства, культ расы, давление на искусство и науку и самоуправство глав администрации вызывали озабоченность, которая, правда, выражалась лишь в осторожных высказываниях недовольства и не выливалась в какие бы то ни было серьезные формы. Большинство пыталось, насколько это было возможно, жить своей жизнью, не обращая внимания на сам режим и чинимые им беззакония. Вышеупомянутый доклад отмечает, что «немецкое[167] приветствие – его распространенность может считаться индикатором колебаний политических настроений – за пределами среды партайгеноссе и чиновников почти полностью вытеснено обычными приветствиями и отвечают на него мимоходом».

Хотя такие доклады локального характера вряд ли позволяют делать обобщающие заключения, они все же объясняют нетерпение Гитлера и определяют его задачу: вырвать население из летаргии и создать такую ситуацию, при которой чувство тревоги, гордость и оскорбленное самосознание объединились бы так, чтобы «внутренний голос народа сам стал бы со временем требовать пустить в ход силу» [168].

Там, где перспективу определяет Гитлер, на горизонте всегда

появляется война, – писал в это время Конрад Хайден, задаваясь в этой связи вопросом, а мог ли вообще существовать этот человек «не ломая всего мира?» [169].

Глава III
«САМЫЙ ВЕЛИКИЙ НЕМЕЦ»

А теперь, деточки, каждая поцелует меня в щечку!.. Это самый великий день моей жизни. Я войду в историю как самый великий немец!

Адольф Гитлер – своим секретаршам. (15 марта 1939 г.)

Совещание 5 ноября 1937 г. – Дело Бломберга – Кризис из-заФрица– Присоединение Австрии. – Чехословакия: «Приговоренная к смерти страна». – Поездка Гитлера в Италию. – Чемберлен в Берхтесгадене. – Годесберг. – Немецкое сопротивление. – Мюнхенская конференция. – Недовольство Гитлера – Психологическая мобилизация. – Конец Чехословакии. – Поворотный пункт.

Нетерпение Гитлера и его решимость перейти к действиям нашли свое первое конкретное выражение в секретном совещании 5 ноября 1937 года, содержание которого дошло до нас благодаря записям одного из участников – адъютанта от вермахта полковника Хосбаха. В самом узком кругу – присутствовали министр иностранных дел фон Нойрат, военный министр фон Бломберг и верхушка военного руководства – фон Фрич, Редер и Геринг – он развил мысли, которые явились сенсацией не только для части присутствующих, но и позже, на Нюрнбергском процессе, когда они выплыли на свет; ибо, как представляется, они свидетельствовали о решении развязать войну в самые ближайшие сроки.

Тем не менее, психологическое значение выступления явно перевешивает политическое, записи Хосбаха – не столько свидетельство новых намерений, сколько скорее все более явного страха перед временем. Ибо то, что Гитлер излагал в приподнятом настроении на протяжении речи, продолжавшейся более четырех часов подряд, было не чем иным, как концепцией, разработанной годы тому назад в «Майн кампф» и которой он с того момента неуклонно придерживался во всех своих шагах и маневрах. Новым был только тон конкретного нетерпения, в

котором он обращался теперь к этой концепции и соотносил ее со сложившимся политическим положением. Он просит собравшихся, заметил он во вступительном слове, рассматривать это выступление «как завещание на случай преждевременной смерти» [170].

Если видеть цель немецкой политики, начал он, в обеспечении и преумножении народа, то тут же наталкиваешься на «проблему пространства»: все экономические и социальные трудности, все расовые угрозы можно устранить исключительно за счет преодоления нехватки пространства, от этого просто зависит будущее Германии. В отличие от держав либеральной эпохи колониализма страна не может решить проблему, захватив заморские территории, «жизненное пространство» Германии расположено на континенте. Всякая экспансия, как показывает история мировой Римской империи или Британской империи, связана с немалым риском; «ни раньше, ни сейчас не было и нет территории без хозяина, наступающий всегда наталкивается на владельца». Но большой выигрыш, а именно – обладающая сплошным пространством великая империя, которой владеет и которую обороняет твердое «расовое ядро», оправдывает большой риск: «Для решения германского вопроса может быть только один путь – путь насилия», – заявил он.

После того как такое решение принято, речь может идти только о времени и наиболее благоприятных обстоятельствах для применения силы, – продолжал он. Через шесть-восемь лет условия могут измениться только в невыгодном для Германии направлении. Поэтому, если фюрер будет еще жив, то «не позднее 1943 – 1945 гг. он намерен обязательно решить проблему пространства для Германии», если возможность представится раньше – будь то в результате тяжелого внутреннего кризиса Франции или вовлеченности западных держав в какую-нибудь войну, – то он решил использовать ее. В любом случае начало должен положить разгром Австрии и Чехословакии, – подчеркнул он и однозначно заявил, что он не удовлетворится требованием пересмотра границ по этническим критериям, т. е. присоединением Судетской области, а ставит задачу завоевать всю Чехословакию, чтобы создать исходную базу для достижения далеко идущих имперских целей. Германия приобретет благодаря этому не только 12 дивизий, но и базу для обеспечения продовольствием 5-6 млн. человек, если исходить из того, что «из Чехии произойдет принудительная эмиграция 2 миллионов, а из Австрии – 1 миллиона человек». Он считает вероятным, что Англия и Франция «уже втихомолку списали со счетов Чехию». Может быть, уже в следующем году произойдут конфликты,

например, в Средиземном море, в которые будут серьезно втянуты западные державы. В таком случае он начнет действовать уже в 1938 году. Принимая во внимание эти обстоятельства, с немецкой точки зрения нежелательны быстрая и полная победа Франко, интересы рейха скорее требуют сохранения напряженности в Средиземноморье; следует обдумать вопрос, не поддержать ли еще больше Муссолини в направлении дальнейшей экспансии, чтобы создать повод для войны между Италией и западными державами; таким образом Германия получит самую верную возможность «молниеносно» осуществить «нападение на Чехию».

У части собравшихся эти идеи явно вызвали значительную тревогу, Хосбах отметил в описании хода конференции, что последующая дискуссия «принимала порой очень резкие формы» [171]. Против планов Гитлера выступили прежде всего Нойрат, Бломберг и Фрич, со всей серьезностью предостерегая от риска войны с западными державами. Гитлер собрал участников совещания главным образом для того, чтобы довести до них свое нетерпение и в особенности, как он заявил до начала встречи Герингу, «раскрутить Бломберга и Фрича», «поскольку он совершенно не доволен тем, как идет наращивание вооружения сухопутных войск» [172], в ходе же обсуждения он внезапно осознал наличие почти принципиальных разногласий. Четырьмя днями позже Фрич просил Гитлера еще раз принять его, «крайне потрясенный» Нойрат также попытался, как он позже рассказывал, побеседовать с ним и отговорить от курса на войну. Но Гитлер вдруг решил покинуть Берлин и уединился в Берхтесгадене. Он был в явно раздраженном настроении и отказался принять министра иностранных дел до своего возвращения в середине января.

Конечно, не случайно все выступившие 5 ноября оппоненты стали жертвами большой перестановки кадров, при помощи которой Гитлер вскоре после совещания устранил последние оплоты консерваторов, прежде всего в армии и министерстве иностранных дел. Судя по всему, именно это совещание окончательно убедило его, что его вызревшие планы, требовавшие готовности к риску, крепких нервов и своего рода разбойничьей отваги, нельзя было осуществить с осмотрительными представителями старого буржуазного слоя. Их рассудительность и стремление настоять на своем доводили его до белого каления, что еще больше усиливалось его антибуржуазными чувствами. Он ненавидел их высокомерие, их сословную претенциозность, и точно так же как он представлял себе тип национал-социалистического дипломата не в качестве

корректного чиновника, а революционера, агента, «помощника по части организации развлечений», умеющего «сводничать и делать фальшивки», так, на его взгляд, и генералитет должен был служить «волкодавом, готовым разорвать на куски чужих, когда его не держат крепко за ошейник». Было очевидно, что Нойрат, Фрич и Бломберг вряд ли отвечали этому представлению; при новом режиме они были, как сказал один из их окружения, «динозаврами» [173].

Таким образом, характерной чертой ноябрьского совещания 1937 года стало взаимное отрезвление. Консерваторы, в особенности верхушка военного руководства, которые так и не научились думать категориями, выходящими за узкие рамки их целей и интересов, с изумлением констатировали, что Гитлер оказался верен своему слову и был действительно Гитлером, в то время как последний укрепился в своем презрительном отношении к партнерам-консерваторам, даже к тем, кто в последние годы подготовки молчал, проявлял послушание и служил – и они проявили малодушную непоследовательность: хотели величия Германии, но не желали риска, выступали за рост вооружений, но не за войну, поддерживали национал-социалистический порядок, но не национал-социалистическое мировоззрение. Исходя из этого вывода, в новом свете выступают упорные усилия консерваторов в предшествующие годы сохранить ограниченную независимость в дипломатии и армии. В том, что касается МИД, они были менее успешны, поскольку Гитлер отчасти смог переиграть его стремление к самоутверждению благодаря системе специальных уполномоченных с дипломатическими функциями, но с гораздо более сплоченным социальным блоком офицерской касты он до тех пор, несмотря на отдельные успехи, справиться не мог. Оппозиция Бломберга, Фрича и Нойрата его откровениям требовала срочного решения проблемы. В критических ситуациях ему всегда приходил на помощь случай, вот и теперь ряд событий предоставил ему благоприятную возможность, которую он с его необыкновенной реакцией по части тактики мгновенно использовал. Тремя месяцами позже он поставил на решающие руководящие посты новых людей и нацелил дипломатический и военный аппарат на реализацию предстоящих задач.

Казалось бы совсем невинным исходным пунктом дела было намерение фон Бломберга вновь жениться (его первая жена умерла задолго до этого). Правда, тут был один сомнительный момент: избранница, фрейлейн Эрна Грун, как признавал сам Бломберг, была женщиной с «известным прошлым» и,

следовательно, не отвечала строгим сословным критериям, существовавшим в офицерском корпусе. Нуждаясь в совете, он как коллеге доверился Герингу, последний, однако, настоятельно рекомендовал жениться и более того, помог организовать выезд в эмиграцию соперника, за что ему были уплачены деньги [174]. 12 января 1938 года, не без определенной конфиденциальности, состоялось венчание. Свидетелями были сам Гитлер и Геринг.

Однако уже спустя немного дней пошли слухи, что брак фельдмаршала оказался мезальянсом, ибо новая супруга была в свое время в поле зрения полиции нравов. Документы полиции скоро подтвердили, что только что обвенчавшаяся особа состояла некоторое время на учете как проститутка и однажды была даже наказана за то, что подрабатывала в качестве фотомодели для непристойных фотографий. Поэтому, когда Бломберг спустя 12 дней вернулся из короткого свадебного путешествия, Геринг уведомил его, что он после такого скандала больше не может занимать свой пост, офицерский корпус также не видел оснований вступиться за генерал-фельдмаршала, который так долго со столь юношеским энтузиазмом находился под очарованием Гитлера. Двумя днями позже, во второй половине дня 26 января его принял с прощальным визитом Гитлер: «Эта история легла слишком тяжелым грузом на меня и на Вас, – заявил он, – я не мог больше делать вид, что ничего не случилось. Мы должны расстаться». В коротком разговоре о преемнике Гитлер исключил не только кандидатуру Фрича, но и Геринга, который в своем ненасытном стремлении к новым постам пустил в ход все рычаги, чтобы прибрать к рукам и это кресло. Похоже, что в ответ на это Бломберг предложил Гитлеру, в чьи намерения и входило поступить таким образом, занять этот пост самому. «Когда пробьет час Германии, – сказал в заключение Гитлер, – я увижу вас рядом с собой, и все былое будет забыто» [175]. Пока Геринг еще усерднее интриговал, чтобы обойти соперника, Фрича, решение было, очевидно, уже принято.

Тогда совместными усилиями Геринга и Гиммлера на свет божий извлекли второе полицейское дело, в котором Фрич обвинялся в гомосексуализме. Словно в дешевом фарсе ничего не подозревающему главнокомандующему сухопутными войсками была устроена в рейхсканцелярии очная ставка с подкупленным свидетелем, чьи обвинения хотя и оказались вскоре несостоятельными, но все-таки достигли своей цели – дали Гитлеру повод для обширных кадровых перестановок 4 февраля 1938 года. Пришлось также уйти и Фричу. Гитлер непосредственно, лично взял на себя командование вермахтом. Военное министерство было упразднено, его место заняло

Верховное командование вооруженных сил во главе с генералом Вильгельмом Кейтелем[176]; чувствуешь себя прямо-таки тайным свидетелем гитлеровского комедиантства, когда читаешь записи в дневнике Йодля о назначении Кейтеля: «В 13 часов Кейтеля в гражданском вызывают к фюреру. Тот изливает ему сердце, как трудно ему приходится. Он становится все более одиноким… Он говорит К., что полагается на него, „как бы ни было вам трудно со мной, – держитесь. Вы теперь мое доверенное лицо и единственный советник в вопросах вермахта. Единое и последовательное руководство вермахтом для меня дело святое и неприкосновенное“. И тут же, без всякого перехода, в том же тоне: „Я беру вас, мне нужна ваша помощь“. Преемником фон Фрича стал генерал фон Браухич, которого, как и Кейтеля, поставили на новый пост, учитывая его угодливость и слабохарактерность, он заявил, что „готов на все“, „что потребуют от него“, особо надо отметить его заверение, что он ближе познакомит сухопутные силы с национал-социализмом [177]. В ходе этих перестановок 16 пожилых генералов были отправлены на пенсию, 44 других смещены, а чтобы смягчить разочарование Геринга, Гитлер присвоил ему звание фельдмаршала.

Одним ударом, без малейших признаков сопротивления военных Гитлер устранил таким образом последний сдерживавший его, более или менее серьезный фактор власти; это было как бы «бескровное 30 июня». Он презрительно сказал, что теперь уверен в трусости всех генералов [178]. Его пренебрежительное отношение было еще усилено той беспринципностью, с которой многочисленные представители генералитета уже до реабилитации фон Фрича заявляли о своей готовности занять освободившиеся посты. Этот процесс одновременно показал, что внутреннее единство офицерского корпуса было окончательно сломлено, и сословная солидарность, которая уже в случае убийства фон Шляйхера и фон Бредова ничем себя не проявила, перестала существовать. Поникший духом генерал-полковник фон Фрич заявил «перед будущей историографией», как он сформулировал для протокола, о своем возмущении таким «позорным обращением». Однако группе офицеров, для которой случившееся стало исходной точкой заговорщической деятельности и попыток установить с ним контакт, он отказал в поддержке, и тогда, и полгода спустя, фаталистически заметив: «Этот человек – судьба Германии, и эта судьба пройдет свой путь до конца» [179].

Между тем перетряска не ограничилась вермахтом. На том же заседании, где Гитлер объявил об изменениях в военном руководстве, было сообщено об освобождении Нойрата с поста

министра иностранных дел, его место занял Риббентроп. Одновременно были назначены некоторые важные новые послы (Рим, Токио, Вена). Сколь «непринужденно» Гитлер распоряжался делами государства, видно по тому, как он мимоходом назначил Вальтера Функа министром экономики. Гитлер встретил его как-то вечером в опере и в антракте предложил ему этот пост; Геринг, заявил он, даст ему дальнейшие инструкции. На заседании 4 февраля он был представлен как преемник Шахта. Одновременно это было последним заседанием кабинета министров в истории режима.

На всем протяжении кризиса Гитлер был озабочен тем, что заграница может истолковать эти процессы как симптом скрытой борьбы за власть и увидеть в них признак слабости. Кроме того, он опасался новых столкновений, если разбирательство дела Фрича в военном суде, на которое ему пришлось бы согласиться, если бы генералитет стал на том настаивать, извлекло бы на свет божий состряпанную интригу и реабилитировало генерал-полковника: «Если это станет известно в войсках, произойдет революция», – предсказывал один из посвященных в дело. В силу этого Гитлер решил закамуфлировать один кризис другим, гораздо более масштабным. Уже 31 января Йодль записал в своем дневнике: «Фюрер хочет отвлечь внимание от вермахта, держать Европу в напряжении и вызвать назначением на различные новые посты новых людей впечатление не временной слабости, а концентрации сил. Шушниг должен не набираться храбрости, а дрожать» [180].

Этим была обозначена точка кризиса, на которую теперь решительно взял курс Гитлер. С июльского соглашения 1936 года он ничего не делал для улучшения германо-австрийских отношений, скорее, он использовал договор только для того, чтобы, казуистически прикрываясь видимостью законности, затевать все новые ссоры. Правительство в Вене с растущей озабоченностью отмечало, как кольцо вокруг него постепенно сжималось все плотнее. Взятые им под сильным нажимом обязательства по соглашению ограничивали его свободу действий точно так же, как все более тесные отношения между Римом и Берлином. Кроме того, имелось сильное подпольное национал-социалистическое движение в собственной стране, ободряемое и оплачиваемое рейхом, оно развило вызывающую активность. В своей страстной кампании за аншлюс оно могло опереться не только на старую мечту немцев об объединении, которое наконец стало возможным после распада двуединой монархии в 1919 году, но и на австрийское происхождение Гитлера, личность которого, казалось, предвосхищала идею единства. Пропаганда

движения действовала на страну, жившую с незабытыми великодержавными воспоминаниями в плохо функционирующем государстве-обрубке, которое было ей безразлично. Униженное, во многих отношениях дискриминируемое в сравнении с другими государствами-преемниками разгромленной монархии, обедневшее и пребывавшее в оскорбительной зависимости, население Австрии в растущей степени испытывало потребность в переменах, которая ощущает боль от существующего состояния слишком сильно, чтобы еще и задавать вопросы о реалиях будущего. С неуменьшающимися чувствами этнической и исторической связи оно все больше обращало свои взоры на словно преобразившуюся, самоуверенную Германию, вызывавшую страх и ужас среди вчерашних высокомерных победителей.

Курт фон Шушниг, преемник убитого канцлера Дольфуса, отчаянно искал помощи. После того как он напрасно старался в начале лета 1937 года добиться британских гарантий, его долгое, упорное сопротивление национал-социалистам, осуществляемое при помощи запретов и преследований, стало постепенно ослабевать. Когда Папен предложил ему в начале февраля 1938 года встретиться с немецким канцлером, он в конце концов скрепя сердце согласился. Утром 12 февраля он прибыл в Берхтесгаден, Гитлер встретил его на ступенях резиденции Бергхоф. Сразу после приветствия неожиданно разбушевавшийся Гитлер, драматически разъряяясь, обрушил на гостя град обвинений; слова о впечатляющей панораме, открывавшейся в зале резиденции, Гитлер отмел в сторону: «Да, здесь зреют мои мысли. Но мы встретились не для разговоров оКраузе, ни Англия, ни Франция, ни Италия не пошевелят и пальцем, чтобы помочь ей. Он потребовал свободы деятельности национал-социалистов, назначения своего приверженца Зейс-Инкварта министром безопасности и внутренних дел, всеобщей амнистии, а также ориентации австрийской внешней и экономической политики на курс рейха. Настало время обеда, и возбужденно жестикулировавший Гитлер превратился, по рассказам Шушнига, как ни в чем не бывало, в любезного хозяина, но во время заключительной беседы он в ответ на замечание австрийского канцлера о том, что он по конституции своей страны не может давать никаких окончательных обещаний, распахнул дверь и, выставив Шушнига, криком, в угрожающем тоне позвал генерала Кейтеля. Когда последний вошел и, закрыв дверь, спросил, что приказывает фюрер, тот ответил: «Абсолютно ничего! Посидите здесь!» Немного позже Шушниг подписал обязательство выполнить предъявленные требования. Приглашение Гитлера на ужин он отклонил. В сопровождении Папена он выехал через

границу в Зальцбург. За всю поездку он не произнес ни слова. Зато беспечно болтал Папен: «Да, фюрер может быть и таким, теперь вы сами видели. Но когда вы приедете в следующий раз, говорить будет гораздо легче. Фюрер может быть обаятельным» [181]. В следующий раз Шушниг попал в Германию под конвоем, путь его лежал в концлагерь Дахау.

Берхтесгаденская встреча значительно стимулировала деятельность австрийских национал-социалистов. Серией дерзких актов насилия они как бы уведомляли, что скоро придут к власти, все попытки Шушнига организовать хоть какое-то сопротивление запоздали. Чтобы оказать «в последний час» противодействие открытому распаду власти, он решил вечером 8 марта провести в следующее воскресенье, 13 марта, плебисцит, благодаря которому перед лицом всего мира хотел опровергнуть утверждение Гитлера, что за него большинство австрийского народа. Но Берлин тут же нажал на него, и он отказался от своего замысла. По настоянию Геринга Гитлер решил в случае необходимости принять против Австрии военные меры, после того как Риббентроп доложил из Лондона о нежелании Англии воевать за этот роковой реликт Версальского договора; без Англии, как он знал, не выступит и Франция; только у Муссолини, как казалось некоторое время, поглощение Вены немцами вызвало бы раздраженную реакцию. После всего случившегося Гитлер направил в среду 10 марта принца Филиппа Гессенского с написанным от руки письмом в Рим, в котором говорилось об австрийском заговоре против рейха, угнетении патриотически настроенного большинства и угрозе гражданской войны. В конце концов как «сын австрийской земли» он не может сложа руки смотреть на происходящее, продолжал он, теперь он решил восстановить законность и порядок на своей родине. «Вы, Ваше Превосходительство, поступили бы так же, если бы речь шла о судьбе Италии». Он заверял Муссолини в своей, как он писал, прочной симпатии и нерушимости границы по Бреннеру: «Эта граница никогда не подвергнется каким-либо изменениям» [182]. После нескольких часов возбужденной подготовки, вскоре после полуночи, была издана директива № 1 по операции «Отто»:

> «Я намерен, если другие средства не приведут к цели, осуществить вторжение в Австрию вооруженными силами, чтобы установить там конституционные порядки и пресечь дальнейшие акты насилия в отношении настроенного в пользу Германии населения.
>
> Командование всей операцией я принимаю на себя… В наших интересах провести всю операцию без

применения силы, в виде мирного ввода войск, который будет приветствовать население. Поэтому избегать всяких провокаций. Но если будет оказано сопротивление, то сломить его силой оружия со всей беспощадностью…

На границах Германии с другими государствами пока что никаких мер предосторожности не принимать» [183].

Самоуверенный, лапидарный тон документа почти полностью скрывал атмосферу истерии и колебаний, в которой он возник. Все рассказы людей из окружения Гитлера говорят об исключительной путанице решений, бестолковой неразберихе, в которой оказался Гитлер во время этой первой экспансионистской акции в своей карьере. Множество скоропалительных, неверных решений, холерических взрывов раздражения, бессмысленных телефонных звонков, приказов и указаний об их отмене сменяли друг друга в течение немногих часов между воззванием Шушнига и 12 марта: по всей видимости, давали себя знать «расшатанные нервы», которые Гитлер, вопреки своему намерению, не смог «привести в порядок». Он возбужденно требовал от военного руководства разработать за несколько часов план операции, контрпредложения Бека и позже фон Браухича он раздраженно отверг, затем он отменил свой приказ о переброске частей, а потом вновь распорядился выполнять его, и в добавление к этому – заклинания, угрозы, недоразумения: Кейтель говорил позже о «мучительнейшем времени» [184]. И если бы Геринг в нужный момент не взял инициативу в свои руки, то мир бы, вероятно, увидел, сколько невротической неуверенности и метаний проявляет Гитлер в ситуациях, связанных с большой напряженностью. Но Геринг, который в силу своей замешанности в «деле Фрича», был во всех отношениях заинтересован в акции и ее эффекте дымовой завесы, энергично толкал колеблющегося Гитлера вперед. Спустя годы Гитлер со всем восхищением психически неустойчивого человека перед хладнокровной флегматичностью своего соратника, почти запинаясь, заметил: «Рейхсмаршал пережил вместе со мной очень многие кризисы, он в ситуациях кризиса холоден как лед. Лучшего советника, чем рейхсмаршал, в периоды кризиса не найти. В эти времена рейхсмаршал проявляет жестокость и хладнокровие. Я всегда замечал, что в критические, судьбоносные моменты он не останавливается ни перед чем и тверд как сталь. Лучшего советчика не найдешь, никак не найдешь. Он прошел вместе со мной через все кризисы, самые суровые кризисы, он

был холоден как лед. Всегда, когда дела принимали совсем опасный оборот, он был холоден, как лед…» [185]

На следующий день, 11 марта, Геринг ультимативно потребовал отставки Шушнига и назначения новым федеральным канцлером Зейс-Инкварта. Во второй половине дня по команде из Берлина по всей Австрии на улицы высыпали национал-социалисты. В Вене они проникли в ведомство федерального канцлера, заполнили лестницы и коридоры, расположились в служебных помещениях, так продолжалось до тех пор, пока Шушниг не объявил вечером по радио о своей отставке и дал указание австрийской армии отходить при вступлении немецких частей без сопротивления. Когда федеральный президент Миклас твердо отказался назначить Зейс-Инкварта новым канцлером, Геринг в ходе одного из многочисленных телефонных разговоров с Веной дал одному из доверенных лиц примечательные указания:

> «Слушай меня внимательно: главное заключается в том, чтобы Зейс-Инкварт теперь овладел всей правительственной властью, занял радиостанцию и т. д.. – . Зейс-Инкварт должен прислать сюда следующую телеграмму, записывайте: «Временное австрийское правительство, которое после отставки правительства Шушнига видит свою задачу в том, чтобы восстановить спокойствие и порядок в Австрии, обращается к германскому правительству с настоятельной просьбой поддержать его в выполнении этой задачи и помочь предотвратить кровопролитие. С этой целью оно просит германское правительство как можно скорее прислать немецкие войска».

После короткого диалога Геринг в заключение заявил: «Итак, наши войска перейдут сегодня границу… Пусть пошлет телеграмму как можно скорее. Покажите текст телеграммы и скажите ему, что это наша просьба – может телеграмму вообще не отправлять, пусть только скажет, что он согласен» [186]. В то время как национал-социалисты занимали общественные здания по всей стране, Гитлер, прежде чем Зейс-Инкварта уведомили о его собственном обращении за помощью, в 20. 45 окончательно отдал приказ на выступление. Поступившую позже просьбу Зейс-Инкварта задержать немецкие войска он отклонил. Примерно двумя часами позже поступило ожидавшееся с нетерпением известие из Рима; приблизительно в половине двенадцатого позвонил Филипп Гессенский, экзальтированная реакция Гитлера показывала, от какого напряжения освободило его сообщение

принца.

Филипп Гессенский: «Я только что вернулся из Палаццо Венеция. Дуче воспринял все дело очень благосклонно. Передает вам самый сердечный привет…»

Гитлер: «Передайте, пожалуйста, Муссолини, что я ему никогда этого не забуду».

Филипп Гессенский: «Есть».

Гитлер: «Никогда, никогда, что бы ни случилось… Теперь, когда австрийское дело улажено, я готов идти с ним сквозь огонь и воду, меня ничто не остановит… Можете просто сказать ему, я ему действительно от всего сердца благодарен. Я ему этого никогда, никогда не забуду. Я ему этого никогда не забуду».

Филипп Гессенский: «Есть, мой фюрер».

Гитлер: «Этого я ему никогда не забуду, что бы ни случилось. Если он когда-нибудь окажется в беде или опасности, то может быть уверен, что я приду на помощь, чего бы это ни стоило, что бы ни случилось, пусть хоть весь мир поднимется против него» [187].

12 марта, во второй половине дня Гитлер под колокольный звон пересек границу у своего родного города Браунау и четырьмя часами позже, проехав через украшенные цветами деревни, мимо сотен тысяч стоявших плотной толпой людей, прибыл в Линц. У черты города его ожидали министры Зейс-Инкварт и Глайзе фон Хорстенау, а также Генрих Гиммлер, который уже вечером накануне отправился в Вену, чтобы развернуть чистку страны от «предателей народа и других врагов государства». Явно растроганный Гитлер произнес с балкона ратуши краткую речь, обращенную к ожидавшей его в сумерках толпе, в ней он снова развивал идею своей особой миссии: «Если Провидение позвало меня из этого города и поставило во главе рейха, то, значит, оно возложило на меня определенную миссию, такой миссией могло быть только одно: вернуть мою дорогую Родину Германскому рейху! Я верил в эту миссию, жил и боролся ради нее, теперь, как мне думается, я ее выполнил!» На следующее утро он возложил венок на могилу своих родителей в Леондинге.

Судя по всему, до этого времени Гитлер еще не принял конкретного решения о будущем Австрии. Предположительно, он до самого последнего момента хотел выждать реакцию заграницы, увидеть, каким будет сочетание случайностей, взаимосвязей и шансов в новой ситуации, которые он надеялся использовать быстрее, чем противники. Похоже, что лишь под впечатлением триумфальной поездки из Браунау в Линц,

ликования, цветов и знамен, всего элементарного упоения от объединения, которое не оставляло права мешкать или идти на альтернативные варианты, он решился на незамедлительный аншлюс. В отеле «Вайнцингер» в Линце он подписал поздним вечером 13 марта «Закон о воссоединении Австрии с Германским рейхом». При этом он был, по свидетельству одного из очевидцев, очень взволнован. Он долго молчал, по его щекам катились слезы, наконец он сказал: «Да, верное политическое действие не дает пролиться крови» [188].

Теперь же и на следующий день, когда Гитлер в обстановке ликования и под колокольный звон ехал из замка Шенбрунн в Вену, сбылась его самая старая мечта: оба города, которые были свидетелями его неудач, отвергали и унижали его, теперь были у его ног в восхищении, стыде и страхе. Вся бесцельность и бессилие тех лет были теперь оправданы, вся потребность в награде за перенесенное была удовлетворена в тот момент, когда он с балкона замка Хофбург «доложил» сотням тысяч собравшихся на Площади героев о «завершении самого великого дела» своей жизни: «Как фюрер и канцлер немецкой нации и рейха я докладываю истории о вступлении моей Родины в Германский рейх».

Сцены восторга, которые разыгрывались во время воссоединения, «не поддавались описанию», – писала одна швейцарская газета [189], и хотя трудно определить, что в этом опьянении, цветах, криках и слезах было управляемой, а что спонтанной страстью, не может быть никаких сомнений, что этот процесс затронул глубочайшие чувства нации. Для людей, которые часами стояли на тротуарах улиц в Линце, Вене или Зальцбурге, в этот момент сбылась та мечта о единстве, которая в виде элементарной потребности пережила все продолжавшиеся на протяжении поколений ссоры, расколы и братоубийственные войны между немцами, и именно это чувство чествовало Гитлера как человека и преодолевшего и завершившего дело Бисмарка[190]; превращало клич «Один народ – одно государство – один фюрер!» в нечто большее, чем просто пропагандистский лозунг. Лишь так можно объяснить, что эйфорией объединения были охвачены не только церкви, но и такие социалисты-великогерманцы, как Карл Реннер [191]. Из того же слоя сознания произрастала надежда на окончание внутриполитической разорванности и страх перед существованием в нежизнеспособном государстве – все эти чаяния подкреплялись желанием, чтобы объединенный могучей силой рейх достиг того блеска, который угас с концом монархии и, казалось, возвращался в этом блудном сыне Австрии, каким бы незаконным и

вульгарным он ни был.

На фоне чувства исполнения мечты, величия и восторга от всего происшедшего оставались без внимания акты насилия, которые сопровождали события. «Войсковые части были усилены вторым прибывшим эшелоном – отрядами спецназначения СС, 40 тысячами полицейских и верхнебаварским соединением «Мертвая голова», – отмечалось в служебном дневнике Верховного главнокомандования вермахта [192], эти части мгновенно создали систему жестокого подавления. Мы проявили бы недопонимание психологии Гитлера, если бы сочли, что в опьянении от объединения растаяли его старые обиды, и на самом деле, в жестокости и неистовости, с которой его команды не так как в Германии 1933 года, а открыто набросились на противников и так называемых расовых врагов, чувствуется некоторый элемент незабытой ненависти к этому городу. В доходивших порой до дикости бесчинствах прежде всего возвращающегося из Германии Австрийского легиона проявилось то как бы азиатское начало, которое Гитлер привнес в либеральный немецкий антисемитизм и которое теперь здесь было «спущено с цепи» в действиях его приверженцев, одного с ним происхождения и с такой же эмоциональной структурой: «голыми руками, – рассказывал один из очевидцев, – университетские профессора должны были драить улицы, набожных белобородых евреев крикливые парни загнали в храм и заставляли их делать приседания и хором кричать „Хайль Гитлер!“ Невинных людей ловили на улице, как зайцев, и гнали их чистить уборные в казармах СА; все, что выдумала в своих оргиях болезненно грязная, пропитанная ненавистью фантазия за многие ночи, осуществлялось теперь в буйствах среди бела дня» [193]. За пределы германской части Европы выплеснулась волна эмиграции, страну оставили Стефан Цвейг, Зигмунд Фрейд, Вальтер Меринг, Карл Цукмайед и многие другие, писатель Эгон Фридель выбросился из окна своей квартиры, впервые национал-социалистический террор проявился во всей откровенности.

Однако для внешнего мира эти обстоятельства веса не имели: слишком неопровержимой была ссылка на вильсоновский принцип самоопределения, который получил триумфальное подтверждение в пятом и последнем плебисците режима 16 марта в виде привычных 99 процентов проголосовавших «за». Западные державы, правда, изъявляли беспокойство, но Франция глубоко погрязла в своих внутренних неразрешимых проблемах, а Англия отказывалась предоставить какие-либо гарантии Франции или Чехословакии. Она отклонила и советское предложение провести конференцию по недопущению дальнейших захватов со стороны Гитлера. В то время как Чемберлен и европейские консерваторы

все еще видели в Гитлере коменданта антикоммунистического бастиона, которого надо завоевать на свою сторону великодушием и укротить, левые успокаивали себя мыслью, что Шушниг не кто иной, как представитель клерикально-фашистского режима, в свое время приказавшего стрелять в рабочих, которого давно надо было скинуть. Не состоялась даже сессия Лиги наций: обескураженный мир отказался теперь даже от символических жестов возмущения, его совесть, как писал с горечью Стефан Цвейг, «слегка поворчав, забывала и прощала» [194].

В Вене Гитлер оставался менее суток, трудно определить, было ли вызвано столь скорое отбытие неприязнью к «городу феаков»[195] или нетерпением. Легкость, с которой он реализовал задачу первого важного этапа своей внешней политики, побуждала его тут же обратиться к следующей цели. Уже спустя две недели после аншлюса Австрии он встретился с руководителем судетских немцев Конрадом Генлейном и выразил свою решимость в обозримом времени разрешить чехословацкий вопрос. Еще двумя неделями позже, 21 апреля, он обсудил с генералом Кейтелем план военного разгрома Чехословакии и при этом, принимая во внимание международный резонанс, отклонил «нападение без всякого повода или возможности оправдать его», он высказался в пользу «молниеносных действий в связи с каким-либо инцидентом», в этой связи он обдумывал вариант «убийства немецкого посланника после антигерманской демонстрации» [196].

Как это было и с Австрией, Гитлер мог опять и здесь воспользоваться внутренними противоречиями Версальской системы, ибо Чехословакия являлась воплощением продиктованного величайшим произволом победителей полного отрицания тех принципов, на которых основывалось ее создание, она была не столько результатом реализации права на самоопределение, сколько в гораздо большей степени выражением стратегических интересов Франции и ее политики союзов: маленькое многонациональное государство, осколок разгромленной империи, в нем одно меньшинство противостояло большинству всех остальных меньшинств и беспомощно разводило руками при виде их националистического эгоизма, на который оно само в борьбе за независимость так горячо ссылалось, не государство, а «лоскутное одеяло», как пренебрежительно отзывался о нем Чемберлен. Относительно высокая степень свободы и участия в принятии политических решений, которые предоставляло это государство своим

гражданам, были недостаточны для нейтрализации действовавших в нем центробежных сил. Польский посол в Париже без обиняков называл его «обреченной на смерть страной» [197].

По всем законам политики с нарастанием силы немцев конфликт с Чехословакией становился почти неизбежным. Три с половиной миллиона судетских немцев чувствовали себя после образования республики угнетенными и связывали свое на самом деле очень бедственное экономическое положение не столько со структурными причинами, сколько с пражским «иностранным господством», и как захват власти Гитлером, так и выборы в мае 1935 года, в результате которых партия судетских немцев во главе с Конрадом Генлейном стала сильнейшей партией земли, необычайно укрепили их самосознание, аншлюс Австрии вызвал большие демонстрации под лозунгом «На Родину в рейх!» Уже в 1936 году автор одного анонимного письма из Судетской области заверял Гитлера, что считает его «мессией», теперь эта истерия ожидания подхлестывалась дикими речами, провокациями и столкновениями. В беседе с Генлейном Гитлер дал ему указания каждый раз предъявлять в Праге столь высокие требовамия, чтобы они «были неприемлемы для чешского правительства» и побуждали его занять вызывающую позицию [198]. Так он подготавливал требующую интервенции ситуацию, необходимости которой он позднее якобы собирался подчиниться.

Пока же Гитлер предоставил событиям развиваться своим ходом. В начале мая он с большой свитой министров, генералов и партийных функционеров отбыл с официальным визитом в Италию. Как он пытался превзойти все, что было прежде, во время визита дуче в Германию, так и Муссолини старался теперь принять гостя с еще большим размахом. Вечный город был празднично украшен флагами, ликторскими связками и свастиками, дома вдоль линии железной дороги были к приезду гостя покрашены, и вблизи Сан-Паоло-Фуори сооружен специальный вокзал, на котором Гитлера ожидали король и Муссолини. Гость не без раздражения заметил, что дуче, согласно протоколу, сперва должен был держаться на заднем Плане, фюрер как глава государства был гостем Виктора Эммануила III, которого он пренебрежительно называл «король-щелкунчик» [199], с самого начала он оскорблял его проявлением невнимания, например, сел раньше него в королевскую карету. Его коробила реакционная и снобистская сущность двора, он еще долго обосновывал этим проявления своего недоверия к партнеру по «оси».

Зато прием и восхваления со стороны Муссолини произвели на него глубокое впечатление. В ходе пышных маршей был продемонстрирован новый «римский шаг», во время морского парада в Неаполе сто подводных лодок одновременно погрузились в воду, а через несколько минут с поразительной точностью опять вынырнули, продолжительные поездки позволили Гитлеру удовлетворить и свои эстетические склонности, он спустя годы после визита вспоминал «очарование Флоренции и Рима»; как красивы, восклицал он, Тоскана и Умбрия! В отличие от Москвы[200], Берлина и даже Парижа, где архитектурные пропорции не гармонируют ни в частности, ни в целом, и все скользило мимо его внимания, Рим его «по-настоящему покорил» [201].

Поездка была для Гитлера успешной и в политическом отношении. Со времени визита Муссолини в Германию «ось» подвергалась серьезным испытаниям на прочность, аншлюс Австрии вновь пробудил старую тревогу насчет Южного Тироля, но Гитлеру теперь удалось развеять ее. Поворот был вызван прежде всего его речью на банкете в Палаццо Венеция, свидетельствовавшей столько же о чувстве стиля, как и о верном психологическом инстинкте; Чиано, который говорил об имевшемся поначалу настроении «всеобщей враждебности», с изумлением констатировал, как Гитлер речами и личными контактами завоевывает симпатии другой стороны, он даже считал, что город Флоренция «отдал ему свое сердце и склонил перед ним свою мудрую голову» [202]. Когда Гитлер 10 мая садился в поезд, увозивший его в Германию, казалось, что все взаимопонимание опять восстановлено, Муссолини крепко пожимал ему руку: «Теперь нас больше ничто не может разъединить».

В ходе немногих политических бесед этих дней Гитлер уловил готовность Италии дать Германии свободу действий в отношении Чехословакии. Однако и западные державы призвали тем временем Прагу пойти навстречу судетским немцам, в то же время они довели до сведения Гитлера, что чехословацкий вопрос можно решить, и, как сказал британский посол в Берлине, беседуя с Риббентропом: «Германия победит по всей линии» [203]. Тем большим сюрпризом для Гитлера стало распоряжение пражского правительства, обеспокоенного слухами о подготовке немцев к нападению, провести частичную мобилизацию; Англия с Францией полностью одобрили этот шаг, не преминув сослаться на свои обязательства оказать помощь Чехословакии, их поддержал и Советский Союз. На срочно созванном в воскресенье 22 мая в Бергхофе совещании Гитлер пришел к выводу, что

ситуация заставляет остановить все приготовления. В качестве срока нападения на Чехословакию он порой называл осень 1938 года, теперь его планы, как казалось, были нарушены. Его возмущение еще больше усилилось, когда иностранная пресса стала возносить «майский кризис» как удавшуюся наконец попытку поставить зарвавшуюся Германию на место и унизить ее. Как при аналогичном поражении в августе 1932 года, он на несколько дней уединился в своей горной резиденции, нетрудно представить себе, что его обуревали те же желания отомстить, те же дикие фантазии разрушения: позже он всякий раз вспоминал испытанный в те дни «сильный удар по престижу»; наконец, в своем невротическом страхе перед проявлениями слабости он счел необходимым уведомить в специальных посланиях как Муссолини, так и британского министра иностранных дел, что «угрозами, давлением или силой» от него ничего не добьешься, «это наверняка приведет к противоположному результату и сделает его жестким и неуступчивым» [204]. 28 мая он появился в Берлине на совещании с военным и внешнеполитическим руководством рейха. Развернув перед собой географическую карту, он, все еще с заметными следами перенесенных волнений, изложил свои планы уничтожения Чехословакии; если еще последние военные инструкции по так называемой операции «Грюн» начинались предложением: «В мои намерения не входит военный разгром Чехословакии уже в ближайшее время и без наличия повода», то в новой редакции говорилось: «Моим непоколебимым решением является разбить Чехословакию в ближайшем будущем путем проведения военной кампании» [205]. Из упрямства, уточняя срок, он назначил начало операции на 1 октября.

Теперь он пустил в ход все средства для нагнетания напряженности. В конце июня вблизи чехословацкой границы были проведены маневры, были ускорены и работы по сооружению Западного вала. В то время как Генлейн в соответствии с полученными указаниями рвался к конфронтации, Гитлер осторожно разжигал территориальные аппетиты соседей Чехословакии, в особенности венгров и поляков, западные же державы давили на правительство в Праге, требуя от него новых уступок. Как будто все их силы ушли на один жест решительности, и они опять вернулись к прежней уступчивости, политика умиротворения приближалась теперь к своей кульминации. Сколь уважительны или понятны были ее мотивы, столь же серьезным был порок, которым она страдала: она не знала Гитлера и не разбиралась в особых проблемах Центральной Европы. Она испытывала и проявляла глубокую неприязнь к

комплексам и самым разнообразным чувствам враждебности друг к другу, существовавшим в центре континента, и капитулировала перед невозможностью пробраться через лабиринт этнических, религиозных, расовых, культурных и исторических взаимных претензий и обид. Невилл Гендерсон не называл чехов иначе, как «проклятые чехи». Лорд Ротермир опубликовал в «Дейли Мейл» статью под заголовком «До Чехов нам дела нет», Чемберлен резюмировал всеобщие настроения, говоря о «далекой стране», «где спорят люди, о которых мы ничего не знаем». Направление британским правительством в Чехословакию лорда Ренсимена в августе с заданием изучить положение на месте было не в последнюю очередь признанием этого безразличия; детский стишок метко разоблачал формальный характер этой миссии: «Плачь, Дед Мороз, нашли обмен! Тебя заменит Ренсимен» [206].

На этом фоне надо рассматривать и передовицу «Таймс» от 7 сентября, в которой предлагалось передать Судетскую область рейху; после многих недель, когда кризис как бы сам собой продолжал непрерывно обостряться, а Гитлер вроде бы проявлял сдержанность, весь мир ждал речи, которой он должен был завершить 12 сентября нюрнбергский партийный съезд. Не исключено, что многочисленные симптомы уступчивости содействовали тому, что речь была выдержана в особо резком и вызывающем тоне, но здесь продолжало влиять и незабытое унижение в мае, к которому он неоднократно и широко возвращался, говоря о «гнусном жульничестве», «о террористическом шантаже» и «преступных целях пражского правительства», снова негодуя на тех, кто утверждал, что он пошел на попятную, наткнувшись на решительную позицию противников, и клеймя их легкомысленную готовность развязать войну. Теперь, по его словам, он извлек из случившегося уроки, которые позволят ему в будущем сразу же нанести ответный удар: «Я ни при каких обстоятельствах не стану с бесконечным терпением взирать на дальнейшее угнетение наших собратьев в Чехословакии… Немцы в Чехословакии не беззащитны и они не брошены на произвол судьбы… Пусть это хорошо запомнят те, кого это касается».

Речь его была сигналом к восстанию в Судетской области, связанному с многочисленными жертвами, между тем Германия развила лихорадочную военную активность, проводились учения по светомаскировке, были реквизированы грузовики. Какое-то мгновение война казалась неизбежной, но тут события приняли удивительный поворот. В отосланном ночью 13 сентября послании британский премьер заявлял о своей готовности немедленно, не считаясь с соображениями престижа, приехать

для личной беседы с Гитлером в любом месте: «Согласен прибыть самолетом и буду готов к отъезду завтра», – писал Чемберлен.

Гитлер чувствовал себя очень польщенным, хотя это предложение тормозило его очевидную тягу к столкновению. Позднее он сказал: «Я был полностью ошеломлен» [207]. Неуверенность в себе, которая всю жизнь лишала его способности совершать жесты великодушия, и на этот раз не дала ему пойти хоть в чем-то навстречу своему почти семидесятилетнему гостю, который к тому же собирался впервые в своей жизни сесть в самолет: он предложил встретиться в Берхтесгадене. Когда британский премьер-министр прибыл в Бергхоф во второй половине дня 15 сентября после почти семичасового путешествия, Гитлер не соизволил пройти к нему навстречу дальше самой верхней ступеньки лестницы, которая вела к резиденции. Опять он для устрашения поставил в свите генерала Кейтеля; когда Чемберлен выразил желание побеседовать один на один, он хотя и согласился, но стал, однако, пространно обрисовывать, вероятно, чтоб еще больше утомить его, европейскую ситуацию, германо-английские отношения, готовность к взаимопониманию и свои успехи. При всем стоицизме Чемберлен вне всякого сомнения видел насквозь уловки и маневры Гитлера, в своем отчете перед кабинетом двумя днями позже он назвал его «самой ординарнейшей шавкой», которую ему когда-либо довелось встречать [208].

Подойдя, наконец, к вопросу о кризисе, Гитлер прямо потребовал присоединения Судетской области к рейху, когда Чемберлен прервал его и задал вопрос, будет ли он довольствоваться этим или же он хочет разгромить Чехословакию полностью, Гитлер указал на требования поляков и венгров, но все это, заверил он, его не интересует и сейчас не время обсуждать технические проблемы развития: «Убито 300 судетских немцев, и так дело дальше продолжаться не может, надо немедленно урегулировать эту проблему. Я твердо настроен решить это дело, и мне все равно, будет ли мировая война или нет». Когда Чемберлен раздраженно возразил ему, что не понимает, зачем ему надо было ехать так далеко, если Гитлер не может сказать ему ничего другого, кроме того, что он так или иначе полон решимости использовать силу, его собеседник смягчился: он «подумает сегодня или завтра, нет ли все же и мирного решения вопроса», кардинальное значение имеет «готовность Англии согласиться теперь с отделением населенных судетскими немцами областей в соответствии с правом народов на самоопределение, причем он (фюрер) должен заметить, что это право на самоопределение было придумано не им в 1938 году

специально для чехословацкого вопроса, а еще в 1918 году – для создания моральной основы изменений по Версальскому договору». Условились о том, что Чемберлен вернется в Англию обсудить вопрос с кабинетом министров, а Гитлер тем временем не будет предпринимать никаких военных мер.

Едва только Чемберлен отбыл, Гитлер стал обострять кризис и продолжил свои приготовления. Уступчивость британского премьер-министра крайне озадачила его, ведь исчезал повод для осуществления далеко идущих намерений по аннексии всей «Чехии». Но в надежде на то, что Чемберлен потерпит фиаско из-за сопротивления своего кабинета, отрицательной реакции французов или, наконец, самой Чехословакии, он продолжил свои приготовления. В то время как печать развязала дикую кампанию, рисовавшую самые страшные картины расправ над соотечественниками, по указанию Гитлера «в целях защиты судетских немцев и поддержания дальнейших беспорядков и столкновений» под руководством бежавшего в Германию Конрада Генлейна был сформирован Судето-германский легион. Гитлер подталкивал Венгрию и Польшу к предъявлению Праге территориальных требований, одновременно стимулировал стремление словаков к автономии, по его распоряжению Судето-германский легион занял два города – Эгер[209] и Аш [210].

Тем больше было его изумление, когда 22 сентября Чемберлен сообщил ему на встрече в годесбергской гостинице «Дреезен», что как Англия с Францией, так и Чехословакия согласны на отделение Судетской области. Чтобы Германия не боялась, что Чехословацкая республика может быть использована как «острие пики» против флангов рейха, британский премьер предложил аннулировать договоры о союзе между Францией, СССР и Чехословакией, вместо них независимость страны должны были обеспечивать международные гарантии. После такого вступления Гитлер был так поражен, что переспросил, одобрено ли это предложение пражским правительством. Когда Чемберлен с удовлетворением ответил: «Да!», возникла короткая пауза замешательства, а затем Гитлер спокойно ответил: «Очень сожалею, господин Чемберлен, но с этими вещами я теперь согласиться не могу. После событий последних дней такое решение неприемлемо» [211].

Чемберлен был до предела озадачен и раздосадован. На его гневный вопрос, какие это еще события изменили в последнее время ситуацию, Гитлер ответил ссылкой на требования венгров и поляков, разразился нападками на чехов, жалобами на страдания судетских немцев, пока не нашел спасительного довода, за который он тут же уцепился: «Самое главное –

действовать быстро. Решение должно быть принято в ближайшие дни… Он должен подчеркнуть, что проблема должна быть полностью решена до 1 октября». После трехчасового безрезультатного спора Чемберлен вернулся в гостиницу «Петерсберг» на другой стороне Рейна. Когда и письменный обмен мнениями ни к чему не привел, он потребовал письменный меморандум с перечнем немецких требований и сообщил, что намерен уехать. Гитлер, по воспоминаниям фон Вайцзеккера, рассказывая об этих делах, «хлопал в ладоши, как будто речь шла об удавшемся розыгрыше». Известие о мобилизации в Чехословакии, которое снарядом ворвалось в беспорядочные, нервозные заключительные переговоры, еще более усилило чувство надвигающейся катастрофы. Правда, теперь Гитлер, как казалось, был готов пойти на некоторые незначительные уступки, в то время как Чемберлен проявлял признаки подавленности и показывал своим поведением, что больше не будет выполнять посреднические функции для Гитлера.

И действительно, британский кабинет, который собрался в воскресенье, 25 сентября, для обсуждения гитлеровского меморандума, наотрез отклонил новые требования и заверил французское правительство в поддержке Англии в случае военного столкновения с Германией. Прага, которая приняла Берхтесгаденские условия только под крайним нажимом, получила теперь свободу действий, чтобы дать отпор притязаниям Гитлера. В Англии и Франции начались военные приготовления.

Перед лицом неожиданной неуступчивости другой стороны Гитлер вновь выступил в роли обиженного. «Вести переговоры дальше хоть в какой-то форме вообще не имеет смысла, – кричал он во второй половине дня 26 сентября сэру Горацию Вильсону, который прибыл в рейхсканцелярию с посланием Чемберлена. – С немцами обращаются как с черномазыми. Даже с Турцией не отваживаются вести себя так. 1 октября Чехословакия будет такой, какой он хочет» [212]. Затем он сообщил Вильсону, что не пустит в дело свои дивизии только в том случае, если пражское правительство примет Годесбергский меморандум до 14 часов 28 сентября. В последние дни перед этим он все время колебался, взять ли курс на не связанный с каким-либо риском половинчатый успех или же на сопряженный с опасностями полный триумф, последний вариант в гораздо большей степени отвечал его радикальному темпераменту, ему больше хотелось завоевать Прагу, чем получить в виде подарка Карлсбад и Эгер. Напряжение, которое он испытывал в эти дни, разрядилось в знаменитой речи в берлинском Дворце спорта, которая еще

больше обострила кризис, правда, он противопоставил ему заманчивую идиллию континента, который наконец-то обретет покой:

> «А теперь перед нами стоит последняя проблема, которую надо решить, и которая будет решена! Это последнее территориальное требование, которое я должен предъявить Европе, от него я не отступлюсь и его я, будет на то воля Божья, выполню».

Он с сарказмом вскрыл противоречия между принципом самоопределения и реальностями многонационального государства, при описании хода кризиса не преминул сыграть эффектную роль оскорбленного, с ужасом изображал террор в Судетской области, называл цифры беженцев, которые он в силу своей закомплексованности на цифрах и рекордах резко преувеличил:

> «Мы наблюдаем страшные цифры: в один день 10 000 беженцев, на другой день – 20 000, на следующий – уже 37 000, двумя днями позже – 41 000, затем 62 000, потом 78 000, а теперь – 90 000, 107 000, 137 000 и сегодня 214 000. Становятся безлюдными целые районы, сжигаются населенные пункты, немцев пытаются выжить гранатами и газом. А Бенеш сидит в Праге и убежден: «Мне все сойдет с рук, в конце концов, за мной стоят Англия и Франция». Теперь, соотечественники, настало, как мне думается, время назвать вещи своими именами… 1 октября ему придется передать нам эту область… Теперь решение за ним! Мир или война!»

Он еще раз заверил, что не заинтересован в ликвидации или аннексии Чехословакии: «Не хотим мы никаких чехов!» – воскликнул он с чувством и к концу выступления вошел в состояние экзальтации. Уставив глаза в потолок зала, подогреваемый величием момента, ликованием масс и собственным пароксизмом, он, словно отрешившись от всего, завершил речь словами:

> «Я иду впереди своего народа как его первый солдат, а за мной, пусть это знает весь мир, идет народ, не тот, что в 1918 году… Он будет воспринимать мою волю как свою, точно так же как я подчиняю свои действия его будущему и его судьбе. И мы хотим укрепить эту общую волю, чтобы она была сильной, как во время борьбы,

> когда я, простой неизвестный солдат, вышел на поле битвы, чтобы завоевать рейх… Я прошу тебя, мой немецкий народ: вставай за мной, мужчина за мужчиной, женщина за женщиной… Мы исполнены решимости! Пусть господин Бенеш теперь делает свой выбор!»

Несколько минут бушует буря оваций; пока Гитлер, весь вспотевший и с остекленевшим взглядом возвращается на свое место, на трибуну поднимается Геббельс: «Ноябрь 1918 года у нас больше никогда не повторится!» – воскликнул он. Американский журналист Уильям Ширер видел со своего места на галерее, как Гитлер посмотрел на Геббельса, «как будто это были те слова, которые он искал целый вечер. Он вскочил, описал правой рукой в воздухе большую дугу, ударил по столу и изо всех сил прокричал, с таким фанатизмом, который я никогда не забуду: «Да!» Потом он в изнеможении опустился на стул» [213]. «В этот вечер Геббельс ввел в обиход пропаганды лозунг „Фюрер, приказывай! Мы идем за тобой!“ Массы скандировали его еще долго после окончания мероприятия. При выходе Гитлера они начали петь: „Господь, вложивший в руку меч“.

Еще окрыленный пылом и истерией предшествующего дня, Гитлер в следующую среду еще раз встретился с сэром Горацием Вильсоном. Если его требования будут отклонены, пригрозил он, Чехословакия будет разбита; когда Вильсон возразил, что Англия предпримет военные шаги, если Франция будет вынуждена поспешить на помощь Чехословакии, Гитлер заявил, что он может только принять это к сведению: «Если Франция и Англия хотят нанести удар – пусть наносят. Мне это безразлично. Я готов ко всем вариантам развития событий. Сегодня вторник, раз так – в следующий понедельник между нами будет война» [214]. В тот же день он предпринял дальнейшие мобилизационные меры.

Однако вторая половина дня 27 сентября опять приглушила его эйфорию. Чтобы проверить, с каким восторгом население готово к войне и укрепить его, Гитлер приказал 2-й моторизованной дивизии пройти на пути из Штеттина к чехословацкой границе через столицу рейха по широким улицам, образующим восточно-западную ось, по Вильгельмштрассе и перед рейхсканцелярией. Вероятно, он надеялся, что этот военный спектакль, о котором было объявлено заранее, привлечет на улицы людей и пробудит в них ту воинственную лихорадку, в обстановке которой после соответствующего обращения с балкона рейхсканцелярии со всех сторон зазвучит призыв пустить в ход силу. На самом же деле картина, описанная в дневнике одним иностранцем, была такой:

«Я вышел на угол Вильгельмштрассе – Унтер ден Линден, ожидая, что увижу там огромные толпы народа и сцены вроде тех, которые описывали в момент начала войны в 1914 году – с криками восторга, цветами и целующими солдат девушками… Но сегодня люди быстро исчезали в метро, а те немногие, кто остался стоять, хранили полное молчание… Это была самая впечатляющая демонстрация против войны, которую я когда-либо видел.

Потом я прошел по Вильгельмштрассе к рейхсканцелярии, где на балконе стоял Гитлер, принимая торжественный марш войск. Там стояло самое большее человек двести. Гитлер нахмурился, явно обозлился и вскоре ушел, не пожелав принимать торжественный марш проходящих частей» [215].

Отрезвляющее действие этого эпизода было дополнительно подкреплено массой плохих известий: они свидетельствовали о том, что военные приготовления Франции, Англии и ЧСР зашли дальше, чем ожидалось, и значительно превосходили немецкие возможности; только Прага мобилизовала один миллион человек и могла вместе с Францией выставить армию почти в три раза больше немецкой. В Лондоне копают укрытия-щели от воздушных налетов, высвобождаются больницы, население Парижа массами покидало город. Война казалась неизбежной. В течение дня Югославия, Румыния, Швеция и США высказали свои предостережения и объявили о поддержке противостоящей стороны, поскольку через несколько часов установленный самим Гитлером срок истекал, настроение в пользу жесткого противостояния стало в рейхсканцелярии ослабевать. Поздно вечером 27 сентября Гитлер продиктовал письмо Чемберлену, в котором он переходил на примирительный тон, предлагал гарантии существования Чехословакии, завершал письмо призывом к здравому смыслу. Но тем временем развертывалась деятельность, которая, как представлялось, была способна придать событиям в самый последний момент неожиданный поворот.

В предшествующие годы развернула интенсивную деятельность небольшая, но влиятельная группа заговорщиков, в которой впервые объединились представители всех политических лагерей. Целью, ради которой они устанавливали контакты друг с другом, было сперва предотвращение войны, но та радикальность, с которой Гитлер взял курс на конфликт,

заставила их пойти в своих намерениях дальше – вплоть до планов покушения и переворота. Движущей силой и посредником между всеми группами был руководитель центрального отдела абвера полковник Ханс Остер. Если справедливо, что в немецкой военной традиции почти полностью нет элементов идеи политического сопротивления, а в немецком характере, как заметил в то время итальянский посол в Берлине Бернардо Аттолико, отсутствуют все необходимые для конспирации качества, такие, как терпение, знание человеческой природы, психологии, такт и умение притворяться («Где вы хотите найти это между Розенхаймом и Эйдкуненом?») [216], то Остер был одним из исключений. Человек, своеобразно сочетавший в себе нравственность и хитрость, изобретательность, психологический расчет и принципиальность, он уже давно стал критически относиться к Гитлеру и национал-социализму, старался приобщить к своим взглядам своих товарищей, но напрасно. Только становившийся все более явным курс Гитлера на войну и прежде всего «дело. Фрича» «раскачали» офицерский корпус, привыкший заниматься только чисто военными делами, а также пробудили силы и в других лагерях, которые он теперь последовательно вовлекал, расширял их и, пользуясь прикрытием аппарата абвера и его руководителя, адмирала Канариса, формировал из них широко разветвленную группу сопротивления.

Тактические соображения определялись пониманием того, что тоталитарный режим, который уже стабилизировался, можно переиграть только за счет взаимодействия внутренних и внешних противников. Это привело к тому, что с весны 1938 года началось прямо-таки паломничество представителей немецкого Сопротивления в Париж и Лондон, где они все вновь и вновь пытались завязать нити взаимодействия, но все их усилия повисали в воздухе. В начале марта 1938 года Карл Герделер был в Париже, чтобы побудить французское правительство занять твердую позицию в чехословацком вопросе, месяцем позже он съездил туда еще раз, но оба раза получил уклончивый ответ. Аналогично прошел визит в Лондон, сложность этой и всех последующих миссий ярко характеризует следующий эпизод: сэр Роберт Ванситтарт, главный дипломатический советник британского министра иностранных дел, выслушав своего немецкого посетителя, воскликнул в изумлении: да ведь то, что вы предлагаете, это измена родине! [217]

Примерно таким же был эффект поездки Эвальда фон Кляйста-Шменцина, консервативного политика, который, махнув на все рукой, уехал несколько лет тому назад в свою усадьбу в

Померании, а теперь воспользовался своими связями в Англии, чтобы поощрить британское правительство дать жесткий отпор гитлеровским экспансионистским намерениям: Гитлер, предостерегал он, не остановится на аншлюсе Австрии, есть надежная информация, что он добивается гораздо большего, нежели аннексия Чехословакии, и рвется ни много ни мало к мировому господству. Летом 1938 года фон Кляйст сам отправился в Лондон, и начальник генерального штаба Людвиг Бек дал ему следующее своего рода поручение: «Привезите мне твердые доказательства, что Англия будет воевать в случае нападения на Чехословакию, и я прикончу этот режим» [218]. Спустя 14 дней после фон Кляйста с той же миссией и также в Лондон выехал промышленник Ханс Бем-Теттельбах, едва он вернулся из поездки, как по инициативе конспиративной группы в МИД, во главе которой стоял статс-секретарь фон Вайцзеккер, через советника посольства в Лондоне Тео Кордта были предприняты новые шаги. Сам Вайцзеккер попросил Верховного комиссара Лиги наций в Данциге Карла Якоба Буркхардта использовать свои связи, чтобы побудить британское правительство заговорить с Гитлером «недвусмысленным языком»; эффективнее всего была бы, вероятно, посылка «незакомплексованного недипломатичного англичанина, например, генерала с плеткой», так, может быть, удастся образумить Гитлера. «Вайцзеккер говорил тогда, – отметил Буркхардт, – с откровенностью отчаявшегося, который ставит все на последнюю карту» [219]. В то же время Остер настоятельно советовал брату Тео Кордта, Эриху Кордту, который заведовал в МИД аппаратом министра, найти средства и пути для того, чтобы из Лондона поступали угрозы вмешаться, которые произвели бы впечатление не только на искушенных в дипломатии людей, но и на «полуобразованного, играющего мускулами диктатора»; кроме того, передавалась масса информации и предупреждений о намерениях Гитлера – и все было напрасно. Хотя посланцы, как сказал фон Кляйст Ванситтарту, приезжали «с петлей на шее», все их уговоры становились жертвой рвения умиротворителей по уступкам, недоверия и самого обычного непонимания. Один из высокопоставленных офицеров британской разведки отверг инициативу офицера немецкого генштаба, приехавшего в Лондон, как «гнусное бесстыдство» [220], а слова пораженного Ванситтарта об «измене родине» показывают, как трудно было закосневшему в своих представлениях миру понять мотивы заговорщиков. Правда, нельзя закрывать глаза на то, что некоторые из них возбуждали у собеседников скепсис склонностями к реставрации или же требованиями ревизии сложившегося положения, которые, как

казалось, не очень-то отличались от гитлеровских. Немецкие консерваторы и армейские круги, от имени которых говорили почти все эмиссары, и так подозревались Западом в традиционных симпатиях к Востоку, на всех них была печать утонченного макиавеллизма, шок Рапалло не был забыт, как и многолетнее сотрудничество рейхсвера и Красной армии, которому положил конец только Гитлер. Поэтому кое-кому из заграничных собеседников могло показаться, что в движении Сопротивления заново формируются монархические реакционные силы старой Германии, юнкеры и милитаристы, так что как бы возникала альтернатива «Гитлер или Пруссия» [221], и не каждый был готов поддержать призраков вчерашнего дня против хотя и неотесанного, но зато бескомпромиссно ориентированного на Запад диктатора. «А кто нам гарантирует, что Германия не станет потом большевистской?» – таким был лапидарный ответ, который получил начальник французского генштаба Гамелен, когда в драматический день 26 сентября поинтересовался отношением Чемберлена к намерениям немецкого движения Сопротивления; Чемберлен хотел этим сказать, что гарантии Гитлера надежнее, чем гарантии немецких консерваторов. Тут на Гитлера сработали традиционные антивосточные эмоции, старый кошмар Запада, заклинавшийся на Святой Елене еще Наполеоном, которого теперь озабоченно цитировал французский премьер-министр Даладье: «Европой будут владеть казаки» [222].

Параллельно с акциями за рубежом развивалось противодействие внутри страны, которое исходило, естественно, преимущественно от военных. Серией все более решительных докладных записок в особенности Людвиг Бек пытался противостоять твердому настрою Гитлера на войну, самой настойчивой была записка от 16 июля 1938 года, которая еще раз предостерегала от опасности мировой войны, обращала внимание на усталость немецкого населения от конфликтов, а также на незначительный оборонительный потенциал в случае схватки с Западом и резюмировала все политические, военные и экономические контрдоводы в тезисе, что Германии ни в каком отношении не выдержать той борьбы «не на жизнь, а на смерть», которая развернется, когда она бросит вызов миру. Одновременно он наседал на Браухича, добиваясь его поддержки коллективного выступления высшего офицерского корпуса: надо провести в отношении Гитлера своего рода «всеобщую забастовку» генералов и заставить его прекратить военные приготовления, пригрозив сообща уйти в отставку [223].

Настойчивость Бека, казалось, в конце концов подействовала на Браухича. На специально созванном совещании генералов 4

августа он распорядился зачитать июльскую докладную записку Бека и заслушать доклад генерала Адама о неудовлетворительных оборонительных характеристиках Западного вала. К концу встречи собравшиеся были столь впечатлены, что почти единогласно присоединились к изложенным взглядам, только у генералов Райхенау и Буша были некоторые возражения, сам Браухич однозначно поддержал прозвучавшую точку зрения, однако он неожиданно воздержался от того, чтобы выступить с подготовленной Беком речью, кульминацией которой был призыв к коллективному письму протеста. Вместо этого он позже передал записку Бека Гитлеру и тем самым подставил своего начальника штаба под удар. Когда 18 августа на совещании в Ютерборге Гитлер объявил, что он уже в ближайшие недели решит Судетский вопрос с применением силы, Бек подал в отставку.

Этот акт отчаяния, равно как малодушный поступок Браухича были связаны с характерными чертами «закомплексованности» немецкого военного руководства; вместе с тем нельзя не видеть тесной взаимосвязи, которая существовала между этим поведением и успехами наступательной внешней политики Гитлера: прошение Бека об отставке было подано не в последнюю очередь под воздействием той подавленности, которую вызывали напрасные усилия добиться того, чтобы западные державы заговорили более решительным языком. Воля немецкого Сопротивления вряд ли могла быть тверже воли британского или французского премьер-министра.

Однако планы заговорщиков при преемнике Бека генерале Гальдере не застопорились. Сразу при вступлении на пост он заявил Браухичу, что точно так же, как и его предшественник, отрицательно относится к планам Гитлера развязать войну и полон решимости «использовать каждую возможность для борьбы против Гитлера» [224]. Гальдер был не фрондером, скорее, представителем типа корректного, рассудочного офицера генштаба, однако Гитлер, которого он ненавидел в своеобразной эксцентричной манере и характеризовал как «преступника», «душевнобольного» или «кровопийцу», не оставлял иного выбора; Гальдер говорил, что «волей-неволей вынужден оказывать сопротивление», называя положение, в котором он оказался, «ужасным и мучительным». Будучи более холодным и последовательным человеком, чем Бек, он тут же расширил замыслы заговорщиков до плана государственного переворота, провел по инициативе Остера переговоры с Яльмаром Шахтом относительно формирования нового правительства и завершил все приготовления еще до 15 сентября [225].

Имелось в виду арестовать Гитлера и ряд ведущих функционеров режима в момент объявления войны в ходе операции типа переворота под руководством командующего берлинским военным округом генерала фон Вицлебен» и предать их суду, чтобы разоблачить их агрессивные цели перед всем миром. Подобным образом участники заговора надеялись не только избежать появления нового «мифа об ударе кинжалом в спину», но и получить опору для действий против небывало популярного, окруженного блеском эйфории от единства великой Германии Гитлера и не допустить опасности гражданской войны: как считал Гальдер, важны не мысли и моральные категории небольшой элиты, а принципиальное согласие населения. Участвовавший в заговоре советник имперского суда Ханс фон Донаньи тайно готовил с 1933 года материалы судебного дела для процесса против Гитлера. Остеру также удалось вовлечь в круг заговорщиков начальника берлинской полиции графа Хельдорфа и его заместителя графа Фрица-Дитлофа фон дер Шуленбурга, довольно тесные контакты имелись с различными командирами в Потсдаме, Ландсберге и Тюрингии [226], некоторыми лидерами социалистов, такими, как Вильгельм Лойшнер и Юлиус Лебер, далее с заведующим психиатрическим отделением берлинской клиники «Шарите» профессором Карлом Бонхефером, который по одному из вариантов плана путча должен был стать председателем врачебной комиссии и объявить Гитлера душевнобольным. Бывший руководитель «Стального шлема» Фридрих Вильгельм Хайнц тем временем планировал как бы «заговор внутри заговора». Фон Вицлебен поручил ему вербовать молодых офицеров, рабочих и студентов для укрепления ударного отряда штаба корпуса, задачей которого было в необходимый момент ворваться в рейхсканцелярию, он, однако, считал идею судебного процесса и план помещения Гитлера в лечебницу совершенно нереальными: один Гитлер, заявил он Остеру, сильнее Вицлебена со всем его армейским корпусом. Поэтому он дал своим людям секретное указание не арестовывать Гитлера, а сразу пристрелить его во время стычки [227].

Так что все было подготовлено, с большей основательностью и явно большими шансами на успех, чем когда-либо до того. Ударный отряд Хайнца с вооружением и взрывчаткой был размещен в готовности к выступлению по берлинским частным квартирам, были приняты все военные и полицейские меры, подготовлен захват радио – так, чтоб не было ни единой заминки, составлены тексты обращений к населению. Гальдер назначил сигналом к началу действий тот момент, когда Гитлер даст

приказ двинуть войска на Чехословакию. Все ждало своего часа. В своем лондонском заявлении от 26 сентября, в котором говорилось, что Англия в случае нападения на Чехословацкую республику выступит на стороне Франции, другая сторона, казалось, продемонстрировала наконец ту решительную позицию, которая была крайне важной для заговорщиков. 27 сентября удалось даже вовлечь в акцию колебавшегося Браухича. После того как в среду Гитлер приказал провести подготовку наступления первым эшелоном войск, а несколькими часами позже распорядился мобилизовать девятнадцать дивизий, ожидали, что на следующий день будет объявлено о всеобщей мобилизации. Эрих Кордт был наготове: при помощи фон дер Шуленбурга он должен был обеспечить, чтобы большая двойная Дверь за часовым у входа в рейхсканцелярию была открыта. Примерно в полдень Браухич направился в здание правительства, чтобы услышать решение Гитлера. Группа Вицлебена с нетерпением ждала в командовании округа на Гогенцоллерндамм, сам генерал был у Гальдера в здании ОКВ на Тирпицуфер, ударный отряд Хайнца был в готовности и ждал команды на своих квартирах – и тут курьер передал начальнику генштаба сообщение, что Гитлер согласился на посредничество Муссолини и проведение конференции в Мюнхене.

Это известие произвело прямо-таки эффект разорвавшейся бомбы. Каждому из участников сразу стало ясно, что тем самым весь план акции лишался основы. Всех охватило замешательство, все были словно парализованы. Только Гизевиус, один из гражданских заговорщиков, попытался, разразившись в отчаянии потоком уговоров, склонить Вицлебена к началу акции. Однако операция была построена исключительно на политическом провале Гитлера, поэтому теперь у нее не оставалось шансов на успех. Строго говоря, это было постоянной, кардинальной и, пожалуй, неизбежной дилеммой плана государственного переворота: он зависел от определенной линии поведения, будь то Гитлера, будь то западных держав. Хотя заговорщики не ошибались в оценке Гитлера, тем не менее их план провалился, потому что они не приняли в расчет то обстоятельство, что Англия по сути дела всегда была готова дать Гитлеру за счет уступок возможность быть «паинькой», как выразился Гендерсон. «Мы не могли быть с вами такими же откровенными, как вы с нами», – сказал Галифакс после Мюнхена с сожалением Тео Кордту [228].

Последствия этого шока выходили далеко за рамки данного момента. Уже известие о поездке Чемберлена в Берхтесгаден оказало на заговорщиков парализующее действие, теперь же

рухнуло все Сопротивление в целом, от этого коллапса оно уже больше так по-настоящему и не оправилось. Конечно, на протяжении своего существования его отягощали укоры совести, проблемы, вызванные принесенной присягой, и конфликты, обусловленные лояльностью, в бесконечных раздумьях, рефлексии, спорах всю ночь напролет между его участниками Сопротивление все вновь и вновь наталкивалось на порожденные воспитанием и усиленные привычками границы, перед которыми кончалась всякая мораль и действие представлялось предательством; через всю историю немецкого Сопротивления тянется этот разлом, который тормозил по крайней мере заговорщиков из числа военных и лишал их планы той предельной меры решимости, абсолютно необходимой для успеха. Теперь на него давила еще и мысль, что этот человек не только справляется с любой ситуацией, но и находится в союзе с обстоятельствами, обеспечивающим победу принципом, везением и случайностью, короче, с самой историей.

«Это был бы конец Гитлера», – писал Герделер в те дни одному американскому другу; и хотя этот прогноз оставляет открытыми некоторые вопросы, дальнейшее предсказание сбылось буквально: «Побоявшись небольшого риска, мистер Чемберлен сделал войну неизбежной. Английскому и французскому народам придется защищать свою свободу с оружием в руках, если они не предпочтут рабское существование» [229].

Уже на следующий день, 29 сентября, примерно в 12: 45, началась мюнхенская конференция глав правительств Англии, Франции, Италии и Германии. Гитлер настоял на незамедлительной встрече, поскольку с большей, чем когда-либо раньше решимостью хотел войти в Судетскую область 1 октября. Чтобы предварительно договориться с Муссолини, он выехал навстречу ему в Куфштайн; судя по всему, он наполовину склонился к тому, чтобы сорвать конференцию и все-таки добиться полного триумфа. Во всяком случае, он объяснил Муссолини на карте свои планы молниеносной войны с Чехословакией и последующей кампании против Франции. Он с трудом согласился не форсировать сразу осуществление этих намерений, но не оставил никаких сомнений относительно своей позиции: «Или конференция обеспечит успех в кратчайший срок, или вопрос будет решен силой оружия» [230].

Однако выдвигать столь жесткую альтернативу не было вообще никакой нужды. Целью западных держав, в особенности Англии, на переговорах стало убедить Гитлера в том, что он

может получить Судетскую область и без войны, относительно этого требования между всеми четырьмя державами уже давно имелось единодушие, встреча служила только тому, чтобы зафиксировать его [231]. Отсутствие каких-либо разногласий и созыв конференции в столь короткий срок обусловили необычайно непринужденный характер встречи. После приветствия Гитлер впереди остальных участников прошел в зал заседаний нового Дома фюрера на мюнхенской Кенигсплац, рухнул в одно из массивных кресел, которые были расположены вокруг низкого круглого стола, и нервным жестом пригласил гостей также занять места. Он был бледен, возбужден и поначалу копировал самоуверенно державшегося Муссолини, говоря, смеясь и хмурясь, как тот. Чемберлен выглядел еще более постаревшим, но благородно, Даладье был тихим, ему было как-то не по себе. Предложение привлечь представителей Чехословакии Гитлер с самого начала отклонил, четыре державы остались между собой, и скоро Даладье, которого Гитлер обхаживал с особым вниманием, стал жаловаться на «упрямство Бенеша» и влияние «поджигателей войны во Франции» [232]. Постепенно в зал подходили послы и сопровождающие делегации лица и занимали место вокруг стола переговоров в качестве слушателей, постоянно кто-то приходил, а кто-то уходил, конференция все вновь и вновь распадалась на отдельные беседы. Муссолини представил в начале второй половины дня проект соглашения, который на самом деле был составлен накануне вечером Герингом, Нойратом и Вайцзеккером, чтобы опередить Риббентропа, который толкал на военную акцию: на этой основе между двумя и тремя часами ночи было подписано мюнхенское соглашение. Оно предусматривало оккупацию Судетской области между 1 и 10 октября, детали должна была урегулировать комиссия представителей четырех держав и Чехословакии; Англия и Франция обязывались гарантировать неприкосновенность уменьшенного государства. Все участники были, как казалось, на какое-то мгновение удовлетворены, только Франсуа-Понсе сказал с налетом беспокойства: «Voila comme la France traite les seuls allies qui lui etaient restes fideles»[233][234]. Пока чиновники еще занимались текстами соглашения на языках, участники неприкаянно сидели и стояли в зале; Даладье, исчерпавший свои силы, укрылся в глубоком кресле, Муссолини беседовал с Чемберленом, Гитлер же неподвижно стоял в стороне, скрестив руки, уставившись, как рассказывал один из участников, в пространство перед собой.

Его плохое настроение сохранялось и на следующий день. Когда Чемберлен посетил Гитлера в его частной квартире на

Принцрегентенплац, он был необыкновенно немногословен и не без колебаний согласился на предложение о двусторонних консультациях. Его раздражение еще более усилилось, когда он узнал, что население приветствовало британского премьер-министра овациями, когда он проезжал по Мюнхену. Повторилась та же ситуация, что и два дня назад в Берлине; этот народ был явно еще не готов к выполнению «первоклассных задач», которые он собирался поставить перед ним, Чемберлен казался героем дня [235].

Однако Гитлера волновали не только нерасположенность и ставшая очевидной летаргия населения в вопросе о войне. Если присмотреться к более глубоким причинам, то его досада была вызвана более комплексными мотивами. Мюнхенское соглашение было, бесспорно, его личным триумфом: не применяя откровенного насилия, Гитлер вырвал у имевшей превосходство коалиции обширную область, лишил Чехословакию прославлявшейся на все лады системы укреплений, существенно улучшил свои стратегические позиции, получил новые отрасли промышленности и заставил ненавистного президента Бенеша отправиться в эмиграцию: действительно, «на протяжении столетий… в европейской истории не было столь глубоких перемен без войны» [236], успех Гитлера характеризовало как раз то обстоятельство, что он получил одобрение тех великих держав, за счет которых осуществилась эта акция. Он вновь добился классической фашистской расстановки сил – союза между революционным насилием и истеблишментом, своего рода «Гарцбургского фронта на европейском уровне»; характерно, что уже вскоре после подписания мюнхенского соглашения Чехословакия объявила о расторжении союза с СССР и запретила коммунистическую партию.

Однако ему казалось, что все эти триумфы приобретены слишком дорогой ценой. Ему пришлось поставить свою подпись под соглашением, которое не могло надолго связать ему руки, но все же заставляло проявлять сдержанность в течение срока, достаточного для того, чтобы сорвать его график и тем самым его большой план: он хотел осенью войти в Прагу, как полгода тому назад вошел в Вену; он чувствовал, что его обманули, лишив возможности осуществить свои планы в намеченные сроки и триумфа завоевателя: «Этот Чемберлен не дал мне войти в Прагу», – так он сказал однажды, по свидетельству Шахта, в совершенно таком же духе он признался, покачивая головой, венгерскому министру иностранных дел, что считал возможным «выдачу Чехословакии как на блюде ее друзьями». Уже в феврале 1945 года, размышляя в бункере о прошлом, он обрушивал свой

гнев на «филистеров – крупных капиталистов»: «Надо было начать войну в 1938 году. Это был для нас последний шанс локализовать ее. Но они во всем уступали, как трусы выполняли все наши требования. Было действительно трудно взять на себя инициативу и перейти к военным действиям. В Мюнхене мы упустили уникальную возможность» [237]. В этом проявлялась старая склонность идти до предельной черты, пытаться, будучи загнанным в угол, сыграть в крупную азартную игру; слишком гладко, слишком просто было достигнуто мюнхенское соглашение, чтобы его нервы получили удовлетворение от него, – он испытывал отвращение к легким решениям и считал «опасным мнение, что можно дешево откупиться» [238]. Такие своеобразные представления о судьбе накладывались на его рационалистическую рассудочность, не в последнюю очередь по этой причине после Мюнхена в его уме закрепилась мысль в конце концов при помощи крайнего, подкрепленного кровью вызова, бесповоротно привязать к себе упрямую нацию, которая, несмотря на ликование, оказывала ему столь глухое сопротивление.

В этом тройном контексте рационального расчета времени, потребности в сильных ощущениях и мифологизированных представлений о политике и следует рассматривать ставшую теперь все более явной склонность к войне; уступчивость Чемберлена «в известном смысле смешала его карты», так он говорил позже, почти извиняясь. Это стремление еще более усиливалось презрением, которое он проявлял с того момента к своим противникам. Перед генералитетом он издевательски обзывал их «жалкими червями», в речи, произнесенной в Веймаре 6 ноября, он, намекая на Чемберлена, говорил о «типах с зонтиками нашего прежнего буржуазного многопартийного мира» и называл линию Мажино пограничной полосой народа, готовящегося к смерти [239].

Вызывающая воля Гитлера к войне находилась в примечательном противоречии с реальным соотношением сил, это можно рассматривать как первый признак начавшейся у него утраты чувства реальности, сегодня бесспорно, что осенью 1938 года он мог бы продержаться в случае вооруженного столкновения лишь несколько дней. Оценки военных специалистов союзных стран и самой Германии, документы и статистические данные не оставляют никаких сомнений: «Было полностью исключено, – заявил, например, Йодль в Нюрнберге, – чтобы пять кадровых дивизий и семь танковых дивизий могли бы устоять на линии укреплений, которая только еще строилась, перед натиском ста французских дивизий. С военной точки

зрения это было невозможно» [240]. Тем. непонятнее уступчивость и продолжавшееся самоослабление западных держав; их поведение убедительнее всего объясняет – так истолковывал его Гитлер – выходящая за пределы политики умиротворения психология политического пессимизма. Предательство взятых на себя союзнических обязательств, а также традиционных европейских ценностей, враждебность к которым Гитлер выражал почти в каждой речи, каждом законе, каждой акции, можно было еще, пожалуй, объяснить обстоятельствами – смесью согласия, шантажа и растерянности. Но как ни странно, западные державы, казалось, не учли политического эффекта, в особенности страшную утрату престижа, которую должно было вызвать мюнхенское соглашение: Англия и Франция почти полностью лишились авторитета, на их слова отныне, казалось, больше никто не обращал внимания, и скоро другие державы, в особенности восточноевропейские, каждая на свой страх и риск, начали пытаться поладить с Гитлером. Но прежде всего эта акция повлияла на Советский Союз: он не забыл, что западные державы проигнорировали его в Мюнхене, и уже спустя четыре дня после конференции германское посольство в Москве указало на то, что «Сталин… сделает выводы» и пересмотрит свою внешнюю политику [241].

Тем временем Чемберлен и Даладье вернулись в свои столицы. Вместо разгневанных демонстраций, которых они ожидали, их с восторгом превозносили, как будто, по замечанию одного чиновника Форин офис, «праздновали великую победу над врагом, а не предательство малого союзника». Подавленный Даладье показал своему статс-секретарю на ликующих и прошептал: «Идиоты!», в то время как Чемберлен, бывший наивнее и оптимистичнее француза, размахивая при прибытии в Лондон листом бумаги, заявил о «мире для нашего поколения». Сейчас, в ретроспективе, трудно понять спонтанное чувство облегчения, которое еще раз объединило Европу, и с уважением отнестись к ее иллюзиям. В Лондоне толпа перед Даунинг-стрит, 10 запела веселую «Ах, какой он молодец, ах, какой он молодец!», в то время как французская газета «Пари Суар» предложила Чемберлену «участок во Франции» для рыбалки и отмечала, что «более убедительной картины мира» нельзя себе и представить [242]. Когда Уинстон Черчилль во время дебатов в нижней палате начал свою речь словами: «Мы потерпели полное, всеобъемлющее поражение», – поднялась буря протеста.

Когда немецкие войска в соответствии с соглашением вступили в Судетскую область, и Гитлер 3 октября на «Мерседесе» повышенной проходимости пересек границу, лидер судето-

немецких социал-демократов Венцель Якш вылетел в Лондон. Как это соответствовало практике завоевания последующих лет, следом за частями вермахта шли команды службы безопасности (СД) и гестапо, чтобы «немедленно начать чистку освобожденных областей от марксистских предателей народа и прочих врагов государства». Якш просил о визах и любых видах помощи своим находившимся в угрожающем положении друзьям. Лорд Ренсимен заверил его, что мэр Лондона организует сбор пожертвований в пользу преследуемых, он сам пожертвует определенную сумму. Лондонская «Таймс» публиковала фотографии вступающих немецких частей, встречаемых ликованием, дождем цветов; но дать фотографии тех, кто бежал от них, главный редактор газеты Джеффри Досон отказался. Венцель Якш никаких виз не получил. От брошенной на произвол судьбы, искалеченной страны урвали себе теперь немалые куски также поляки и венгры. История этой осени полна актами ослепления, эгоизма, слабости и предательства. Те друзья Венцеля Якша, которым удалось бежать внутрь страны, вскоре были выданы Германии пражским правительством [243].

Недовольство Гитлера исходом мюнхенской конференции, естественно, усиливало его нетерпение. Уже спустя десять дней он передал Кейтелю строго секретный перечень вопросов относительно военных возможностей рейха, по которым должны были быть подготовлены справки; 21 октября он дал указания о военной «ликвидации остальной части Чехии», «овладении Мемельской областью» и кроме того распорядился в дополнительном указании от 24 ноября подготовиться к оккупации Данцига. Одновременно он подталкивал словацких националистов к тому, чтобы они сыграли в новом государстве роль судетских немцев, ускорив дальнейший распад Чехословакии изнутри.

Разочарованиями последних дней были также продиктованы меры, которые он принял для усиленной психологической мобилизации общественности. Хотя воодушевление в Германии было велико, а авторитет Гитлера еще раз поднялся до головокружительной высоты, он сам чувствовал, что это ликование содержало в себе значительное облегчение в связи с тем, что войны удалось избежать. Поэтому в начале ноября он воспользовался возможностью развернуть широкомасштабную пропагандистскую акцию, когда еврейский эмигрант застрелил советника германского посольства в Париже Эрнста фон Рата. Покушение, которое было вызвано преимущественно личными мотивами, Гитлер, недолго думая, объявил «одним из тех ударов

мирового еврейства», которые, как он по-прежнему считал, содействуют высшей степени сплочения. Многочасовая торжественная кампания, включающая большую траурную церемонию, музыку Бетховена и демагогические стенания по убитому, была организована вплоть до уровня школ и предприятий, и в последний раз СА выступили в их когда-то апробированной, но давно уже не исполнявшейся роли выразителя слепого народного гнева: вечером 9 ноября повсюду в Германии запылали синагоги, были разгромлены квартиры евреев, разграблены их магазины, было убито почти сто человек и примерно 20 тысяч арестовано; эсэсовская газета «Дас Шварце кор» рассуждала о необходимости искоренить «огнем и мечом», «фактически и бесповоротно покончить с еврейством в Германии». Но глубоко укоренившийся буржуазный инстинкт населения можно было только напугать, а не мобилизовать бесчинствами улицы, которые вновь пробуждали потускневшие воспоминания о годах беспорядка и беззакония [244]; вера Гитлера в то, что его собственные аффекты должны оказывать и мощнейшее психологическое воздействие на общественность, была дальнейшим симптомом утраты им чувства реальности. Очевидное противоречие, которое всегда существовало между его неистовым юдофобством и вялым немецким антисемитизмом, стало еще более явственным. Характерно, что эта акция прошла с успехом только в Вене.

Безразличие масс, однако, только подхлестнуло его усилия. Время после мюнхенской конференции проходило под знаком усиленных пропагандистских акций, в которые скоро с растущей агрессивностью включился и сам Гитлер. Его раздраженное выступление 9 октября в Саарбрюккене было их составной частью, равно как речь в Веймаре 6 ноября, речь в Мюнхене 8 ноября и большой отчетный доклад за 1938 год, который был смесью гордости, ненависти, нервозности и самоуверенности, клялся в «сплоченности народа» и вновь подвергал нападкам еврейство, которому он предрекал уничтожение в Европе [245]. Определяющим мотивом относящегося к тому же времени секретного выступления перед главными редакторами немецкой печати также было стремление переключить прессу с тактики клятв в миролюбии и призывов к взаимопониманию, расслабляющее действие которых он наблюдал в Берлине и Мюнхене, на тон агрессивной решимости: речь была как бы приказом о психологической мобилизации. Гитлер все вновь и вновь подчеркивал, как важно иметь за собой «сильный верой, сплоченный, уверенный в себе и своем будущем немецкий народ», одновременно он гневно обрушивался на критиков и

разлагающих общественное мнение интеллектуалов:

«Что касается интеллектуальных слоев у нас, то должен сказать, что, к сожалению, без них не обойтись, а то можно было бы их в один прекрасный день истребить или устроить что-нибудь в этом духе. Но, к сожалению, они нужны. Когда я смотрю на эти интеллектуальные слои и размышляю над их отношением ко мне, нашей работе, то мне становится почти страшно. Ибо с тех пор, как я занимаюсь политикой и особенно с того момента, как я возглавил рейх, у меня только успехи. И тем не менее эта публика строит из себя черт знает что, это отвратительно, мерзко. А что случится, если у нас будет какая-нибудь неудача? Как поведут себя тогда эти курицыны дети?.. Раньше моей величайшей гордостью было то, что я создал себе партию, которая и во времена неудач непреклонно и фанатично стояла за мной. Это было моей величайшей гордостью… и в таком духе мы должны воспитать весь наш народ. Его надо воспитать в абсолютной, непоколебимой, само собой разумеющейся твердой вере в то, что в конце мы получим все необходимое. Этого можно добиться лишь постоянно обращаясь к силе нации, выделяя позитивные ценности народа и, по возможности, не обращая внимания на так называемые отрицательные стороны.

Для этого необходимо, чтобы именно печать совершенно слепо придерживалась принципа: руководство всегда действует правильно!.. Только так мы освободим народ от сомнений, которые лишь делают его несчастным. Широкие массы совсем не хотят, чтобы на их плечи ложилось такое бремя. Широкие массы хотят только одного: иметь хорошее руководство, верить ему, чтобы в руководстве не было грызни между собой, чтобы руководство выступало перед ними сплоченным. Поверьте мне, я знаю совершенно точно: для немецкого народа нет большей радости, чем видеть, как я выхожу на улицу, скажем, 9 ноября, а вокруг меня мои соратники, и народ говорит: это такой-то, это такой-то, а это такой-то. Людям спокойно от мысли, что все руководители – держатся вместе, все они идут за фюрером, а фюрер горой стоит за них, это наши кумиры. Может быть, кое-кто из интеллектуалов этого никак не поймет. Но простые люди… хотят именно этого! Так это было в немецкой истории и прежде. Народ всегда

счастлив, когда те немногие руководители, которых жизнь поставила наверху, стоят друг за друга, тогда и народу внизу легче быть сплоченным» [246].

Частью процесса психологической мобилизации с момента мюнхенской конференции была также все более ускоряемая Гитлером динамика самих событий, так что наблюдатель порой спрашивал себя, то ли политика не нуждалась в передышке, то ли отсутствие передышки становилось политической нормой. От недели к неделе усиливался нажим изнутри и извне на беззащитную Чехословакию. 13 марта Гитлер настоятельно потребовал от вызванного в Берлин лидера словацких националистов Тисо отделения от Праги, днем позже перед парламентом в Прессбурге[247] был зачитан переданный Риббентропом на словацком языке манифест о независимости. Вечером того же дня в столицу рейха прибыли чешский президент Гаха вместе с министром иностранных дел Хвалковским, там Гаха подвергся шантажу, который Гитлер позже с отдающим какой-то ущербностью удовольствием назвал «гахаизацией». Хотя гости были приняты со всеми положенными по протоколу почестями, в рейхсканцелярию они попали только между первым и вторым часом ночи после выматывающего нервы ожидания, когда они напрасно пытались узнать о предмете переговоров. Престарелый и болезненный Гаха вместе с Хвалковским после утомительного шествия через бесконечные коридоры и залы недавно построенной рейхсканцелярии попал в конце концов к Гитлеру, который ждал перед своим письменным столом в полумраке огромного кабинета, освещенного лишь несколькими бронзовыми торшерами, рядом с ним помпезный Геринг и опять апробированная по части запугивания фигура Кейтеля. Слова приветствия президента выражают всю отчаянную угодливость страны, брошенной всеми на произвол судьбы, В протоколе встречи отмечается:

«Президент Гаха приветствует фюрера и выражает свою признательность за то, что фюрер принимает его. Он уже давно хотел познакомиться с человеком, чьи замечательные мысли он часто перечитывал и изучал. Сам он до недавнего времени был неизвестен, никогда не занимался политикой, а был в свое время просто чиновником-юристом в венском управленческом аппарате…. в 1918 году его вызвали в Прагу и назначили в 1925 году президентом административного суда. В качестве такового он не имел никакого отношения к политикам, или, как бы он их точнее назвал,

политиканам. Он никогда' не был персоной грата. С президентом Масариком он встречался лишь раз в год на ужине, который устраивали для судей, а с Бенешем еще реже. Единственная встреча с ним была отягощена недоразумениями. В общем-то весь режим был ему чужд, сразу после перелома он задал себе вопрос, а счастье ли это для Чехословакии быть самостоятельным государством. Прошлой осенью на его долю выпала задача встать во главе государства. Он – старый человек… и он верит, что отдать судьбу(Чехословакии) в руки фюрера – значит отдать ее в надежные руки» [248].

Когда Гаха закончил свое выступление просьбой предоставить все-таки его народу право самостоятельного национального существования, Гитлер начал пространный монолог. Он жаловался на многочисленные проявления враждебности чехов, бессилие нынешнего правительства в его собственной стране, указал на сохранение духа Бенеша, обрушивал упрек за упреком на молчавших, «словно окаменевших» людей, сидевших перед ним, «только по их глазам было видно, что они – живы» [249]. Его терпение, продолжал он, исчерпано:

> «В шесть часов со всех сторон в Чехию войдет немецкая армия, а немецкие ВВС займут аэродромы. Есть две возможности. Первая: вступление немецких войск будет идти *с* боями. Тогда это сопротивление будет жестоко подавлено силой. Другая: вход немецких войск будет осуществляться в приемлемых формах, тогда фюреру будет легче дать Чехословакии при преобразовании широкую самостоятельность, автономию и известную национальную свободу…
>
> Вот по этой причине он попросил приехать сюда Гаху. Это приглашение – последняя добрая услуга, которую он может оказать чехословацкому народу… Проходят час за часом. В шесть часов в страну войдут войска. Ему почти неудобно говорить, что на каждый чешский батальон приходится одна немецкая дивизия. Военная операция проводится не в игрушечных, а полных масштабах».

На вопрос Гахи, почти лишившегося голоса, как ему удержать от сопротивления весь чешский народ за четыре часа, Гитлер высокопарно ответил:

> «Военная машина запущена в ход и ее не остановить. Ему следует обратиться в пражские инстанции. Это серьезное решение, но он видит впереди возможность долгого периода мира между двумя народами. Если решение будет иным, то он предвидит уничтожение Чехословакии… Его решение бесповоротно. А что такое решение фюрера – это известно».

После того, как Гаху и Хвалковского отпустили вскоре после двух часов ночи из кабинета Гитлера, они попытались связаться по телефону с Прагой. Когда Геринг ввиду того, что время уходит, пригрозил разбомбить город и с грубым «простодушием» расписывал картины разрушения, с президентом случился сердечный приступ, и какое-то мгновение присутствующие опасались самого худшего: «Тогда завтра утром весь мир скажет, что его убили ночью в рейхсканцелярии», – писал позже один из очевидцев. Однако доктор Морелль, которого предусмотрительные режиссеры держали наготове, опять поставил его на ноги. Таким образом удалось своевременно передать пражским инстанциям указание не оказывать сопротивление вступлению немецких войск, незадолго до четырех часов Гаха подписал документ, согласно которому он «исполненный доверия вкладывает судьбу чешского народа и страны в руки фюрера Германского рейха».

Едва Гаха вышел из помещения, Гитлер утратил всю свою привычную манеру держаться. Он в возбуждении рванулся в комнату своих секретарш и потребовал расцеловать его: «Деточки, – крикнул он. – Гаха подписал. Это самый великий день моей жизни. Я войду в историю как самый великий немец» [250]. Двумя часами позже его войска перешли границу, первые части вошли в Прагу, где несмотря на весну мела вьюга, уже в девять часов. На обочинах опять стояли ликующие люди, но это было лишь меньшинство, большинство отворачивалось или стояло молча, со слезами бессилия и гнева на глазах, позади приветливо машущих руками шеренг. Уже тем же вечером в город прибыл сам Гитлер и переночевал в Градчанском замке. «Чехословакия, – объявил он, упоенный победой, – перестала существовать». Вся операция заняла два дня. Когда английский и французский послы передали 18 марта в Берлине ноты протеста, Гитлер к тому моменту уже создал протекторат Богемия и Моравия, во главе которого он ради успокоения других поставил господина фон Нойрата, который считался умеренным деятелем, парафировал договор о защите Словакии и отправился назад. Казалось, жизнь вновь подтвердила слова Муссолини полугодичной давности,

произнесенные им незадолго до Мюнхена: «Демократии осуждены проглатывать оскорбления» [251].

Однако захват Праги положил начало повороту: слишком глубоко было разочарование западных держав, ощущение, что их обманули и злоупотребили их терпением. Еще 10 марта Чемберлен заявлял некоторым журналистам, что угроза войны уменьшается и наступает новая эра разрядки; теперь, 17 марта, он говорил в Бирмингеме о «небывалом потрясении», указывал на многочисленные нарушения договоренностей, совершенные в ходе операции против Праги и в заключение задавал вопрос, является ли «это концом старой авантюры или началом новой». В тот же день он отозвал из Берлина на неопределенное время Гендерсона, а лорд Галифакс сказал, что понимает вкус Гитлера к некровавым триумфам, но в следующий раз ему придется пролить кровь [252].

Оккупация Праги была, правда, поворотным пунктом только для политики Запада. В апологиях умиротворителей, равно как в попытках немецких пособников режима оправдаться, появляется вновь и вновь тезис о том, что Гитлер сам, войдя в Прагу, совершил поворот: только в этот момент он-де встал на неправедный путь и радикально расширил цели ревизии, которые до того были приемлемыми, с этого момента его целью было не право на самоопределение, а слава завоевателя. Но теперь мы знаем, сколь превратно такие оценки отражают мотивы, намерения и его суть, все принципиальные решения он принял уже задолго до того, Прага была лишь тактическим этапом, и Влтава, конечно же, не была его Рубиконом.

Операция была актом саморазоблачения. Йодль, бывший тогда полковником, порой с восторгом писал в дни продолжавшихся внешнеполитических триумфов вещи вроде следующих: «Этот вид ведения политики для Европы нов» [253]. Действительно, динамичная комбинация угроз, лести, клятв в миролюбии и актов насилия, которую использовал до тех пор Гитлер, было необычным, парализующим средством, и западные государственные деятели могли, если судить с точки зрения морали, какое-то время заблуждаться относительно намерений Гитлера. «Во всем, что они говорят и делают, – описывал лорд Галифакс свою неуверенность, – люди всегда нащупывают свой путь подобно слепым, пытающимся найти дорогу через болото, в то время как всякий с берега кричит разные сведения о следующей зоне опасности» [254]. Акция Гитлера против Праги лишила, однако, ситуацию всей неоднозначности: впервые в сознании Чемберлена и его французских партнеров стало

брезжить понимание гугенберговского опыта: что этого «странного человека», как писал Галифакс, можно укротить и приручить только силой.

Прага означала своего рода поворотный пункт в карьере Гитлера, однако в другом смысле: она была его первой почти за пятнадцать лет серьезной ошибкой. В тактическом плане он всякий раз достигал успехов благодаря способности придавать всем ситуациям столь многозначный характер, что этим разбивались как строй, так и воля к сопротивлению его противников. Теперь он впервые выступил во всей однозначности. Если до сих пор он всегда исполнял двойственные роли, разыгрывая, будучи противником, тайного союзника или же начиная устранение определенного состояния под лозунгом его защиты, то теперь он без увиливаний показал свою самую сокровенную сущность. В Мюнхене он еще раз, хотя уже скрепя сердце, осуществил «фашистскую схему», т. е. добился триумфа над одним противником при помощи другого. Ноябрьский погром 1938 года знаменовал первый отказ от этого тактического приема периода его успехов; Прага устранила все сомнения в том, что он был врагом всех.

В силу природы его тактики уже первая ошибка была непоправимой. Гитлер сам осознал позже роковое значение своего захвата Праги. Но его нетерпение, его высокомерие и далеко идущие планы не оставляли ему иного выбора. На следующий день после оккупации Праги он поручил Геббельсу проинструктировать прессу: «Использование понятия «великогерманская мировая империя» нежелательно…. оно будет использоваться позже»; готовя в апреле свое пятидесятилетие, он приказал Риббентропу «пригласить ряд зарубежных гостей, в том числе как можно больше трусливых гражданских и демократов, которым я покажу парад самой современной из всех имеющихся ныне армий» [255].

Глава IV
РАЗВЯЗЫВАНИЕ ВОЙНЫ

Во мне всегда жила мысль о том, чтобы бить.

Адольф Гитлер

Предложение Польше. – Отклонение его Беком. – Англия обещает поддержку. – «План Вайс». – Стрелки поставлены на войну. – На сцену выходит Советский Союз. – Стальной пакт. – Выступление Гитлера 23 мая 1939 г. – Московская инициатива – Наперегонки с бедой. – Пакт с Москвой. – Перед генералами. – Отложенная война. – Директива № 1 о ведении войны. – Нападение. – Объявление войны западными державами. – Первый блицкриг.

Начиная с весны 1939 года обращает на себя внимание неспособность Гитлера тормозить собственную динамику. Безошибочное чувство темпа, которое он доказал несколько лет назад в ходе завоевания власти, начало теперь покидать его, уступая место неврастеническому порыву к действию. При тогдашней слабости и разрозненности своих противников он смог бы, бесспорно, реализовать все свои притязания на пересмотр имеющихся отношений и предположительно даже часть своей далеко идущей концепции завоевания «жизненного пространства» при помощи тактики прикрытия со стороны консервативных держав, которая до тех пор сослужила ему столь исключительную службу. Теперь он отказался от нее – отчасти от азарта, отчасти под разлагающим воздействием своего успеха как политика, выросшего на протесте, привыкшего думать категориями «неотъемлемых притязаний», от лихорадочного нетерпения. Гений фюрера заключается в умении ждать, уверяла пропаганда режима; Гитлер же больше не ждал.

Уже спустя неделю после вступления в Прагу он отправился в Свинемюнде на борту тяжелого крейсера «Дойчланд» и взял оттуда курс на Мемель. Небольшой портовый город у северной границы Восточной Пруссии был аннексирован в 1919 году в сумятице послевоенного времени Литвой, предъявление требований о его возврате стало теперь лишь вопросом времени. Но чтобы придать этому акту драматизм и элемент

триумфирующей силы, Гитлер дал указание довести 21 марта до сведения правительства в Каунасе требования «прибыть завтра самолетом» в Берлин для подписания документа о передаче города, сам он, еще не будучи уверенным в ответе, вышел в море; пока Риббентроп «гахаизировал» литовскую делегацию, он, мучимый морской болезнью и плохим настроением, запрашивал двумя нетерпеливыми радиограммами с борта «Дойчланд», может ли подойти к городу мирно или же придется прокладывать путь корабельными пушками. 23 марта, примерно в половине второго ночи, Литва согласилась отдать город, и в полдень Гитлер въехал в Мемель, вновь под ликование толпы.

Двумя днями раньше фон Риббентроп пригласил к себе польского посла в Берлине Юзефа Липского и предложил ему провести переговоры по широкому урегулированию германо-польских интересов[256]. Не без особой настойчивости он вернулся к различным требованиям, которые уже неоднократно предъявлялись, в том числе прежде всего вернуть вольный город Данциг и проложить экстерриториальную линию сообщения через польский коридор. В качестве ответного шага он вновь предложил продление договора о ненападении 1934 года на 25 лет и предоставление формальных гарантий нерушимости границ. О том, сколь серьезным было отношение к этому предложению, свидетельствует одновременная попытка привлечь Польшу к Антикоминтерновскому пакту, вообще линия Риббентропа при проведении всех этих переговоров была нацелена на укрепление взаимных связей с «явно выраженной антисоветской тенденцией»; один из проектов ноты МИД довольно откровенно обещал Варшаве в виде доли добычи и вознаграждения за укрепление сотрудничества владение Украиной; в полном соответствии с этой линией Гитлер в беседе с Браухичем 25 марта говорил о нежелательности насильственного решения вопроса о Данциге, однако считал все-таки заслуживающей обсуждения военную акцию против Польши при «особо благоприятных политических предпосылках» [257].

У примечательного безразличия Гитлера к альтернативе – завоевание или союз – он хотел сохранить за собой возможность пойти и по первому, и по второму пути – была убедительная причина. Фактически Данциг его особенно не интересовал, этот город был лишь предлогом, которым он пользовался, чтобы поддерживать диалог с Польшей и, как он надеялся, наладить сотрудничество. Свое предложение он, вероятно, считал весьма заманчивым, ибо оно сулило Польше огромные приобретения в ответ на небольшую ответную услугу. Данциг был немецким городом, его отделение от рейха было уступкой в Версале

потребности поляков в престиже, вес этих амбиций с годами падал, в перспективе Польша едва ли удержала бы город. Требование проложить коммуникационную магистраль с Восточной Пруссией было небезосновательной попыткой как-то уладить проблему территориальной разобщенности Восточной Пруссии и рейха, справедливость которой представлялась сомнительной. Однако то, чего Гитлер хотел на самом деле, было связано с последней великой целью всей его политики – завоеванием нового «жизненного пространства».

Дело в том, что одним из непреложных условий запланированного завоевательного похода на Восток была общая граница с Советским Союзом. До сих пор Германия была отделена от равнин России, на которые положил глаз Гитлер, поясом государств, простиравшимся от Балтийского до Черного морей, от балтийских государств до Румынии, Одно или несколько из них должны были стать районом стратегического сосредоточения и развертывания сил для действий против России, иначе войну было начать невозможно. Теоретически это условие можно было осуществить одним из трех способов: он мог привлечь на свою сторону государства «Промежуточной Европы», заключив с ними союз, сам аннексировать некоторые из них или дать аннексировать их Советскому Союзу, который в таком случае, перешагнув старые границы, вошел бы в соприкосновение с Германией. В последующие месяцы Гитлер использовал все эти возможности; изворотливость и хладнокровие, с которыми он на глазах лишившегося дара речи мира использовал по очереди эти приемы, в последний раз показывают Гитлера на вершине его тактических способностей.

После вторжения в Прагу, которое явно подвергло терпение западных держав суровому испытанию, он был, оЕвропы для его планов больше всего подходила, казалось, именно Польша. Она была авторитарным государством с сильными антикоммунистическими, антирусскими и даже антисемитскими тенденциями, налицо была «надежная общность» [258], на которой можно было основать союз во имя экспансии под немецким руководством. Кроме того, Польша поддерживала хорошие, защищенные пактом о ненападении отношения с Германией, к которым Гитлер сам расчистил дорогу.

Вследствие этого от ответа польского правительства на предложения Риббентропа зависело гораздо большее, чем обычная сделка и, конечно, нечто гораздо большее, чем удовлетворение одного из планов ревизии существующего устройства: для Гитлера на кону стояла ни много, ни мало сама идея «жизненного пространства». Лишь в этом контексте

становятся понятными упорство и радикальная последовательность, которые он проявил в этом вопросе. Для него дело действительно обстояло так: все или ничего.

Однако Польша была крайне озадачена немецкими предложениями, ибо они создавали угрозу всей политике, которую она проводила до сих пор, и делали ее без того критическое положение еще более сложным. До последнего времени эта страна видела условия своего благополучия в строжайшем равновесии между двумя ее соседями-колоссами – Германией и Россией, временное бессилие которых позволило ей в 1918 году не только восстановить свою государственность, но даже в последующий период расширить свою территорию за счет этих двух стран. За свою долгую историю Польша поняла, что ей следует бояться дружбы с любым из двух соседей в такой же степени, как и вражды с кем-либо из них, теперь этот урок был важен, как никогда, Немецкое предложение резко шло вразрез с этим кардинальнейшим принципом польской политики.

Эта очень опасная ситуация требовала большей мудрости, большего чувства баланса и умения приспосабливаться, чем те, которые мог проявить романтический народ, чувствовавший себя униженным на протяжении веков. В целом Польша, будучи поставленной перед выбором, пожалуй, незначительно склонялась к Германии, но новая Германия была неспокойнее и жаднее, чем Советский Союз, погрязший в схватках за власть, чистках и догматической схоластике. Министр иностранных дел Юзеф Бек, человек скользкий и любящий интриги, который словно отчаянный жонглер вел дерзкую игру с пятью мячами, еще больше усложнил положение, выдвинув честолюбивые планы «Третьей Европы»: он хотел создать нейтральный блок стран от Балтийского моря до Геллеспонта под польским руководством. Он хотел извлечь выгоду для самой Польши как раз из агрессивной политики Гитлера. Его внешне осторожная прогерманская политика была втайне нацелена на то, чтобы «совершенно методично усиливать зацикленность немцев на ошибках», она строилась в надежде «не только на безоговорочное включение Данцига в состав польского государства, но на гораздо большее – на всю Восточную Пруссию, Силезию, более того – и на Померанию, … нашу Померанию», как стали скоро говорить все чаще и откровеннее [259].

Тайные польские великодержавные мечты были подоплекой того неожиданного резкого отказа, которым ответил Бек в конце концов на предложение Гитлера, вызывающе связав это с мобилизацией нескольких дивизий в приграничной области. Если подходить к делу строго объективно, то вряд ли он считал

немецкие требования неоправданными. Данциг, как признавал он, был для Польши своего рода символом [260]. Однако всякая уступка должна была восприниматься как отход от кардинальных установок всей польской политики – ее стремления к равновесию и ограниченной гегемонии. По этой причине исключался единственный тактический выход из сложившегося положения – выиграть время, пойдя на частичные уступки. С другой стороны, Бек и правительство в Варшаве опасались, что за первыми требованиями Гитлера последуют все новые претензии, так что обеспечить непоколебимость собственной позиции мог только принципиальный отказ, короче говоря, Польша оказалась в свой исконной позиции: у нее не было никакого выбора.

Эта дилемма проявилась и в том, что Бек 23 марта отклонил британское предложение заключить соглашение о консультациях между Великобританией, Францией, Советским Союзом и Польшей, потому что он не хотел вступать ни в какую группировку, в состав которой входил бы Советский Союз: он отказался от союза с рейхом, имеющим антисоветскую направленность, и еще менее был готов заключить союз с СССР с антигерманской направленностью. Он не видел, что в обостренной Гитлером ситуации должен был выбирать: точно так же как с этого момента от СССР была только одна фатальная защита – обратиться к Германии, так и от немецких требований его могла спасти только поддержка Советского Союза. Он хорошо знал, и СССР впервые подтвердил это подозрение в коммюнике ТАСС от 22 марта, что принять эту поддержку означало поставить на себе крест: Бек был готов скорее погибнуть, чем воспользоваться защитой старого угнетателя на Востоке. В политическом плане его гордость основывалась на догме о непреодолимой природе германо-советского противоречия. Но, отвергнув оба соседних государства, он, вопреки своей воле, создал предпосылки для сближения между ними; начал формироваться фронт сил, развязывающих войну.

В то же время чувство самоуверенности Бека подкреплялось позицией британского правительства. Все еще задетый вторжением Гитлера в Прагу, Чемберлен решился в конце марта на своего рода шаг отчаяния: на основании некоторых неподтвержденных известий о внезапном немецком нападении на Данциг, он запросил Варшаву, не возражает ли Польша против объявления британской стороной о гарантиях; и вопреки предупреждениям некоторых своих более проницательных соотечественников, считавших «ребячески наивным и одновременно неджентльменским шагом предлагать государству, которое находится в таком положении как Польша, обострение

отношений с таким сильным соседом, как Германия» [261], Бек незамедлительно согласился: для принятия этого решения ему, как он позже заверял, потребовалось не больше времени, чем надо было, чтобы стряхнуть пепел сигареты. 31 марта Чемберлен выступил после этого со знаменитым заявлением перед Палатой общин, что Англия и Франция «в случае какой-либо акции, которая явно угрожает польской независимости, … считают своим долгом незамедлительно оказать польскому правительству всю имеющуюся в их распоряжении помощь» [262].

Это обещание поддержки ознаменовало поворот в политике той фазы: Англия решила безусловно дать отпор экспансионистским устремлениям Гитлера, где бы, когда бы и в каком бы вопросе они ни проявлялись. Это было чрезвычайное и внушающее к себе уважение решение, которому в такой же степени не хватало мудрости, в какой оно обладало пафосом. Источник его возникновения – аффект разочарованного человека – был слишком явным, и его критики уже самого начала указали на присущую ему проблематичность: оно не требовало от поляков ответных гарантий на тот случай, если Гитлер нападет на какую-нибудь другую европейскую страну, не заставило их вступить в переговоры о помощи с СССР, соучастие которого должно было иметь решающее значение, и кроме того отдавало вопрос о войне и мире в Европе на решение группке упрямых людей с обостренными национальными чувствами в Варшаве, только что действовавших заодно с Гитлером против Чехословакии и предавших принципы независимости, на которые они теперь столь рьяно ссылались.

Принятое Чемберленом 31 марта решение заставляло, однако, и Гитлера по-новому взглянуть на вещи. В британских гарантиях он видел не только полномочия эксцентричным полякам втягивать как им заблагорассудится Германию в военные действия; еще более существенным был тот момент, что Англия в его глазах теперь окончательно определилась как противник, который не давал «зеленый свет» в направлении Востока и явно был исполнен решимости вступить в схватку не на жизнь, а на смерть. Большой мандат у буржуазных держав против Советского Союза – теперь это было ясно – получить было нельзя, что, следовательно, ставило под вопрос всю его концепцию. Судя по всему, этот последний мартовский день дал ему толчок для того радикального поворота, который намечался с конца 1936 года в различных высказываниях, но все оттягивался: теперь он действительно переходил, как он сказал незадолго до того, к «ликвидации своего юношеского труда» [263]: он не только прекратил ухаживание за Англией, которое было отвергнуто, но и

сделал вывод, что, отправляясь на завоевание «жизненного пространства» на Восток, он всегда наткнется на Англию, и ему придется сперва победить островное королевство. Из стремления избежать войны на два фронта вытекало, таким образом, еще одно следствие: надо добиваться временного взаимопонимания с завтрашним противником. Обстоятельства сложились так, что поведение поляков открывало теперь перед ним такую возможность: союз с СССР стал достижимым.

Политика Гитлера в последующие месяцы была строго последовательным широкомасштабным маневром по осуществлению этого поворота и созданию новых фронтов в Европе в соответствии с его тактическими соображениями. Адмирал Канарис, который был у Гитлера, когда поступило известие об английских гарантиях для Польши, вспоминал*, что Гитлер воскликнул:» Я заварю им такое сатанинское зелье, что у них глаза на лоб полезут» [264]. Уже "на следующий день он использовал спуск на воду линкора «Тирпиц» в Вильгельмехафене для того, чтобы выступить с речью против британской «политики окружения» Германии, угрожал «государствам-сателлитам, единственная задача которых – быть орудиями против Германии» и объявил о расторжении германо-английского морского договора:

> «В свое время я заключил с Англией соглашение, морское соглашение. Оно основывается на имеющемся у всех нас горячем желании не воевать с Англией. Но это желание может быть только обоюдным. Если у Англии такого стремления больше нет, то практические предпосылки этого соглашения таким образом исчезли. Германия воспринимает это абсолютно спокойно! Мы уверены в себе, потому что мы сильны, потому что сплочены… Тот, кто не имеет мощи, лишается права на жизнь!» [265].

Все лично встречавшиеся с Гитлером в это время рассказывают о его яростных нападках на Англию [266]; министерство пропаганды дало указание в начале апреля изображать Англию самым опасным противником Германии. Одновременно Гитлер прекратил переговоры с Польшей, статс-секретарю Вайцзеккеру он поручил передать другой стороне, что прежнее предложение было единственным и неповторимым, тем самым делался намек на предъявление новых, пока еще неясных претензий; словно чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, он внезапно стал опять проявлять интерес к положению немецкого

меньшинства в Польше, которым он пренебрегал в те годы, когда оно вместе с евреями было основной жертвой старых обид и шовинистического гонора поляков.

Самым серьезным выводом, который сделал Гитлер из нового положения, явилась все-таки директива вермахту от 3 апреля, которая получила кодовое название «План Вайс»:

> «Позиция Польши на данном этапе требует от нас осуществления военных приготовлений, чтобы при необходимости устранить всякую угрозу с этой стороны даже в отдаленном будущем.
>
> Отношения Германии с Польшей и в дальнейшем должны строиться с учетом нежелательности всяких трений. Но если Польша по отношению к Германии изменит свою политику, основывавшуюся до сих пор на тех же принципах, что и наша политика в отношении Польши, и займет позицию, создающую угрозу рейху, то, несмотря на существующий договор, может оказаться необходимым окончательное решение проблемы.
>
> Целью в этом случае будет: разбить польские вооруженные силы и создать на Востоке такую обстановку, которая соответствовала бы потребностям обороны страны. Вольный город Данциг будет объявлен частью территории германского рейха не позднее, чем в момент начала конфликта…
>
> Основные цели строительства германского вермахта я в дальнейшем будут определяться враждебностью западных демократий. План «Вайс» представляет лишь предварительную меру в системе подготовки к будущей войне» [267].

Во вводной к этому документу указывается на распоряжение Гитлера, согласно которому «подготовка должна проводиться с таким расчетом, чтобы обеспечить проведение операции в любой момент, начиная с 1. 9. 39.

Хотя внешне все оставалось неизменным, казалось, чтоЕвропы теперь о себе напомнил и Муссолини, правда, акцией, которая проявляла бережливость в отношении сил и храбрости Италии. 7 апреля 1939 года его войска напали на маленькую Албанию; повторяя вызывавший зависть немецкий образец, он установил над ней протекторат: он вынужден тоже «получить что-нибудь», сообщил он незадолго до этого Берлину. Вследствие этого западные державы предоставили теперь гарантии поддержки также Греции и Румынии. Когда затем Германия

предостерегла малые европейские страны перед «опасностью поддаваться соблазнам британцев» и тем самым еще больше усилила нервозность, после многолетней изоляции от дел мировой политики, вызванной прежними разочарованиями, впервые заявили о себе Соединенные Штаты. 14 апреля президент Рузвельт направил Гитлеру и Муссолини письмо с призывом дать на 10 лет гарантии ненападения в отношении 31 государства, которые были конкретно перечислены. Если Муссолини поначалу отказался вообще принимать к сведению это послание, то Гитлер испытывал глубокое удовлетворение, получив этот неожиданный вызов. Со времени своего первого ораторского выступления он эффективнее всего проявлял свой риторический дар в полемике, а наивная демагогия рузвельтовского обращения, где перечислялись страны, с которыми ни Германия, ни Италия, не имели общих границ или тем более разногласий (в том числе Ирландия, Испания, Турция, Ирак, Сирия, Палестина, Египет и Персия), чрезвычайно облегчала Гитлеру его задачу. В заявлении Германского информационного бюро, переданном по его указанию, сообщалось, что он даст свой ответ в выступлении перед рейхстагом.

Речь Гитлера 28 апреля была одной из очевидных вех развития европейского кризиса: она перевела стрелки на войну. По опробованной схеме эта речь была полна заверений в миролюбии и жестов – проявлений собственной кротости, содержала громкие клятвы в невиновности и хранила молчание о всех подлинных намерениях. Гитлер еще раз попытался сыграть роль выразителя программы ограниченной и умеренной ревизии на Востоке, обращало на себя внимание отсутствие нападок, изображающих Советский Союз сатанинской силой. Одновременно он продемонстрировал весь свой сарказм, свою гипнотическую логику и умение склонять на свою сторону, так что некоторые наблюдатели охарактеризовали речь как «вероятно, самую блестящую из всех, с которыми он когда-либо выступал» [268]. Свои нападки на Англию он сочетал с выражением восхищения Британской империей, заверял Польшу – вопреки всем разочарованиям – в своей неизменной готовности к переговорам и разразился резкими выпадами против «международных поджигателей войны», «провокаторов», и «врагов мира», стремящихся навербовать «против Германии ландскнехтов из числа европейских демократий» и тех «магов Версаля, которые из злости или из безрассудства расставляют по Европе сотни пороховых бочек». И затем он подошел к кульминационному пункту: под взрывы восторга и раскаты смеха – к полемике с американским президентом.

Гитлер поделил письмо Рузвельта на 21 пункт, на которые он отвечал раздел за разделом. Американский президент, заявил он, указал на общий страх перед войной, но ведь Германия не участвовала ни в одной из 14 войн, которые прошли после 1919 года – их вели государства «западного полушария», от имени которых выступил президент; Германия не имела также никакого отношения к 26 насильственным и кровавым интервенциям этого периода, в то время, как США имеют на своем счету шесть случаев военного вмешательства. Далее президент ратует за решение всех проблем с помощью конференций, но та же самая Америка выразила в самой резкой форме неверие в эффективность конференций, покинув Лигу наций, «величайшую конференцию всех времен», куда, кстати, вероломным образом не допускали Германию. Несмотря на этот «самый горький опыт», страна только при его правительстве последовала примеру США. Президент выступает поборником разоружения, но Германия навсегда усвоила урок бессмысленности этой затеи после того, как она появилась в Версале безоружной за столом переговоров, и «с ней обращались с еще меньшим уважением, чем раньше с вождями индейцев сиу». Рузвельт проявляет такой интерес к намерениям Германии в Европе, что напрашивается встречный вопрос, какие цели преследует американская внешняя политика в отношении государств Центральной и Южной Америки. Г-н президент, конечно, воспринял бы такой вопрос как бестактный и сослался бы на доктрину Монро; и хотя германское правительство сочло бы естественным поступить так же, оно обратилось к каждому из названных Рузвельтом государств и запросило, чувствуют ли они угрозы со стороны Германии. Ответ был «сплошь отрицательным»; правда, издевательски продолжал Гитлер, «до некоторых из указанных государств и наций этот мой вопрос не мог быть доведен, потому что они, как, например, Сирия, в настоящее время не свободны, а оккупированы вооруженными силами демократических государств и тем самым содержатся в бесправном положении». Тем не менее германское правительство готово дать каждому из указанных государств гарантии ненападения, если они сами того пожелают. Затем он продолжил:

> «Г-н президент Рузвельт! Я вполне понимаю, что внушительные размеры Вашего государства и колоссальное богатство Вашей страны позволяют Вам чувствовать себя ответственным за судьбы всего мира, за судьбы всех народов. Я, г-н президент Рузвельт, поставлен в гораздо более скромные и ограниченные

рамки. Я не могу чувствовать себя ответственным за судьбу того мира, которому была безразлична плачевная судьба моего собственного народа. Я считал себя избранным Провидением для того, чтобы служить моему родному народу и вывести его из страшной нужды…

Я преодолел хаос в Германии, восстановил порядок, добился огромного роста производства во всех сферах нашей национальной экономики… Мне удалось опять вернуть к полезному труду все семь миллионов безработных, участь которых так волновала всех нас… Я объединил немецкий народ не только в политическом отношении, но и укрепил его военный потенциал, далее я стремился аннулировать страница за страницей тот договор, который в своих 448 статьях содержит самое гнусное насилие, которое когда-либо свершалось над народом и людьми. Я вернул рейху грабительски отнятые у нас в 1919 году провинции, вернул в состав родины миллионы оторванных от нас, глубоко несчастных немцев, восстановил тысячелетнее историческое единство немецкого жизненного пространства, и все это, г-н президент, я стремился делать, не проливая крови и не обрушивая на свой народ или другие нации бедствия войны.

Этого я добился, г-н президент, собственными силами, еще 21 год тому назад я был неизвестным рабочим и солдатом моего народа… Вам, г-н президент, было гораздо легче. Когда я стал в 1933 году рейхсканцлером, Вы стали президентом Соединенных Штатов, с первого момента встав во главе одного из самых крупных и богатых государств мира… Поэтому у Вас, благодаря масштабам Вашей страны, было время заняться на досуге универсальными проблемами. Мой мир, г-н президент Рузвельт, … пространственно намного уже. Он охватывает только мой народ. Но я считаю, что тем самым я скорее всего могу служить идеалам, дорогим нам всем: справедливости, благосостоянию, прогрессу и миру всего человеческого сообщества!» [269]

Речь Гитлера содержала, однако, не только риторические эффекты, но и серьезное политическое решение. Двумя днями раньше Англия ввела всеобщую воинскую повинность, и в ответ на это Гитлер расторг теперь германо-английское морское соглашение и договор с Польшей. Несмотря на всю

драматичность, это заявление не имело непосредственных последствий, оно было лишь жестом. Но тем самым Гитлер аннулировал содержавшееся в соглашениях такого рода обещание решать все спорные вопросы мирным путем. Скорее всего, этот жест можно было сравнить с гарантиями, обещанными западными державами Польше, или демаршем Рузвельта; это было моральное объявление войны. Противники заняли позиции.

Свою речь Гитлер произнес 28 апреля, а 30 апреля британский посол в Париже спросил французского министра иностранных дел Бонне, «что его превосходительство думает о несколько жутковатом молчании г-на Гитлера относительно России». И действительно, Советский Союз, который до сих пор присутствовал в виде мощной тени на периферии, начал в этот момент выдвигаться в центр событий; сдержанность Гитлера, точно также как внезапно развернувшаяся активность западных держав в отношении Москвы, были симптомами изменяющегося положения. Тем самым началось тайное соревнование за союз, подогреваемое со всех сторон недоверием, страхом и ревностью, его исход должен был решить исход в пользу войны или мира.

Первый ход сделала 15 апреля Франция, предложив Советскому Союзу переработать двусторонний договор 1935 года с учетом изменившегося положения в мире. Ибо система коллективной безопасности, которую умиротворители позволили Гитлеру выбить из своих рук во времена прекраснодушных заблуждений, и теперь спешно пытались построить заново, могла обрести устрашающее действие и убедить Гитлера в бесперспективности насильственных действий только благодаря участию Москвы. Однако переговоры, к которым вскоре присоединилась и Англия, страдали от недоверия участников. Сталин не без оснований сомневался в решимости западных держав к сопротивлению, в то время как западные державы в свою очередь, прежде всего Англия в лице Чемберлена, не могли преодолеть глубоко укоренившегося предубеждения, которое буржуазный мир испытывал к стране мировой революции. Кроме того, заинтересованность Москвы уменьшилась, поскольку неловкая дипломатия Запада и так обязалась оборонять все предполье Советского Союза от Балтийского до Черного моря.

Кроме того, позиция западных держав на переговорах осложнялась постоянными помехами со стороны восточноевропейских наций, которые горячо противились всякому союзу с СССР и рассматривали его обещание гарантий как гарантию собственной гибели. И действительно, западным дипломатам пришлось скоро убедиться, что Москву можно было

привлечь на свою сторону лишь значительными территориальными и политическими уступками, которые не столь уж отличались от тех, которые они не желали предоставлять Гитлеру как раз с помощью Советского Союза. Поскольку усилия западных держав исходили из принципа защиты малых от экспансионистского голода больших, они должны были столкнуться с неразрешимой дилеммой: «На основании этих принципов, – верно охарактеризовал французский министр иностранных дел это сложное положение, – договор с Кремлем не заключить, ибо это не принципы Кремля. Где нет общности принципов, вести переговоры на их основе нельзя. Здесь может господствовать древнейшая форма человеческих взаимоотношений: насилие и обмен. Можно договориться о балансе интересов: есть надежды приобрести выгоды и желание избежать ущерба, есть стремление захватить добычу и не подвергнуться насилию. Все это может быть уравновешено: ход за ходом, наличное за наличное… Однако западная дипломатия являет картину прекраснодушного и мечтательного бессилия» [270].

В этом свете стоит рассматривать ход переговоров в последующие месяцы, прежде всего по-прежнему спорный вопрос, стремилась ли советская сторона вообще серьезно к договоренности или же только намеревалась остаться в стороне от явно надвигающегося конфликта, даже подогревать его, чтобы с большими, чем когда-либо шансами на успех нести в измотанную, разрушенную Европу неизменную идею революции. Еще ведя тягучие переговоры, затягивающиеся из-за все новых сомнений Запада, Советский Союз начал рискованную двойную игру с Германией. После тога, как речь Сталина 10 марта дала первый сигнал, СССР неоднократно обращался к правительству рейха, изъявляя заинтересованность в урегулировании отношений на новой основе, идеологические разногласия, как он объяснил, «не должны… мешать». Он заменил многолетнего министра иностранных дел Литвинова, человека западной ориентации и еврея по национальности, который в национал-социалистической пропаганде фигурировал не иначе, как «еврей Финкельштейн», Молотовым и запросил Берлин, может ли эта замена позитивно сказаться на немецкой позиции [271]. Нет никаких оснований предполагать, что руководителям советского государства оставалась неизвестной постоянно подчеркиваемая Гитлером цель: большая война на Востоке, завоевание мировой империи за счет России; тем не менее они, судя по всему, были готовы допустить огромное усиление мощи гитлеровской империи и в данный момент даже его первый шаг в экспансии на

Восток. Среди их мотивов надо прежде всего выделить тревогу, что капиталистические и фашистские державы, несмотря на сиюминутную вражду, все-таки договорятся о том, что немецкая динамика будет направлена против общего врага на Востоке; вместе с тем Советский Союз после окончания первой мировой войны, когда он утратил свои западные провинции и балтийские государства, тоже считал себя «державой, выступающей за пересмотр сложившегося порядка» [272], и Сталин явно ожидал, что Гитлер скорее поймет стремление Советского Союза отвоевать утраченное и отнесется к нему «сочувственнее», чем считающиеся с условностями государственные деятели Запада с их совестливостью, принципами и всей их моральной мелочной возней. Страх и стремление к экспансии – два основных мотива Гитлера, были главными и для Сталина.

В тактическом отношении инициативы Москвы казались Гитлеру как нельзя кстати. Конечно, антибольшевизм был одной из главных тем его политической карьеры; если мотив страха действительно являлся для него одной из элементарных движущих сил, то коммунистическая революция постоянно снабжала действующими на воображение картинами ужаса: он тысячи раз говорил о «фабриках по уничтожению людей» в России, «выжженных деревнях», «опустевших городах» с разрушенными церквами, об изнасилованных женщинах и палачах из ГПУ, акцентируя «колоссальную дистанцию» между национал-социализмом и коммунизмом, которая никогда не будет преодолена [273]. В отличие от не отягощенного подобными мотивами Риббентропа, который уже вскоре после сталинской речи от 10 марта стал выступать за сближение с Советским Союзом, Гитлер был неуверен, на него давил груз идеологии, во время растянувшихся на месяцы переговоров он все вновь и вновь начинал колебаться. Он несколько раз рвал контакты. Лишь глубокое разочарование поведением Англии, а также огромный тактический выигрыш, возможность избежать кошмара войны на два фронта при нападении на Польшу побудили его в конце концов отбросить все сомнения; как Сталин начинал отчаянную игру с «фашистской мировой чумой», рассчитывая в конечном счете на триумф, так и Гитлер успокаивал себя мыслью загладить вероотступничество будущей схваткой с Советским Союзом – эти намерения по-прежнему оставались в силе – кроме того, создать предпосылку для нее – общую границу: «это пакт с сатаной, чтобы изгнать дьявола», – говорил он немного позднее в узком кругу, а еще 11 августа, за несколько дней до сенсационной посадки Риббентропа в Москву, одному зарубежному гостю он заявил с откровенноетью, которую едва ли мыслимо понять: «Все, что я

делаю, направлено против России; если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, я буду вынужден договориться с русскими, разбить Запад, и затем, после его поражения, собрав все силы, обратиться против Советского Союза» [274]. Несмотря на весь цинизм, всю неразборчивость в тактических средствах, Гитлер был слишком идеологом, чтобы не колеблясь следовать только объективной логике своих планов, он никогда не мог полностью забыть, что пакт с Москвой был лишь второсортным решением.

И как будто снова ему стала покровительствовать судьба, – произошли события, значительно улучшившие его позицию. Обеспокоенный известиями о надвигающемся конфликте Чиано пригласил в начале мая Риббентропа в Милан и заклинал его отложить начало войны по меньшей мере года на три ввиду недостаточной подготовленности Италии. Германский министр иностранных дел заверил его, что большая схватка запланирована только «после долгого периода мира в 4-5 лет». Когда же в ходе расплывчатого обмена мнениями были выявлены и другие совпадающие точки зрения, в переговоры неожиданно включился, по своей прихоти, Муссолини; Долгие годы он из глухого чувства тревоги отказывался оформить отношения с Германией в соглашении о союзе с конкретными обязательствами; теперь он приказал Чиано без проволочек сразу объявить, что Германия и Италия договорились о военном союзе. И если Гитлер, вероятно, мог рассчитывать на то, что этот пакт ослабит решимость западных держав поддержать Польшу, то для Муссолини союз мог иметь только катастрофические последствия. Справедливо указывалось на то, что он был обязан завоеванием всего того, что ему позволили захватить, поддержке со стороны Германии и что теперь все его интересы должны были направляться на закрепление приобретенного соглашением с западными державами [275]. Вместо этого он безусловно связал судьбу страны с более сильной, решительно настроенной на войну державой, и низвел себя до положения вассала: отныне он должен, по его продиктованным избытком чувств словам, произнесенным в Берлине, идти с Гитлером «до конца». Так называемый «Стальной пакт» обязывал каждого из партнеров оказать военную поддержку другому в случае начала военных действий. Пакт не делал различия между агрессором и подвергавшимся нападению, между наступательными и оборонительными намерениями и оговаривал военную поддержку без всяких условий. Увидев впервые немецкий проект, который позже почти без изменений стал текстом документа, Чиано сказал: «такого договора я еще никогда не читал. Это настоящий динамит». Пакт был подписан 22 мая

1939 года в берлинской рейхсканцелярии в рамках большого церемониала. «Я увидел доброго, очень веселого, не столь агрессивного Гитлера, – записывал итальянский министр иностранных дел, – он немного постарел. Круги вокруг глаз стали темнее. Он мало спит. Все меньше и меньше» [276]. Сам Муссолини, похоже, воспринял доклады своей берлинской делегации не без озабоченности, ибо уже восемью днями позже он обратился к Гитлеру с памятной запиской, в которой он еще раз подчеркивал требование Италии относительно периода мира на несколько лет и рекомендовал «подрывать внутреннюю сплоченность врагов содействием антисемитским движениям, поддержкой пацифистских… подогреванием автономистских устремлений (Эльзас, Бретань, Корсика, Ирландия), ускорением разложения нравов и подстрекательством колониальных народов к восстанию» [277].

Муссолини не подозревал, сколь обоснованы были его тревоги, ибо на следующий день после подписания «Стального пакта» Гитлер собрал в своем рабочем кабинете в рейхсканцелярии главнокомандующих сухопутных сил, ВМС и ВВС и изложил, судя по записям главного адъютанта подполковника Шмундта, свои представления и намерения. С исключительной точностью он предсказал ход первой фазы войны, ошеломляющий прорыв в Голландию и Бельгию, а затем, в отличие от стратегии первой мировой войны, бросок не на Париж, а к портам пролива, чтобы незамедлительно развернуть блокадную войну с бомбардировками против Англии, которая в этой речи фигурировала в качестве действительно главного противника. Он сказал:

> «80-миллионный народ разрешил идеологические проблемы. Должны быть разрешены и экономические проблемы… Для решения проблем требуется мужество. Принцип ухода от их решения путем приспособления к существующим условиям неприемлем. Наоборот, надо условия приспосабливать к требованиям. Сделать это без вторжения в чужие государства или нападения на чужую собственность невозможно…
>
> Данциг – отнюдь не тот объект, из-за которого все предпринимается. Для нас речь идет о расширении жизненного пространства на Востоке и об обеспечении продовольствием никакой другой возможности в Европе не видно… Таким образом, вопрос о том, чтобы пощадить Польшу, отпадает, и остается решение при первой подходящей возможности напасть на Польшу.

О повторении Чехии нечего и думать. Дело дойдет до схватки. Задача – изолировать Польшу. Изоляция имеет решающее значение, … нельзя допустить одновременного столкновения с Западом…

Принцип: столкновение с Польшей, начатое нападением на нее, приведет к успеху только в том случае, если Запад останется вне игры. Если это невозможно, то лучше напасть на Запад и при этом одновременно покончить с Польшей…

Война с Англией и Францией будет войной не на жизнь, а на смерть… Нас не вынудят вступить в войну, но нам самим без нее не обойтись» [278].

С этого момента участились признаки приближающегося конфликта. 14 июня командующий 3-й группой армий генерал Бласковиц приказал своим войскам закончить все приготовления по сосредоточению и развертыванию сил для кампании против Польши к 20 августа. Неделей позже ОКВ представило план нападения, еще двумя днями позже Гитлер дал приказ разработать точные планы захвата целыми мостов в нижнем течении Вислы, наконец, 27 июля была подготовлена директива по захвату Данцига, не была установлена еще только дата.

Тем временем после продолжительной паузы немецкая печать вновь возобновила антипольскую кампанию. Согласно указанию министерства пропаганды «основной акцент надо было делать на террористических актах», спустя несколько дней Геббельс приказал: «По-прежнему основной темой должны быть зверства поляков. Поверят ли народ и заграница в них – неважно. Главное – чтобы Германия не проиграла эту последнюю фазу войны нервов» [279].

Одновременно притязания рейха были расширены на весь коридор, на Позен и части Верхней Силезии. Инцидент в Данциге, во время которого был убит один штурмовик, дал новую пищу агитации. Польское правительство реагировало с явно нарастающей непримиримостью, несдержанностью и упорствовало в том, чтобы говорить с рейхом ледяным тоном возмущенной великой державы. Различные признаки говорили о том, что оно постепенно начало свыкаться с мыслью о неизбежности войны. Не без демонстративных побочных намерений оно ужесточило инструкции данцигской таможенной службы и вызвало тем самым кризис, который в конце концов привел к обмену резкими нотами между Варшавой и Берлином. Провокации, предупреждения и ультиматумы сменяли друг друга, различные «цветные книги» полны ими. В сам Данциг стали

прибывать «в качестве предвестников несчастья и бури» многочисленные любители драк, которые еще более обостряли кризис стычками или раздутыми сообщениями: «повсюду хотят катастрофы», – отмечал в отчаянии итальянский посол Аттолико. Когда 8 августа немецкий посол в Париже прощался перед отпуском с французским министром иностранных дел, оба были в пессимистическом настроении. «Когда я слушал его, – писал позже Бонне, – у меня было чувство, что все уже решено. Он стал прощаться, и я понял, что больше я его не увижу» [280].

Тремя днями позже в Оберзальцберг для встречи с Гитлером прибыл Карл Якоб Буркхардт, верховный комиссар Лиги наций в Данциге. Гитлер, описывал Буркхардт [281] позже, выглядел сильно постаревшим и поседевшим, он производил впечатление человека, испытывающего страх, и казался нервозным. Он изображал возбуждение из-за высокомерной решимости поляков, которая в действительности была ему на руку, рассуждал, жаловался и угрожал, что при малейшем инциденте «разгромит поляков без предупреждения, так что потом от Польши и следов не останется. Я нанесу удар молниеносно всей мощью механизированной армии». Когда его гость ответил, что такое решение будет иметь следствием всеобщую войну, Гитлер возбужденно произнес: «Ну и пусть будет так. Если мне придется вести войну, то лучше сегодня, чем завтра». Над вооруженными силами Англии и Франции он может только смеяться, русскими его не запугать, то же самое с планами генштаба Польши, которые намного превосходят «мечты Александра Великого и Наполеона». Он еще раз попытался запустить через Буркхардта идею примирения с Западом на века.

> «Эта вечная болтовня о войне – она доводит народы до сумасшествия. Ведь в чем дело? Нам нужны зерно и древесина. Из-за зерна мне нужно пространство на Востоке, из-за древесины – одна колония, только одна. Мы жизнеспособны. Наши урожаи в 1938 году и в этом году были прекрасными… Но однажды почва истощится и откажется работать, как тело после того, как проходит эффект допинга. И что тогда? Я не могу допустить, чтобы мой народ страдал от голода. Не лучше ли мне оставить два миллиона на поле боя, чем потерять еще больше от голода? Мы знаем, что такое – умирать с голода…
>
> У меня нет романтических целей. У меня нет желания господствовать. Прежде всего я ничего не хочу от Запада, ни сегодня, ни завтра. Я ничего не хочу от

регионов мира с высокой плотностью населения. Там мне ничего не надо, совсем ничего, раз и навсегда. Все идеи, которые мне приписывают по этой части, – выдумки. Но мне нужна свобода рук на Востоке» [282].

Днем позже в Бергхофе появился Чиано. Он прибыл с намерением прозондировать шансы конференции по мирному урегулированию надвигающегося конфликта. Но Гитлера он застал стоящим у стола, на котором были развернуты карты генштаба, полностью погруженным в военные проблемы. Рейх, сказал он, на Западе почти неприступен, Польша будет через несколько дней раздавлена, поскольку в будущей схватке с западными державами она все равно была бы на другой стороне, он устранит одного противника до основной схватки: в любом случае он полон решимости использовать ближайшую польскую провокацию для атаки, в качестве срока он назвал «самое позднее, конец августа», потом дороги развезет – осенние дожди, и они станут непроходимыми для моторизованных частей. Чиано, который уже накануне слышал от Риббентропа, что Германия хочет не Данциг и не коридор, а войны с Польшей, «скоро стало ясно, что тут уже делать нечего. Он, Гитлер, решил нанести удар и нанесет его» [283].

По случайному совпадению в этот же день приступили к переговорам с СССР военные делегации Англии и Франции. Они прибыли в советскую столицу накануне, чтобы в ходе консультаций представителей штабов договориться о военных аспектов обсуждавшегося на протяжении месяцев союза. Делегаты Запада отправились в СССР 5 августа. Самолетом они долетели бы до места встречи за один день. Однако они с провоцирующей пренебрежительностью добирались сперва до Ленинграда на грузо-пассажирском судне, скорость которого, как не без горечи отмечалось в одной появившейся позже советской работе, «ограничивалась 13 узлами в чао, а затем проследовали в советскую столицу.

Когда делегации, наконец, прибыли, было уже слишком поздно. Гитлер их опередил.

В середине июля Москва вновь захватила инициативу и возобновила прерванные Гитлером тремя неделями раньше германо-советские переговоры по экономическим вопросам. На этот раз Гитлер не колебался, поначалу хотя бы только в силу той причины, что он ожидал деморализующего воздействия переговоров на Англию и Польшу. Он велел восстановить и укрепить нити связей как в Москве, так и в Берлине. Вечером 26

июля чиновник экономического отдела МИД Юлиус Шнурре встретился с двумя советскими дипломатами на ужине, во время которого обсуждались возможности политического сближения. Когда поверенный в делах СССР Астахов заметил, что в Москве никогда не могли вполне понять, почему национал-социалистическая Германия так враждебно относится к Советскому Союзу, Шнурре ответил, «об угрозе Советскому Союзу с нашей стороны не может быть и речи, … германская политика направлена против Англии», в любом случае можно себе представить «далеко идущее соглашение о соблюдении взаимных интересов», тем более, что нет противоречия во внешней политике «по всей линии от Балтийского моря до Дальнего Востока». Англия может предложить Советскому Союзу «в лучшем случае участие в европейской войне и вражду с Германией», в то время как Германия может гарантировать ему свободное от помех развитие. К этому добавляется, отметил в заключение немецкий дипломат, «при всех различиях в мировоззрении один общий элемент в идеологии Германии, Италии и Советского Союза: противостояние капиталистическим демократиям Запада» [284].

Тем самым были названы все решающие элементы, доминирующие с данного момента на протяжении трех недель в германо-советском обмене мнениями, который велся с нарастающей интенсивностью; и всякий раз именно Германия подталкивала ход дел вперед с неприкрытой откровенностью, в отличие от Советского Союза, который с этого времени стал затягивать процесс. 14 августа Риббентроп послал наконец послу в Москве графу фон дер Шуленбургу телеграмму с инструкцией, в которой содержалось масштабное предложение о разделе сфер интересов от Балтийского моря до Черного. Вместе с тем он указал в ней на общую враждебную позицию в отношении «капиталистических западных демократий», почти не скрываясь, заманивал видами на скорую добычу и сообщал для ускорения «исторического поворота» о своей готовности приехать в Москву с визитом в ближайшее время. В хорошем настроении, ожидая положительного ответа из Москвы, Гитлер вечером того же дня сказал в кругу военачальников, что теперь «приближается к завершению весь большой спектакль» [285].

Однако Молотов, который мгновенно уловил, какие выгоды ему давало нетерпение немецкой стороны, начал неторопливо маневрировать в вопросах сроков и регламента, поинтересовался немецкой готовностью заключить пакт о ненападении, разработал поэтапный план сближения и предложил, наконец, подписание «специального протокола», который, как он с двусмысленностью оракула высказался, должен был содержать урегулирование «по

тем или иным вопросам внешней политики», фактически же замышлялось подготовить раздел Польши и ликвидацию балтийских государств. В конце концов Молотов назвал срок визита Риббентропа в Москву – 26 или 27 августа и не поддавался двум нервным попыткам немецкой стороны склонить его к пересмотру решения: «германо-польские отношения день ото дня становятся все более острыми, – просил своего посла объяснить Москве Риббентроп, – фюрер считает, что необходимо, чтобы мы за стараниями прояснить германо-российские отношения не были застигнуты врасплох началом германо-польского конфликта. Он считает, что предварительное выяснение отношений уже потому необходимо, чтобы иметь возможность учесть в этом конфликте интересы России. Лишь этот побочный шаг Гитлера, который, заботясь о том, как бы не допустить срыва сроков сосредоточивания сил, отбросил в сторону всю дипломатичность, обеспечил наконец поворот. В телеграмме «И. В. Сталину. Москва», которая была отправлена вечером 20 августа, он просил советского вождя принять Риббентропа уже 22 или 23 августа, министр иностранных дел наделен «самыми обширными полномочиями на составление и подписание как пакта о ненападении, так и протокола». В крайнем беспокойстве, почти не владея своими нервами, Гитлер ждал ответа. Заснуть он не мог, поэтому посреди ночи позвонил Герингу, поделился своими тревогами и излил все раздражение по поводу флегматичности русских. С начала второй половины августа он неуклонно форсировал приготовления к войне, было призвано 250 тысяч человек, собран подвижной состав, приведены в готовность для выхода в море два линкора и часть подводного флота, и отменен специальным указанием намеченный на середину сентября партсъезд, «партийный съезд мира». Быть войне или не быть, удадутся ли его планы или провалятся – это решение зависело в течение этих суток от Сталина. Наконец 21 августа в 21. 35 поступил с нетерпением ожидавшийся ответ: советское правительство «согласно с прибытием г-на фон Риббентропа в Москву 23 августа».

Решение было принято. Словно освободившись от невыносимого напряжения, Гитлер собрал на следующий день в 12 часов высших военных руководителей на совещание в Оберзальцберге, чтобы ознакомить их, как он сказал, с «бесповоротным решением перейти к действиям» [286].

В этот момент, вопреки всей вероятности, началось отчаянное соперничество с судьбой. Хотя СССР держал западные державы в неведении относительно происходящего, от их внимания не

укрылись оживленные связи между Москвой и Берлином, к тому же фон Вайцзеккер уже на их ранней стадии проинформировал британский кабинет о развернутых с дальним прицелом германо-советских контактах [287]. Теперь все зависело от скорейшего завершения начавшихся в Москве с опозданием военных консультаций.

Переговоры, которые с советской стороны вел маршал Ворошилов, однако, уже вскоре завязли в казавшемся неразрешимом комплексе: Польша ожесточенно сопротивлялась тому, чтобы предоставить Красной Армии право прохода через свою территорию. В то время как советские делегаты упорно добивались ответа, как им вопреки возражениям Варшавы вообще войти в соприкосновение с противником, а представители Запада пытались успокоить их, найдя какой-нибудь обходной маневр, Польша ничтоже сумняшеся дезавуировала держав-гарантов и прямо заявила, что и не подумает допускать Советский Союз в область, которую она отняла у него совсем недавно – всего лишь в 1921 году. Чем тревожнее становились известия о достижения германо-советского взаимопонимания, тем нервознее Запад нажимал на Варшаву, требуя от нее уступчивости, Бонне и Галифакс прямо-таки умоляли польского министра иностранных дел изменить позицию: вся система союзов рухнет, если Польша и дальше будет упорствовать в своем отказе, но Бек хранил высокомерную неприступность: Польша, заявил он 19 августа, не может допустить даже «дискуссию о том, чтобы какая-то часть нашей территории использовалась иностранными войсками. Для нас это вопрос принципа. У нас нет военного соглашения с СССР, и мы его не хотим иметь». Еще одна попытка на следующий день потерпела фиаско, даже перед лицом гибели Польша не без величественного упрямства не поступалась своими принципами. Страстно пытавшемуся повлиять на события послу Франции маршал Рыдз-Смиглы холодно возразил:» С немцами мы утратим нашу свободу. С русскими мы утратим нашу душу» [288]. Даже драматическое известие о предстоящей поездке Риббентропа в Москву, которое поступило в ночь на 22 августа, не произвело на Польшу никакого впечатления: мировой порядок опрокидывался, страна была почти потеряна, а ее политики считали, что визит всего лишь показывает, в каком отчаянном положении находится Гитлер.

Встревоженная ходом событий, Франция решила, наконец, не выжидать более согласия Варшавы и действовать на свой страх и риск. Вечером 22 августа генерал Думенк уведомил маршала Ворошилова, что он получил от своего правительства полномочия заключить военную конвенцию, предоставляющую Красной

Армии право прохождения через Польшу и Румынию. На настойчивый вопрос собеседника, может ли он предъявить свидетельства согласия Польши и Румынии, Думенку оставалось ответить лишь отговорками и повторить заявление, что он прибыл для заключения соглашения; потом, нервозно намекая на предстоящий визит Риббентропа, он добавил: «Но ведь время уходит!» Маршал иронично ответил: «Бесспорно, время уходит» [289]. Участники встречи разошлись, не придя ни к какому результату.

На следующий день согласие поляков не поступило, хотя французский министр иностранных дел предпринял отчаянную попытку переубедить Бека. Примерно в полдень в советскую столицу прибыл Риббентроп и почти тут же направился в Кремль; как будто участники встречи захотели дать миру спектакль немудреной тоталитарной дипломатии, они уже в ходе первого обсуждения, продолжавшегося три часа, договорились относительно пакта о ненападении и разделе сфер интересов, на запрос Риббентропа в связи с одним непредвиденным советским требованием Гитлер лапидарно телеграфировал: «Да, согласен». Только теперь Польша созрела для того, чтобы согласиться с французским требованием в замысловато сформулированном сообщении: генерал Думенк может заявить, снизошел передать Бек, что он «приобрел уверенность в том, что в случае совместной акции против немецкой агрессии не исключено сотрудничество между Польшей и СССР на технических условиях, которые должны быть определены позже». Западные державы с удовлетворением констатировали уступку Польши. Но если Гитлер своим коротким «Да, согласен» предложил Советскому Союзу половину Восточной Европы, включая Финляндию и Бессарабию, то «западные державы сулили обещание Польши предоставить русским вожделенные области при определенных обстоятельствах в ограниченном режиме на ограниченное время всего лишь как базу для операций под польским контролем» [290]. Соперничество с судьбой провалилось.

Уже ночью 23 августа Риббентроп и Молотов подписали пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол, который стал известен лишь после войны, когда его подбросили немецкой защите во время Нюрнбергского процесса [291]. В нем стороны договорились поделить Восточную Европу в случае «территориально-политического переустройства» по линии сфер интересов, которая, начинаясь от северной границы Литвы, проходила по рекам Нарев, Висла и Сан. Совершенно определенно оставался открытым вопрос, «является ли в обоюдных интересах желательным сохранение Польского

государства и каковы будут границы этого государства». Эти сухие формулировки обнажали империалистический по своей сути характер соглашения и неопровержимо свидетельствовали о его взаимосвязи с запланированной войной.

Об эту взаимосвязь, в конце концов, разбивались обстоятельные советские попытки оправдаться. Конечно, Сталин мог сослаться на многочисленные обоснованные мотивы заключения пакта о ненападения. Он давал ему знаменитую «передышку», отодвигал передний рубеж системы обороны страны в западном направлении на расстояние, которое, может быть, имело решающее значение, и он давал прежде всего уверенность, что склонные к колебаниям западные державы необратимо будут находиться в конфликте с Германией, когда Гитлер вернется к своей сокровенной цели и нападет на Советский Союз; апологеты Сталина утверждают, что он сделал 23 августа 1939 года то же самое, что Чемберлен годом раньше в Мюнхене: как Сталин теперь сдал Польшу, чтобы выиграть время, так и тот в свое время пожертвовал Чехословакией. Но ни один из этих аргументов не может заставить забыть о секретном дополнительном протоколе, который превращал пакт о ненападении в пакт о нападении, и Чемберлен никогда не делил с Гитлером сферы интересов, несмотря на неоднократные предложения последнего, наоборот, он разбил его великую мечту: беспрепятственно навалиться на Советский Союз, руководители которого проявляли теперь гораздо меньше совестливости, чем он. Какие бы тактические и обусловленные реальной политикой элементы оправдания, выдерживающие в конце концов более или менее строгий анализ, ни использовались в советских работах, ясно, что дополнительный протокол был «недостоин идеологического движения, которое утверждало, что обладает самым глубоким пониманием исторического процесса» [292] и никогда не понимало мировую революцию как акт голого расширения сферы господства, а расценивало и отстаивало ее как ни много ни мало мораль человеческого рода.

Примечательно, что вечер в Москве прошел почти что в дружеской атмосфере. Риббентроп сообщал позже, что Сталин и Молотов были «очень милы», он чувствовал себя «среди них словно среди старых товарищей по партии» [293]. Правда, когда этой ночью речь зашла об Антикоминтерновском пакте, автором которого был он сам, Риббентроп почувствовал некоторое замешательство; но приветливое отношение Сталина ободрило его на подшучивание над пактом. Согласно отчету одного из немецких участников, он заявил, что соглашение «направлено не против Советского Союза, а против западных демократий… Г-н

Сталин, – говорится далее в отчете, – бросил реплику, что „антикоминтерновский пакт напугал главным образом лондонское Сити и мелких английских торговцев. Рейхсминистр иностранных дел согласился с этим и шутливо добавил, что г-н Сталин конечно же напуган Антикоминтерновским пактом меньше, чем лондонское Сити и мелкие английские торговцы“. Далее говорится:

> «В ходе беседы г-н Сталин неожиданно предложил следующий тост за фюрера: «Я знаю, как сильно любит германский народ своего вождя, поэтому я хотел бы выпить за его здоровье».
>
> Г-н Молотов выпил за здоровье рейхсминистра иностранных дел и посла графа фон дер Шуленбурга. Затем г-н Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Сталин своей произнесенной в марте этого года речью, которая была правильно понята в Германии, положил начало повороту в отношениях. Г-н Молотов и Сталин неоднократно пили за пакт о ненападении, новую эру в германо-русских отношениях и германский народ.
>
> При прощании г-н Сталин заявил рейхсминистру иностранных дел буквально следующее: Советский Союз очень серьезно относится к этому пакту, он может дать честное слово, что Советский Союз не обманет своего партнера» [294].

Казалось, что под здравицы и звон бокалов растворилась камуфлирующая завеса многолетней вражды, и только теперь, в роковой интимности этой речи, обнажилась близость двух режимов для них самих и остального мира. И на самом деле, 23 августа 1939 года всякий раз служило исходной точкой доказательства совпадения их сути, которое в гораздо большей степени было совпадением в выборе средств и, как теперь стало очевидно, государственных деятелей. Сталинский тост в честь Гитлера не был фразой, как это часто утверждают, и свои сказанные при прощании[295] слова он соблюдал не без педантичной верности. Вопреки всем предвестиям и обоснованным предупреждениям, он без малого двумя годами позже, в июне 1941 года, до последнего момента не хотел верить в нападение Гитлера на Советский Союз, мимо выдвигающихся на исходные рубежи немецких войск на запад мчались составы с советскими поставками во исполнение обязательств по действующему экономическому соглашению. Поразительное легковерие недоверчивого лукавого советского властителя

обусловлено не в последнюю очередь тем восхищением, с которым он относился к человеку, поднявшемуся из низов в разряд фигур исторического значения: в Гитлере он уважал единственного равного себе деятеля своего времени, и, как известно, на это чувство Гитлер отвечал взаимностью. Вся «смертельная вражда» никогда не могла ослабить взаимное чувство признания величия друг друга, поверх идеологических барьеров они чувствовали себя по-своему связанными тем рангом, который присвоила им история. Румынский министр иностранных дел Григоре Гафенку цитировал в книге воспоминаний размышления Альбера Сореля о первом разделе Польши: «Все, что отдаляло Россию от других держав, сближало ее с Пруссией. Как и Россия, Пруссия была парвеню на большой мировой сцене. Ей приходилось силой прокладывать дорогу в будущее, и Екатерина видела, что Пруссия полна решимости добиться этого большими средствами, используя большие возможности и большое рвение» [296]. Эти слова точно описывают как ситуацию, так и психологию обоих преемников – их беспокойную волю к изменениям, гигантские мечтания и их в корне преобразовавший мировую арену стиль, который свел их воедино в одном из самых драматических поворотных моментов истории. «Он не из тех, кто упускает исторические шансы», – говорил иногда Гитлер, выражая тем самым и мнение своего визави о нем самом. Протесты недоумевающих приверженцев их не волновали в равной степени. В то время как компартии вследствие московского пакта оказались в одном из тех кризисов, которые лишили их последней привлекательности, утром 25 августа возмущенные сторонники Гитлера бросили многие сотни нарукавных повязок со свастикой через ограду Коричневого дома в Мюнхене [297].

В тот же день отбыли из Москвы западные военные делегации, которых провожали малоизвестные московские генералы. Накануне они просили в письме маршала Ворошилова о встрече, но ответа не получили. Ворошилов позже ссылался в свое извинение на то обстоятельство, что он был в это время на утиной охоте.

С заключением московского договора, с точки зрения Гитлера, были созданы все условия для быстрого, ошеломляющего триумфа над Польшей; происходившее далее было механическим процессом, «вроде того, как горит бикфордов шнур». Поэтому в оставшееся время все его внимание было направлено на попытку усилить свое алиби, не допустить помех и еще больше отдалить западные державы от Польши, хотя эту

дистанцию и так уже, как казалось, удалось сделать значительной. С этими тремя целями были связаны все инициативы и последние предложения оставшихся восьми дней, на которые возлагалось так много напрасных надежд.

Уже речь, с которой Гитлер выступил 22 августа в Оберзальцберге, была полностью определена этими соображениями. В превосходном настроении, уже уверенный в успехе переговоров в Москве, он обрисовал перед военным командованием, пока над горами бушевала гроза, сложившееся положение и еще раз обосновал свое бесповоротное решение начать войну: как значение его личности и ее ни с чем не сравнимый авторитет, так и экономическое положение требуют пойти на схватку: «Нам не остается ничего другого, надо действовать». Политические соображения и ситуация в плане союзов также говорят в пользу быстрого решения: «Через два-три года этих счастливых обстоятельств не будет.

Никто не знает, как долго я еще проживу. Поэтому пусть столкновение произойдет лучше сейчас», – говорилось в одной из записей этой речи [298]. Затем он еще раз обосновал свою убежденность в том, что западные державы не станут серьезно вмешиваться:

> «У противника была еще надежда, что после захвата Польши в качестве врага выступит Россия. Противник не учел моей большой решительности. Наши противники – жалкие черви. Я видел их в Мюнхене.
>
> Я был убежден, что Сталин никогда не примет английское предложение. Россия не заинтересована в сохранении Польши… В связи с торговым договором мы начали политический диалог. Предложили пахт о ненападении. Затем последовало всестороннее предложение от России. Теперь Польша в том положении, в которое я и хотел ее поставить.
>
> Блокады нам нечего бояться. Восток поставит нам зерно, скот, уголь, свинец, цинк. Это большая цель, которая требует много сил. Я боюсь лишь того, что в последний момент какая-нибудь свинья подсунет мне предложение о посредничестве».

Во второй части выступления, после скромной трапезы, Гитлер выразил опасения относительно позиции западных держав: «дело может пойти и по иному руслу», поэтому нужна «железная решимость». «Не отступать ни перед чем… Борьба не на жизнь, а на смерть». Эта формула привела его в одно из тех мифологизирующих настроений, в котором история

представлялась ему кровавым проспектом, полным схваток, побед и крушений. В ранней части выступления он назвал «создание Великой Германии свершением грандиозным», но вместе с тем «внушающим некоторые опасения, поскольку оно было достигнуто в результате блефа политического руководства»; и теперь он заверял:

> «Продолжительный мирный период не пошел бы нам на пользу… Мужественное поведение… Друг с другом борются не машины, а люди. У нас качественно более совершенный человек. Решающее значение имеют духовные факторы.
>
> Уничтожение Польши – на первом плане. Цель – уничтожение живой силы, а не достижение определенной линии…
>
> Я дам пропагандистский повод для развязывания войны, а будет ли он правдоподобен – значения не имеет. Победителя потом не спросят, правду говорил он или нет. Для развязывания и ведения войны важно не право, а победа.
>
> Закрыть сердце для сострадания. Действовать жестоко, 80 миллионов человек должны обрести свое право. Следует обеспечить их существование. Право – на стороне сильного. Величайшая твердость».

Прощаясь с генералами, Гитлер заметил, что приказ о начале военных действий будет отдан позже, вероятно, утром 26 августа. На следующий день генерал Гальдер записал: День «Д» = 26.8. (суббота) окончательно. Никакого другого приказа не последует» [299].

Однако эти сроки были пересмотрены. Хотя почти все предпосылки западной политики после московского соглашения рухнули, прежде всего Англия демонстрировала стоическую решимость, Польша почти была обречена на гибель, но кабинет сухо заявил, что последние события ничего не изменили. Демонстративно усиливались военные приготовления. В письме Гитлеру Чемберлен предостерегал от каких-либо сомнений относительно английской решимости к сопротивлению: «Это было бы самой большой ошибкой… Утверждают, что если бы правительство Его Величества, более ясно заявило о своей позиции в 1914 году, можно было бы избежать той страшной катастрофы… Правительство Его Величества полно решимости позаботиться о том, чтобы на этот раз такого трагического недоразумения не возникло». В том же тоне было выдержано заявление премьер-министра в Палате общин. В отличие от

пришедшей в смятение Франции, которая лишь с трудом сохраняла решимость и смаковала сладость своего пораженчества, задавая вопрос «а чего ради умирать за Данциг?», Англия теперь не уступала ни пяди. Точно так же как и для Гитлера, Данциг не был для Чемберлена тем объектом, на котором свет клином сошелся: он был на самом деле «далеким городом в далекой стране», как заявил он в Палате общин. Ради него никто бы не пошел на смерть.

Однако теперь, когда после московского пакта вся ее политика, казалось, потерпела провал, Англия поняла, за что придется воевать и умирать при любых обстоятельствах. Политика умиротворения основывалась не в последнюю очередь на страхе буржуазного мира перед коммунистической революцией. По представлениям английских государственных деятелей Гитлер играл роль воинственного защитника от этой угрозы, именно это заставляло мириться со всеми его постоянными выходками, провокациями и бесчинствами – и только это. Договорившись с Советским Союзом, он «раскрылся»: стало ясно, что он не тот враг революции, за которого себя выдавал, что он не защитник буржуазного строя, не «генерал Врангель мировой буржуазии». Даже если считать пакт со Сталиным образцом мастерской дипломатии, все равно придется признать, что у него все же был один малопримечательный на первый взгляд недостаток: он лишал силы те предпосылки, на которых строилась политика отношений между Гитлером и Западом. Это была непоправимая ошибка, теперь Англия демонстрировала с редким единодушием, вплоть до самых твердых поборников умиротворения, решимость к сопротивлению.

На многократные проявления этой воли к сопротивлению Гитлер реагировал очень раздраженно; Гендерсону, передававшему письмо своего премьер-министра в Оберзальцберге, пришлось выслушать возбужденную тираду, кульминацией которой стало заявление, что он, Гитлер, «теперь окончательно убежден в справедливости представления, согласно которому Англия и Германия никогда не смогут договориться». Тем не менее двумя часами позже, в полдень 23 августа, он еще раз сделал «большое предложение» по разделу мира: германская гарантия существования британской мировой империи, ограничение вооружений и официальное признание немецкой западной границы в обмен на право Германии беспрепятственно обратиться на Восток; и, как это уже не раз бывало, за непреклонным решением последовал нероновский вздох, которым он хотел показать свое безразличие к безжалостному,

гнусному миру политики: «по своей натуре он артист, а не политик, когда будет разрешен польский вопрос, он посвятит остаток жизни искусству, а не войне; он не хочет превратить Германию в огромную казарму; на это он бы пошел только в том случае, если бы его вынудили поступить так. Когда будет решен польский вопрос, он отойдет от дел» [300].

Однако эта сцена, как и миссия дружившего с Герингом шведского коммерсанта Биргера Далеруса, в рамках которой он неоднократно ездил из Берлина в Лондон, служили только одному – попытке Гитлера закамуфлировать свои намерения и побудить Англию отказаться от своих обязательств. Последнее обращение к французскому премьер-министру преследовало ту же цель. Гендерсон услышал мольбу не терять времени и незамедлительно передать предложение. Но едва только посол вышел из комнаты, как Гитлер вызвал генерала Кейтеля и подтвердил приказ напасть на Польшу на рассвете следующего дня.

С аналогичными тактическими соображениями связано и то обстоятельство, что он опять заколебался несколькими часами позже, ибо не само решение развязать войну, а дата начала была поставлена под сомнения двумя известиями, которые поступили в рейхсканцелярию во второй половине дня. Одно было из Лондона, он свидетельствовало, что и последняя попытка разобщить Англию и Польшу провалилась. После тянувшихся целые месяцы переговоров британское правительство трансформировало временные гарантии поддержки Польши в пакт о помощи, Гитлер не мог не увидеть в этом самое решительное отклонение его большого предложения; одновременно тем самым устранялись все сомнения относительно решимости Англии вмешаться в ход дел. Один из присутствующих видел, как Гитлер после поступления информации «долго сидел в задумчивости за столом» [301].

Более сильным ударом была для него другая новость, которая вырвала его из задумчивости. Она пришла из Рима и гласила ни много ни мало, что Италия делает приготовления к тому, чтобы тайком выйти из союза, который был лишь недавно заключен с такой помпой. Последние недели Муссолини, чем ближе, как казалось, надвигался конфликт, был подвержен резким перепадам настроения – от подъема до отчаяния, как это бывает с сангвиниками. Чиано не без иронии отмечает в дневнике колебания «на качелях эмоций»: то дуче демонстрирует решимость остаться в стороне от войны Гитлера, «потом говорит, что честь требует идти с Германией, заверяя, что хочет получить свою долю добычи в виде Хорватии и Далмации»; двумя днями

позже желает «подготовить отход от Германии, но действовать осторожно», затем опять «считает все еще возможным, что демократии не станут ввязываться, и Германия с минимальными затратами провернет блестящий гешефт, и ему не хотелось бы остаться с пустыми руками. Кроме того, он боится разгневать Гитлера» [302]. В такой сумятице перечеркивающих друг друга мотивов 25 августа в 15. 30 он заверил германского посла в безусловной поддержке, это обещание он аннулировал двумя часами позже телеграммой Гитлеру, выдвигая условием поддержки такой огромный перечень материальной помощи, что «им можно было убить быка», как сказал Чиано, используя не совсем удачный образ [303]. Ссылаясь на то, что в двусторонних соглашениях война планировалась на более поздний срок, и армия Италии не вооружена для борьбы, он пытался выкрутиться из альтернативы между гибелью и предательством.

Строго говоря, у Гитлера не было оснований обижаться. Итальянцы могли чувствовать себя обманутыми, оскорбленными бесчисленное количество раз презрительным обращением, посланное с опозданием письмо, которым он извещал о пакте с Москвой, было образцом пренебрежительной дипломатии, которая отделывалась от союзника, желавшего иметь реальную информацию, банальными фразами и дешевой газетной агиткой о чинимых над немцами зверствах, но ни звуком не обмолвилось об идеологических и политических последствиях, вытекавших из поворота всех позиций на 180 градусов. Однако Гитлер распростился с итальянским послом, который передал ему письмо Муссолини, с «ледяным лицом», и рейхсканцелярия опять гудела «презрительными замечаниями в адрес «неверных партнеров по оси». Несколькими минутами позже Гитлер отменил приказ о наступлении. «Фюрер в весьма подавленном настроении», – записал Гальдер в своем дневнике [304].

Казалось, что события драматически замедлились. Только тремя днями позже Гитлер, как рассказывали люди из его окружения, не в лучшей форме – со следами бессонных ночей, голос срывался – выступил на собрании ответственных партийных и военных руководителей и попытался оправдать поведение Муссолини. Он был в мрачном настроении и заявил, что предстоящая война будет «очень тяжелой, может быть, безнадежной». Однако он не отступил от своего решения, сопротивление, как всегда, только усиливало его упорство: «пока я жив, ни о какой капитуляции и речи быть не может» [305]. В качестве новой даты для нападения он определил 1 сентября.

Вследствие этого события последних дней: страстные усилия

сохранить мир, послания, поездки и развернувшаяся между столицами активность – несут на себе печать ирреальности; перед обращающимся к истории они предстают отчасти как театр абсурда, с обилием диалогов между глухими и немыми, легко разгадываемой путаницей и порой гротескными сценами. Напрасным было трогательное личное обращение Даладье и призывы Кулондра, который сказал Гитлеру все, «что может сказать мне мое сердце человека и француза», напрасным был примирительный жест Англии, на который Гитлер ответил лишь новыми упреками, так что даже терпеливый Гендерсон утратил выдержку и попытался перекричать Гитлера, он не желает «слышать таких речей ни от него, ни от кого другого. Если он хочет войны, то он ее получит!»; и, наконец, напрасным было заклинающее письмо Муссолини, который хотел склонить Гитлера к решению проблемы при помощи конференции, заверяя, что «это не нарушит ритм Ваших замечательных свершений» [306].

Только два противника, казалось, знали, что ситуация безвыходна: Гитлер и Бек. Только они одни думали исключительно о войне, один толкая к ней события, нетерпеливо зафиксировавшись на назначенном им самим сроке, другой фаталистически, устало, имея перед глазами неподкупную судьбу. Гитлер был так зациклен на использовании своей военной мощи, что уже не видел политических возможностей. Из записок английских дипломатов видно, каких маневров ожидал Лондон и к каким уступкам он готовился: за один только отказ от войны Гитлер предположительно получил бы не только Данциг и линию коммуникаций[307], но и обещание Англии восстановить колониальные владения[308], а также переговоры о крупном компромиссе [309].

Однако Гитлер уже не мыслил альтернативами, в этот момент впервые проявилась явно усиливающаяся в последующие годы неспособность его выходить за рамки военных целей и постоянно анализировать военное положение под углом зрения его политических возможностей. Он хотя и принял английское предложение о прямых переговорах с Польшей, но тут же придал делу ультимативный оборот и потребовал прибытия польского представителя, имеющего все полномочия, в течение суток. В этом шахматном ходе явно просматривалось намерение принудить Польшу к капитуляции или, как это было в свое время с Чехословакией, выставить ее в роли нарушителя мира. Список требований, который приготовила Германия к переговорам, был полностью нацелен на разложение фронта противостоящих сил при помощи мнимых уступок: хотя в нем было требование возврата Данцига, он в остальном служил попытке завоевать

мировое общественное мнение на свою сторону, предлагался целый набор мер: и плебисциты, и компенсации, и форма международного контроля, гарантии прав меньшинств и предложения по демобилизации. Гальдер записал о беседе с Гитлером во второй половине дня 29 августа: «Фюрер надеется, что вобьет клин между Англией, Францией и Польшей… Основные идеи: выставить только демографические и демократические требования». А далее идет настоящий график:

«30.8. – поляки в Берлине. 31.8. – разрыв. 01.9. – применение силы» [310].

Однако поляки в Берлин не приехали; Бека слишком пугали тени Шушнига и Гахи. На неустанные настойчивые запросы англичан и французов, к которым присоединились также и итальянцы, он лишь подавлено и коротко отвечал, что переговоры вести не о чем. Утром 31 августа Гендерсон был проинформирован, что Гитлер отдаст приказ о нападении, если польское правительство не согласится прислать представителя до 12 часов. Опять, как совсем недавно в Москве, началась борьба с польской непреклонностью наперегонки со временем. Гендерсон попытался переубедить своего коллегу в Берлине, направив к нему двух сотрудников. Липский принял посетителей, как рассказывал один из них, в своем рабочем кабинете, откуда была убрана часть вещей и обстановки, он был «бледен, как полотно», взял дрожащими руками бумагу с перечнем немецких требований, посмотрел на нее неподвижным отсутствующим взглядом и наконец тихо произнес, что не может разобраться в том, что там написано; он только знает, что надо оставаться твердыми и что «брошенная своими союзниками Польша готова воевать и умереть в одиночку»[311]: смерть была единственной идеей Польши. Таким же по духу было переданное в 12. 40 по телеграфу указание Бека своему послу в Берлине, это был документ, свидетельствовавший о растерянности, примечательно только время его отправления: в ту же минуту Гитлер подписал «директиву № 1 о ведении войны», немногим позже он ответил на вопрос итальянского посла, что все уже решено [312].

Директива начиналась так:

> «Теперь, когда исчерпаны все политические возможности устранить мирным путем невыносимое для Германии положение на ее восточной границе, я решил добиться этого силой.
>
> Нападение на Польшу должно быть проведено в соответствии с приготовлениями, предусмотренными «Планом Вайс». День наступления – 1.9.1939, время –

4.45…

На Западе ответственность за открытие военных действий следует возложить однозначно на Англию и Францию. Незначительные нарушения наших границ следует вначале ликвидировать на местном уровне. Строго соблюдать нейтралитет, гарантированный нами Голландии, Бельгии, Люксембургу и Швейцарии…»

Вечером в 21. 00 все радиостанции передали перечень немецких предложений Польше, который самим полякам никогда не сообщался. Почти в то же время команда штурмбаннфюрера СС Альфреда Науйокса проникла, инсценируя нападение поляков на немецкую радиостанцию в Гляйвице, передала в эфир короткое заявление, произвела несколько выстрелов в воздух и оставила на месте акции несколько трупов отобранных для этого заключенных. Немногими часами позже, когда забрезжило утро 1 сентября, поступило донесение польского коменданта форта Вестерплятте майора Сухарского: «В 4. 45 броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» открыл из всех своих стволов огонь по «Вестерплятте». Обстрел продолжается». Одновременно перешли в наступление с исходных позиций войсковые соединения, сосредоточившиеся вдоль германо-польской границы. Объявления войны не было. Началась вторая мировая война.

Вместе с тем Гитлер еще надеялся избежать большого конфликта. Незадолго до десяти часов он выехал на заседание рейхсканцелярии в здании оперы Кролля. На улицах, во воспоминаниям очевидцев, почти не было народа, немногочисленные прохожие молча бросали взгляды на машину, в которой сидел Гитлер в полевой серой форме. Его речь была весьма краткой и отличалась лишенной ярких красок серьезностью. Он клялся в своем миролюбии и «бесконечном долготерпении», еще раз пытался пробудить надежду Запада, заверял в новой дружбе с Советским Союзом, выразил свое смущение ввиду позиций итальянского союзника и обрушил горы обвинений на польское правительство. Польша, заявил он, приведя дикие выдумки о числе пограничных инцидентов в последние дни, «сегодня ночью использовала регулярные армейские части для нападения на объекты на нашей территории, эти солдаты стреляли в нас. С 5. 45 открыт ответный огонь! С этого момента на каждую их бомбу ответим нашей бомбой». Теперь он хотел быть первым солдатом рейха: «Я снова одел тот мундир, который был для меня самым святым и дорогим. Я сниму его только после победы или – я не дождусь этого конца» [313].

Сохранявшуюся у Гитлера надежду на возможность

ограничить конфликт все же только Польшей питала медлительность Запада, который не ответил на германское нападение немедленным объявлением войны, как того требовали союзнические обязательства. Решение начать войну далось мучительно трудно прежде всего французскому правительству, оно ссылалось, пуская в ход все новые отговорки, на мнение генштаба, на новую посредническую миссию Муссолини, на еще продолжавшуюся эвакуацию людей из больших городов и в конце концов пыталось оттянуть вступление в войну по крайней мере на несколько часов [314]; хотя позиция Англии была решительнее, она тем не менее также отражала всю тяжесть принимаемого решения. 1 сентября Чемберлен объявил в парламенте: «Полтора года тому назад я выразил здесь горячую надежду, что на мою долю не выпадет ответственность призвать страну принять страшное решение о вступление в войну». Теперь он собирается потребовать от правительства рейха обещания прекратить наступление в Польше и отвести войска назад. Когда один депутат громко на весь зал задал вопрос, установлен ли тому срок, премьер-министр ответил: «Если ответ на это последнее предупреждение будет отрицательным – я полагаю, что реакция будет именно такой – послу Его Величества даны указания потребовать свои паспорта. В таком случае мы готовы».

Однако Гитлер проигнорировал это предупреждение или сделал из него лишь тот вывод, что Англия, несмотря на наличие однозначного случая, при котором вступают в силу обязательства по союзу, все еще ставила открытие своих действий в зависимость от определенных условий. Поэтому на английскую ноту от 1 сентября он поначалу вообще не ответил. И пока Англия и Франция пытались договориться в ходе изматывающих переговоров о совместных действиях, в Польше немецкие войска стремительно продвигались вперед. Судя по всему, именно указанные признаки слабости противоположной стороны ободряли Гитлера, когда он 2 сентября отверг попытки Муссолини уговорить Германию пойти на решение проблемы за столом переговоров, используя благоприятную обстановку: «Данциг уже стал немецким, – убеждал он Гитлера, – у Германии в руках козыри, обеспечивающие выполнение ее требований. Кроме того, Германия уже получила «моральную сатисфакцию». Если бы она приняла решение относительно конференции, она достигла бы своих целей и одновременно избежала бы войны, которая, как становится видным уже сейчас, станет всеобщей и исключительно долгой» [315].

Ночью 2 сентября Англия в конце концов решила отказаться от совместных действий с Францией и дала указание Гендерсону

передать в 9 часов утра наступающего воскресенья германскому министру иностранных дел ультиматум, срок которого истекал в 11 часов. Риббентроп поручил передать эту ноту своему старшему переводчику доктору Паулю Шмидту, который описал сцену, разыгравшуюся после того, как он привез этот документ в рейхсканцелярию. В приемной перед кабинетом Гитлера собрались члены кабинета и многочисленные руководители партии, Шмидту с трудом пришлось протискиваться вперед. Когда он вошел в кабинет, Гитлер сидел за своим письменным столом, а Риббентроп стоял несколько в стороне у окна:

> «Когда я вошел, оба бросили на меня напряженный взгляд. Остановившись на некотором расстоянии перед столом Гитлера, я стал медленно переводить ему ультиматум британского правительства. Когда я закончил, воцарилась полная тишина…
>
> Гитлер сидел, словно окаменев, уставившись в пространство перед собой. Он не утратил самообладания, как утверждали позже, не бушевал, как это было по воспоминаниям других. Он сидел на своем месте совершенно тихо и неподвижно. Через какое-то время, показавшееся мне вечностью, он повернулся к Риббентропу, который остался стоять у окна, будто оцепенев, «Ну, что теперь делать?» – спросил Гитлер своего министра иностранных дел с яростью в глазах, как бы желая выразить, что Риббентроп неверно проинформировал его о реакции англичан. Риббентроп тихим голосом ответил: «Я предполагаю, что в следующий час такой же ультиматум предъявят нам и французы» [316].

Когда Кулондр примерно в полдень появился у немецкого министерства иностранных дел, Англия уже находилась в состоянии войны с рейхом. Французский ультиматум соответствовал британскому, но, что было характерно, расходился с ним в одной детали: как будто правительство в Париже даже сейчас уже боялось слова «война», оно грозило в том случае, если Германия откажется вывести свои войска из Польши, «выполнить тс известные германскому правительству договорные обязательства, которые Франция взяла на себя в отношении Польши». Вернувшись в посольство, сам Кулондр разразился слезами перед своими сотрудниками [317].

Но и Англии было трудно настроиться на войну как на совершившийся факт. Польша отчаянно ждала военной помощи или хотя бы облегчения своего положения и слишком поздно

поняла, что она осталась без реальной поддержки.

Неповоротливость Англии в ее действиях была, однако, вызвана не только темпераментом или недостаточной военной подготовкой. Скорее дело в том, что к гарантиям Польше в Англии никогда не относились с большой симпатией. Между двумя странами не было традиционной дружбы, Польша считалась одним из тех диктаторских режимов, которые проявляли лишь присущие авторитарному господству ограниченность и притеснения, но без театрального волшебства и гипнотического воздействия власти [318]. Когда в первые дни сентября один оппозиционный консерватор настойчиво требовал от члена кабинета помощи Польше и при этом упомянул обсуждавшийся тогда план поджечь Шварцвальд зажигательными бомбами, он услышал в ответ: «Что вы, этого нельзя делать, это – частная собственность. Этак вы в следующий раз попросите, чтобы мы бомбили Рурскую область». В свое время Франция взяла на себя обязательство перед Польшей до шестнадцатого дня войны начать наступление силами 35-38 дивизий. Но полностью настроенная на оборону и сохранение своей национальной идиллии страна была не способна спланировать наступление. В Нюрнберге генерал Йодль заявил: «Если мы не потерпели крах еще в 1939 году, то лишь потому, что во время польской кампании примерно 110 французских и английских дивизий на Западе пребывали в полном бездействии против 25 немецких дивизий» [319].

В этих условиях современные немецкие армий смогли раздавить Польшу одним победным броском. Их совершенству, отлаженности действий и динамике другая сторона была в состоянии противопоставить, по собственному более позднему признанию, лишь попытки сопротивления, характеризовавшиеся «трогательной абсурдностью» [320].

Взаимодействие прорывавшихся вперед небывалых масс танковых соединений с моторизованными частями пехоты и безраздельно господствовавшими ВВС, штурмовики которых с оглушающим воем сирен обрушивались на цели, точно работающая система информации – вся мощь этого продвигающегося вперед с механической неумолимостью колосса ставила поляков в такое положение, при котором им оставалась только их храбрость. В свое время Бек самоуверенно заверял, что вооруженные силы «подготовлены для гибкой, сдерживающей противника подвижной войны. Мир будет изумлен» [321].

Основное значение этой кампании заключалось в том, что в ней вторая мировая война как бы сражалась с первой мировой, нет другого более яркого проявления этого неравенства сил, чем

смертельное донкихотство атаки на тухельской равнине, когда польская кавалерийская часть ринулась на немецкие танки. Уже в первой половине 5 сентября генерал Гальдер записал после обсуждения военного положения, что «враг почти что разбит», б сентября пал Краков, днем позже правительство из Варшавы бежало в Люблин, а на следующий день немецкие передовые отряды достигли польской столицы. Уже в этот момент всякое организованное сопротивление противника начало разваливаться. В результате двух больших начавшихся 9 сентября обходных операций остатки польских вооруженных сил были окружены, а затем медленно раздавлены. Восемью днями позже, когда кампания была уже почти окончена, в уже разбитую страну с Востока ворвался Советский Союз, приняв, правда, обширные юридические и дипломатические меры для того, чтобы его не обвинили в агрессии. 18 сентября немецкие и советские части встретились в Брест-Литовске. Первый блицкриг был окончен; когда через несколько дней пала Варшава, Гитлер приказал семь дней подряд звонить в колокола – между 12. 00 и 13. 00 часами.

Тем не менее остается вопрос, принес ли ему быстрый военный триумф незамутненное удовлетворение или же все это ликование и колокольный звон не могли заглушить предчувствие, что победа, собственно говоря, уже утрачена. Во всяком случае, Гитлер видел, что его главная концепция была поставлена с ног на голову: он воевал не в том направлении, не с Востоком, как он мог внушить себе на протяжении прошедшей так быстро польской кампании, а с Западом. Почти двадцать лет все его мышление и тактика определялись прямо противоположной идеей; теперь его нетерпение, заносчивость и опьяняющее действие больших успехов перевесили все рациональные соображения и окончательно разбили «фашистскую схему расстановки сил»: он воевал с консерваторами, не «разгромив предварительно революционеров» [322]. Кое-что говорит о том, что он осознал эту роковую ошибку уже в тс дни. В его окружении говорили, что на него находил пессимизм, что его внезапно охватывал страх, «ему хотелось вынуть голову из петли» [323]. Вскоре после того, как война с Англией стала неотвратимой, он сказал Рудольфу Гессу: «Теперь все мое дело разваливается. Моя книга была написана впустую». Порой он сравнивал себя с Мартином Лютером, который точно так же не хотел бороться с Римом, как он не желал сражаться с Англией. Потом он вновь внушал себе, призывая на помощь свои знания, которых он беспорядочно нахватался там и сям, что Англия слаба и подточена декадансом демократии; он пытался заглушить свои предчувствия, говоря, что британское правительство ведет «войну лишь для видимости», чтобы

формально выполнить непопулярный в стране союзнический долг: как только с Польшей будет покончено, заявил он в последние дни августа, «мы проведем большую мирную конференцию с западными державами» [324]. На это он теперь и надеялся.

В этом контексте следует рассматривать стремление Гитлера сперва после польской кампании, а потом после захвата Франции вести войну с Англией лишь вполсилы – в режиме усиленной угрозы войны с выматывающими силы пропагандистскими кампаниями, войны, которую в Англии называли phoney war[325]. Почти два года его стиль ведения войны определялся вновь и вновь предпринимаемыми попытками изменить неоднозначную расстановку сил, поставить все с головы на ноги, вернуться к легкомысленно упущенной однажды концепции. За несколько недель до начала войны, 22 июля 1939 года, он сказал адмиралу Деницу, что ни в коем случае нельзя допустить войны с Англией, ибо она означала бы не что иное, как «finis Germaniae»[326][327].

Теперь же он находился в состоянии войны с Англией.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ III: НЕУДАВШАЯСЯ ВОЙНА

Гороскоп предвещает не мир, а войну.

Адольф Гитлер.

Война как конечная цель политики. – Перевернутый фронт. – Заблуждение относительно позиции Англии? – Расставание с политикой. – Те же путчистские замашки. – Ужесточение идеологии. – Мотивы. – Импровизированная война. – Концепция блицкрига. – Последовательность стремления Германии стать мировой державой. – Нарушение последовательности. – Гитлер – это не Вильгельм 111. – Раздел Польши и разгул террора в ней. – Война, ставшая необратимой.

Вопрос, кто виновен во второй мировой войне, совершенно очевиден; тем не менее, порой предпринимаются попытки при помощи надуманных схем представить его как дискуссионную проблему. В этих случаях объективность суждений историка приносится в жертву апологетике или же склонности испытать остроту ума в обосновании того, что не может быть обосновано, примером тому может служить подход А. Дж. П. Тейлора. Поведение Гитлера в ходе кризиса, его вызывающая дерзость, тяга к обострению ситуации и большей катастрофе, которая столь явно доминировала в его реакции на события, в силу чего вся воля западных держав к компромиссам оказывалась блокированной, делают всякий вопрос о виновном излишним. Эта война была детищем Гитлера в самом широком смысле: его политика последних лет, строго говоря, весь его жизненный путь были сориентированы на нее; не будь войны, они внезапно лишились бы цели и последовательности, и Гитлер не был бы тем, кем был.

Он как-то сказал, что война является «конечной целью политики» [328]. Это положение относится к основополагающим максимам его мировосприятия. Лежащие в его основе идеи он развивал все вновь и вновь в многочисленных высказываниях, в публикациях, речах и беседах: политика, по его мнению, есть обеспечение «жизненного пространства» того или иного народа; испокон веков необходимое «жизненное пространство» можно

было завоевать и удержать лишь при помощи борьбы, следовательно, политика была своего рода перманентным ведением войны, вооруженное столкновение было лишь его высшей степенью – «сильнейшей и самой классической формой» не только политики, но, как считал Гитлер, и жизни вообще; пацифизм же испортил бы людей, «их место опять заняли бы звери», которые неукоснительно подчиняются законам природы [329]. «С тех пор как Земля вращается вокруг Солнца, – сказал он в декабре 1940 года поверенному в делах Болгарии Драганову, обратившись к патетически поэтизированному стилю, – пока существуют холод и жара, плодородие и бесплодие, буря и солнечный свет, до тех пор будет существовать и борьба, в том числе среди людей и народов… Если бы люди остались жить в Эдеме, они бы сгнили. Человечество стало тем, что оно есть, благодаря борьбе». В одной из своих «застольных бесед» во время войны, он заявил, что мир, продолжающийся дольше 25 лет, вреден для нации [330].

В этих мифологизирующих сферах его мышления право развязывать войну давали не жажда власти, потребность в славе или революционная уверенность в своей миссии спасителя, Гитлер даже назвал ведение войны ради захвата природных богатств преступлением. Лишь мотив «жизненного пространства» разрешает браться за оружие, но в чистой форме война была независима и от этого, являясь просто всемогущим исконным законом смерти и жизни, завоеванием одного другим, неистребимым атавизмом: «Война – самое естественное, самое обыденное дело. Война идет всегда и повсюду. У нее нет начала, нет конца в виде мира. Война – это сама жизнь. Война – всякая схватка. Война – исконное состояние» [331]. Не поддаваясь чувству дружбы, идеологиям и не считаясь с нынешними союзами, он порой заявлял в «застольных беседах», что в отдаленном будущем, когда будет реализована задуманная Муссолини программа разведения лесов, может быть, придется воевать и с Италией [332].

В этих представлениях следует искать причину того, что национал-социализм не располагал утопией, а обладал лишь видением; Гитлер считал образ великого, всеобъемлющего порядка в мире всего-навсего «смешной выдумкой» [333]. Даже его мечты о мировой империи достигали пика не в панораме гармонического века, – они были полны звона оружия, бунта и волнений, сколь бы далеко ни простиралась в будущем власть Германии, где-нибудь она все равно наталкивалась бы на рубеж, где надо воевать и проливать кровь, где происходила бы закалка расы и постоянный отбор лучших. «Мы оцениваем число

собственных потерь, определяем масштабы возможного успеха и переходим в наступление, – писал он в своей „Второй книге“, – совершению независимо от того, Остановится ли оно в десяти тысячах километров от нынешних рубежей или в одной тысяче километров. Какого бы предела ни достигал наш успех, он всегда будет лишь исходной точкой для новой борьбы». Эта почти маниакальная зафиксированность на понятии и идее войны свидетельствовала о гораздо большем, чем о социал-дарвинистском подходе, – она вновь показывала, в какой степени Гитлер и национал-социализм порождены впечатлениями войны; последние в равной степени определяли их чувства, их практику отправления власти и их идеологию: мировая война, имел обыкновение непрестанно повторять Гитлер, для него никогда не кончалась. Ему и всему его поколению идея мира казалась странно нелепой, она не фигурировала в их фантазии, зачарованной борьбой и враждой. Уже вскоре после завершения процесса завоевания власти, когда внутриполитические противники были только что устранены, Геббельс сказал одному иностранному дипломату, что «часто с большой тоской вспоминает о прежних временах, когда всегда были возможности для атак», а один человек из ближайшего окружения Гитлера говорил о его «патологически бойцовской натуре» [334]. Эта потребность была столь сильной и доминирующей, что в конце концов она заглушила и поглотила все, не в последнюю очередь и так долго демонстрировавшийся политический гений Гитлера.

Мысли и устремления Гитлера были почти исключительно нацелены на войну, но эта, начавшаяся 3 сентября объявлением войны со стороны западных держав и с абсурдно перепутанными фронтами, была не той, что нужна ему Незадолго до вступления на пост канцлера, в дни трезвого, высоко парящего вдохновения он объявил своему окружению, что начнет будущую схватку с вражескими державами без каких-либо романтических аффектов, руководствуясь лишь тактическими соображениями; он не будет играть в войну и никому не позволит втянуть его в военные действия при помощи той или иной интриги: «Войну буду вести я. Выгодный для нападения момент буду определять я. Бывает только один самый выгодный момент. Я дождусь его. С железной решительностью. И я его не упущу. Я направлю всю свою энергию на то, чтобы он наступил. Это моя задача. Если я этого добьюсь, то у меня будет право посылать молодежь на смерть» [335].

Поставленная Гитлером перед самим собой задача явно сорвалась. Действительно ли это было его провалом? Вопрос не в том, почему Гитлер начал вторую мировую войну или, тем более, по добровольному ли решению – вопрос лишь в том, почему он,

почти полностью определяя ход событий, вопреки всем своим планам оказался в *этот* момент в *этой* войне.

Конечно, он неверно оценил позицию Англии и опять сыграл вопреки всем требованиям разума; он слишком часто выходил из сравнимых ситуаций с триумфом, чтобы не поддаться соблазну увидеть своего рода закон своей жизни в возможности невозможного. В этом глубинная причина того, что он в последующие месяцы питал многие напрасные надежды: сперва ожидая уступчивости Англии в результате быстрого разгрома Польши, потом выступления СССР на стороне Германии; одно время делая ставку на ведении войны с островной империей не в полную силу, затем на усиленные бомбардировки, потом ожидая поворота после победы над «континентальной шпагой» Англии: «Исход войны решается во Франции, – заявил он в марте 1940 года Муссолини, – если будет разбита Франция, … то (Англии) придется заключить мир» [336]. Ведь Великобритания-де вступила в войну, по сути, дела без весомой причины, лишь из-за колеблющейся позиции Италии, каждый из перечисленных моментов казался ему достаточным для того, чтобы побудить Англию вновь выйти из войны. Других мотивов противоположной стороны он просто не видел, он был так уверен в успехе своего дела, что в так называемом плане «Z» крайне вяло форсировал и без того урезанную программу строительства подводных лодок: в месяц со стапелей сходило вместо 29 всего лишь 2 субмарины.

Однако заблуждения относительно готовности Англии к войне не могут в достаточной степени обосновать решение Гитлера начать войну. Как-никак он осознавал тот риск, на который при этом шел; когда 25 августа Лондон заявил о своей решимости вмешаться в соответствии с договором о помощи Польше, Гитлер еще раз отменил приказ о наступлении не в последнюю очередь под впечатлением этого известия. Оставшиеся дни не давали оснований предполагать, что воля Англии к сопротивлению ослабла. Если он 31 августа все-таки подтвердил приказ о наступлении, то должен был существовать более сильный мотив, определивший его решение.

В общей картине его поведения обращает на себя внимание упорное, своеобразное слепое нетерпение, с которым он рвался к схватке. Оно находится в примечательном противоречии с оттяжками, постоянными колебаниями, всегда характерными для процесса принятия решений у Гитлера. Когда в последние августовские дни Геринг заклинал его не терять чувства меры, он отрезал, что всегда шел в своей жизни ва-банк [337]; как бы ни было верно это замечание по сути, оно резко противоречило недоверчивому, осторожному стилю, который отличал политику

Гитлера во все прошлые годы. Надо вернуться в более далекое прошлое, почти к раннему дополитическому этапу его жизненного пути, чтобы найти истоки неожиданного поведения летом 1939 года, напоминающего прежние провокации и трюкачества.

Действительно, все говорит о том, что в эти месяцы Гитлер словно бы отказался от большего, нежели испытанной тактики – от политики как таковой, в которой он блистал 15 лет и порой не имел равного себе противника, ему будто надоело подчиняться факторам, требующим неторопливости, вечного лавирования, искусства притворяться и тянуть дипломатические нити, он опять искал «великого, общепонятного, освобождающего действия» [338]. К числу резких поворотов его жизни относится, как мы наблюдали, ноябрьский путч 1923 года: строго говоря, он ознаменовал вступление Гитлера в политику. До того он отличался прежде всего своим максимализмом, лобовой агрессивностью своих действий, радикальными альтернативами «все или ничего», которые он с мрачной выразительностью обрисовывал ночью перед маршем к Фельдхеррнхалле. «Когда нас позовет решительная борьба не на жизнь, а на смерть, то мы будем знать только небо над нами, землю под нами и противника перед нами». До того он знал только «фронтальные, лобовые» отношения, как внутри движения, так и с силами вне его. Наступательному стилю выступлений отвечал грубый командирский тон председателя партии, все указания которого свидетельствовали о категорической, безоглядной решимости [339]. И лишь провал 9 ноября 1923 года заставил Гитлера полностью осознать смысл и возможности политической игры, тактических уловок, коалиций и заключаемых для видимости компромиссов и превратил драчливого путчиста в рассудительно рассчитывающего свои ходы политика. Несмотря на весь блеск, с которым он вскоре освоил свою роль, он никогда не мог полностью скрыть, каких усилий ему стоила маскировка под овечку, как тому сказочному волку с семью козлятами, в глубине души он был по-прежнему против обходных путей, против правил игры, законности и, что гораздо важнее, против политики вообще.

Теперь он возвращался в свое прежнее состояние, полный решимости разорвать наконец сеть зависимостей и фальшивых согласий и вновь отвоевать свободу путчиста называть политика «свиньей, представляющей мне предложение о посредничестве». Гитлер вел себя «как природная стихия», докладывал румынский министр иностранных дел Гафенку в апреле 1939 года после визита в Берлин [340], вряд ли можно найти формулу, более метко описывающую демагога и бунтаря начала 20-х годов. Характерно,

что с принятием решения о начале войны регулярно, иногда по несколько раз в одной речи опять стали выдвигаться и чуждые политике альтернативы «победа или смерть», «мировая держава или гибель», он втайне всегда испытывал к ним симпатию: «Всякая надежда на компромиссы – ребячество, вопрос стоит так: победа или поражение, – заявил он, например, 23 ноября 1939 года своим генералам. – Я поднял немецкий народ на большую высоту, хотя сейчас нас и ненавидят в мире. Это дело я ставлю на карту. Я должен сделать выбор между победой и уничтожением. Я выбираю победу»; спустя несколько предложений эта мысль повторяется: «Речь идет не о каком-то частном вопросе, а о том, быть или не быть нации» [341]. Вполне в духе этого ухода от политики он явно возвращался в том, что касается терминологии и выразительности, на иррациональный уровень. «Только тому может способствовать благосклонность Провидения, кто борется с судьбой», – заметил он в той же речи. Один наблюдатель из его ближайшего окружения отмечал в последние дни августа ярко выраженную «тенденцию к смерти в стиле Нибелуигов», в то же время Гитлер ссылался в свое оправдание на Чингисхана, который также «отправил на тот свет миллионы женщин и детей», фюрер определял войну как «роковую борьбу, которую нельзя как-то подменить или обойти посредством какого-нибудь хитроумного политического или тактического искусства, война – это действительно своего рода схватка гуннов, … ж которой или остаешься стоять на ногах или падаешь и гибнешь – одно из двух» [342]. Во всех этих свидетельствах нельзя не увидеть симптомы того, что он вновь оказался в дополитических сферах, где события определяются не презренными увертками и не искусством скользких политиков, а историей и поступью судьбы.

Последующие годы показали, что отход Гитлера от политики проистекал не из преходящего каприза, ибо по сути он никогда не возвращался в политику. Все попытки его окружения: настойчивые заклинания Геббельса, побуждения Риббентропа или Розенберга, даже высказывавшиеся порой рекомендации таких зарубежных политиков, как Муссолини, Хорти и Лаваль, – были напрасны. Регулярные встречи с руководителями государств-сателлитов, которые становились все реже по мере того, как продолжалась война, – это было все, что осталось от политики, но, по сути, и они не имели никакого отношения к политической деятельности, сам Гитлер метко окрестил их «сеансами гипноза». Эту эволюцию венчает ответ, который он дал представителю МИД в ставке, послу Хевелю весной 1945 года на его предложение использовать последнюю возможность политической инициативы: «Политика? Я политикой больше не занимаюсь. Она мне так

противна» [343].

В остальном же он самым противоречивым образом обосновывал свою пассивность изменениями обстоятельств; в те времена, когда военная удача была на его стороне, он считал, что время работает на него, в периоды невезения он опасался ослабления своих позиций на переговорах: «Он считает себя пауком-крестовиком». – цитировали его заявление времен второго этапа войны, – который выжидает полосу везения, надо лишь быть готовым и иметь к этому моменту под рукой все необходимое». В действительности за такими картинами он скрывал свое непреходящее подозрение к политике вообще, ее ставки представлялись ему слишком маленькими, ее успехи слишком пресными, в ней не было той огненной магической субстанции, которая превращала успехи в триумфы. В различных высказываниях военных лет проходит его идея, что надо «самим отрезать себе возможные линии отхода…. тогда воевать легче, а решимость крепче» [344]. Политика, как он теперь считал, была не чем иным, как «возможной линией отхода».

Отказавшись от политики, Гитлер вернулся и на былые принципиальные идеологические позиции. Та жесткость его образа мира, которая так долго оставалась скрытой благодаря его безграничной тактической и методической подвижности, теперь стала вновь проявляться во все более резких формах. Война положила начало процессу окостенения, который стал вскоре захватывать всю его личность и парализовывать все ее реакции. Уже неофициальное распоряжение Гитлера, отданное им 1 сентября 1939 года, в день начала войны, подвергнуть всех неизлечимо больных эвтаназии было тревожным признаком [345]. Наиболее осязаемой формой этого процесса стало маниакальное усиление антисемитизма, который сам по себе был проявлением мифологизирующего искажения сознания: в начале 1943 года он заявил в разговоре с одним зарубежным гостем: «Евреи – естественные союзники большевизма, они претенденты на те места, которые освободятся в случае большевизации при ликвидации нынешней интеллигенции. Поэтому чем радикальнее меры против евреев, тем лучше. Предпочтительнее выдержать саламинское морское сражение[346], чем ждать схватки с неясным исходом, лучше сжечь за собой все мосты, ибо еврейская ненависть все равно будет колоссальной. В Германии… нельзя повернуть назад с однажды избранного пути» [347]. Его чувство, что он вступил в окончательную великую битву, явно усиливалось, эсхатология, по его мнению, не знает фигуры дипломата.

Когда мы ищем конкретный элемент, приведший в движение

все эти процессы, надо, правда, отметить, что отвращение Гитлера к политике, как бы органично ни вписывалось оно в психологический облик этого человека, которому постоянно претила устойчивость во всех вещах, конечно, не дает полного объяснения. Иногда предполагали, что в структуре его личности под воздействием некой болезни произошел перелом, но конкретных данных, подкрепляющих эту версию, нет, за такими рассуждениями нередко скрывается лишь попытка разочарованных приверженцев режима объяснить различие между Гитлером периода успехов и Гитлером периода неудач. Но какие бы ломки ни происходили в жизни этого человека – именно совершенно неизменный характер представлений и идеологии, который проявился на этой фазе и столь тесно связывает ее с ранними периодами жизни, говорит о том, что налицо не перелом, а, напротив, неизменность стержня, сути Гитлера.

Конечно, во всем играли свою роль нетерпение, потребность в драматическом заострении происходящего, быстрая пресыщенность успехами, динамика, которую он вызывал к жизни и жертвой которой он теперь стал, «непреодолимая тяга» к тому, чтобы «не оставаться в пассивном состоянии», которую отмечал Ульрих фон Хассель уже во время оккупации Рейнской области, и, наконец, феномен страха перед временем, который самое позднее с 1938 года придавал его образу действий характерный облик и который еще усиливался теми соображениями, что время не просто утекает у него из рук, но и работает против него. «Во время бессонных ночей, – заверял он Муссолини, – он искал ответа на вопрос, не лучше ли для Германии отложить начало войны на два года», но потом, осознавая неизбежность конфликта и растущую силу противника, «напал на Польшу осенью, не затягивая дела» [348]. Аналогичные вещи он говорил 27 сентября 1939 года фон Браухичу и Гальдеру, а в составленном двумя неделями позже меморандуме он заявил: «При сложившемся положении вещей… можно считать, что время с большей вероятностью является союзником западных держав, нежели нас» [349]. Эти соображения он во все новых аспектах развивал дальше, говоря не только о «счастье, что он сам может вести эту войну», но даже о ревности, которая появляется при мысли, что эту войну мог бы начать после него кто-то другой, в другом месте, пренебрежительно оглядывая любого из своих преемников, он заявил, что не хочет, чтобы «после его смерти имели место „глупые войны“. В обобщенной форме его излюбленные рассуждения содержатся в речи 23 ноября 1939 года, когда он хотел побудить командование вермахта совершить как можно скорее нападение на Запад; проанализировав положение, он

заметил:

> «В качестве последнего фактора я со всей скромностью должен назвать собственную личность – я незаменим. Меня не может заменить ни гражданский, ни военный деятель. Попытки покушения могут повториться (подобно той, что была 8 ноября 1939 года в пивной «Бюргербройкеллер»). Я убежден в силе своего разума и в своей решимости. Войны всегда заканчиваются уничтожением противника. Всякий, кто думает иначе, поступает безответственно. Время работает на противника. Сейчас соотношение сил таково, что оно уже не может улучшиться для нас, оно может лишь ухудшиться. Противник не пойдет на заключение мира, если соотношение сил будет для нас неблагоприятным. Никаких компромиссов. Крайняя требовательность по отношению к самим себе. Я буду наступать, а не капитулировать. Судьба рейха зависит только от меня. Я буду действовать в соответствии с этими соображениями» [350].

К отказу от политики, который проявлялся в таких своеобразных опьяняюще рационализированных выкладках, Гитлера ободрял, однако, и весьма успешный ход начальной фазы войны. Роль полководца, которую он еще во время польской кампании исполнял с некоторой сдержанностью, он скоро стал играть с растущим увлечением, некая инфантильность, с которой он стремился перевести в разряд постоянных хобби все занятия, как-то однажды захватившие его, чувствовалась и в этом безмерном увлечении работой у стола с картами в ставке фюрера. Она давала его нервам новые возбудители, вместе с тем ставила перед ним новые задачи, в профессии полководца он бесспорно видел высший экзамен не только для «силы мозга», своей жесткости и решимости, но и для своего театрального темперамента – режиссерскую задачу «самого гигантского масштаба» и смертельной серьезности, его замечание, что только художественно одаренные люди обладают полководческими способностями, подчеркивает этот момент. Одержанные в первое время с легкостью победы укрепляли его убежденность, что он добавит к славе демагога и политика и лавры полководца; война шла и шла, а эта слава не приходила, и он стал гнаться за ней – неистово, упрямо, поглощенный своими фантасмагориями – до момента гибели.

Воля Гитлера к войне была, однако, не только столь сильной

и безусловной, что он ради нее смирился с превращением своей концепции в ее противоположность, кроме того, он вступил в схватку несмотря на то, что подготовка к ней во всех отношениях была неудовлетворительной. Подавленное настроение на улицах, неоднократно демонстративно изъявленное в прошлые месяцы нежелание людей ликовать свидетельствовали о неудовлетворительной психологической подготовке населения, в своем нетерпении Гитлер слишком мало сделал для ее улучшения. После речи в рейхстаге 28 апреля он почти не выступал перед массами, предположительно, он исходил из того, что драматизм событий и так оказывает достаточное воздействие в плане мобилизации и пробуждения энергии людей. Но чувство удовлетворения, которое доставляли людям возвращение Рейнской области, аншлюс Австрии и присоединение Судетской области, уже при оккупации Праги не проявилось, окончательно исчерпав себя: для потребности в престиже нации, которая так долго чувствовала себя униженной, ни Данциг, ни коридор не были вопросами подлинного значения. Хотя война против Польши была популярнее какой-либо другой кампании во второй мировой войне, но впечатляюще действующим мотивом она не обладала, ни раздутые сообщения о «зверствах поляков», которые убивают, пытают и насилуют немок и немцев, ни реальное число – примерно 7 тысяч жертв – не могли создать его. Уже спустя немного месяцев после начала войны участились выражения недовольства, служба безопасности (СД) отмечала как «глас народа», «что войну начали без достаточной подготовки», между Рождеством и Новым годом пришлось впервые публично использовать полицию для разгона групп недовольных людей [351].

Решение Гитлера начать войну было, очевидно, вызвано и опасением, что готовность населения к войне может ослабнуть еще больше, вероятно, он считал необходимым начать схватку, пока еще имелась возможность воспользоваться динамикой прошлых лет, которая падала прямо на глазах. «Тот, кто избегает битв, – заявил он как-то раньше, – никогда не наберется сил, чтобы сражаться», в одной из своих последних речей он оправдывал момент начала войны («более удачного срока, чем 1939 год… вообще не могло быть»), отмечая, что его решение было продиктовано психологическими соображениями: «воодушевление и готовность к жертвам нельзя… разложить по банкам и законсервировать. Они возникают один раз – в ходе революции и потом постепенно затухают. Серые будни и приятные стороны жизни опять берут власть над людьми, превращая их в обывателей. То, чего мы добились благодаря

огромной волне воодушевления, охватившей наш народ, нельзя было растратить просто так». Война была шансом вновь раскрутить этот маховик [352].

Однако война должна была отчасти сама создать предпосылки, необходимые для ее ведения, не только в психологической области; строго говоря, в этом заключалась гитлеровская основная концепция схватки вообще, она, как мало что еще, опять выявила его суть азартного игрока. В речи, относящейся к началу июля 1944 года, он со всей откровенностью заявил о приверженности этому принципу, признав, что данная война является «тем как бы авансовым финансированием, которое мы должны провести сегодня, чтобы иметь от него отдачу в будущем: работу, сырье, продовольственную базу, она выступает также важнейшей школой для решения задач, которые будут вставать перед нами в будущем» [353].

Экономическая и военно-техническая подготовка была гораздо слабее психологической, хотя немецкая пропаганда непрестанно твердила о колоссальнейших усилиях по созданию военного потенциала, и весь мир верил ей и речам руководителей режима, согласно которым подготовка к войне была доминирующей целью германской экономики на протяжении последних лет. Полностью в этом духе Геринг, назначенный уполномоченным по четырехлетнему плану, хвастался: Германия уже воюет, пока только не стреляет [354]. Действительность выглядела совсем иначе. Хотя страна превосходила своих противников по выплавке стали, запасам угля, ее промышленность была намного производительнее, но несмотря на все усилия по обеспечению автаркии, зависимость от заграницы по видам сырья, имеющим решающее значение для ведения войны, была велика, составляя, например, по олову 90 процентов, по меди – 70, по каучуку – 80, по сырой нефти – 65 и по бокситам – 99 процентов. По самым основным видам сырья страна была обеспечена на один год, но запасы меди, каучука и олова были израсходованы почти полностью уже весной 1939 года. Без мощной экономической поддержки Советского Союза Германия, предположительно, уже в короткий срок была бы парализована британской экономической блокадой, Молотов сам указал на это в беседе с Гитлером [355].

Немногим отличалась от этого ситуация в области вооружений. Хотя 1 сентября Гитлер и объявил в речи перед рейхстагом, что направил на эти цели 90 миллиардов, это было одной из тех безудержных фантазий, в которые он регулярно впадал, оперируя цифрами [356]. Несмотря на все потраченные средства, Германия была готова к войне, начавшейся первого, а не

третьего сентября. Сухопутные силы насчитывали 102 дивизии, но лишь половина из них были кадровыми и полностью боеспособными, и в их подготовке выявились существенные проблемы. Военно-морской флот явно уступал не только английскому, но даже французскому, не были до конца использованы возможности, которые предоставлял германо-английский договор 1935 года, вскоре после заявления западных держав о вступлении в войну гросс-адмирал Редер заявил, что германский флот или, точнее говоря, «то немногое, что готово или еще способно вести войну, может выполнить только одну задачу – с честью погибнуть в бою» [357]. Только ВВС были сильнее, чем у противников, они насчитывали 3298 самолетов, однако боеприпасы к моменту завершения польской кампании были наполовину израсходованы, так что не было возможности активно вести войну даже 3-4 недели; в Нюрнберге генерал Йодль назвал имевшиеся резервы «просто смехотворными». Запасы снаряжения по многим позициям также серьезно не дотягивали до четырехмесячного лимита, установленного главнокомандованием сухопутных войск (ОКХ). Поэтому наступление на западном фронте даже вполсилы привело бы предположительно уже осенью 1939 года к поражению Германии и окончанию войны; специалисты подтверждают эту оценку [358].

Несомненно, Гитлер видел эти трудности и связанный с ними риск. В памятной записке от 9 октября 1939 года «о ведении войны на Западе» он обратился к этому вопросу, проанализировав его в специальном разделе «опасности в положении Германии». При этом главную тревогу вызывал вариант затяжной войны, по его мнению, Германия не была достаточно готова к ней ни в политическом, ни в материальном, ни в психологическом отношении. Но по его оценке все эти слабости проистекали из общего положения Германии, а не из конкретной ситуации, поэтому состояние на неблагополучных участках «за короткий срок никакими усилиями существенно не улучшить» [359]; по сути дела, это означало не что иное, как неспособность Германии вести мировую войну в имеющихся условиях.

На эту дилемму Гитлер отреагировал исключительно характерным для него решением, которое продемонстрировало всю остроту его ума и изощренность даже в отношении самого себя: если Германия была не в состоянии вести широкомасштабную затяжную войну против коалиции противников, она должна разбивать врагов поодиночке короткими, отделенными друг от друга во времени концентрированными ударами и подобным образом шаг за шагом расширять свою военно-экономическую базу до тех пор, пока не

сможет в конце концов вести мировую войну: это и была стратегическая концепция блицкрига [360].

Идея «блицкрига» долгое время воспринималась лишь как тактический или оперативный метод военного уничтожения противника при помощи внезапного нападения, но замысел «блицкрига» был гораздо шире: это была концепция общего ведения войны, которая учитывала специфические слабости и преимущества положения Германии и оригинально соединяла их в завоевательную практику нового типа. Используя передышки между различными военными кампаниями для дальнейшей гонки вооружений, можно было не только настроить подготовку на того или иного противника, но и удерживать материальную нагрузку на экономику и общество в относительно малых пределах, прежде чем фанфары колоссальных триумфов дадут необходимые психологические стимулы: концепция «блицкрига» была не в последнюю очередь попыткой учесть прописную истину времен мировой войны, согласно которой Германия выигрывала битвы, но проигрывала войны, теперь имелось в виду просто разделить войну на серию победоносных сражений. В этом были слабое место и выражение всего самообмана авторов концепции, как бы она ни гармонировала в остальном с сутью режима и импровизирующим, определяемым мгновенным озарением стилем Гитлера: она должна была потерпеть крушение в момент образования сильной коалиции противников и принятия ею бесповоротного решения на затяжную войну.

Гитлер так верил в эту концепцию, что никак не был готов к иному варианту большой войны. Представленное летом 1939 года штабом оперативного руководства вермахта предложение «проработать при помощи командно-штабных учений» варианты развития ситуации в случае большого конфликта он отклонил с твердым указанием, что войну с Польшей можно локализовать [361], его памятная записка от 9 октября была первой конкретной попыткой определить обстоятельства и цели столкновения с Западом. Он также неоднократно отвергал предложения принципиального перевода экономики на рельсы затяжной войны, общий объем промышленного производства в 1940 году по сравнению с предшествующим годом слегка сократился, а незадолго до зимы 1941/42г. в ожидании предстоящих «молниеносных побед» в войне с Советским Союзом производство военной продукции было даже ограничено [362]. В этом тоже давал себя знать опыт первой мировой войны: Гитлер при любых обстоятельствах хотел избежать изматывающего психику воздействия долголетних жестких ограничений.

Взаимосвязь между первой и второй мировой войной ощущается на различных уровнях не только под углом зрения их интерпретации; Гитлер сам всякий раз настойчиво указывал на это. За его плечами всего лишь время перемирия, а перед ним – «победа, которую мы отбросили в 1918 году», – заметил он как-то; в речи 23 ноября 1939 года он сказал, имея в виду первую мировую войну: «Сегодня разыгрывается второй акт этой драмы» [363]. В свете этой взаимосвязи Гитлер предстает как особо радикальный представитель идеи создания Германии как мировой державы, которая восходит к последнему периоду канцлерства Бисмарка и на рубеже XIX-XX вв. материализуется в конкретных целях войны, а после провалившейся попытки 1914-1918 гг. ее с новой и еще большей решимостью попытались реализовать во второй мировой войне: почти столетняя империалистическая преемственность германской истории обрела в Гитлере свою кульминацию [364].

И на самом деле, такая точка зрения имеет под собой убедительные основания. Уже общая взаимосвязь между Гитлером и предшествующим мировой войне временем, его появление из комплексов, идеологий и защитных реакций того периода придает ей весомость; ибо, несмотря на всю новизну, он был глубоко анахроничным явлением, реликтом XIX века – в своем наивном империализме, комплексе величия, убежденности в неизбежной альтернативе между возвышением до статуса мировой державы или гибелью. В принципе, уже молодой, живший тенденциями своего времени горожанин венского периода повторил характерную основную эволюцию, в ходе которой ведущие консервативные слои эпохи искали спасения от социальных страхов в экспансионистской концепции, он только расширил и радикализировал ее. Если те зачастую ожидали от войны и завоеваний «оздоровления отношений» в смысле своих общественных и политических привилегий, «укрепления патриархального порядка и умонастроений» [365], то Гитлер мыслил как всегда в гигантски расширенных категориях и рассматривал войну и экспансию, далеко выходя за рамки классовых интересов, как единственный шанс на выживание нации и даже расы; социал-империализм обычного образца своеобразно перемешивался в мышлении Гитлера с биологическими началами.

Однако и в том, и в другом случае видение превращения в мировую державу питал основной мотив находящегося под угрозой и стесненного существования, хотя в первый раз, по меньшей мере, в случае с германским канцлером 1914 года фон Бетман-Хольвегом, проявлялись депрессия, нерешительность и

слабость фаталиста, а во второй раз – одержимость и осознанная радикальность. Конечно, оба деятеля несравнимы, идея германской мировой империи была для Бетман-Хольвега «абсурдной, не укладывающейся в голову мыслью», Германия, подавленно говорил он иногда, «в интеллектуальном плане погибнет от своего политического господства, если она победит» [366], конечно, Гитлер даже отдаленно не знал такого порожденного внутренним надрывом скептицизма; тем не менее Бетман-Хольвег был полон тех же пессимистических фантазий и настроений гибели с германским колоритом, что и Гитлер, хотя и в сублимированной буржуазным образованием форме; это показывает всю глубокую укорененность мотива судьбы и катастрофы в немецком сознании; не говоря уж о разгневанных поклонниках видения Германии в роли мировой державы, которые свалили Бетман-Хольвега в 1917 году.

Однако и то направление, которое придал Гитлер своим экспансионистским намерениям, отвечало давней традиции. Компонентом немецкой идеологии давно была идея, что Восток представляет собой естественное «жизненное пространство» рейха, происхождение Гитлера из двуединой монархии еще больше усилило такой подход. Уже в 1894 году провозглашение шумно агитировавшего Пангерманского союза[367] обращало интерес нации на Восток и Юго-Восток, «чтобы обеспечить германской расе те условия жизни, которые ей нужны для полного развития ее сил». На знаменитом «Военном совете» 8 декабря 1912 года начальник Генерального штаба фон Мольтке потребовал довести до сознания страны «при помощи печати национальную заинтересованность в войне с Россией», и вполне в этом духе вскоре после того газета «Гамбургер нахрихтен» потребовала неизбежной решающей борьбы с Востоком, весь вопрос в том, подхватывала «Германия»[368], кто будет властвовать в Европе – германцы или славяне. Спустя немного дней после начала войны в МИД был разработан «план создания нескольких буферных государств на Востоке, все они должны были находиться в зависимости от Германии. Еще дальше шла памятная записка председателя Пангерманского союза Генриха Класса „о военных целях Германии“, которая распространялась в виде брошюры в 1917 году. Она требовала обширных провинций на Востоке и предлагала устранение „демографической пестроты“ путем обмена русских на поволжских немцев, переселения евреев в Палестину и смещения границ польского этноса на восток [369]. Без проходившей во время первой мировой войны дискуссии о целях войны, на которую накладывали свой отпечаток подобные фантасмагорические проекты, немыслима гитлеровская

концепция восточной политики, как бы ни оценивать влияние на нее русских эмигрантских кругов в Мюнхене и его собственную склонность к интеллектуальному утрированию.

Точно так же были предшественники у Гитлера и в отношении концепции союзов. Идея о необходимости для Германии заручиться нейтралитетом Англии, чтобы вместе с Австро-Венгрией вести завоевательную войну против Востока и, может быть, одновременно против Франции, не была полностью чужда политике кайзеровской империи. Вскоре после начала войны Бетман-Хольвег уточнил эту схему, он даже считал возможным заключить после молниеносной войны на западе союз с Великобританией, чтобы вместе с ней ударить по России, и ближе к концу войны он заявлял, что «столкновения можно было бы избежать, только договорившись с Англией» [370]: это было не что иное, как идеальная концепция Гитлера, в этой схеме она впервые обозначилась в общих контурах; Гитлер, придя к власти, сразу стал стремиться к взаимопониманию с Англией и обеспечению ее нейтралитета, в то время как Веймарская республика, прежде всего при Густаве Штреземане, отдавала предпочтение примирению с Францией.

Преемственность немецкой воли к превращению в мировую державу доказывается не только с точки зрения идеологии, геополитики и системы союзов, ее также нетрудно обосновать, исходя из воплощавших ее общественных групп. Выразителями далеко идущих концепций кайзеровских времен были прежде всего консервативные руководящие слои, и у них же после крушения 1918 года сформировался ярко выраженный комплекс самоутверждения: с этого момента они стремились восстановить подорванное самосознание Германии, вернуть стране утраченные области (прежде всего в Польше) и в период Веймарской республики постоянно отказывались, включая даже их самых благоразумных представителей, дать гарантии нерушимости восточных границ. Например, памятная записка руководства рейхсвера, подготовленная им для МИД в 1926 году, характерна как своего рода ведущая линия немецкой внешней политики (этот документ в высшей степени примечателен в рассматриваемом нами аспекте): освобождение Рейнской области и Саара, устранение коридора и возвращение в состав страны польской Верхней Силезии, аншлюс немецкой Австрии и, наконец, ликвидация демилитаризованной зоны [371] – это была, в иной очередности, внешнеполитическая программа Гитлера в 30-е годы. В вожде НСДАП эти группы видели человека, способного осуществить их планы ревизии, потому что он как никто другой умел использовать Версальский договор и распространенные

чувства унижения как средство сплочения и мобилизации нации поверх почти всех разделяющих ее барьеров. Характерно, что в начале его канцлерства они даже побуждали его пойти на обострение курса: как при уходе с конференции по разоружению и выходе из Лиги наций, так и в вопросе разоружения консервативные члены кабинета подталкивали колебавшегося Гитлера вперед, и вплоть до Мюнхенской конференции они по сути дела не одобряли лишь лихие методы азартного игрока, свойственные Гитлеру.

На этом, правда, преемственность заканчивалась. Ибо то, что добивавшиеся ревизии консерваторы типа фон Нойрата, фон Бломберга, фон Папена или фон Вайцзеккера считали целью, было для Гитлера даже не этапом, а подготовительным шагом. Он презирал нерешительных партнеров, потому что они как раз не хотели того, что приписывает им спорный тезис: «стремления к мировому господству», что было его «целью будущего», к которой он неуклонно стремился: не новые (или тем более старые) границы, а новые пространства, миллион квадратных километров, более того, вся территория до Урала, а потом и еще дальше: «Мы будем диктовать Востоку наши законы. Мы завоюем шаг за шагом землю до Урала. Я надеюсь, что с этой задачей справится еще наше поколение… Тогда мы будем иметь отборных здоровых людей на все времена. Тем самым мы создадим предпосылки для того, чтобы руководимая, упорядоченная и управляемая нами, германским народом, Европа смогла выстоять на протяжении жизни поколений в судьбоносных схватках с Азией, которая наверняка опять двинется на нас. Мы не знаем, когда это будет. Если в тот момент на другой стороне будет людская масса в 1-1, 5 миллиарда, то германский народ, который, как я надеюсь, будет насчитывать 250-300 миллионов, вместе с другими европейскими народами при общей численности в 600-700 миллионов и с предпольем до Урала или же через сто лет и за Уралом, должен будет устоять в борьбе за существование с Азией» [372]. От империализма кайзеровских времен этот империализм качественно отличала, разрушая преемственность, не столько огромная жажда пространства, которая уже наметилась у пангерманцев или, конкретнее с точки зрения политики силы, в восточных планах Людендорфа 1918 года, сколько, скорее, идеологический фермент, который выступал связующим элементом и придавал ему ударную силу: представления об отборе, расовом блоке и эсхатологической миссии. Что-то от подобного внезапного понимания этой инородности, которое в большинстве случаев приходило слишком поздно, сквозит в словах одного консерватора, который охарактеризовал тогда

Гитлера так: «Собственно говоря, этот человек принадлежит не нашей расе. Есть в нем нечто совершенно чуждое, что-то от вымершей прарасы» [373].

Высказывание Гитлера, что вторая мировая война является продолжением первой, не общее место империалистической доктрины, которым его часто считают: оно, скорее, обозначает попытку выдать себя за выразителя преемственности, которую он н е х о т е л обеспечивать, попытку в последний раз разыграть перед генералами и консервативными партнерами роль человека, который воплотит в реальность их несбывшиеся мечты о великой державе, вернет им утраченную, украденную победу 1918 года, которая теперь все же должна была достаться им. В действительности этому он отводил самое последнее место, жажда ревизии служила для него лишь идеальной исходной базой. При недиалектическом подходе к понятию «преемственности» легко совершить ошибку в оценке характера явления; Гитлер не был Вильгельмом III.

Уже в «Майн кампф» он писал, что программа, которую он представляет, «объявляет войну существующему порядку и имеющемуся мировосприятию вообще» [374]. В сентябре 1939 года он лишь начал вести эту схватку силой оружия и за пределами страны. Уже первая мировая война была, по меньшей мере отчасти, столкновением идеологий и систем господства, вторая стала им в несравненно более резкой, принципиальной форме: своего рода всемирной гражданской войной, которая решала не столько вопрос власти, сколько морали, которая будет господствовать впредь в мире.

У противников, которые противостояли друг другу после неожиданно быстрого разгрома Польши, не было объекта территориальных споров, целей завоевания, какое-то время на протяжении «странной войны» той осени казалось, что война утратила свою побудительную причину: на этом основывался слабый шанс на восстановление мира. 5 октября Гитлер отбыл в Варшаву на парад победы, объявив, что на следующий день выступит с важным «призывом к миру». Вряд ли кто-либо мог догадаться, сколь беспредметными были неопределенные последние надежды, которые вновь возникли после этого заявления. Ведь уже за две недели до него Сталин уведомил германского диктатора, что не питает особых симпатий к идее самостоятельной Польши в усеченном виде, и Гитлер, проявляя недавно прорезавшуюся антипатию к политическим альтернативам, принял предложение провести переговоры. Когда они окончились 4 октября[375], Польша была снова поделена

между своими могучими соседями, одновременно была сорвана возможность окончить войну с западными державами при помощи политического решения. Один иностранный дипломат сказал о речи Гитлера в рейхстаге, что он как бы пригрозил не желающим его мира каторжной тюрьмой [376].

С точки зрения своей общей концепции Гитлер, однако, действовал логично: как бы ни хотелось ему опять добиться идеальной расстановки сил, предполагавшей западную поддержку, предложение Сталина было все же заманчивее: оно давало ему наконец общую границу с Советским Союзом, ради которой он по сути дела начинал войну с Польшей. Уже на вечернем совещании 17 октября 1939 года он дал указание начальнику штаба ОКВ генерал-полковнику Кейтелю учесть впредь при планировании, что оккупированный польский регион «имеет для нас военное значение как передовой рубеж и может быть использован для сосредоточения и развертывания сил. Для этого надо содержать в порядке и использовать для наших целей железные дороги, шоссе, линии связи. Следует устранить все начатки какой-либо консолидации в Польше», иронически добавив: «процветать пышным цветом должно только «польское головотяпство» [377].

Он переступил ту линию, которая делала войну неотвратимой, и в моральном плане. В ходе того же разговора он распорядился подавлять в зародыше все усилия, которые могут «превратить польскую интеллигенцию в руководящий слой. Жизненный уровень в стране должен оставаться низким; мы хотим лишь одного – черпать оттуда рабочую силу». В состав рейха была включена территория, далеко выходившая за границы 1914 года, прежде всего область р. Варты и Верхнесилезский промышленный район, остальная часть была объявлена генерал-губернаторством, во главе которого был поставлен Ханс Франк, оно стало объектом беззастенчивого процесса онемечивания и войны на порабощение и уничтожение: Франк должен быть способен, заявил Гитлер, «завершить дьявольское дело!» Уже в последние дни сентября он поручил Генриху Гиммлеру очистить эти области от нежелательных расовых элементов; упразднив военную администрацию 25 октября 1939 года, он дал ему зеленый свет для «этнической борьбы». Части СС и полиции положили начало режиму, основанному на терроре; арестовывали, переселяли, изгоняли, ликвидировали, один немецкий офицер, ужаснувшись писал в письме «о банде убийц, разбойников и грабителей», а Ханс Франк мечтал об «эпохе Востока», которая начинается теперь для Германии», «времени колоссальных преобразований по колонизации и заселению»

[377.1].

Генриха Гиммлера, который в ходе усиленной идеологизации того времени заметно укреплял свою власть, Гитлер иногда хвалил за то, что тот не стесняется использовать «предосудительные средства», тем самым не только наводя порядок, но и превращая других в сообщников [378]. Похоже, этот психологический расчет был одной из причин, независимо от всех экономических намерений, превращения режима во все более откровенной форме в преступную систему: намерение связать всю нацию с режимом чудовищными преступлениями, привить людям сознание того, что все корабли сожжены, то чувство Саламинского сражения, о котором говорил Гитлер, было наряду с отказом от всякой политики попыткой отрезать все пути к отступлению. Почти в каждой речи, произнесенной Гитлером после начала войны, присутствует, как заклинание, тезис о том, что ноябрь 1918 года не повторится. Бесспорно, он чувствовал то, о чем писал в дневнике 3 октября 1939 года генерал-полковник фон Лееб: «Плохое настроение населения, никакого воодушевления, никаких флагов на домах, все ждут мира. Народ чувствует ненужность войны» [379]. Начавшаяся сразу после этого политика уничтожения людей на Востоке была одним из средств сделать войну необратимой.

У него не было больше иного выхода, он был опять прижат к стене и испытывал старые ощущения. Теперь конфликт, как он имел обыкновение говорить, должен быть «доведен до конца». Заместителю госсекретаря США Самнеру Уэллсу, который посетил его 2 марта 1940 года, он заявил: «Речь идет не о том, будет ли уничтожена Германия», Германия будет защищаться до последнего; но в «наихудшем случае будут уничтожены все» [380].

КНИГА СЕДЬМАЯ
ПОБЕДИТЕЛЬ И ПОБЕЖДЕННЫЙ

Глава I
ПОЛКОВОДЕЦ

Такое может только гений!

Вильгельм Кейтель

С прошлого сентября я думаю о Гитлере как о мертвеце.

Жорж Бернанос

Строптивые генералы. – Западная кампания. – Изменение плана операций. – Дюнкерк. – Обрушившееся небо. – Вступление Италии в войну. – Капитуляция Франции. – Гитлер-полководец. – Компьен. – Гитлер в Париже. – Черчилль. – Гитлер предлагает мир. – «Битва за Британию» и операция «Морской лев». – Идея континентального блока – Дипломатическое фиаско. – Новая концепция – блицкриг на Востоке. – Война на Балканах. – Полет Рудольфа Гесса в Англию. – Самоуговоры. – Решение принято.

Еще в течение октября 1939 года Гитлер начал перебрасывать свои победоносные дивизии на запад и заново укомплектовывать их. Как всегда, когда он уже принял какое-то решение, его охватила жажда действовать, во всяком случае, понятие «сидячая война», которым обычно называют последующие месяцы нерешительного выжидания, к его поведению не относится. Еще до того как западные державы прореагировали на его «призыв к миру» от 6 октября, он вызвал к себе главнокомандующих тремя видами вооруженных сил, а также Кейтеля и Гальдера и ознакомил их со своей памятной запиской, касающейся военной обстановки. Эта записка начиналась с псевдоисторической преамбулы о враждебной позиции Франции со времен Вестфальского мира 1648 года, что и служило обоснованием решения о немедленном наступлении на западе. Цель войны определялась как «уничтожение силы и способности западных держав в очередной раз… воспрепятствовать дальнейшему развитию немецкого народа в Европе» [381] – это означало, что война на западном фронте была неизбежным обходным маневром, чтобы избежать угрозы с тыла, прежде чем начинать великий завоевательный поход на Востоке. Гитлер подробно

издожил примененный в Польше метод подвижной войны и рекомендовал его и для похода на Западе. Решающим, как он выразился, является массированное применение танков, дабы «обеспечить оперативное продвижение армии вперед и избежать позиционной войны, как в 1914-1918 годах». Такова была концепция, которая увенчается столь триумфальным успехом в мае и июне следующего года.

Как и врученная генералам одновременно «Директива № 6 по ведению войны», эта памятная записка психологически была направлена на преодоление настроений строптивости в высшем офицерском корпусе. «Главное дело – это желание разгромить врага», – с таким заклинанием обращался к присутствующим Гитлер [382]. Действительно, часть генералитета считала план Гитлера «выманить французов и англичан на поле битвы и разгромить их» в одинаковой мере неправильным и рискованным и рекомендовала вместо этого упорной обороной как бы «усыпить» войну. Один из генералов назвал наступление «безумным», а фон Браухич, Гальдер и в первую очередь руководитель ведомства по делам вооружений генерал Томас, а также генерал-квартирмейстер сухопутных войск генерал фон Штюльпнагель приводили конкретные доводы со ссылками на незначительные сырьевые запасы, истощенные резервы боеприпасов, опасность зимней кампании и силу противника, и из этих политических, военных, а в чем-то даже моральных сомнений и формировались новые замыслы противодействия. Обеспокоенный Йодль обратился по этому поводу в начале октября к Гальдеру, ибо интриги офицеров означают «кризис тяжелейшего рода», и Гитлер «рассержен тем, что военные не идут за ним» [383].

Чем строптивее вели себя генералы, тем нетерпеливее настаивал он на том, чтобы начать наступление на Западе. Первоначально им был установлен срок между 15 и 20 ноября, но потом начало наступления было перенесено на 12 ноября, и это вынуждало офицеров к принятию решения. Как и в сентябре 1938 года, они стояли перед выбором – либо подготавливать войну, которую сами они считали роковой, либо свергнуть Гитлера путем государственного переворота; и, как и тогда, фон Браухич придерживался позиции середина наполовину, а за кулисами действовали все те же актеры: полковник Остер, вышедший к тому времени в отставку генерал-полковник Бек, адмирал Канарис, Карл Герделер, затем бывший посол в Риме Ульрих фон Хассель и другие. Центром их действий была штаб-квартира генштаба в Цоссене, и в начале ноября заговорщики решились на организацию государственного переворота, если Гитлер будет и

далее настаивать на своем приказе о наступлении. Фон Браухич заявил о своей готовности предпринять последнюю попытку переубедить Гитлера во время беседы с ним, назначенной на 5 ноября. Это был тот самый день, когда немецкие соединения должны были занять исходные позиции для вторжения в Голландию, Бельгию и Люксембург.

Беседа в берлинской рейхсканцелярии вылилась в драматическое столкновение. Гитлер с показным спокойствием выслушал сначала те сомнения, которые главнокомандующий сухопутными войсками изложил в виде своего рода «памятной записки». Ссылка на плохие погодные условия была отметена Гитлером коротким возражением, что погода одинаково плоха и для противника, опасения же относительно недостаточности боевой выучки войск он отверг замечанием, что дополнительные четыре недели тут мало что изменят. Когда же фон Браухич стал критиковать поведение армии в польской кампании и заговорил о нарушениях дисциплины, Гитлер воспользовался случаем и впал в один из своих припадков неописуемой ярости. Вне себя, как это отмечается в сделанной задним числом записи Гальдера, он потребовал, чтобы были приведены конкретные доказательства, желая точно знать, в каких частях имели место такого рода явления, что было их причиной и были ли вынесены смертные приговоры. Он заявил, что должен лично убедиться, так ли это, в действительности же все дело в том, что командование армии не желает воевать и поэтому давно уже отстают темпы вооружения, но теперь он выкорчует с корнем этот «цоссенский дух». Резким тоном он запретил фон Браухичу продолжать доклад, и главнокомандующий, растерянный, с побелевшим лицом, покинул рейхсканцелярию. «Б(раухич) совершенно подавлен», – так охарактеризовал его состояние один из участников событий [384]. В тот же вечер Гитлер еще раз подтвердил в приказном порядке, что срок нападения – 12 ноября.

Хотя этим, собственно говоря, уже создавалась предпосылка для государственного переворота, заговорщики так ничего и не предприняли; хватило одной угрозы искоренить «цоссенский дух», чтобы выявились их слабость и нерешительность. «Все слишком поздно и совершенно впустую», – записал в своем дневнике один из близких к Остеру людей, подполковник Гроскурт. В предательской спешке Гальдер сжег все компрометирующие материалы и с того же часа прекратил всю текущую подготовку. Когда три дня спустя Гитлер чуть было не стал жертвой покушения в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер», организованного, по всей вероятности, каким-то одиночкой, страх перед крупной сыскной акцией со

стороны гестапо окончательно парализовал последние остатки плана государственного переворота [385]. Кроме того, заговорщикам благоприятствовала случайность, устранявшая повод для их намерений, – 7 ноября из-за плохих погодных условий сроки вторжения были отодвинуты. Правда, Гитлер отложил его всего лишь на несколько дней; о том, насколько ему не хотелось идти на значительное оттягивание сроков, как этого требовали офицеры, говорит тот факт, что такая ситуация повторялась в общем и целом двадцать девять раз, прежде чем наступление все же началось в мае 1940 года. Во второй половине ноября главнокомандующих снова вызывали в Берлин для идеологической накачки; с пламенными призывами обращались к ним Геринг и Геббельс, а 23 ноября перед ними выступил с тремя длившимися в общей сложности семь часов речами сам Гитлер, в них он пытался уговорить и запугать офицеров [386]. Напомнив о минувших годах, он упрекнул их в недостатке веры и заявил, что «глубочайшим образом обижен» и не может «вынести, чтобы ему кто-то сказал, что с армией не все в порядке», а затем с угрозой добавил: «Внутренняя революция невозможна – ни с вами, ни без вас». Свою решимость немедленно начать наступление на Западе он назвал неизменной и отозвался о планировавшемся и критиковавшемся некоторыми офицерами нарушении голландского и бельгийского нейтралитета как о пустяке, не имеющем никакого значения («Ни один человек не задаст об этом вопроса, если мы победим») и, наконец, высказал прямую угрозу: «Я не остановлюсь ни перед чем и уничтожу каждого, кто против меня». Свою речь он закончил следующими словами:

> «Я полон решимости вести мою жизнь так, чтобы мог держаться достойно, если мне придется умереть. Я хочу уничтожить врага. За мной стоит немецкий народ, чье моральное состояние может стать только хуже… Если мы успешно выдержим борьбу – а мы ее выдержим, – наше время войдет в историю нашего народа. Я выстою либо паду в этой борьбе. Я не переживу поражения моего народа. Никакой капитуляции вовне, никакой революции внутри».

Офицерский кризис осени 1939 года имел далеко идущие последствия. По самой своей природе, постоянно влекшей его навстречу тотальным эмоциям, Гитлер не только не верил впредь в лояльность своих генералов, но и не доверял их деловому совету, и то нетерпение, с которым он взял на себя роль полководца, имело своим истоком именно эти события. В свою очередь, вновь проявившаяся слабость и уступчивость

генералитета, особенно главного командования сухопутных войск, способствовала его намерению свести органы военного руководства к уровню всего лишь инструментальных функций. Уже при подготовке сходной с переворотом кампании против Дании и Норвегии, в результате которой он рассчитывал обеспечить себе рудные запасы Швеции и базу для операций в войне с Англией, он полностью исключил из этого главное командование сухопутных войск. Вместо того он поручил планирование операции специально созданному штабу при верховном командовании вермахта (ОКВ) и реализовал тем самым также и в рамках воинской иерархии систему соперничающих инстанций, относившуюся к максимам его практики господства. И его расчеты блистательно подтвердились, когда начатая в апреле 1940 года чрезвычайно рискованная операция, противоречившая всем привычным принципам ведения войны на море и считавшаяся в штабах союзников просто немыслимой, увенчалась полным успехом. Начиная с этого момента, он уже не ожидал больше никакого открытого сопротивления со стороны генералитета; все бессилие офицерского корпуса иллюстрирует тот факт, что Гальдер еще во время осеннего кризиса обратился к статс-секретарю фон Вайцзеккеру с вопросом, нельзя ли повлиять на Гитлера, подкупив одну ясновидящую, – ради этой цели он готов был раздобыть миллион марок; что же касается фон Браухича, то тот произвел на одного из своих посетителей такое впечатление, будто он «вконец добит, изолирован» [387].

На рассвете 10 мая 1940 года началось, наконец, долгожданное наступление на Западе. Вечером предыдущего дня полковник Остер проинформировал противоположную сторону через голландского военного атташе в Берлине полковника Г. Й. Саса, с которым он был дружен, о предстоявшем наутро нападении. Но когда грохот орудий и вой бомбардировщиков разорвали предрассветную тишину, для скептически настроенных генштабов союзников, подозревавших ловушку, это все равно оказалось полной неожиданностью. Путем ввода крупных британских и французских сил, срочно переброшенных из Северной Франции, им, наконец, удалось где-то восточнее Брюсселя приостановить немецкое вторжение в Бельгию. И у них не вызвало никакого подозрения то обстоятельство, что немецкая авиация почти не препятствовала их ответным акциям, – а вот это-то и оказалось подлинной ловушкой, в которую они попали, и именно тогда эта их бездумность стоила им, по строгому счету, победы.

Первоначальная немецкая концепция этой кампании

опиралась на главную идею плана Шлиффена, она предусматривала обход французских укрепленных линий через Бельгию и нанесение удара с северо-западного направления. Конечно, германское командование сознавало, что в таком плане таились свои проблемы, – у него отсутствовал элемент внезапности, поэтому была угроза, что наступление захлебнется еще раньше, чем в первую мировую войну, и перейдет в позиционную борьбу; кроме того, оно требовало применения крупных танковых соединений на территории, изрезанной многочисленными реками и каналами, что, казалось, препятствовало быстрому исходу, хотя именно на этом и был построен весь военный план Гитлера. Но никакой альтернативы не видели. Предложенный в октябре 1939 года начальником штаба группы армий «А» генералом фон Манштейном план был отвергнут Браухичем и Гальдером, в результате чего Манштейн даже лишился своего поста. Он настаивал на том, чтобы главный удар в немецком наступлении был смещен с правого фланга в центр, – это должно было вернуть германской стратегии элемент внезапности, поскольку Арденны не были, по всеобщему мнению, подходящим местом для крупномасштабных танковых операций. По той же причине французское командование держало на этом участке фронта относительно слабые силы, но как раз на том и базировался план Манштейна: если только немецкие танки преодолевали горную и лесистую местность, то они могли затем почти беспрепятственно катиться по равнинам Северной Франции до самого моря, они отрезали армии союзников, введенные в Бельгию, и заставляли занимать боевую позицию спиной к побережью.

И то, что первоначально смутило командование сухопутных войск, – неожиданный, рискованный характер этого плана – как раз и захватило моментально Гитлера. Говорили, что у него в голове уже зрели подобные задумки, когда он узнал о предложении фон Манштейна; поэтому, побеседовав с генералом, он приказал в феврале 1940 года по-новому сформулировать план кампании. Это и оказалось решающим.

Ибо отнюдь не численное превосходство и не превосходство в вооружении и технике были тем, что сделало войну на Западном фронте беспрецедентным, захватывающим дыхание победным походом. Силы, выступившие друг против друга 10 мая, были – при небольшом превосходстве в численности у союзников – примерно равны. 137 дивизиям западных держав, к которым следовало присоединить еще 34 голландские и бельгийские дивизии, противостояли 136 немецких дивизий; авиация союзников насчитывала 2800 машин, а у немцев было почти на 1

000 самолетов больше; против примерно 3 000 танков и самоходных орудий противника немецкая сторона выставила 2500, правда, они были большей частью сосредоточены в самостоятельных танковых дивизиях. Но решающее значение имело превосходство немецкого плана операции, удачно названного Черчиллем «взмахом серпа» [388] и вынудившего противника к «сражению с перевернутыми фронтами».

Под тяжестью немецкого наступления, начатого опять без объявления войны, вероломным налетом на находившуюся на аэродромах авиацию противника, через пять дней пала «крепость Голландия». Решающей для быстроты успеха явилась выдвинутая самим Гитлером идея выброски небольших, натренированных спецподразделений парашютистов в стратегически важных местах за линией фронта. Это решило судьбу господствовавшего над льежским укрепрайоном форта Эбен-Эмаэль, когда прямо на территорию крепости было высажено с грузовых планеров такое подразделение. А в это время последовал совершенно не ожидавшийся противником быстрый прорыв через Люксембург и Арденны, и уже 13 мая танковые соединения сумели у Динана и Седана форсировать Маас, 16 мая пал Лан, 20 мая – Амьен, и в ту же ночь передовые соединения вышли к Ла-Маншу. Какое-то время продвижение вперед шло такими быстрыми темпами, что части второго эшелона потеряли связь с авангардом, и мнительный, как всегда, Гитлер уже не верил в свой триумф: «Фюрер ужасно нервничает, – записывает Гальдер в дневнике 17 мая, – он боится собственного успеха, не хотел бы рисковать и поэтому охотнее всего задержал бы нас». И из записи следующего дня: «Фюрер, непонятно почему, боится за южный фланг. Он бушует и кричит, что таким образом можно загубить всю операцию и оказаться перед угрозой поражения» [389].

На деле же такой угрозы не было. Когда новый британский премьер-министр Уинстон Черчилль, обеспокоенный положением на фронте, прибыл в те дни в Париж, главнокомандующий сухопутными силами союзников генерал Гамелен признался ему, что большинство его моторизованных соединений оказалось в расставленной немцами ловушке. В своем приказе по войскам 17 мая Гамелен взывал к славным воспоминаниям и дословно повторял призыв генерала Жоффра к солдатам перед Марнским сражением – не уступать ни пяди земли. Однако командованию союзников так и не удалось собрать свои отступавшие армии, построить новые линии и организовать контрнаступление. И если бы передовые части танкового корпуса Гудериана, находившиеся всего в нескольких километрах южнее Дюнкерка, не получили приказа остановиться на достигнутом рубеже и не вступать в

столкновение с противником, то поражение союзников было бы полным; промедление же в течение сорока восьми часов оставило в их руках гавань и дало им шанс на эвакуацию.

Примерно в течение восьми дней благодаря одной из самых авантюрных импровизаций этой войны – при помощи приблизительно девятисот преимущественно небольших судов, в том числе и рыбацких баркасов, прогулочных пароходов и частных яхт, – подавляющая часть войск, в количестве около трехсот сорока тысяч человек, была переправлена в Англию.

Ответственность за «стоп-приказ» под Дюнкерком до сего времени остается предметом дискуссий, причем иногда выдвигается мнение, будто бы сам Гитлер намеренно позволил эвакуироваться большей части английского экспедиционного корпуса, чтобы не заблокировать все еще вожделенный для него путь примирения с Англией. Однако такое решение противоречило бы не только сформулированным им в его памятной записке целям войны, но и «Директиве № 13» от 24 мая, которая начиналась следующими словами: «Ближайшей задачей операций является уничтожение окруженных в Артуа и во Фландрии франко-англо-бельгийских сил путем концентрического удара нашего северного крыла… Задача авиации заключается здесь в том, чтобы сломить всякое сопротивление окруженных частей противника(и) воспрепятствовать эвакуации английских сил через Ла-Манш» [390]. Скорее всего, «стоп-приказ» Гитлера, хотя и встреченный в штыки командованием сухопутных войск, но тем не менее одобренный командующим группой армий «А» фон Рундштедтом, был продиктован стремлением поберечь уставшие в четырнадцатидневных боях танковые соединения для предстоящей битвы за Францию. Утвердили же Гитлера в его решении самоуверенные, высокопарные заявления Геринга, что он и его люфтваффе превратят гавань Дюнкерка в море огня и потопят каждое причаливающее судно. Когда же город, еще за десять дней до того лежавший перед Гудерианом незащищенным, оказался наконец 4 июня в немецких руках, Гальдер скупо отметил: «Дюнкерк занят, побережье достигнуто.(Даже) французы убрались вон» [391].

Но не одним лишь великолепно задуманным планом операции объясняются немецкие успехи. Когда армии Гитлера после охватывающего маневра у побережья Ла-Манша повернули затем на юг, они повсюду встречали уже потерявшего мужество, сломленного противника, чья обреченность еще больше усугублялась творившейся на севере неразберихой. Французское верховное командование оперировало соединениями, которые

давно уже были разбиты, дивизиями, которые были рассеяны, дезертировали либо просто развалились сами собой, Уже в конце мая один британский генерал назвал французскую армию «скопищем черни» без малейшего намека на дисциплину [392]. Миллионы беженцев, тащивших за собой тележки с нагроможденными в них пожитками, заполонили все дороги, они бесцельно брели просто куда глаза глядят, задерживали движение своих воинских частей, втягивали их в сумятицу, оказывались в тылу немецких танков, метались в панике под бомбами и воем сирен пикирующих бомбардировщиков, и в этом неописуемом хаосе тонула любая попытка организованного военного сопротивления – страна была готова к обороне, но не была готова к гибели. У французской ставки в Бриаре для связи с войсками и внешним миром имелся один-единственный телефонный аппарат, да и тот не функционировал с двенадцати до четырнадцати часов, потому что телефонистка на почте уходила в это время обедать. Когда же командующий британским экспедиционным корпусом генерал Брук спросил о дивизиях, которые якобы должны были защищать «крепость Бретань», то новый французский главнокомандующий генерал Вейган только удрученно пожал плечами: «Я знаю, что все это чистая галлюцинация». Подобно генералу Бланшару, многие военачальники тупо глядели на оперативные карты как на белую стену – было такое впечатление, что на Францию и впрямь обрушились небеса [393].

Хотя немецкие планы битвы за Францию едва ли предусматривали какую-либо активность со стороны противника, и директивы походили скорее на указания по проведению многодневного учебного марш-броска, а не военного похода, Гитлер был, тем не менее, смущен такой скоростью продвижения собственных армий вперед. 14 июня его войска вошли через ворота Майо в Париж и сорвали с Эйфелевой башни трехцветный французский флаг; три дня спустя в течение одного дня Роммель совершил бросок на двести сорок километров, а когда в тот же день Гудериан сообщил, что он со своими танками дошел до Понтарлье, Гитлер запросил телеграфом, не ошибка ли это, «вероятно, имеется в виду Понтайе-сюр-Сон», Гудериан протелеграфировал: «Никакой ошибки. Лично нахожусь в Понтарлье на швейцарской границе» [394]. Оттуда он двинулся на северо-восток и вклинился с тыла в линию Мажино. Оборонительный вал, бывший не только основой стратегии Франции, но и всего ее мышления, пал почти без боя.

И тут как бы на помощь победе Германии, ставшей уже осязаемой, пришла Италия. Хотя Муссолини, как он любил говорить, ненавидел репутацию ненадежности, приставшую к его

стране, и хотел путем «политики, прямой, как клинок шпаги», заставить забыть о ней, обстоятельства не благоприятствовали этим его намерениям. Его первоначальное решение не ввязываться в войну было поколеблено уже в октябре в результате немецких побед в Польше, в ноябре мысль, что Гитлер может выиграть войну, он воспринимал как «совершенно невыносимую», в декабре в разговоре с Чиано «открыто пожелал немцам поражения» и выдавал голландцам и бельгийцам сроки немецкого наступления, а в начале января направил Гитлеру письмо, в котором, пользуясь своим правом «декана диктаторов», самоуверенно растекался в советах и пытался нацелить Гитлера на Восток [395].

> «Никто не знает лучше меня, поскольку я обладаю вот уже сорокалетним политическим опытом, что политика выдвигает тактические требования… Поэтому я понимаю, что Вы… избегали второго фронта. Россия тем самым, не шевельнув и пальцем, получила в Польше и Прибалтике большой выигрыш от этой войны. Но я, будучи революционером от рождения и никогда не меняя своих взглядов, говорю Вам, что Вы не можете постоянно жертвовать принципами Вашей революции в угоду тактическим требованиям определенного политического момента. Я придерживаюсь убеждения, что Вы не можете допустить, чтобы упало антисемитское и антибольшевистское знамя, которое Вы высоко несли на протяжении двадцати лет… и я безусловно исполню свой долг, если добавлю, что один-единственный дальнейший шаг по расширению Ваших отношений с Москвой имел бы в Италии опустошительные последствия…»[396]

Однако при встрече на перевале Бреннер 18 марта 1940 года Гитлеру без особого труда удалось устранить отрицательные эмоции Муссолини и вновь разжечь в партнере старые комплексы, связанные с жаждой добычи и восхищения. «Нельзя закрывать глаза на то, что дуче очарован Гитлером, – писал Чиано, – и к тому же эта очарованность совпадает с устремлениями его собственной натуры, толкающей его к действию». Начиная с этого момента, у Муссолини растет решимость участвовать в войне. Просто недостойно, считает он, «сидеть сложа руки, когда другие делают историю. Дело не в том, кто победит. Чтобы сделать народ великим, надо послать его в бой – если потребуют обстоятельства, даже пинками в задницу. Этого я и буду придерживаться» [397]. В ослеплении от успехов своего товарища

по судьбе, вопреки воле короля, промышленников, армии, даже вопреки воле части своих влиятельных соратников по Большому совету, он взял теперь курс на вступление Италии в войну. Когда в первые же дни июня в ответ на приказ начать наступление маршал Бадольо, возражая, заметил, что у его солдат «нет даже достаточного количества рубах», Муссолини, отвергая его возражения, сказал: «Я уверяю вас, что в сентябре все кончится, и мне нужно несколько тысяч мертвецов, чтобы как участнику войны сесть за стол мирных переговоров. 10 июня итальянские соединения начали наступление, однако застряли уже на подступах к пограничному населенному пункту Мантон. Возмущенный итальянский диктатор реагировал на это так: „Мне нужен материал. И Микеланджело нужен был мрамор, чтобы создать свои статуи. Если бы у него была одна глина, он стал бы всего лишь горшечником“ [398]. А неделю спустя события обогнали его честолюбие – президент Франции Лебрен поручил формирование правительства маршалу Петену. Первое, что тот сделал на своем новом посту, было обращение к германскому верховному командованию через правительство Испании с просьбой о перемирии.

Гитлер получил сообщение об этом в маленькой бельгийской деревушке Брюли-ле-Пеш близ французской границы, где находилась его ставка. Кинопленка запечатлела взрыв его чувств – некую стилизованную в соответствии с сознанием собственной роли пляску радости с притопыванием правой ноги, улыбкой во все лицо, покачиванием застывшей в оцепенении головой и похлопыванием себя по бедру. И тут, не остыв еще от восторженного экстаза, Кейтель впервые провозгласил здравицу в честь «Величайшего полководца всех времен» [399].

Успехи же и впрямь были беспримерными. Всего три недели понадобились вермахту, чтобы разгромить Польшу, немногим более двух месяцев, чтобы победить Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию, Люксембург и Францию, заставить Англию отступить на свой остров и бросить достаточно эффективный вызов британскому флоту. И все это сопровождалось относительно совсем небольшими потерями – западная кампания стоила немецкой стороне 27 000 убитых, в то время как потери противника составили почти 135 000 только убитыми. Разумеется, успехи этой кампании не являются одной лишь личной заслугой Гитлера как полководца, но ни в коем случае не были они и только результатом везения или же умения тех, кто ему советовал, либо полнейшего безволия противника. Значение танковых соединений осознали в 30-х годах и во Франции, и в

других странах, но только Гитлер сделал из этого нужный вывод и несмотря на встреченное им сопротивление вооружил вермахт десятью танковыми дивизиями; куда зорче, чем его погрязший в устаревших представлениях генералитет, разглядел он слабость Франции и ее деморализующее бессилие, и сколь бы скромен ни был его личный вклад в манштейновский план кампании, он сразу же оценил его значение и изменил в соответствии с ним немецкую концепцию этой операции. И вообще он доказывал – во всяком случае, в ту пору – свое умение увидеть нетрадиционные возможности, которое к тому же обострялось благодаря той его непосредственности, что присуща самоучке. Он долго и интенсивно занимался изучением специальной военной литературы, на протяжении почти всей войны читал на сон грядущий военно-морские календари и военно-научные справочники. Благодаря поразительной памяти на военно-исторические теории и военно-технические детали он придавал своим выступлениям убедительный вид – уверенность, с которой он мог по памяти говорить о тоннажах, калибрах, дальности действия или оснащенности самых различных систем вооружения, достаточно часто повергала его окружение в изумление и замешательство. Но одновременно он умел и с богатейшей фантазией применять эти свои знания, у него было удивительное чутье на возможности эффективного применения современного оружия, что соединялось с высокой степенью умения вживаться в психологию противника, и все эти способности находили свое выражение в проводившихся уверенной рукой мерах по одурачиванию противника, в точном предвидении его ответных тактических шагов, а также в молниеносном улавливании предоставляющегося благоприятного случая – дерзкая идея захвата форта Эбен-Эмаэль принадлежала именно ему, равно как и мысль об оснащении пикирующих бомбардировщиков устрашающе воющими сиренами [400], а танков – вопреки мнению многочисленных экспертов – длинноствольными орудиями. Так что не совсем уж без оснований его называли одним из «наиболее знающих и разносторонних военно-технических специалистов своего времени» [401], и, конечно же, не был он «командирствующим капралом», как будут его после представлять высокомерные апологеты какой-то части германского генералитета.

В то время, во всяком случае, пока в руках у него была инициатива, он таковым не был – момент перелома, когда его слабости начнут затмевать бесспорно имевшиеся у него сильные стороны, и оперативная смелость превратится просто в абсурдную самонадеянность, энергия – в упрямство, а дерзость – в азарт

игрока, наступит значительно позже. Именно генералитет, и не в последнюю очередь та часть, что долго противилась ему, под воздействием блестящей победы над всегда внушавшим страх врагом – Францией – уверовал в итоге в его «гений» и согласился с тем, что анализ ситуации Гитлером превзошел их собственные оценки, потому что его анализ совершенно очевидно учитывал не только военные факторы, но и включал в себя то, что лежало за пределами узкого горизонта экспертов, – и именно в этом состояла одна из причин того, порою необъяснимого доверия, с которым встречали как всю его ни на чем не основанную уверенность в победе в последующие годы, так и непрерывно воздвигавшиеся им вновь и вновь карточные домики обманчивых надежд. Самому Гитлеру триумфальное завершение французской кампании принесло и без того уже не знавшее удержу чувство самоуверенности и дало его сознанию призванности мощнейшую из всех мыслимых опор – победу на поле битвы.

21 июня начались германо-французские переговоры о перемирии. За три дня до того Гитлер съездил в Мюнхен, чтобы увидеться с Муссолини и постараться погасить непомерные притязания своего итальянского союзника. Ибо за свою роль статиста на поле битвы дуче потребовал ни много ни мало как Ниццу, Корсику, Тунис и Джибути, а затем Сирию, базы в Алжире, оккупацию итальянцами Франции до самой Роны, выдачу ему всего французского флота и, если возможно, то и Мальты, а также передачу английских прав в Египте и Судане. Однако Гитлер, занятый в мыслях уже следующим этапом войны, сумел доказать ему, что честолюбивые притязания Италии затянут победу над Англией. И дело было не только в том, что форма и условия перемирия могли бы оказать значительное психологическое воздействие на решимость Англии продолжать борьбу, – куда больше Гитлер опасался того, что наисовременнейший французский флот, будучи недоступным для него, поскольку корабли находились в гаванях Северной Фрицаована результатом этих переговоров, поведение Гитлера и его аргументы возымели свое действие. Ироничный Чиано так характеризовал его в своем дневнике: «Он говорит сегодня со сдержанностью и осмотрительностью, которые после такой победы, как у него, действительно поражают. Меня нельзя подозревать в слишком нежных чувствах к нему, но в этот момент я им действительно восхищаюсь» [402].

Правда, куда менее великодушным показал себя Гитлер в аранжировке церемонии подписания соглашения о прекращении огня. В своей тяге к оскорбительной символике он устроил ее в Компьенском лесу северо-восточнее Парижа, где 11 ноября 1918

года немецкой делегации были предъявлены условия перемирия. Теперь сюда был специально доставлен из музея салон-вагон, в котором состоялась та историческая встреча, и его установили на той самой лужайке, где он находился в 1918 году, а памятник с поверженным немецким орлом был задрапирован полотнищем. Французский текст проекта договора готовился в предыдущую ночь при свечах в маленькой церкви деревни Брюли-ле-Пеш, Гитлер время от времени наведывался туда и спрашивал у переводчиков, как продвигается работа.

А сама встреча подчеркнула приметы символического восстановления справедливости. Когда Гитлер около 15 часов в сопровождении большой свиты вышел из своего автомобиля, он направился сперва к гранитному монументу в центре площадки (надпись на монументе гласила о «преступной гордыне германского рейха», рухнувшей на этом месте) и остановился перед ним, широко расставив ноги и подбоченившись, – это был триумфальный жест наперекор, презрения к этому месту и всему, что было связано с ним [403]. Отдав приказ снести памятник, он вошел после этого в вагон и сел на тот стул, на котором сидел в 1918 году маршал Фош. Преамбула договора, зачитанная вслух Кейтелем прибывшей вскоре французской делегации, еще раз обращалась к истории: в ней говорилось о нарушении торжественно данных обещаний, о «поре страданий немецкого народа», его «обесчещении и унижении», которые брали свое начало отсюда, – и вот теперь, на том же самом месте, снимается «глубочайший позор всех времен». Еще до того как дело дошло до текста самого договора, Гитлер поднялся, отсалютовал вытянутой рукой и покинул вагон. Снаружи военный оркестр играл германский национальный гимн и «Хорст Вессель».

В этот день 21 июня 1940 года, идя к своему автомобилю по одной из звездообразно расходившихся от той поляны буковых аллей, он был в апогее своей карьеры. Когда-то, в дни самого ее начала, он поклялся себе не знать покоя, пока не будет восстановлено то, что было попрано в ноябре 1918 года, и это нашло тогда отклик и дало ему сторонников. И вот теперь он достиг цели. Чувство старой обиды в очередной раз доказало тут свою силу» Ибо сами немцы, даже если сначала они считали войну бессмысленной, увидели в этой сцене в Компьене акт прямо-таки метаполитической справедливости и праздновали не без внутреннего восторга мгновение «восстановленного права» [404]. И многие сомнения потеряли в те дни свой вес, либо превратились в благоговение и преданность, ненависть же осталась в одиночестве; редко когда в предыдущие годы нация столь безоговорочно отдавала свои симпатии режиму, и сам

Фридрих Майнеке писал: «Я хочу… переучиться многому, но не всему». В донесениях СД во второй половине июня говорилось о невиданной доселе внутренней сплоченности немецкого народа, даже враги-коммунисты почти полностью прекратили свою подпольную деятельность, и только церковные круги еще выражали «пораженческие настроения» [405]. Что-то от этой своеобразной эмоциональной торжественности, окружавшей те события, нашло свое выражение и в поведении Гитлера. В ночь с 24 на 25 июня, незадолго до перемирия, он попросил погасить свет в его крестьянском домике в Брюли-ле-Пеш и открыть настежь окна и несколько минут смотрел в ночную темноту.

Три дня спустя Гитлер вылетел в Париж. В свою свиту он включил людей, разбирающихся в искусстве, в том числе Альберта Шпеера, Арно Брекера и архитектора Германа Гислера. Прямо с аэродрома он направился в «Гранд-Опера» и, гордый своими познаниями, сам был гидом в этой экскурсии по зданию театра, потом колонна автомобилей проехала по Елисейским полям, задержалась у Эйфелевой башни, затем Гитлер долго простоял перед гробницей Наполеона в Доме инвалидов, повосхищался ансамблем площади Согласия и поехал вверх на Монмартр, где назвал уродливой церковь Сакре-Кер. Поездка заняла всего три часа, но он назвал ее «сбывшейся мечтой моей жизни». Сразу же после этого он вместе с двумя бывшими однополчанами отправился в занявшее несколько дней путешествие по полям сражений первой мировой войны [406] и посетил Эльзас. В начале июля Берлин приветствовал его бурей восторга, морем цветов и колокольным звоном – это было последнее в его жизни триумфальное шествие, в последний раз насладился он опием великой овации, в котором он так нуждался и которого ему с этих пор, с распадом явления, так будет не хватать.

Правда, большой парад войск, которым он хотел как бы формально вступить во владение французской столицей, был отменен – частью, чтобы пощадить чувства французов, частью потому, что Геринг был не в состоянии гарантировать безопасность от английских воздушных налетов. Но главное было в том, что Гитлер, как и прежде, не знал, как будут реагировать англичане, и внимательно следил за каждым их шагом. В германо-французское соглашение о прекращении огня он включил статью, содержавшую в скрытом виде обращение к Лондону [407], а когда в начале июля на встрече в Берлине Чиано вновь изложил итальянские требования, Гитлер отклонил их, сославшись на то, что нужно избегать всего, что побуждало бы к сопротивлению по ту сторону Ла-Манша; и в то время как

министерство иностранных дел уже разрабатывало детальные предложения по мирному договору, сам он готовился к своему выступлению в рейхстаге, в котором собирался выдвинуть «щедрые предложения». Но одновременно он говорил и о своей решимости, в случае отказа, «обрушить на англичан бурю огня и металла» [408].

Однако ожидавшегося знака снова не последовало. 10 мая, когда вермахт начал свое наступление на Западе, премьер-министра Великобритании Чемберлена сменил на этом посту его давний непримиримый оппонент Черчилль. И хотя, как заявил новый глава правительства в своем первом же выступлении, он не может «предложить стране ничего кроме крови, забот, слез и пота» [409], все же оказалось, что втянутая в сложные соглашательские отношения с Гитлером и глубоко охваченная пораженческими настроениями Европа вновь обрела в лице этого человека свои нормы, свой язык и свою волю к самоутверждению. Поверх всех политических интересов он придавал противоборству великий моральный стимул и простой, понятный всякому смысл. Если правильно утверждение, что Гитлер-политик превосходил в тридцатые годы всех своих противников, то столь же верно и то, что нужно видеть масштаб этих противников, чтобы судить о масштабе того, кто их превзошел. В лице Черчилля Гитлер встретил не просто противника. Охваченной паникой Европе германский диктатор представлялся олицетворением самой непреодолимой судьбы, Черчилль же вновь свел его до масштаба силы, которую можно обуздать.

Еще 18 июня, через день после того как французское правительство приняло свое, по выражению Черчилля, «меланхолическое решение» о капитуляции, английский премьер выступил в Палате общин и подтвердил свою твердую решимость продолжать борьбу несмотря ни на что: «Если Британская империя и ее Содружество будут существовать и спустя тысячу лет, то люди скажут: «Это был их звездный час». И он лихорадочно занимается войной и организацией защиты Британских островов от грозящего вторжения. 3 июля, когда Гитлер еще ждет знака о смягчении позиции, Черчилль, в качестве доказательства своей непримиримости, отдает своему флоту приказ открыть огонь по вчерашнему союзнику – военно-морскому флоту Франции, находившемуся в гавани Орана. Удивленный и разочарованный, Гитлер переносит свое объявленное на 8 июля выступление в рейхстаге на неопределенное время. Охваченный победной эйфорией, он твердо полагал, что англичане прекратят бесперспективную борьбу, тем более что он, как и раньше, отнюдь не собирался

покушаться на их мировую империю. Но Черчилль своим демонстративным жестом вновь дает понять, что никаких попыток сторговаться не будет:

> «Здесь, в этой мощной твердыне, хранящей свидетельства человеческого прогресса, – заявил он 14 июня по лондонскому радио, – здесь, опоясанные морями и океанами, где господствует наш флот, … здесь ожидаем мы без страха грозящее нападение. Может быть, оно состоится сегодня. Может быть, оно не состоится никогда… Но будут ли наши муки жестокими или долгими, либо и теми, и другими, мы не пойдем на мировую, не допустим парламентеров; может быть, мы проявим милость – но просить о милости мы не будем» [410].

В ответ на это Гитлер созвал заседание рейхстага на 19 часов 19 июля в помещении Оперы Кролля. В своей многочасовой речи он так возражает Черчиллю и британскому правительству:

> Меня почти охватывает боль из-за того, что судьба избрала меня, чтобы толкнуть то, что уже подготовленно на слом этими людьми; ведь я не собирался вести войну, а хотел построить свое социальное государство высочайшей культуры. Каждый год войны отвлекает меня от этой работы. И причинами этого отвлечения служат смехотворные нули, которых в лучшем случае можно назвать политическим фабричным товаром природы. Мистер Черчилль только что вновь заявил, что хочет войны. Пусть он… на этот раз, может быть, в порядке исключения поверит мне, если я напророчествую следующее:
>
> результатом будет, что распадется великая мировая империя. Та империя, уничтожить которую, даже причинять ущерб которой никогда не входило в мое намерение. Но я отлично понимаю, что эта продолжающаяся борьба завершится только полным разгромом одного из двух ее участников. Мистер Черчилль, вероятно, думает, что это будет Германия. Я же знаю, что это будет Англия» [411].

Вопреки распространившимся ожиданиям речь Гитлера не содержала широкомасштабных предложений о мире, а ограничивалась лишь сформулированным в общих чертах «призывом к разуму», и эта перемена явилась первым

документальным свидетельством пессимизма, вызванного отсутствием перспективы на заключение мира с Англией ввиду непримиримости позиции Черчилля. Дабы не показать никакого признака слабости, Гитлер соединит это выступление в рейхстаге с показной демонстрацией своей военной мощи, произведя Геринга в рейхсмаршалы и двенадцать генералов в фельдмаршалы, а также объявив о большом количестве других повышений. Но о том, как улетучились его надежды, говорит тот факт, что еще за три дня до этого выступления он издает «Директиву № 16 о подготовке десантной операции против Англии» под кодовым названием «Морской лев».

Примечательно, что до этого у него не было никаких представлений о том, как продолжать войну с Англией, поскольку такая война не вписывалась в его концепцию, и даже изменившаяся ситуация не смогла побудить его кардинально пересмотреть свои соображения. Избалованный собственным везением и слабостью своих прежних противников, он верит в свой гений, в фортуну, в те шансы момента, которые научился использовать с такой молниеносной быстротой. Потому и «Директива № 16» была скорее свидетельством злобной растерянности, а не выражением конкретных оперативных планов, и на это указывает уже первая вступительная фраза: «Поскольку Англия, несмотря на свое бесперспективное в военном отношении положение, все еще (!) не проявляет никаких признаков готовности к взаимопониманию, я принял решение подготовить и, если будет необходимо (!), провести десантную операцию против Англии» [412] Следовательно, тут нельзя исключать и того, что Гитлер никогда не думал всерьез о высадке в Англии, а использовал это намерение только как оружие в войне нервов. Еще осенью 1939 года военные инстанции, в частности, главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Редер, неоднократно и безуспешно пытались заинтересовать его проблемами десантной операции, и, едва дав свое согласие, Гитлер сразу же стал высказывать сомнения и говорить о трудностях, чего раньше с ним никогда не было. Уже через пять дней после одобрения им операции «Морской лев» он весьма пессимистически говорит о трудностях, связанных с ней. Он выдвигает требование о сорока пехотных дивизиях, о решении проблемы со снабжением, об абсолютном господстве в воздухе, о создании на берегу Ла-Манша обширной системы тяжелой артиллерии, а также о крупнейшей акции по минированию – и на все это отводит только шесть недель: «Если приготовления не будут со всей определенностью завершены до начала сентября, нам придется подумать о других планах» [413].

Колебания Гитлера объяснялись не только его обусловленным комплексами отношением к Англии; скорее, его смущала тут и главная идея мобилизованного Черчиллем сопротивления, а именно, что мировая держава с далекими заморскими базами обладает богатыми возможностями самоутверждения, а поэтому и вторжение в метрополию, и даже захват ее еще не означает поражения. Англия могла, используя, например, в качестве базы Канаду, все глубже втягивать его в противоборство в как бы перевернутом пространстве и, наконец, втравить в войну с США, чего он очень опасался. И даже если бы удался разгром Британской империи, то выгоду от этого получила бы не Германия, а – как выразился он на совещании 13 июля 1940 года – «только Япония, Америка и другие» [414]. Поэтому любое обострение войны с Англией подрывало как раз его собственную позицию, так что не только сентиментальные, но и политические доводы говорили за то, чтобы искать, не поражения Англии, а поддержки с ее стороны. Исходя из этих соображений, Гитлер и формулирует – не без признаков определенного замешательства – стратегию последующих месяцев: постепенно, щадящими ударами и политическими маневрами вынудить Англию к миру, чтобы в итоге, не беспокоясь за тылы, предпринять все-таки поход на Восток – это было исстари его idee fixe, той идеальной расстановкой сил, добиться которой он стремился до сих пор политическим путем и которую даже сейчас, при открытом противоборстве, все еще искал, не поддаваясь угрозе потерять присутствие духа.

Ее осуществлению служила в военном плане «Осада» Британских островов немецкими подводными лодками, а также – и в первую очередь – воздушная война против Англии. Парадоксы этой концепции проявлялись в том на удивление половинчатом вовлечении сил, на основе которого Гитлер вел это противоборство: несмотря на все усилия военных инстанций он так и не решился перейти к концепции «тотальной» войны в воздухе или на море [415]. «Битву за Британию» – ставшее легендарным воздушное сражение над Англией, начавшееся 13 августа 1940 года («День Орла») первыми массированными налетами на расположенные в Южной Англии аэродромы и радарные станции, – 16 сентября пришлось прервать после тяжелых потерь вследствие плохих погодных условий, причем люфтваффе так и не добились ни одной из поставленных целей: не последовало ни ощутимого снижения британского промышленного потенциала, ни психологического подавления населения, ни даже завоевания господства в воздухе. И хотя адмирал Редер за несколько дней до того отрапортовал, что

военно-морской флот готов к операции по десантированию, Гитлер отложил ее «на потом». Директива ОКВ от 12 октября предписывала, «чтобы приготовления к высадке в Англии с настоящего времени и до весны сохранялись лишь как средство политического и военного давления на Англию» [416] Операция «Морской лев» была похоронена.

Военные действия сопровождались попыткой принудить Англию к уступчивости политическим путем – – созданием охватывающего всю Европу «континентального блока». Предпосылки для достижения этой цели были достаточно благоприятными. Часть Европы была уже фашистской, другую часть связывали с рейхом симпатии либо договоры, а еще какая-то часть была оккупирована либо побеждена, и эти поражения вынесли наверх имитаторский фашизм, едва ли имевший до того достойное упоминания количество приверженцев, но, тем не менее, обладавший теперь властью и возможностями для кристаллизации ее воздействий. Военные триумфы не только сделали Гитлера внушавшим страх диктатором всего континента, но и умножили магическую ауру, исходившую от него и его режима. Казалось, что он олицетворял мощь, момент истории и будущее, тогда как поражение Франции – в первую очередь – воспринималось как доказательство бессилия и конца демократической системы: эта страна «была нравственно загублена политикой» – так сформулировал в часы краха своей страны подавляющее недовольство демократией Петен [417]. На Венском арбитраже 30 августа, попытавшемся решить вновь обострившиеся пограничные распри в Юго-Восточной Европе, Гитлер выступал в роли Верховного арбитра, чьего совета ждали народы и в чьих руках находилась судьба этой части света.

Великая континентальная коалиция должна была охватить всю Европу и включить в себя Советский Союз, Испанию, Португалию, а также то, что осталось от Франции и управлялось из Виши. Параллельно вынашивались планы нападения на периферию Британской империи и развязывания противоборства на Средиземноморье, что должно было завершиться захватом двух его ворот – Гибралтара и Суэцкого канала и тем самым подрывом имперской позиции Англии в Северной Африке и Передней Азии. Другие, разрабатывавшиеся одновременно с теми планы, нацеливались на захват принадлежавших Португалии островов Зеленого Мыса, Канарских и Азорских островов, Мадейры, контакты с правительством в Дублине имели своей целью союз с Ирландией, чтобы заполучить дополнительные базы для налетов германской авиации на Англию.

В то лето 1940 года помимо военных возможностей перед

Гитлером в очередной раз открывалась огромная политическая перспектива, и никогда еще идея создания фашистской Европы не была столь близкой, а немецкая гегемония – столь ощутимой. Какое-то время уже могло казаться, что он осознает предоставляющийся ему шанс. Во всяком случае, осенью того года Гитлер, словно заклиная прошлые победы своей политики, вновь развивает большую внешнеполитическую активность. Он несколько раз встречается с испанским министром иностранных дел, а во второй половине октября едет на встречу с Франко в Андай и прямо оттуда – на встречу с Петеном и его заместителем Лавалем в Монтуар. Но, кроме заключения 27 сентября Тройственного пакта с Японией и Италией, все его дипломатические усилия остаются безуспешными, в частности, неудачной оказывается предпринятая во время визита Молотова в Берлин попытка вовлечь в Тройственный пакт Советский Союз и, переключив внимание СССР на британские владения на побережье Индийского океана, сделать его партнером по новому переделу мира. Конечно, этот прова объясняется наступившим у Гитлера периодом пренебрежения политическими действиями, которое умножается ощущением новых триумфов. Его искусство переговоров, как свидетельствует большинство сохранившихся протоколов, уступает теперь место властному мессианскому самомнению, прежнее осторожное прощупывание сменяется неуклюжей неискренностью, и вместо тонко сплетенных аргументов прежних лет с подсовываемыми в них полуправдами его новые партнеры по переговорам все больше и больше встречаются с откровенным эгоизмом человека, знающего один лишь аргумент – свою превосходящую силу. Но здесь, как и в случае с параллельно разрабатываемыми военными планами – операциями «Феликс» (Гибралтар), «Аттила» (превентивная Оккупация вишистской Франции) и другими, – постоянно создается такое впечатление, будто занимается он этими акциями как-то на удивление несобранно и незаинтересованно. Иной раз просто казалось, что его вообще тянет свести до минимума военную активность против Великобритании и довольствоваться химерическим эффектом идеи великого континентального блока. Ибо таким образом можно было, вероятно, легче всего предотвратить то, что куда больше беспокоило его ввиду конечной цели, к которой он стремился, – экспансии на Восток, а именно, угрожающе возраставшую опасность вступления в войну США, что сделало бы напрасным все его труды, жертвы и замыслы [418].

Начиная с лета 1940 года боязнь американского

вмешательства придает всем соображениям новую, угрожающую окраску и в первую очередь усиливает у Гитлера его страх перед фактором времени. После разгрома Франции он тратит свою энергию на скорее побочные дипломатические и военные акции. Немецкие войска стоят от Нарвика до Сицилии, а с начала 1941 года, позванные на помощь незадачливым итальянским партнером, уже и в Северной Фрицаление, что он в настоящий момент не знает, как быть дальше» [419].

Уже осенью, когда война грозила вырваться таким образом из-под контроля, Гитлер начал вновь концентрировать на ней свои мысли и возвращать ей концептуальность. У него было две возможности: или продолжать сколачивать-мощный блок государств – это было, правда, связано со значительными уступками ряду сторон, – который благодаря включению в него Советского Союза и Японии заставил бы США в последнюю минуту повернуть на 180 градусов (но и отодвинул бы на годы запланированную экспансию на Восток), либо же, улучив первый удобный момент, обрушиться на Восток, разгромить в ходе блицкрига Советский Союз и образовать блок уже не с партнером, а покорным сателлитом. С принятием окончательного решения Гитлер колебался в течение нескольких месяцев. Летом 1940 года он был полон нетерпения поскорее покончить с этой бессмысленной и обременительной войной на Западе. Еще 2 июня, в дни наступления на Дюнкерк, он выражает надежду, что теперь уж Англия будет готова пойти на «заключение разумного мира» и тогда у него будут развязаны руки для выполнения своей «великой и непосредственной задачи – противоборства с большевизмом» [420]. Несколькими неделями позже, 21 июля, он потребовал от фон Браухича начать «приготовления» к войне с Россией и в победном угаре тех дней даже подумывал о проведении этой кампании уже осенью 1940 года, и только памятная записка ОКВ и штаба оперативного руководства вермахта убеждают его в невыполнимости такого намерения. Но, так или иначе, с этого момента он оставляет свою первоначальную идею о разграничении двух противоборств во времени, и сочетание войны на Западе с экспансией на Восток выливается у него в представление о единой мировой войне. 31 июля он обосновывает эту свою идею перед Гальдером [421]:

> «Надежда Англии – это Россия и Америка. Если отпадает надежда на Россию, то отпадает и Америка, потому что падение России будет иметь своим следствием невероятное усиление роли Японии в Восточной Азии… Скажи только Россия Англии, что она

не хочет, чтобы Германия была великой, и тогда Англия хватается, как утопающий за соломинку, за надежду, что через шесть – восемь месяцев дело полностью переменится. Но если разбита Россия, то улетучивается и последняя надежда Англии. И тогда хозяин в Европе и на Балканах – Германия.

Вывод: В соответствии с этим рассуждением Россия должна быть ликвидирована. Срок – весна 1941 года» [422].

Однако в сентябре, а потом и еще раз в начале ноября казалось, что Гитлер опять заколебался и предпочитает все же идею союза. «Фюрер надеется, что сумеет втянуть Россию в единый антианглийский фронт», – записывает Гальдер 1 ноября, но другая запись, всего три дня спустя, уже обозначает альтернативу: Россия, фиксирует он слова Гитлера, остается «главной проблемой Европы.(Следует) сделать все, чтобы быть готовым к полному расчету с ней» [423]. Кажется, это соображение окончательно взяло верх в течение декабря, и Гитлер принял решение, отвечавшее всей его сути, нетерпеливо преследовавшей его центральной идее, равно как и его тогдашней непомерной переоценке самого себя, – начать войну против Советского Союза так скоро, как это только возможно. Переизбрание Ф. Д. Рузвельта президентом Соединенных Штатов, а также переговоры с Молотовым, по всей видимости, подстегнули принятие им этого решения; во всяком случае, уже на другой день после отъезда советского министра иностранных дел он сказал, что это «не останется даже браком по расчету», и дал поручение отыскать на востоке местность для ставки фюрера, а также для трех командных пунктов – на севере, в центре и на юге – и «построить их в самом спешном порядке» [424]. 17 декабря он изложил Йодлю свои оперативные соображения относительно этой кампании, завершив их замечанием, «что нам следовало бы в 1941 году решить все проблемы на европейском континенте, поскольку уже в 1942 году США будут в состоянии вмешаться» [425].

Решение напасть на Советский Союз еще до того, как решилась судьба войны на Западе, часто называют одним из «слепых», «загадочных» и «с трудом поддающихся логике» решений Гитлера, однако в нем было больше рациональности и в то же время отчаяния, чем это представляется на первый взгляд. Сам Гитлер укажет на все возникавшие отсюда проблемы, назвав приказ об этом нападении одним из тех многих «труднейших решений», которые ему приходилось принимать. Оглядываясь назад, он продиктует Мартину Борману в начале 1945 года в

бункере под рейхсканцелярией следующий текст:

«За время войны мне не приходилось принимать более трудного решения, чем о наступлении на Россию. Я всегда заявлял, что нам следует любой ценой избегать войны на два фронта, и, кроме того, никто не усомнится в том, что я больше, чем кто-либо другой, размышлял над судьбой Наполеона в России. Так почему же эта война с Россией, и почему мной был избран именно этот момент?

Мы потеряли надежду окончить войну успешным вторжением на английскую землю. Ибо эта страна, которой правили тупые вожди, не соглашалась допустить нашего господства в Европе и заключить с нами мир без победы, пока на континенте еще была держава, принципиально враждебно противостоявшая нашему рейху. Следовательно, война затягивалась на веки вечные и была чревата опасностью, что вслед за англичанами будет возрастать активное участие американцев. Значение американского потенциала, непрерывная гонка вооружений… близость английских берегов – все это говорило за то, что мы, если мы в своем уме, не можем допустить, чтобы нас втянули в затяжную войну. Ибо время – всякий раз это время! – будет все более неумолимо работать против нас. Чтобы побудить англичан сдаться, чтобы заставить их заключить мир, нужно было, следовательно, отнять у них надежду противопоставить нам на континенте противника нашего ранга, то есть Красную Армию. У нас не было выбора, это было для нас непреложной необходимостью – удалить русскую фигуру с европейской шахматной доски. Но тут была еще и вторая, столь же весомая причина, которой хватило бы и самой по себе: та колоссальная опасность, которую представляла для нас Россия уже самим фактом своего существования. Она стала бы нашей гибелью, если бы вздумала однажды напасть на нас.

Наш единственный шанс победить Россию состоял в том, чтобы упредить ее… Мы не имели права дать Красной Армии использовать преимущества на местности, предоставить ей в распоряжение наши автострады для продвижения ее моторизованных соединений, нашу сеть железных дорог для транспортировки людей и материалов. Мы могли разгромить ее только в ее собственной стране, взяв

инициативу действий в свои руки, в ее болотах и трясинах, но никак не на земле такого цивилизованного государства, как наше. Это дало бы ей трамплин для нападения на Европу.

Почему в 1941 году? Потому что никак нельзя было тянуть, тем более, что наши враги на Западе неуклонно наращивали свою боевую мощь. Кроме того, ведь и сам Сталин отнюдь не бездействовал. Следовательно, на обоих фронтах время работало против нас. Поэтому вопрос должен звучать не так: «Почему же уже 22 июня 1941 года?», а так: «Почему же не раньше?»… В течение последних недель мне не давала покоя мысль, что Сталин может меня опередить» [426].

Тем же, что сводило воедино соображения Гитлера летом и осенью 1940 года, была его тайная надежда изменить ход войны, затормозившийся и сбившийся не в то русло, с помощью внезапного, неожиданного маневра-выпада, что так часто удавалось ему в пору неудач в его жизни, и осуществить одновременно таким путем Великую завоевательную идею. В своей буйной фантазии он уже видел кампанию против России нечаянным и устранявшим, как по мановению волшебной палочки, все трудности переломом и предпосылкой для прорыва к мировому господству. Выступая 9 января 1941 года перед высшими чинами ОКВ и ОКХ, он скажет, что Германия «будет неуязвимой. Огромные пространства России таят в себе неисчислимые богатства. Германии следовало бы установить над этим пространствами свою политическую и экономическую власть, но не присоединять их к себе. Тем самым она получила бы все возможности, чтобы в будущем вести борьбу и с континентами, и тогда уже никто не был бы в силах ее победить» [427]. Быстрый крах Советского Союза, – представлял он себе, – подаст знак Японии для давно запланированной, но оттягивавшейся главным образом из-за советской угрозы в тылу «экспансии в южном направлении», которая, в свою очередь, привяжет США к тихоокеанскому региону и, следовательно, отвлечет их от Европы, так что Великобритании не останется ничего другого, как пойти на уступки. Путем широкомасштабного, тройного охвата – через Северную Африку, Переднюю Азию и Кавказ – он рассчитывает после завоевания России прорваться в Афганистан, чтобы оттуда поразить, наконец, самую сердцевину неуступчивой Британской импприи – Индию. До господства над миром, как ему казалось, было рукой подать.

Слабые стороны этой концепции были необозримы. До того

Гитлер всегда выдвигал в качестве предпосылки для наступления на Советский Союз безопасность на Западе и видел в избежании конфликта на два фронта прямо-таки своего рода основной закон немецкой внешней политики [428]; теперь же он пытается добиться этой безопасности путем нанесения превентивного удара, то есть пускается в авантюру войны на два фронта, дабы упредить войну на два фронта. И в той же мере, как переоцениваются им собственные силы, недооценивает он и силы противника. «Через три недели мы будем в Петербурге», – заявляет он в начале декабря и уверяет болгарского посланника Драганова, что советская армия – это «всего-навсего пустяк» [429]: но что проступает здесь особенно рельефно, так это снова его неспособность додумать мысль до конца в ее тесной связи с действительностью: всегда, как только были намечены первые шаги, он через какое-то время уже отрывался от реальной почвы и доводил свои соображения до конца не рационально, а как видения. Показательно в этом плане, насколько спустя рукава относится он к размышлению над тем, что же должно последовать после ожидаемой победы на Востоке. Это была та же ошибка, которую он допустил при нападении на Польшу, а затем во время французской кампании. Если бы даже ему удалось в ходе новой молниеносной кампании прорваться до наступления зимы к Москве или того дальше к Уралу, то ведь это, как он должен был бы сказать себе, еще не означало окончания войны, ибо за Москвой, за Уралом лежали огромные пространства, которые могли служить местом сбора и организации оставшихся сил. В любом случае, к той более или менее открытой границе, на которой он собирался остановиться, были бы прикованы столь крупные немецкие силы, что это неминуемо придало бы перспективу Англии и США и укрепило бы их волю на продолжение войны. Но Гитлер никогда не задумывался над такими конкретными возможностями – он упивался и довольствовался неясными формулами типа «крах» или «разгром». Когда фельдмаршал фон Бок, которого прочили на пост командующего группы армий «Центр», в начале февраля сказал, что хотя он и считает военную победу над Красной Армией возможной, но не представляет, «как можно принудить Советы к миру», Гитлер неопределенно ответил, что «после захвата Украины, Москвы и Ленинграда… Советам наверняка придется пойти на мировую» [430]. Эти слова выдают всю незавершенность его мыслей.

А между тем теперь он уже не желает слушать никаких возражений и вопреки всем аргументам и противодействиям неуклонно готовит нападение. В октябре 1940 года, в ночь его

встречи с Петеном, он получает письмо от Муссолини, где тот сообщает о своем намерении напасть на Грецию. Отчетливо представляя, какие осложнения принесет этот непредвиденный шаг немецкому флангу на Балканах, Гитлер вынужден изменить маршрут своего путешествия и отправиться на спешно организованную встречу во Флоренцию. В свою очередь Муссолини, желая отплатить немцам за многочисленные сюрпризы такого же рода, коими они его потчевали, а также за их многочисленные победы, всего за несколько часов до приезда Гитлера начинает, сломя голову, свою операцию. Но и необходимость послать в Грецию немецкие соединения, когда итальянский союзник, как и ожидалось, попал в затруднительное положение, не помешала Гитлеру продолжать планирование и развертывание войск для похода на Восток. Не изменил он своих планов и тогда, когда Муссолини попал в передрягу и в Албании, и даже когда в начале декабря 1940 года рухнул итальянский фронт в Северной Африке, – все эти неприятности принимаются им равнодушно, он отдает необходимые указания и направляет туда, где возникает угроза, все новые дивизии, даже на мгновение не отвлекаясь от своей главной цели. 28 февраля ему приходится, используя территорию своего союзника Румынии, упредить Советы в Болгарии, примерно месяц спустя он оккупирует Югославию, после того как группа офицеров-путчистов предприняла попытку вырвать свою страну из-под немецкого влияния, но, несмотря на все эти требовавшие все новых реакций события, он не выпускает из поля зрения кампанию против Советского Союза, а лишь откладывает ее на ставшие потом, правда, роковыми четыре недели. 17 апреля он принимает капитуляцию югославской армии, через шесть дней сдаются греки, так долго и успешно оказывавшие сопротивление солдатам Муссолини, а в это время отправленный в Северную Африку корпус под командованием генерала Роммеля за двенадцать дней отвоевывает всю потерянную итальянцами Киренаику. Вскоре вслед за тем, между 20 и 27 мая 1941 года, части немецких парашютистов захватывают остров Крит, и на какое-то мгновение даже покажется, что крах всей британской мощи в восточном Средиземноморье теперь уже неминуем. Редер и командование военно-морского флота все с большей настойчивостью требуют начать осенью 1941 года крупное наступление на английские позиции на Ближнем Востоке, которое «было бы для Британской империи более страшным ударом, нежели взятие Лондона»; и ставшие позднее известными суждения противника во многом подтвердили это предположение. Однако Гитлер опять не проявляет готовности расстаться со всепоглощающей идеей

экспансии на Востоке, и все старания части его окружения переубедить его оказываются безуспешными [431]. Не останавливает его и весьма обострившаяся ситуация на Западе, где все более ощутимо проявляет себя материальная мощь США, и где после поражения в воздушной войне грозит уже и поражение в подводной войне.

Не приходится сомневаться в том, что Гитлер видел и учитывал все многочисленные слабые места своей новой концепции войны: риск борьбы на два фронта, опыт Наполеона, связанный с непреодолимо глубокими пространствами, выход из игры итальянского союзника, а также распыление собственных сил, резко противоречившее самой идее блицкрига. Но то упорство, с которым он не хочет замечать все это, объяснялось не только и не столько его сконцентрированностью на центральной мысли – скорее, он сам все отчетливее сознавал, что то начинающееся лето 1941 года давало ему последний шанс для осуществления его идеи. Он был, как он сам потом скажет, в ситуации человека, у которого остался в ружье только один патрон [432], и особенность тут заключалась в том, что эффективность заряда как бы неуклонно снижалась. Ибо войну, как он знал, нельзя было выиграть, если бы она приняла характер битвы ресурсов и борьбы на истощение, что поставило бы Германию во все возрастающую зависимость от Советского Союза, а в конечном итоге все кончилось бы все равно гегемонией Соединенных Штатов. Можно полагать, что где-то в глубине его мысли о нападении на СССР еще тлела, неотчетливо и расплывчато, надежда на то, чтобы ударом по Советскому Союзу вернуть себе нейтралитет консервативных держав, чье содействие он имел, да упустил, но вот теперь, мол, вновь осознал в качестве противника их общего врага. Во всяком случае, именно эта надежда побудила его старого обожателя Рудольфа Гесса 10 мая 1941 года на свой страх и риск вылететь в Англию, чтобы положить конец этой «перевернутой войне». Но встреченное им там отсутствие интереса к его миссии отчетливо показало, что и этот шанс упущен, и у Гитлера действительно нет выбора. Его решение начать войну на Востоке именно в этот момент походило на акт отчаяния – это был единственный путь, оставшийся для него еще открытым, но этот путь вел к гибели.

Насколько ясно представлял себе Гитлер эту дилемму, свидетельствуют его многочисленные высказывания начиная с осени 1940 года. Его беседы с дипломатами, генералами, политиками, помимо их значимости как таковых, являются документом процесса непрерывного самоубеждения. Недооценка и умаление силы противника играли при этом такую же важную

роль, как и изображение его страшным чудовищем; с одной стороны, Советский Союз был «глиняным колоссом без головы», а с другой – «большевизированной пустыней», «просто ужасным», «мощным натиском народов и идей, угрожающим всей Европе», и заключенный когда-то договор стал ощущаться теперь «очень болезненно» [433]. А потом он снова уговаривал себя, что это не война на два фронта: «Теперь есть возможность, – заявил он перед генералитетом 30 марта 1941 года, – нанести удар по России, имея позади свободный тыл. Снова такая возможность так скоро не предоставится. С моей стороны было бы преступлением перед будущим немецкого народа, если бы я не ухватился за нее!» Откровенное отсутствие поддержки со стороны общественности, приветствовавшей «ревизионистские» кампании начального этапа объединения всех немцев, а в итоге и французскую кампанию, его не смущало, он не разделял озабоченности одного агентурного донесения о настроениях тем фактом, что «частично обозначившаяся в пропаганде грядущая роль Германии как ведущего государства Европы и непосредственное присоединение восточных территорий… пока еще едва ли доступны большей части народа» [434].

Его заклинания подкреплял становящийся все более нетерпеливым дух уверенности в том, что все принимаемые им решения одобрены и узаконены Провидением, и это усиливающееся стремление иррационально обосновать собственные намерения наиболее наглядным образом отражало то состояние обеспокоенности, в котором он находился. Нередко акты магического самоуспокоения представляли собой непосредственные вкрапления в сугубо деловые разговоры. Например, в марте 1941 года в беседе с одним венгерским дипломатом, он после сравнения уровня вооружений Германии и Соединенных Штатов, заявил: «Осмысливая свои способы действия и предложения в прошлом, он приходит к убежденности, что все это так сотворено Провидением; ибо то, к чему он изначально стремился, было бы, если бы он достигал этого мирным путем, всякий раз только половинчатым решением, которое вызвало бы со временем новую борьбу. У него лишь одно особое пожелание – чтобы улучшить наши отношения с Турцией» [435].

Начиная с лета 1940 года между Германией и Советским Союзом наблюдается целый ряд дипломатических неурядиц, которые не в последнюю очередь следует объяснить решительными попытками Москвы защитить собственное предполье от возросшей до внушавших большие опасения

размеров мощи рейха; Москва делает это путем аннексии прибалтийских государств и части Румынии, а также упорно сопротивляясь расширению немецкого влияния на Балканах. Правда, британский посол в Москве сэр Стаффорд Криппс полагал весной 1941 года, что Советский Союз будет, «с абсолютной твердостью», противодействовать всем стараниям втянуть его в войну с Германией, даже если Гитлер сам решится напасть на СССР, но он опасается, что Гитлер не преподнесет своим врагам такого подарка [436].

И все же он его преподнес. Несмотря на весь напор фатальных обстоятельств, решение Гитлера напасть на Советский Союз еще раз показало сущность его поведения, когда надо было на что-то решаться: оно явилось последним и наиболее рельефным из тех его самоубийственных решений, что были характерны для него с самых ранних лет и разоблачали его обыкновение в ситуациях отчаяния еще раз удваивать и без того завышенную ставку. Интересно однако, что его расчеты все равно оборачивались в итоге негативной стороной: если он проигрывал кампанию против Советского Союза, то в результате проигрывал и всю войну, но если даже он и одерживал победу на Востоке, то это еще отнюдь не означало, что выиграна и вся война в целом, как бы ни старался он убеждать себя в обратном.

В решении Гитлера напасть на СССР еще в одном отношении проявилась некая характерная для него последовательность. Московский договор был заключен еще на том «политическом» этапе его жизни, который за это время остался у него позади. Этот договор представлял собой продиктованную тактическими соображениями измену его собственным идейным принципам и, следовательно, стал анахронизмом. «Честным этот пакт никогда не был, – сказал он одному из своих адъютантов, – потому что слишком глубока пропасть между мировоззрениями»[437]. Теперь же на передний план вышла честность в смысле приверженности радикализму.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года, чуть позже трех часов, Муссолини был разбужен – поступило послание Гитлера. «По ночам я даже своих слуг не тревожу, но эти немцы просто безжалостно заставляют меня вскакивать с кровати», – недовольно пожаловался он [438]. Письмо начиналось с фразы о «месяцах тревожных раздумий» и информировало далее Муссолини о предстоящем наступлении. «Я чувствую себя, – заверял Гитлер в этом документе, неизменно и энергично возвращаясь в нем то и дело к собственной персоне, – с тех пор как заставил себя принять это решение, снова внутренне свободным. При всей искренности стремления добиться

окончательной разрядки, сотрудничество с Советским Союзом все же часто сильно обременяло меня; ибо в чем-то оно казалось мне разрывом со всем моим происхождением, моими взглядами и моими прежними обязательствами. Я счастлив, что избавился от этих душевных мук.» [439]

В этом чувстве облегчения проскальзывала все же нотка озабоченности. Правда, ближайшее окружение Гитлера, особенно высшее военное командование, было настроено чрезвычайно оптимистично. «Для немецкого солдата нет невозможного», – такими словами заканчивалась сводка вермахта от 11 июня 1941 года, где подводились итоги боевых действий на Балканах и в Северной Африке. Только вот сам Гитлер, как сообщают очевидцы, казался подавленным и обеспокоенным. Но он был не тем человеком, который отказался бы от мечты своей жизни, когда от нее его отделяла лишь кампания продолжительностью всего в несколько недель, – и тогда будет завоевано огромное пространство на Востоке, покорится Англия и пойдет на уступки Америка, и его станет славить весь мир. Риск только повышал притягательность цели. Когда в ночь перед нападением вокруг него царило деловое предпоходное настроение, он сказал: «У меня такое чувство, словно я распахиваю дверь в темное, никогда не виденное мной помещение и не знаю, что находится за этой дверью» [440]

Глава II
«ТРЕТЬЯ» МИРОВАЯ ВОЙНА

Когда поднимется «Барбаросса»,
мир затаи, т дыхание и замрет.

Адольф Гитлер

Двойственный характер войны. – Приказ о комиссарах и «айнзатц-группы». – Уверенность в победе. – На пределе сил. – Москва или Украина? – Зимняя катастрофа. – Контрнаступление Красной Армии. – План войны рушится. – «Пи слезинки немецкому народу». – Перл-Харбор. – Объявление войны Соединенным Штатам Америки. – «Европейская солидарность». – Новые наступления. – Раздоры с генералитетом. – Переломный момент войны. – Концепция как выстоять. – Сталинград. – Концепция гибели.

153 дивизии, 600 000 моторизованных единиц, 3580 танков, 7184 орудие и 2740 самолетов – с такими силами Гитлер на рассвете 22 июня 1941 года, около трех часов пятнадцати минут, начал наступление на Советский Союз. Это была самая огромная сосредоточенная на одном театре военных действий вооруженная мощь, которую когда-либо знала история. Наряду с немецкими соединениями стояли двенадцать дивизий и десять бригад Румынии, восемнадцать финских дивизий, три венгерские бригады и две с половиной словацкие бригады, позднее к ним присоединились три итальянские дивизии и испанская «Голубая дивизия». По примеру большинства предыдущих кампаний нападение последовало без объявления войны, и опять оно было начато внезапным массированным налетом люфтваффе, одним ударом уничтожившим половину из почти десяти тысяч самолетов Советской России[441]; как это уже имело место в Польше и на Западе, наступающие войска всей мощью своих массированных танковых формирований глубоко вклинились во вражескую территорию и, быстрыми операциями взяв противника в клещи и загнав в «котлы», громили его там. В предыдущие годы Гитлер не раз заверял, что он не планирует «похода аргонавтов» в Россию или чего-то в этом роде [442], и вот теперь он двинулся в такой поход.

За военными соединениями следовали, как вторая волна,

специальные подразделения, «айнзацгруппы», перед которыми Гитлер еще 3 марта поставил задание истреблять «еврейско-большевистскую интеллигенцию» по возможности уже в районе операций [443]. Эти спецкоманды и придали войне с самого начала беспримерный, не имеющий аналогов характер, и если в стратегическом плане эта кампания и была тесно связана с войной в целом, то по своей сути и морали она представляла собой нечто совершенно новое – она была как бы третьей мировой войной.

В любом случае она не соответствовала понятию «нормальной европейской войны», правилами которой определялось до сих пор все противоборство, хотя уже в Польше проявились признаки новой, более радикальной практики. И как раз тот опыт сопротивления войсковых командиров режиму террора СС в оккупированных польских областях побуждает теперь Гитлера взяться за имевшую идеологическую окраску борьбу на уничтожение уже в оперативной зоне. Ибо это была – после стольких осложнений, окольных путей и перевернутых фронтов – его война, и в ней он не допускает никаких компромиссов. Он ведет ее безжалостно, одержимо, все больше пренебрегая всеми другими театрами боевых действий. Он не принимает во внимание никаких тактических соображений и отказывается, в частности, от того, чтобы При помощи каких-то привлекательных лозунгов об освобождении добиться сперва военной победы, а потом уже начинать дело порабощения и уничтожения; более того, теперь он ищет только окончательных решений – и это тоже было симптомом его решительного отказа от политического пути. 30 марта 1941 года он созвал в рейхсканцелярии в Берлине примерно двести пятьдесят высших офицеров всех родов войск и объяснил им в своей длившейся два с половиной часа речи новый характер предстоящей войны. Дневник Гальдера зафиксировал следующие положения этой речи:

> «Наши задачи в отношении России: вооруженные силы разгромить, государство ликвидировать… Борьба двух мировоззрений. Уничтожающая оценка большевизма: это все равно что антиобщественное преступление. Коммунизм – чудовищная опасность для будущего. Нам не следует придерживаться тут законов солдатского товарищества. Коммунист не был товарищем и не будет Речь идет о борьбе на уничтожение.
>
> Нужно бороться с ядом разложения. Это не вопрос

военных судов. Войсковые начальники должны знать, о чем тут идет речь. Они обязаны руководить этой борьбой… Комиссары и люди из ГПУ – это преступники, так с ними и следует обращаться… Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке же жесткость – это благо для будущего.

От командиров требуется жертва – преодолевать все сомнения» [444].

И хотя никто из присутствовавших не возразил этому призыву к сообщничеству, Гитлер все же не доверял своим связанным традиционными сословными нормами генералам и потому не довольствовался одними лишь призывами быть жестокими. В куда большей степени все его устремления нацеливаются на то, чтобы не было водораздела между ведением войны в привычном смысле и действиями «зондеркоманд», и чтобы все элементы соединились в общую картину единой войны на уничтожение, делающей всех ее участников уголовными преступниками. Серией подготовительных директив из ведения вермахта изымается административное управление тылами, оно передается специально назначаемым рейхскомиссарам, одновременно рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру поручается организовать силами четырех спецгрупп из состава полиции безопасности и СД общей численностью в три тысячи человек выполнение в районе операций «специальных задач», «вытекающих из борьбы двух противоположных политических систем, которая будет вестись до полной победы». На совещании в Прецше в мае 1941 года Гейдрих устно довел до командиров этих групп приказ об уничтожении всех евреев, всех «неполноценных азиатов», всех коммунистических функционеров и цыган [445]. Подписанный в это же время «указ фюрера» фактически освобождал военнослужащих вермахта от преследования за уголовные деяния в отношении советских гражданских лиц, другое распоряжение, так называемый «приказ о комиссарах» от 6 июня 1941 года, предусматривал, что все политкомиссары Красной Армии, поскольку они являются «зачинщиками по-варварски азиатских методов борьбы, в случае их захвата на поле боя или при сопротивлении немедленно и безоговорочно уничтожаются с помощью оружия», и, наконец, «руководящие указания» ОКВ, доведенные до сведения более чем трех миллионов солдат восточной армии непосредственно перед началом нападения, требовали принятия «беспощадных и энергичных мер против большевистских подстрекателей, партизан, саботажников, евреев и полного искоренения любого

активного и пассивного сопротивления» [446]. Эти меры дополнялись шумной кампанией против «славянских недочеловеков», которая воскрешала картины «монгольского нашествия» и называла большевизм современным выражением вызванного к жизни еще Аттилой и Чингисханом азиатского стремления к разрушению.

Все эти элементы придавали войне на Востоке необычайный, двойственный характер. С одной стороны, это была мировоззренческая война против коммунизма, и само наступление несло на себе в какой-то степени черты крестового похода; с другой же – она была, конечно, не в меньшей мере и колониальной захватнической войной в стиле XIX века, правда, войной, направленной против одной из традиционных европейских великих держав и руководствовавшейся целью уничтожить эту державу. Идеологические обоснования, коими определялась главным образом внешняя пропагандистская шумиха, были дезавуированы самим Гитлером, который в середине июля в самом узком кругу руководства раздраженно отверг формулу о «войне Европы против большевизма» и пояснил: «В принципе, таким образом, речь идет о том, чтобы умело разрезать на куски этот гигантский пирог, дабы мы, во-первых, могли его покорить, во-вторых, им управлять и, в-третьих, его эксплуатировать». Однако замыслы насчет аннексии обнародовать пока не следует. «Все необходимые меры – расстрелы, выселения и т. п. – мы, несмотря на это, проводим и сможем, несмотря на это, проводить» [447]

В то время как вермахт неудержимо продвигался вперед, чуть ли не за две недели вышел к Днепру, а неделю спустя был уже под Смоленском, «айнзацгруппы» устанавливали на захваченных территориях свой порядок террора, прочесывали города и села, сгоняли вместе евреев, партработников, интеллигенцию и вообще всех, кто потенциально мог относиться к руководящим слоям общества, и уничтожали их. Отто Олендорф, командир одной такой группы, в своих показаниях на Нюрнбергском процессе расскажет, что его подразделение только за первый год ликвидировало около девяноста тысяч мужчин, женщин и детей; по осторожным оценкам, за тот же период были убиты – правда, речь тут идет об особенно пострадавшем еврейском населении Западной России – примерно полмиллиона человек [448]. А Гитлер безжалостно наращивал акции по истреблению. В его высказываниях этого периода, помимо всех устремлений к захвату и эксплуатации, то и дело проглядывает с в конечном счете заставляющей вспомнить о его молодых годах радикальностью его глубоко идеологический эффект ненависти:

«Евреи – исчадие человечества, – заявил он 21 июля хорватскому министру иностранных дел Славко Кватернику, – если бы евреям была открыта такая зеленая улица, как в советском раю, то они осуществили бы самые безумные планы. Так Россия стала бы очагом чумы для человечества… Если даже всего одно государство по каким-то причинам будет терпеть одну еврейскую семью, то она станет очагом бацилл для нового разложения. Если бы больше не было евреев в Европе, то уже ничто не мешало бы единству европейских государств» [449].

Несмотря на свое быстрое продвижение немецкие войска смогли прибегнуть к тем гигантским операциям по окружению, что составляли оперативный план похода на Россию, первоначально только на центральном участке [450]; на остальных же фронтах им удавалось лишь более или менее успешно заставлять основную массу противника отступать; впереди нас нет врага, а позади нас нет тыла – такой формулой выражалась вся особенность проблематики этой кампании. Но как бы то ни было, к 11 июля в немецких руках было около шестисот тысяч советских военнопленных, в том числе свыше семидесяти тысяч перебежчиков, и как Гитлер, так и командование сухопутных сил полагали, что крах Красной Армии близок. Уже 3 июля Гальдер записывает в своем дневнике: «Пожалуй, я не преувеличу, если скажу, что кампания против России выиграна за четырнадцать дней», и только упорное, обусловленное большим пространством сопротивление, считает он, отнимет у немецких сил еще много недель. Сам Гитлер скажет несколько дней спустя, что «он не думает, что сопротивление в европейской части России продлится более шести недель. Куда потом отправятся русские, он не знает. Может быть, к Уралу или за Урал. Но мы будем их преследовать, и он, фюрер, не остановится перед тем, чтобы прорваться через Урал… Он будет преследовать Сталина, куда бы тот ни бежал… Он не думает, что ему придется продолжать бои до середины сентября: за шесть недель он как-нибудь справится» [451]. С середины июля главный упор в программе производства вооружений делается уже на подводные лодки и авиацию, а при планировании учитывается ожидаемое через четырнадцать дней возвращение немецких дивизий. Когда последний немецкий военный атташе в Москве генерал Кестринг был с докладом в ставке фюрера, Гитлер подвел его к карте операций, очертил движением руки захваченные территории и заявил: «Отсюда меня теперь никакая свинья не выгонит» [452].

Такому рецидиву неприкрытой вульгарности ранних лет соответствовало и удовлетворение, которое Гитлер явно

испытывал при сообщениях о жестоких сражениях. Испанскому послу Эспиносе он говорил, что бои на Востоке – это сплошная «человеческая бойня», иногда противник предпринимает глубоко эшелонированные атаки в двенадцать-тринадцать порядков, и все они успешно отбиваются, «людей косят ряд за рядом»; русские солдаты «кто в состоянии летаргии, а кто вздыхает и стонет. Комиссары – это дьяволы, (и) … их всех расстреливают» [453]. Одновременно его охватывают продолжительные человеконенавистнические фантазии. Он планирует удушить Москву и Ленинград голодом, что вызовет «народную катастрофу», которая лишит центров не только большевизм, но и всю Московию». Затем он решает сравнять оба эти города с землей и на том месте, где когда-то стояла Москва, устроить гигантское водохранилище, чтобы истребить всю память об этом городе и о том, чем он был. Он предусмотрительно отдает приказ отклонять все ожидаемые предложения о капитуляции и так объясняет его в своем кругу: «Наверное, какие-то люди схватятся обеими руками за голову и спросят: Как мог фюрер разрушить такой город как Санкт-Петербург? По своей сути я ведь отношусь к иному виду. Мне было бы приятней не причинять никому зла. Но если я вижу, что биологический вид в опасности, то меня покидает чувство холодной рассудочности» [454]

В течение августа, после прорыва «линии Сталина», немецким войскам все же удается провести крупные операции по окружению на всех участках фронта, но в то же время становится очевидным, что оптимистические ожидания предыдущего месяца были обманчивыми: как ни велико было количество пленных, масса вводимых все вновь и вновь со стороны противника резервов оказывалась еще больше. К тому же он оборонялся куда более ожесточенно, нежели польская армия или войска западных держав, и его воля к сопротивлению, поколебленная начальными кризисами, намного возросла, когда он осознал уничтожающий характер ведущейся Гитлером войны. Износ матчасти в пыли и грязи русских равнин тоже оказался выше, чем ожидалось, и каждая победа затягивала преследователя все глубже в бескрайнее пространство. Помимо всего, обнаружилось, что немецкая военная машина впервые дошла до предела своих возможностей. Промышленность, например, производила вместо шестисот танков в месяц только около трети требуемого количества, пехота в условиях кампании, превзошедшей все предыдущие представления о расстояниях, оказалась недостаточно моторизованной, авиация не справилась с войной на два фронта, а запасы горючего, сократились до уровня месячной потребности в нем. Ввиду всех этих обстоятельств

решающее значение приобрел вопрос, на каком участке фронта могут быть наиболее эффективно введены оставшиеся резервы для нанесения удара, который решил бы судьбу войны.

Главное командование сухопутных войск и командование группы армий «Центр» единодушно потребовали перейти в концентрическое наступление на Москву Как они ожидали, противник выставит для решающего сражения у ворот своей столицы все имеющиеся в его распоряжении силы и тем самым вовремя будет завершена эта кампания и обеспечен триумф идеи блицкрига. Гитлер, напротив, требовал наступления на севере, чтобы отрезать Советы от выхода к Балтийскому морю, а также настаивал на широкомасштабном продвижении на юге с целью захвата сельскохозяйственных и промышленных областей Украины и путей подвоза нефти с Кавказа: в этом плане прямо-таки показательным образом смешались и его заносчивость, и его стесненное положение, ибо Гитлер, создавая видимость человека, столь уверенного в своей победе, что может игнорировать столицу, на самом деле пытался предупредить становящееся ощутимым перенапряжение экономики. «Мои генералы ничего не понимают в военной экономике», – не раз повторял он. Это упорное противоборство, вновь выявившее шаткие отношения между Гитлером и генералитетом, завершилось в конечном итоге директивой, которая содержала приказ группе армий «Центр» передать свои моторизованные соединения группам армий на севере и юге. «Невыносимо», «неслыханно», – записал Гальдер в дневник и предложил фон Браухичу вместе подать в отставку, однако командующий это предложение отклонил [455].

Большая победа в битве за Киев, принесшая немецкой стороне около 665 000 пленных и огромное количество трофеев, казалось, вновь подтвердила военный гений Гитлера, тем более, что этот успех устранил одновременно и фланговую угрозу для центрального участка фронта, да и вообще только сейчас, благодаря этой победе, открывалась свободная дорога на Москву. И, действительно, теперь Гитлер согласился с наступлением на советскую столицу; однако, будучи ослеплен непрекращающейся чередой своих триумфов и избалован воинским счастьем, он полагал, что сможет одновременно добиваться и далеко идущих целей на севере и в первую очередь на юге. Этими целями было – перерезать железную дорогу на Мурманск, захватить город Ростов и майкопские месторождения нефти и прорваться к находящемуся на расстоянии более шестисот километров Сталинграду. Он словно позабыл о своем старом главном правиле – всякий раз концентрировать все силы на одном участке и разводил войска все дальше друг от друга. Наконец, с задержкой

почти на два месяца, 2 октября 1941 года фельдмаршал фон Бок начал наступление на Москву. На следующий день, в своей речи в берлинском Дворце спорта, которая была уникальным документом заурядного хвастовства, Гитлер, обругав противников «демократическими нулями», «олухами», «зверями и бестиями», объявил, «что этот противник уже сломлен и никогда больше не поднимется» [456].

Четыре дня спустя зарядили осенние дожди. Правда, два крупных «котла» под Вязьмой и Брянском, устроенных немецкими войсками превосходящим силам противника, еще давали им возможность успешного наступления на Москву, но затем все более глубокая грязь сковала все операции, снабжение стало функционировать с перебоями, и все больше машин и орудий застревало в грязи. Только когда в середине ноября ударил легкий морозец, застрявшее наступление возобновилось. Танковые соединения, предназначенные для охвата Москвы с северного направления, приблизились, наконец, под Красной Поляной к советской столице на расстояние тридцати километров, а части, наступавшие с запада, были уже в пятидесяти километрах от центра города. Вот тут-то и грянула русская зима, когда термометр опускался до тридцати, а иногда и до пятидесяти градусов.[457]

Немецкие войска встретили такое резкое похолодание полностью неподготовленными. Будучи уверенным, что кампания не продлится дольше трех-четырех месяцев, Гитлер применил один из характерных для его решений приемов – опять уперся спиной в стену и не подготовил для армии зимнего оснащения: «Потому что зимней кампании не будет», – наставлял он генерала Паулюса, когда тот предложил принять предупредительные меры на случай зимы [458]. На фронте тысячи солдат гибли от холода, машины и автоматическое оружие отказывали, в лазаретах замерзали раненые, и вскоре потери от холодов превысили потери в боях. «Здесь началась паника», – докладывал Гудериан, а в конце ноября он сообщил, что его войска «дошли до ручки». Несколько дней спустя находившиеся у самой Москвы соединения предприняли при тридцати градусах мороза последнюю попытку прорвать линии русских, несколько частей прорвались к пригородам столицы, в полевые бинокли были уже видны башни Кремля и то, что творилось на улицах. И тут наступление захлебнулось.

И совершенно неожиданно началось советское контрнаступление силами прибывших отборных сибирских дивизий, которое отбросило немецкие войска с тяжелыми потерями от города. На протяжении нескольких дней фронт,

казалось, колебался и разрушался в русском снегу. Все призывы генералитета избежать катастрофы путем тактического отходного маневра Гитлер непоколебимо отвергал. Он боялся потери оружия и снаряжения, боялся необозримых психологических последствий, которые неминуемо повлекли бы за собой разрушение нимба его личной непобедимости, короче говоря, боялся той картины разгромленного Наполеона, что так часто была ранее предметом его презрения [459]. 16 декабря он приказом потребовал от каждого солдата «фанатичного сопротивления» на каждой позиции, «невзирая на прорыв противника с фланга и тыла». Когда Гудериан высказал мнение о бессмысленных жертвах, которые вызовет этот приказ, Гитлер ответил ему вопросом: не думает ли генерал, что гренадеры Фридриха Великого умирали с охотой? «Вы стоите слишком близко к событиям, – упрекнул он его, – вы чересчур сочувствуете солдатам. Вам следовало бы быть на дистанции.» До сего дня распространено убеждение, будто бы «приказ выстоять» под Москвой и ожесточенная воля Гитлера к сопротивлению стабилизировали трещавший по швам фронт, однако материальные потери войск, отказ от выигрыша пространства, а также от более коротких путей снабжения вновь свели на нет все мыслимые выгоды [460]. Кроме того, это решение указывало и на все рельефнее проступавшую неспособность Гитлера к гибкому применению своей воли. Процесс самомонументализации, которому он так много лет подчинял себя, явно сказался теперь на его внутренней сути и придал ей свойство патетической неподвижности памятника. И какие бы решения ни принял он перед лицом кризиса, неоспоримым было, что у ворот советской столицы потерпел крах не только ориентированный на блицкриг план «Барбаросса», но и весь его план войны в целом.

Если не обманывает впечатление, осознание этого, как и при всех других серьезных, отрезвляющих ударах в его жизни, явилось для него тягчайшим шоком. Это был первый тяжелый провал после почти двадцати лет неизменных успехов, политических и военных триумфов. И в отчаянно отстаивавшемся им вопреки всем противоположным мнениям решении любой ценой удерживать позиции под Москвой было что-то от заклинания этого переломного момента, ибо он сам слишком хорошо сознавал, что его чересчур азартная игра с первым поражением потерпит фиаско по всем статьям. Во всяком случае, уже в середине ноября он казался преисполненным пессимистических предчувствий, когда, словно цепляясь за воздух, говорил в узком кругу об идее «мира путем переговоров» и в очередной раз выражал смутные надежды на влиятельные консервативные круги

Англии [461], словно полностью забыв, что давно стал неверен тайне своих побед и что никогда уже больше не будет в состоянии свалить одного эпохального противника с помощью другого. Десять дней спустя, когда наступила катастрофа с холодами, он, кажется, впервые понял, что ему грозит нечто большее, нежели просто неудача. Генерал-полковник Йодль скажет во время одного обсуждения положения на фронте уже в конце войны, что ему, как и Гитлеру, на том этапе, когда разразилась катастрофа русской зимы, стало ясно, что «добиться победы уже не удастся» [462]. 27 ноября генерал-квартирмейстер Вагнер сделал в ставке фюрера доклад о ситуации, вывод из которого Гальдер сформулировал в следующем предложении: «Мы на пределе наших людских и материальных сил». А вечером того же дня, находясь в угрюмом, мизантропическом настроении, какое так часто наблюдалось у него в кризисных ситуациях жизни, Гитлер скажет одному иноземному визитеру: «Если немецкий народ когда-нибудь будет недостаточно сильным и жертвенным, чтобы платить кровью за свое собственное существование, то ему придется исчезнуть и быть уничтоженным другой, более сильной державой». Во втором разговоре – в тот же вечер и снова с зарубежным гостем – он к той же мысли добавил еще такое замечание: «Он бы тогда по немецкому народу и слезинки не проронил»[463]

Осознанием, что план войны в общем провалился, было продиктовано и решение Гитлера 11 декабря объявить Соединенным Штатам войну, которой он долго опасался. За четыре дня до того 350 японских бомбардировщиков подвергли мощному бомбовому удару американский флот в Перл-Харборе и аэродромы в Оаху и этим неожиданным нападением начали войну на Дальнем Востоке. В Берлине посол Осима настаивает на немедленном вступлении рейха в войну на стороне Японии; и хотя Гитлер все время торопил своего дальневосточного союзника с наступлением на Советский Союз или на владения Британской империи в Юго-Восточной Азии, но, во всяком случае, давал понять, насколько несвоевременной была бы для Германии война с США, он моментально поддался японским настояниям. Он даже не поставил в вину японцам, что те скрывали от него свои планы, – в принципе, он позволял такое только себе, – и без раздумий отклонил доводы Риббентропа насчет того, что, мол, Германия, если исходить из буквы Тройственного пакта, вовсе не обязана выступать на стороне союзника. Скандальный характер самого акта неожиданного нападения, которым начала это противоборство Япония, глубоко подействовал на него, он уже

был готов к тому времени вдохновляться подобными эффектами: «У него стало радостно на сердце, когда он услышал о первых операциях японцев», – так сказал он Осиме [464]. Но еще больше повлияло на решение объявить войну США понимание им того, что вся стратегическая концепция потерпела фиаско.

В его распоряжении оставались только две одинаково фатальные альтернативы. Он должен был до того либо быть готовым к примирению между Японией и США, что снимало бы с американского президента беспокойство за тихоокеанские тылы и тем самым делало бы возможным активное выступление против Германии, к чему Рузвельт с его политикой ведения войны «на грани войны» (short of war) энергично вел дело уже в течение продолжительного времени, либо между Японией и Соединенными Штатами возникал конфликт, в результате чего дальневосточный партнер по союзу явно становился бы неспособным включиться в войну против Советского Союза на стороне рейха. Естественно, Гитлер предпочитал вторую альтернативу, даже если она ранее нежели первая втягивала его в открытое противоборство с США. Ведь конфликт был в любом случае неизбежен, говорил он, вероятно, самому себе, но коль скоро он неизбежен, то его незамедлительное начало, так или иначе, давало некоторые выгоды: оно не только облегчало ведение немцами войны на море, поскольку им до этого приходилось мириться со всеми провокациями с американской стороны, – еще более важным было и то, что эффектные в психологическом плане успехи японцев последовали в нужный момент, ибо необходимо было как-то замаскировать кризис в России; и, наконец, при принятии Гитлером этого решения сыграли свою роль и его упрямство, и лопнувшее терпение, а также огорчение из-за того, что война пошла не тем путем, что она, вопреки всем планам, не стала серией молниеносных побед и, следовательно, требовала напряжения сил для судьбоносной борьбы в масштабах всего земного шара, чтобы не обернуться тем, в чем не было ни смысла, ни эффекта, ни шанса, – войной ресурсов, войной на истощение, где решающими для исхода являются большие запасы сырья, индексы производства и численность населения.

Однако все эти аргументы обладали лишь небольшой убедительной силой и не могли скрыть того факта, что Гитлер шел на это противоборство, не имея большого стимула. Каким же слабым, думал он, обращаясь мыслями к прошлому, стал фундамент! Менее чем за два года он проиграл доминирующую, гарантируемую силой внушения политическую позицию и заставил самые могучие державы мира, вопреки всей их прежней

смертельной вражде друг к другу, объединиться в какой-то «неестественный союз». Решение начать войну с Соединенными Штатами было еще более несвободным, еще более вынужденным нежели решение о нападении на Советский Союз и являлось, собственно говоря, уже не актом решимости, а жестом, продиктованным сознанием внезапно наступившего бессилия. Это была последняя значительная инициатива Гитлера, после нее таковых уже не будет.

Участие США в войне сразу же сказалось в упорядочении и одновременном расширении всех действий союзников. Уинстон Черчилль в своем выступлении по радио в день немецкого нападения на Советский Союз заявил, что он не отказывается ни от одного из своих слов, сказанных им на протяжении двадцати пяти лет в адрес коммунизма, но перед лицом той драмы, что начинает разыгрываться на Востоке, меркнет «прошлое с его преступлениями, его безумиями и трагедиями» [Цит. по: Gruchmann L. Der Zweite Weltkrieg, S.

141.]. Однако, если в целом он все же, казалось, сохранял в себе чувство той дистанции, которая отделяла его от нового партнера по союзу, то американский президент Рузвельт на деле демонстрировал тут непоколебимую моральную решимость в той мере, как этого требовали и момент, и противник.» Еще за некоторое время до вступления в войну он включил в программу материальной поддержки со стороны США наряду с Великобританией и Советский Союз, теперь же он мобилизовал весь потенциал страны. В течение одного года производство танков увеличилось до 24 000, самолетов – до 48 000, к 1943 году он дважды удваивает численный состав американской армии, доведя его в общей сложности до семи миллионов человек, и уже к концу первого военного года поднимает военное производство США на уровень трех держав «оси», вместе взятых; к 1944 году он удваивает его еще раз [Статистические данные о производстве вооружений в США см.: Jacobsen H.-A. 1939-1945, S. 561 ff.].

По американской инициативе союзники начали теперь согласовывать свою стратегию друг с другом. В противоположность державам Тройственного пакта, так и не сумевшим наладить единое военное планирование, незамедлительно организованные комиссии и штабы западных союзников на регулярно проводившихся более чем 200 совещаниях координировали совместные шаги. Им способствовало то обстоятельство, что руководствовались они согласованным, поддававшимся определению намерением, а именно – разгромить врага, тогда как Германия, Италия и Япония, всяк сам по себе, преследовали чрезвычайно туманные и

одновременно чрезмерные цели в различных регионах мира. Этот ненасытный территориальный аппетит трех всемирно-политических «голодранцев», столь же восхищенных собственным динамизмом, сколь им же и подталкиваемых, прокомментировал в конце августа 1941 года Муссолини, когда он вместе с Гитлером осматривал развалины Брестской крепости, и когда немецкий диктатор стал буйно фантазировать, захваченный одним из своих планов передела мира, воспользовавшись паузой в его излияниях, Муссолини, как рассказывают, с ироничным простодушием бросил, что в итоге для их жажды покорять не останется «уже ничего, кроме Луны» [465].

Эта встреча, кстати, была задумана в первую очередь как демонстрация противовеса эскизно очерчивавшемуся альянсу противной стороны. Ведь примерно за две недели до этого Рузвельт и Черчилль сформулировали в результате встречи у побережья острова Ньюфаундленд в так называемой Атлантической хартии свои военные цели, которым партнеры по «оси» противопоставляли теперь провозглашаемые Гитлером лозунги о «новом порядке в Европе» и о «европейской солидарности». Ссылаясь на лозунг «крестового похода всей Европы против большевизма», они стремились оживить тот самый интернационализм, который в качестве никогда не продумывавшегося до конца внутреннего противоречия был присущ всем фашистским движениям. Но вскоре и здесь опять проявились последствия практиковавшегося Гитлером отказа от политики. Как будто это и не он являлся тем, кто всеми своими крупнейшими успехами был обязан принципу двойной тактической игры, тому неуклонно комбинировавшемуся из запугивания и обещаний заигрыванию, а вот тут для европейских народов у него не нашлось ничего, кроме примитивных отношений господства и подчинения: «Когда я покоряю свободную страну, только чтобы вернуть ей свободу, то к чему это? – задаст он такой вопрос в начале 1942 года. – Тот, кто пролил кровь, имеет право осуществлять свое господство», и ему просто смешно, когда «великие болтуны думают, что содружество создается словами… Содружество создается и сохраняется как раз только силой» [466] Даже и потом, уже под гнетом продолжающихся поражений, он будет отвергать все предложения, исходившие от его собственного окружения об оживлении тупой, охватившей Европу схемы подчинения идеями партнерства. В конце концов он заявит, что его охватывает «бешенство», когда ему все время напоминают о какой-то чести этих маленьких «дерьмовых государств», которые и существуют-то только потому, что «пара европейских держав не сумели

договориться, кто их сожрет» [467]; он знал только всю ту же вечную, неизменную, лишенную фантазии концепцию – урвать и всеми силами удерживать.

Та же самая, да еще усиленная паническими настроениями из-за положения на фронте склонность привела его к первому серьезному конфликту с генералитетом. Пока немецкие армии были победоносными, все расхождения во взглядах как-то затушевывались, а то и дело дававшее новые ростки недоверие заглушалось звучными тостами в честь побед. Но когда ситуация начинает изменяться, эти долго подавлявшиеся негативные чувства проявляются с удвоенной силой. Все чаще Гитлер вмешивается теперь в ход операций, отдает распоряжения непосредственно группам армий и армейским штабам, а нередко включается даже в тактические решения на уровне дивизий и полков. Главнокомандующий сухопутными войсками отныне превратился «в простого письмоносца», отмечает в своем дневнике Гальдер 7 декабря 1941 года [468]. Двенадцать дней спустя, в результате споров по поводу «приказа выстоять», фон Браухич попадает в немилость, просит об отставке и получает ее. Как это отвечало модели решения во всех предыдущих кризисах руководства, Гитлер берет командование сухопутными войсками на себя, и только лишним доказательством царившей на всех уровнях руководства неразберихи явилось то, что тем самым он оказался в двойном подчинении у самого себя: в 1934 году, после смерти Гинденбурга, он взял на себя должность (преимущественно репрезентативную) верховного главнокомандующего вермахта, а в 1938 году, после отставки фон Бломберга, уже и командование (фактическое) вермахтом. Теперь же он обосновывает свое решение замечанием, в котором, помимо его недовольства, примечательно проявляется и его стремление к усилению идеологизации: «Немножко командовать операциями может всякий, – заявляет он. – Задачей главнокомандующего сухопутными войсками является воспитание войск в духе национал-социализма. Я не знаю в армии ни одного генерала, который мог бы выполнить эту задачу в моем смысле. Поэтому я решил взять верховное командование армией на себя» [469].

В один день с фон Браухичем был смещен и командующий группой армий «Центр» фон Бок и на его место поставлен фон Клюге, а командующий группой армий «Юг» фон Рундштедт заменен фельдмаршалом фон Райхенау. За нарушение «приказа выстоять» был снят со своего поста генерал Гудериан, а генерал Хепнер даже уволен из вермахта, генерал фон Шпонек приговорен к смерти, в то время как фельдмаршал фон Лееб, командующий

группой армий «Север», подал в отставку сам. Лишились своих постов многие другие генералы и командиры дивизий. «Выражения презрения», которыми Гитлер награждал фон Браухича с конца 1941 года, отразили в принципе его новую оценку высшего офицерского корпуса в целом: «тщеславный, трусливый сброд, который… своими постоянными замечаниями и своим постоянным непослушанием полностью опошлил и загубил весь план кампании на Востоке». А еще за полгода до того, в дни эйфории от сражения за Смоленск, он говорил, что у него «маршалы исторического масштаба, а офицерский корпус уникален» [470].

В первые месяцы 1942 года идут тяжелые оборонительные бои на всех участках фронта. Военные дневники то и дело отмечают «нежелательное развитие», «большое свинство», «день диких боев», «глубокие прорывы» и «драматическую сцену у фюрера». В конце февраля Москва была за более чем сто километров от линии фронта, суммарные немецкие потери составили свыше миллиона человек или 31, 4 процента численного состава войск на восточном фронте [471], и только весной, с началом оттепели, тяжелые бои улеглись, обе стороны были на пределе своих сил. Явно под влиянием этих событий Гитлер признался своему ближайшему окружению, что зимняя катастрофа на какой-то момент его просто оглушила, никто и представить себе не может, каких сил стоили ему эти три месяца и как страшно истрепали они ему нервы. На Геббельса, посетившего его в ставке, он произвел «удручающее впечатление»; тот нашел фюрера «сильно постаревшим» и не мог вспомнить, чтобы когда-либо видел его «таким замкнутым». Гитлер жаловался на приступы головокружения и сказал, что один вид снега доставляет ему физические муки. Когда в конце апреля он на несколько дней поехал в Берхтесгаден и там неожиданно выпал запоздалый снег, Гитлер сломя голову бежал оттуда; «это, так сказать, бегство от снега», – отметил Геббельс [472].

Когда же «эта зима тревоги нашей» [473] прошла, и с наступлением весны вновь началось немецкое продвижение вперед, к Гитлеру возвратилась его уверенность, и, находясь в окрыленном настроении, он даже высказывает свое недовольство тем, что судьбой ему, мол, предназначено вести войну только со второстепенными противниками. Но какой хрупкой была эта его вера в себя и какими издерганными были его нервы, видно из одной записи в дневнике начальника генштаба сухопутных войск: «Уже всегда имевшая место недооценка возможностей врага принимает постепенно гротескные формы, – пишет тот, – о серьезной работе уже не может быть и речи. Болезненное

реагирование на впечатления момента и полная несостоятельность в оценках командного аппарата и его возможностей – вот что характерно для этого т. н. „командования“ [474]. Правда, план операций на лето 1942 года создавал впечатление, что опыт минувшего года Гитлера чему-то научил. Вместо того, чтобы вести наступление, как раньше, тремя клиньями, теперь вся наступательная мощь сосредотачивается на юге, чтобы «окончательно уничтожить оставшиеся еще в распоряжении Советов силы и в максимальной степени лишить их важнейших военно-экономических центров». Планировались также своевременное прекращение операций, подготовка зимних квартир и, в случае необходимости, сооружение по аналогии с «Западным валом» оборонительной линии («Восточный вал»), которая позволила бы вести хоть в течение ста лет такую войну, «какая не доставляла бы уже нам тогда особенных хлопот» [475]. Но когда во второй половине июля 1942 года немецкие войска вышли к Дону, не загнав., как планировалось, противника в большой «котел». Гитлер вновь пошел на поводу у своего нетерпения и своих нервов и забыл все уроки прошлого лета. 23 июля он отдал приказ разделить наступление на две одновременные наступательные операции по сходящимся направлениям: группа армий «Б» должна была через Сталинград прорваться к Астрахани на Каспийском море, а группа армий «А» – уничтожить вражеские войска под Ростовом, а затем выйти к восточному побережью Черного моря и двигаться на Баку: силам, державшим до начала наступления фронт протяженностью в восемьсот километров, к концу операции предстояло прикрывать линию длиной более чем в четыре тысячи километров, к тому же еще не вынудив противника вступить в сражение и уж тем более не разгромив его.

Гитлеровская эйфория в оценке собственных возможностей была, вероятно, продиктована обманчиво выглядевшей географической картой: к концу лета 1942 года его власть по своей протяженности достигла апогея. Немецкие войска стояли вдоль всего побережья Атлантического океана от мыса Нордкап до испанской границы, в Финляндии, повсюду на Балканах, а также в Северной Африке, где уже разгромленный, по мнению союзников, генералРоммелюи непривычного облика бормотали на загадочных языках приветственные слова, по бескрайней степи, где не было и намека на тень, войска, поднимая тучи пыли, катились вперед. В конце августа они вышли на южном направлении к охваченным огнем, разрушенным нефтеперегонным заводам Майкопа; от нефти, служившей в длинных, ожесточенных дискуссиях прошедших недель

оправданием этого наступления, Гитлеру не досталось почти ничего. 21 августа немецкие солдаты подняли знамя со свастикой над Эльбрусом, самой высокой горой Кавказа. Два дня спустя части 6-й армии вышли к Волге у Сталинграда.

Однако внешность была обманчивой. Для ведения быстро разраставшейся войны на трех континентах, на морях и в воздухе, не хватало людей, вооружения, транспортных средств, сырья, а также командных кадров. Находясь в зените, Гитлер давно уже был побежденным человеком. Разражавшиеся подобно ударам кризисы и неудачи, чьи последствия еще больше усугублялись его упрямством, демонстрировали весь ирреальный характер этой гигантски растянувшейся в географическом пространстве власти.

Первые симптомы кризиса проявились на Востоке. С началом летнего наступления 1942 года Гитлер перенес свою ставку из Растенбурга в Винницу на Украине и здесь, на ежедневных обсуждениях положения, защищал со все возрастающим упорством свое решение овладеть как кавказским регионом, так и Сталинградом, хотя захват этого города на Волге уже не имел никакого значения, разве что только срывал судоходство на реке. Но Гитлер теперь уже не допускал никаких возражений своим планам. 21 августа произошла ожесточенная перепалка, когда Гальдер выразил мнение, что наличных сил для двух столь выматывающих наступлений у немцев недостаточно. Начальник генерального штаба дал понять, что полководческие решения Гитлера игнорируют пределы возможного и, как это он сформулировал впоследствии, делают «мечты законом действий». Когда же в ходе этих дебатов он указал на то, что русские ежемесячно производят тысячу двести танков, взбешенный Гитлер запретил ему продолжать «такую идиотскую болтовню» [476].

Спустя примерно еще две недели в ставке фюрера произошла новая стычка, на этот раз из-за задержки продвижения на кавказском фронте. Теперь уже преданнейший Йодль стал тем человеком, который не только рискнул открыто защищать командующего группой армий «А» фельдмаршала Листа, но и, в дополнение ко всему, процитировал собственные слова Гитлера, чтобы доказать, что Лист лишь придерживался полученных им указаний. Вне себя от ярости, Гитлер прервал разговор. 9 сентября он потребовал от фельдмаршала, чтобы тот подал в отставку, и вечером того же дня взял командование этой группой армий на себя. Раздосадованный до глубины души, он отныне почти полностью откажется от контактов с генералитетом своей ставки, в течение нескольких месяцев не будет даже подавать руки Йодлю и не переступит порога кабинета, где делались доклады о положении на фронте, – впредь обсуждения будут

проходить в его маленьком бревенчатом домике в самом узком кругу и неизменно ледяной обстановке и станут пунктуально фиксироваться в стенограммах. Свое убежище Гитлер теперь покидает только с наступлением темноты и прогуливается по уединенным дорожкам. И обедает он отныне в одиночестве, компанию ему составляет только его овчарка, гостей приглашает редко: точно так же отпало и вечернее застолье, а с ним и вся мелкобуржуазная общительность и доверительная непринужденность в ставке. В конце сентября Гитлер, наконец, убрал и Гальдера. Еще за какое-то время до того он обратил внимание на доклады начальника штаба при главнокомандующем Западным фронтом генерала Цайтцлера. Они отличались богатством тактических идей и постоянным оптимизмом. Теперь ему хочется видеть близ себя «человека, как этот Цайтцлер», заявил он [477] и назначил того начальником генштаба сухопутных войск.

А в это время все большая часть 6-й армии и со все более возраставшими потерями вступала в Сталинград и закрепилась на северных и южных окраинах города. По всей видимости, на этот раз русские были полны решимости не отступать, а принять бой. В руки немецких войск попал приказ Сталина, в котором тот тоном озабоченного отца отчизны возвещал своему народу, что отныне Советский Союз не может больше уступать свою территорию. За каждую пядь земли следует биться до последнего. Словно чувствуя в этом личный вызов себе, Гитлер требует теперь, вопреки совету как Цайтцлера, так и командующего 6-й армией генерала Паулюса, захватить Сталинград – этот город стал фантомом престижа, его взятие «настоятельно необходимо по психологическим причинам», как заявил Гитлер 2 октября. А восемь дней спустя он добавил, что у коммунизма надо «отнять его святыню» [478]. Когда-то он сказал, что с 6-й армией он может штурмовать небеса. Теперь он вступил в кровавый бой за дома, жилые кварталы и заводские здания, в бой, обернувшийся для обеих сторон огромными потерями. Численный состав немецких войск постепенно сократился до своей четверти. Но весь мир с часу на час ожидал известия о падении Сталинграда.

Начиная с зимней катастрофы, когда ему впервые явился призрак поражения, Гитлер посвящает всю свою энергию – больше, чем до того, – кампании в России и все явственнее пренебрегает из-за нее всеми другими театрами военных действий. Разумеется, он любил думать широкомасштабными категориями – веками и континентами – но Северная Африка, к примеру, все равно находилась от него на очень большом

расстоянии. Во всяком случае, он так никогда и не осознал стратегического значения Средиземноморья и тем самым в очередной раз показал, насколько аполитичной и абстрактной, насколько «литературной» была, собственно говоря, его широкая мысленная жестикуляция. Из-за неустойчивости его интереса, нехватки поставок и резервов наступательная сила Африканского корпуса оказалась утраченной, да и подводный флот пострадал из-за сангвинической стратегии Гитлера: к концу 1941 года в боевом состоянии находилось не более шестидесяти подводных лодок, а когда год спустя было, наконец, введено в битву при близительно сто единиц, вскоре противником была налажена стимулированная серией крупных немецких успехов система заградительных мер, что и привело к перелому.

Изменилась теперь и картина войны в воздухе. В начале января 1941 года британский кабинет принял стратегический план воздушной войны, направленный на то, чтобы серией целенаправленных бомбардировок вывести из строя промышленность Германии, производившую синтетическое горючее, и, парализовав таким образом «становой хребет», парализовать все военные действия рейха. Однако этот план, немедленное претворение в жизнь которого наверняка придало бы иной ход военным событиям, был осуществлен лишь через три с лишним года [479]. В промежутке же на передний план выдвинулись другие намерения, в первую очередь идея сплошной бомбежки по площадям, представлявшая собой воздушный террор против гражданского населения. Этот новый этап начался ночью 28 марта 1942 г. крупным налетом королевских военно-воздушных сил на Любек, и старый, богатый традициями бюргерский город заполыхал, как говорилось в официальной сводке, «как сухие дрова». В ответ на это Гитлер отозвал с Сицилии две эскадры бомбардировщиков числом около ста машин, которые в последующие недели предприняли «налеты возмездия», так называемые «рейды по Бедекеру»[480], на достопримечательности старинных английских городов. Все размеры наступившей за это время перемены в соотношении сил проявились, когда англичане уже в ночь с 30 на 31 мая 1942 года ответили первым с начала войны «налетом тысячи бомбардировщиков». Во второй половине года к ним присоединились и американцы, и начиная с 1943 года Германия подвергается уже непрерывным атакам с воздуха в виде круглосуточных бомбежек. Имея в виду заметно изменившееся положение, Черчилль сказал в речи в резиденции лорд-мэра Лондона: «Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но это, может быть, конец начала» [481].

События на фронтах подтвердили эту оценку. 2 ноября, после десятидневной массированной огневой подготовки, генерал Монтгомери, имея многократное преимущество в силах, прорвал немецко-итальянские позиции у Эль-Аламейна; вскоре после этого, в ночь с 7 на 8 ноября, английские и американские войска высадились на берегах Марокко и Алжира и захватили Французскую Северную Африку до самой тунисской границы; еще через десять дней с небольшим, 19 ноября, две советские группы армий в круговерти пурги начали контрнаступление и после удавшегося прорыва на румынском участке фронта окружили между Волгой и Доном около 220 000 солдат, 100 танков, 1800 орудий и 10 000 машин. Когда генерал Паулюс доложил, что он окружен, Гитлер приказал ему перенести свой командный пункт в город и занять круговую оборону: «Я не уйду с Волги!» Еще за несколько дней до того он в ответ на просьбу Роммеля дать ему разрешение отступить телеграфировал: «В том положении, в каком Вы находитесь, не может быть иной мысли, как выстоять, не отступать ни на шаг и бросать в сражение любое оружие и каждого бойца, которые еще могут найтись… В истории был не один случай, когда более сильная воля брала верх над более сильными батальонами врага. Но своим войскам Вы не можете указать никакого другого пути, кроме пути к победе или смерти» [482].

Три ноябрьских наступательных операции стали вехами перелома в войне – инициатива окончательно перешла на сторону противника. Словно желая еще раз доказать самому себе свою способность принимать достойные полководца решения, Гитлер 11 ноября отдает приказ о вступлении в неоккупированную часть Франции, а в речи, посвященной очередной годовщине ноябрьского путча 1923 года, торжественно заявляет, как будто стремясь зафиксировать публично и тем самым лишить себя свободы принятия какого-либо оперативного решения, о взятии Сталинграда как о выдающейся победе. Одновременно он застывает на позиции той особенной неустойчивости, какая возникает только на почве рухнувших ожиданий. «От нас больше не будет предложения о мире», – восклицает он. Ибо в отличие от кайзеровской Германии во главе рейха стоит теперь человек, который «всегда знал только борьбу, а вместе с нею всегда только один принцип: бить, бить и снова бить!» Решает тот, «кто нанесет последний тумак». Он говорит:

> «В моем лице они … имеют против себя такого противника, который вообще не помышляет о слове «капитулировать»! Моей привычкой всегда было, еще

> когда я был ребенком, – тогда, может быть, невоспитанность, а по большому счету, может быть, все же и добродетель, – оставлять последнее слово за собой. И все наши противники могут быть уверены: та Германия сложила оружие без четверти двенадцать, я же принципиально всегда останавливаюсь только в пять минут первого!» [483].

Отныне это становится его новой стратегией, заменившей все прошлые концепции: Держаться! До последнего патрона! Когда поражение Фрицатья, «распознали международное еврейство во всей его дьявольской опасности» [484].

Явления интеллектуального разложения сопровождаются повсеместно ощущаемым процессом распада в технике руководства. Вечером после начала высадки союзников в Северной Африке Гитлер произнес упомянутую речь в Мюнхене и отправился затем, в сопровождении своих адъютантов и лично близких ему лиц, в «Бергхоф» в Берхтесгадене, Кейтель и Йодль поселились там в здании на окраине, штаб оперативного руководства вермахта находился в спецпоезде на станции Зальцбург, тогда как генеральный штаб сухопутных войск, практически занимавшийся операциями, располагался далеко отсюда, в мазурской штаб-квартире близ Ангербурга в Восточной Пруссии. И в течение последующих дней Гитлер оставался в Берхтесгадене и вместо того, чтобы обсуждать и организовывать меры по обороне, он испытывал чуть лине эстетическое удовлетворение от того, что именно против него была мобилизована эта гигантская армада; он опьянял себя возможностью – между тем уже упущенной – развернуть далеко идущие операции и критиковал осторожные действия противника: сам он, но его словам, высадился бы непосредственно у Рима, что было бы короче и психологически эффективней, и таким манером блокировал бы войска «оси» и в Северной Африке, и в Южной Италии и уничтожил бы их [485].

А в это время кольцо вокруг Сталинграда все сужалось. Только вечером 23 ноября Гитлер возвратился в Растенбург, и так и остается неясным, то ли он недооценивал серьезность положения, то ли хотел своим демонстративным спокойствием скрыть это от себя и своего окружения. Во всяком случае, он попытался отказать Цайтцлеру, когда тот попросил о встрече, ссылаясь на необходимость принятия ряда срочных решений, и уговаривал его перенести их разговор на следующий день. Когда же начальник генерального штаба этому не поддался и предложил незамедлительнейшим образом дать приказ 6-й армии

вырываться из «котла», произошла одна из тех стычек, которые будут потом вновь и вновь повторяться до первых дней февраля, когда гитлеровская стратегия выстоять обернется сокрушительным поражением. Около двух часов ночи Цайтцлеру еще хотелось верить, что он убедил Гитлера, во всяком случае, он сообщил штабу группы армий «Б» о своем ожидании получить ранним утром подпись под приказом вырываться из окружения. На деле же Гитлер, вероятнее всего, пообещал это лишь для видимости и тем самым положил начало многовариантным разногласиям последующих недель. Привлекая на помощь все свое искусство убеждения, то путем долгого успокаивающего молчания, то безудержными излияниями по второстепенным вопросам, то уступками в другой области, то отупляющим воздействием своего огромного цифрового репертуара, и притом со все более возрастающим упорством, Гитлер продолжал настаивать на своем решении. Вопреки своему обыкновению, он пытался порой даже подкрепить его мнением третьих лиц. Умело действуя психологически, он заставил Геринга, чей престиж весьма пошатнулся, и который, казалось, только и ждал случая выделиться своим оптимизмом, подтвердить, что его люфтваффе в состоянии обеспечить снабжение окруженных войск [486]; в ходе дебатов с Цайтцлером он вызвал Кейтеля и Йодля и, стоя, с торжественным выражением на лице, задал вопрос о точках зрения руководства ОКБ, штаба оперативного руководства вермахта и генштаба: «Я должен принять очень трудное решение. Прежде чем я это сделаю, я хотел бы слышать ваше мнение. Должен я отдать Сталинград или нет?» Как всегда, злополучный Кейтель подтвердил его позицию, «сверкая очами: „Мой фюрер! Оставайтесь на Волге!“ Йодль порекомендовал обождать, и только Цайтцлер вновь ратовал за то, чтобы вырываться, так что Гитлер смог резюмировать: „Вы видите, господин генерал, не я один придерживаюсь этого мнения. Его разделяют оба эти офицера, которые выше вас по званию. Итак, я остаюсь при моем прежнем решении“ [487]. Порой напрашивается впечатление, что Гитлер искал под Сталинградом, после столь многих половинчатых, неполноценных успехов, наконец, окончательного расчета – не только со Сталиным, не только с противниками этой ставшей почти необузданной войны на всех фронтах, но и с самой судьбой. Кризис, становившийся все более очевидным, его не пугал, более того, каким-то непостижимым образом он даже верил в него. Ибо исстари, начиная с партийных дискуссий летом 1921 года, это было его постоянно триумфально подтверждавшимся рецептом успеха – прямо-таки искать кризисы, чтобы их преодолением обрести новую динамику и

уверенность в победе. Если битва за Сталинград и не была выдающимся кульминационным пунктом боев в общем ходе войны, то она была таковым для Гитлера: «Если мы поступимся им – Сталинградом – то поступимся, собственно, всем смыслом этой кампании», – заявил он [488]. В своей тяге к мифологизации он наверняка воспринимал как некий знак то, что в этом городе он наносил удар по имени одного из своих противников-символов, – здесь хотел он победить или погибнуть.

В конце января положение стало безвыходным. Но когда генерал Паулюс попросил разрешения на капитуляцию своих совершенно измотанных холодом, эпидемиями и голодом и деморализованных солдат, поскольку крах был неизбежен, Гитлер протелеграфировал ему: «Запрещаю капитуляцию. Армия удержит свои позиции до последнего солдата и до последнего патрона и своей героической стойкостью внесет незабываемый вклад в построение фронта обороны и спасение Запада» [489]. В беседе с итальянским послом он сравнил 6-ю армию с тремя сотнями греков у Фермопил, нечто подобное сказал и Геринг в речи 30 января, когда в руинах Сталинграда сопротивление уже погасло и только какие-то небольшие, отчаявшиеся и разрозненные остатки еще продолжали отбиваться: он заявил, что «после о героической битве на Волге скажут: Вернешься в Германию, расскажи, что видел нас лежащими в Сталинграде, как это повелел для Германии закон чести и войны».

Три дня спустя, 2 февраля, капитулировали последние осколки армии, уже после того как Гитлер за несколько дней до этого произвел Паулюса в генерал-фельдмаршалы и присвоил 117 другим офицерам очередные воинские звания. Около пятнадцати часов с летавшего еще над Сталинградом немецкого самолета-разведчика сообщили по радио, что «боевых действий больше не наблюдается». 91 000 немецких солдат попали в плен; 5 000 из них годы спустя вернулись домой.

Возмущение Гитлера поведением Паулюса, которому, считал он, гибель оказалась не по плечу и который потому досрочно капитулировал, вылилось в такой пассаж при последующем обсуждении положения в ставке фюрера:

> «Какую легкую жизнь он себе устроил!.. Настоящий мужчина должен застрелиться, подобно тому как раньше полководцы бросались на меч, если видели, что дело проиграно. Это же само собой разумеется. Даже такой, как Вар[490] приказал рабу: Теперь убей меня!.. Что это значит – «жить»? Жизнь – это народ, а отдельный человек смертен, он и должен умирать. То, что после

него остается жить, это – народ. Но какой же страх может испытывать отдельный человек перед этим, перед этой секундой, когда он уже может освободиться от этой печали, когда долг не задерживает его больше в этой юдоли! Да уж! Паулюс… выступит в ближайшее время по радио – вот увидите. И эти Зейдлиц и Шмидт будут выступать по радио. Их запрут в подвал с крысами, и двух дней не пройдет, как они сломаются и тут же заговорят… Как можно быть такими трусами. Я этого не понимаю… Что тут поделаешь? Лично меня больше всего огорчает то, что я успел произвести его в фельдмаршалы. Я хотел доставить ему последнюю радость. Это был последний фельдмаршал, которого я произвел в эту войну. Нельзя хвалить день, пока не наступит вечер… Просто смешнее не придумаешь. Так многим людям приходится умирать, и вот появляется такой человек и в последнюю минуту оскверняет героизм столь многих. Он мог избавиться от всех печалей и войти в вечность, в бессмертие нации, а он предпочел отправиться в Москву. Какой тут еще может быть выбор. Это какая-то дикость» [491].

Если не в военном, то в психологическом плане Сталинград явился, конечно, одним из великих переломных пунктов войны. Как в Советском Союзе, так и у его союзников эта победа принесла заметнейшую перемену в настроении и оживила многие так часто уже представлявшиеся обманутыми надежды, тогда как среди союзников Германии и в нейтральных странах вере в превосходство Гитлера был нанесен весьма ощутимый удар. И в самой Германии быстро таяло и без того уже ставшее критическим доверие к искусству Гитлера-полководца. Геббельс, ежедневно проводивший совещания со своими сотрудниками, дал указание использовать поражение, чтобы «психологически укрепить наш народ»: «Каждое слово об этом героическом сражении, – вызвал он, – войдет в историю». Особое же внимание придавалось тому, как будет выглядеть сводка вермахта, – надо, чтобы это была «формулировка…. которая и через столетия будет волновать сердца». В качестве образца Геббельс предлагал обращения Цезаря к воинам, воззвание Фридриха Великого к своим генералам в канун Лейтенского сражения и призывы Наполеона к гвардии. «Может быть, мы только сейчас, – говорилось в спецвыпуске руководства пропагандой рейха, – вступили во фридриховскую эпоху этого гигантского решения. Колин, Хохкирх, Кунерсдроф – все эти три названия означают

тяжелые поражения Фридриха Великого, подлинные катастрофы, по своим последствиям куда худшие, нежели все, что случилось в последние недели на Восточном фронте. Но после Колина был Лейтен, после Хохкирха и Кунерсдорфа были Лигниц, Торгау и Буркерсдорф[492] – последняя завершающая победа…» Однако несмотря на все ободряющие параллели, которые начиная с этого времени и до самого конца войны станут цитатами-заклинаниями, в сводке службы безопасности говорилось: «Имеет место общее убеждение, что Сталинград означает перелом в войне… Неустойчивые соотечественники склонны видеть в падении Сталинграда начало конца.» [493]

Для самого Гитлера проигрыш этого сражения стал как бы новым мифологическим толчком. С этого момента мир его фантазий все в большей степени определяется картинами инсценировок катастрофического краха. Совещание в Касабланке, на котором Черчилль и Рузвельт провозгласили в конце января принцип «безоговорочной капитуляции» и тем самым сожгли за собой все мосты, еще более укрепило это его представление. Исходя из стратегии «безоговорочного удержания», которая определила весь 1943 год, Гитлер вместе с приближающимся концом все категоричнее развивает стратегию «грандиозного крушения».

Глава III
УТРАЧЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Из вновь приобретенных восточных областей мы должны сделать рай земной.

Адольф Гитлер

Это – большое зло, если мужи, которые определяют судьбу Земли, заблуждаются в том, что же является возможным… Их упорство, или, если хотите, их гений приносит их усилиям преходящий успех, но поскольку они вступают в борьбу с планами, интересами, всем нравственным бытием своих современников, то эти силы сопротивления обращаются против них – и через определенное время, очень долгое для их жертв, но очень короткое с исторической точки зрения, от всех их предприятий остаются только преступления, которые они совершили, и страдания, которые они причинили.

Бенжамен Констан

Изоляция от мира. – Застольные беседы. – Явления редукции. – Медикаменты и болезни. – «Кризис фюрера» – Пет тотальной войне. – Мартин Борман. – Уход от реальности. – Подлинная действительность. – «Поистине золотой век». – Окончательное решение. – Мечты о жизненном пространстве. – Новое законодательство о браке. – Аннексии. – Коренное противоречие национал-социализма. – «Mussolini defunto» («Муссолини – покойник»). – У Гитлера растет решимость.

С самого начала русской кампании Гитлер ведет замкнутую жизнь. Его ставка, служившая одновременно и ставкой

Верховного командования вермахта, после возвращения из Винницы опять располагается в обширном лесном массиве за Растенбургом в Восточной Пруссии. Густая сеть стен, колючей проволоки и минных полей надежно окружает систему разбросанных бункеров и наземных зданий, порождающую своеобразное настроение уныния и монотонности. Современные наблюдатели метко окрестили ее смесью монастыря и концлагеря. Узкие, лишенные каких-либо украшений помещения со скромной деревянной мебелью резко контрастируют с помпезностью прошлых лет – со всеми этими просторными залами, широкими перспективами и рассчитанным на эффект расточительством в Берлине, Мюнхене или Берхтесгадене. Иной раз создавалось впечатление, что Гитлер ушел в пещеру. Итальянский министр иностранных дел Чиано и сравнивал обитателей ставки с троглодитами и называл тамошнюю атмосферу удушающей: «Не видишь ни единого цветного пятна, ни единого живого оттенка. Приемные наполнены курящими, жующими, болтающими людьми. Пахнет кухней, военной формой, тяжелыми сапогами» [494].

В начальные месяцы войны Гитлер еще выезжал на фронт, бывал на полях сражений, в штабах или лазаретах. Но уже после первых неудач он стал избегать встреч с действительностью, отступая в абстрактный мир столов с военными картами и обсуждений фронтовой обстановки; начиная с этого времени, он воспринимает войну почти исключительно в линейно-числовом выражении на бумажных ландшафтах. И его появления на публике становятся все реже, он испытывает боязнь перед такими парадными выступлениями, как прежде, поражения разрушили вместе с его нимбом и силы, поддерживавшие стиль его поведения; а когда он впервые освободился от манеры держаться с монументальностью памятника, то почти без какого бы то ни было перехода проявилась и та перемена, что произошла с ним, – усталый, с опущенными плечами, подволакивая одну ногу, передвигается он по помещениям ставки, тупо взирают лишенные блеска глаза на безжалостном, одутловатом лице, подрагивает левая рука – это заметно сдавший физически, ожесточившийся и, по его собственным словам, измученный меланхолией человек [495], все глубже увязающий в комплексах и ненавистях времен своей молодости. И какой бы сильный отпечаток ни наложили на облик Гитлера его застылые, статичные черты, все же при взгляде на эту фазу невольно думаешь, что являешься свидетелем быстро прогрессирующего процесса редукции, но в то же время кажется, что именно в редукции и проступает как раз его неискаженная, истинная сущность.

Изоляция, на которую обрек себя Гитлер после конфликта с генералитетом, еще более усилилась после Сталинграда. Он часто сидит в одиночестве, предавшись своим мыслям, погруженный в глубокую депрессию или с отрешенным взором предпринимает короткие бесцельные прогулки в сопровождении своей овчарки по территории ставки. Над всеми отношениями здесь царит какая-то напряженная подавленность: «Лица застыли в маски, мы часто стояли вместе молча», – будет вспоминать потом один из участников, а Геббельс напишет: «… трагично, что фюрер так отгораживается от жизни и ведет такую несоразмерно нездоровую жизнь. Он не бывает больше на свежем воздухе, не находит никакой разрядки, сидит в своем бункере, действует и размышляет… Одиночество в ставке фюрера и весь стиль работы там, разумеется, оказывают угнетающее влияние на фюрера» [496].

Гитлер и впрямь начал все более ощутимо страдать от своей добровольной изоляции, в противоположность годам своей молодости, жалуется он, ему «уже совершенно невмоготу быть одному». Стиль его жизни, принявший с первых лет войны спартанские черты, стал еще невзыскательнее, обеды за фюрерским столом характеризовались пресловутой простотой. Лишь один-единственный раз побывал он на представлении «Гибели богов» в Байрейте, а после второй русской зимы даже не желал больше слушать музыку. Начиная с 1941 года, скажет он потом, его задачей было «при всех обстоятельствах владеть нервами и, если где-то наступает крах, постоянно искать выходы и вспомогательные средства, чтобы как-нибудь поправить историю… Я уже пять лет, как отрешился от другого мира: не бываю в театре, не посещаю концертов, не смотрю фильмов. Я живу одной-единственной задачей – вести эту борьбу, потому что я знаю: если за ней не стоит натура с железной волей, то выиграна эта борьба быть не может» [497]. Однако остается вопрос, а не эти ли тиски, которым подчинил себя этот маньяк воли, не эта ли отчаянная сконцентрированность на военных событиях так сузили его сознание и полностью лишили его внутренней свободы?

Угнетавшее его напряжение выливалось теперь сильнее, чем когда бы то ни было, в неутолимую жажду говорить. Новую аудиторию он обрел в лице своих секретарш и пытался – хоть и тщетно – с помощью пирожных и огня в камине создавать им «уютную атмосферу», иногда он вовлекал в эту компанию своих адъютантов, врачей, Бормана или того случайного гостя, кому он доверял. С тех пор как у него стали усиливаться приступы бессонницы, его монологи становятся все протяженнее, и, наконец, в 1944 году застольной компании уже приходится,

отчаянно тараща глаза, чтобы не задремать, держаться до самого рассвета. Только тогда, как засвидетельствует Гудериан, Гитлер «ложился, чтобы забыться в коротком сне, из которого его часто поднимало еще до девяти часов шарканье веников уборщиц у двери его спальни» [498].

Как прежде, он сохранял верность темам, которые составляли его постоянный репертуар с ранних дней и перешли в «Застольные беседы»: его юность в Вене, мировая война и годы борьбы, история, доисторические времена, питание, женщины, искусство и борьба за жизнь. Он возмущался «пляской» танцовщицы Греты Палукки, «уродливой мазней» искусства модерна, фортиссимо Кнаппертсбуша, вынуждавшего оперных певцов срываться на крик, так что они «выглядели как головастики»; говорил о своем отвращении к «тупому мещанству», к «свинарнику» в Ватикане и к «тусклым христианским небесам», и рядом с мыслями об имперской расовой державе, о ловких браконьерах, слонах Ганнибала, катастрофах ледникового периода, «жене Цезаря» или «сброде юристов» соседствовали рекомендации насчет вегетарианского стола, популярной воскресной газеты «с массой картинок» и романом, «из которого девицам есть что почерпнуть» [499]. Оглушенный таким нескончаемым потоком слов, итальянский министр иностранных дел предположил, что Гитлер, вероятно, прежде всего потому так счастлив быть Гитлером, что это дает ему возможность безостановочно говорить [500].

Правда, куда больше, чем неисчерпаемость его бесконечных монологов, бросалась в глаза – во всяком случае, это следует из воспоминаний о тех разговорах – вульгарность его выражений, в чем, несомненно, отражалось его происхождение. Не только сами мысли, не только страхи, чаяния и цели оставались неизменными, судя по его излияниям о прошлом; более того, теперь он отбрасывает и весь камуфляж и замашки государственного мужа и во все большей степени возвращается к яростным и заурядным штампам демагога в пивной, а то и обитателя мужского общежития. Не без удовольствия обсуждает он каннибализм среди партизан или в осажденном Ленинграде, называет Рузвельта «душевнобольным идиотом», а речи Черчилля – «вздором беспробудного пьянчуги» и со злостью ругает фон Манштейна «обмочившимся стратегом»; в системе Советской России он хвалит отказ от всякого рода «прекраснодушной гуманности», расписывает, как бы он, случись мятеж в Германии, ответил на него «расстрелом «отребья» в несколько сот тысяч человек», и делает своей излюбленной, «постоянно повторяемой» максимой фразу: «Если кто-то мертв, то сопротивляться уже не

может» [501].

К явлениям редукции относилось и наблюдаемое у него сужение интеллектуального горизонта, отбросившее его вновь на уровень представлений партийного руководителя местного масштаба. С конца 1942 – начала 1943 года он смотрел на войну не иначе как под углом зрения увеличенного до глобальных размеров «захвата власти» и уж, во всяком случае, был не в состоянии следить за ее расширением, достигшим масштабов всемирного противоборства. Ведь и во «время борьбы» – так утешал он себя, – он противостоял подавляющему превосходству, был «одним-единственным человеком с маленькой кучкой сторонников»; война – это всего лишь «гигантское повторение» прежнего опыта: «За обедом… шеф указал на то, – говорится в записи одной из «Застольных бесед», – что эта война – точное подобие ситуации из «времен борьбы». То, что происходило тогда как борьба партий на внутреннем фронте, идет сейчас как борьба наций – на внешнем» [502].

Как это и соответствует процессу стремительного старения, он жалуется порой на то, что годы отняли у него страсть игрока и настроение азарта [503]. И в мыслях он все больше живет воспоминаниями, многословные возвраты к давнему прошлому, наполнявшие его ночные монологи, имели, несомненно, характер старческой ностальгии. Точно так же при принятии военных решений он часто ссылается на опыт первой мировой войны, и его интересы в области техники вооружений совершенно определенно и все одностороннее ограничиваются системами традиционного оружия. Он не понял ни решающего значения радарной техники и расщепления атома, ни ценности ракеты типа «земля – воздух» с тепловым наведением, ни торпеды с акустической системой самонаведения, а также запретил серийное производство первого реактивного самолета «Ме-262». Со старческим упрямством прибегает он тут ко все новым, нередко не относящимся к делу возражениям, отказывается от принятия решений либо меняет их, изводит свое окружение лихорадочно воспроизводимым цифровым материалом или уходит в дебри психологических аргументов. Когда вырезка из газеты, рассказывавшая о британских опытах с реактивными самолетами, все же вынудила его в начале 1944 года разрешить, наконец, строительство «Ме-262», он, чтобы хотя бы в чем-то оставить последнее слово за собой, приказал вопреки советам специалистов конструировать этот самолет не как истребитель для борьбы с совершавшими налеты воздушными армадами союзников, а как скоростной бомбардировщик. При этом он безапелляционно сослался на слишком большие физические

нагрузки на летчиков, а также заявил, что как раз более быстрые машины оказываются в воздушном бою более неповоротливыми, – к этому и свелась вся его аргументация, и в то время как города Германии превращались в руины, он не только не разрешил даже опытного использования самолета в роли истребителя, но и в конце концов вообще запретил обсуждать эту тему [504].

Естественно, дискуссии, в которые ему приходилось вступать, умножили его и без того чрезмерную недоверчивость. Нередко он через голову своих ближайших военных сотрудников запрашивает сведения у нижестоящих штабов и иной раз даже посылает своего армейского адъютанта майора Энгеля самолетом на фронт для перепроверки обстановки. Офицеры, прибывшие из района боевых действий, не должны были до приема в бункере фюрера ни с кем разговаривать на военные темы, в том числе и с начальником генерального штаба [505]. Будучи одержим манией контроля, Гитлер восхвалял в своей организации дела то, что было как раз одним из ее основных недостатков, – он заявлял, что и на Восточном фронте, несмотря на его гигантскую протяженность, «нет ни одного полка и ни одного батальона, за позицией которого не прослеживали бы трижды в день здесь, в ставке фюрера». И не в последнюю очередь эта парализующая, подтачивающая все отношения подозрительность была причиной крушения столь многих офицеров: всех главнокомандующих сухопутными войсками, всех начальников генерального штаба сухопутных войск, одиннадцати из восемнадцати фельдмаршалов, двадцати одного из примерно сорока генерал-полковников и почти всех командующих участками фронта на Восточном театре военных действий. Пространство вокруг него все больше пустело. Когда Гитлер находится в ставке, заметил Геббельс, его собака Блонди стоит к нему ближе, чем какое-нибудь человеческое существо.

После Сталинграда явно сдали и его нервы. До этого Гитлер лишь изредка утрачивал свой стоицизм, который, как он полагал, был непременным атрибутом великих полководцев; даже в критических ситуациях он сохранял демонстративное спокойствие. Теперь же, напротив, эта манера начинает утомлять его, и сильнейшие приступы ярости раскрывают ту цену, которой стоило ему это перенапряжение сил в течение многих лет. Выслушивая доклады офицеров генштаба, он обзывает их «идиотами», «трусами», «лжецами», а Гудериан, впервые увидевший его вновь в эти недели, с изумлением констатирует «вспыльчивость» Гитлера, а также непредсказуемость его слов и решений [506]. Нападают на него и непривычные приступы сентиментальности. Когда Борман рассказывал ему о родах своей

жены, Гитлер реагировал на это со слезами на глазах, и чаще, чем раньше, говорит он теперь о своем желании ухода в идиллию раздумий о культуре, чтения и музейных забот. Кое-что говорит за то, что начиная с конца 1942 года он переживает крушение всей своей системы нервной устойчивости, что не проявляется открыто только благодаря его колоссальной, отчаянной самодисциплине. Генералитет в ставке фюрера чувствует симптомы этого кризиса, хотя более поздние описания непрерывно бушующего, подверженного всем непогодам безудержного темперамента Гитлера относятся к области апологетических преувеличений. Частично сохранившиеся стенограммы обсуждений положения на фронтах скорее явственно свидетельствуют о том, сколько энергии приходилось ему затрачивать, чтобы соответствовать тому образу, который отвечал его парадному представлению о самом себе. В большинстве случаев ему это, несомненно, удается, хотя и стоит неимоверных усилий. Уже сам распорядок дня в ставке с изучением сводок сразу же после пробуждения, главным совещанием около полудня, а затем частными совещаниями, диктовками, приемами и рабочими обсуждениями до самого вечера, когда вновь проходило расширенное совещание, большей частью уже в ночное время, – вся эта отрегулированная механика обязанностей была актом перманентного насилия над самим собой, с помощью которого он противился глубоко коренящемуся у него внутри стремлению к пассивности и безучастному ничегонеделанию. В декабре 1944 года он одним случайным замечанием набрасывает картину гениальности, гарантированной постоянством, коей он с немалым трудом и не без проявлявшихся отклонений так старается соответствовать: «Гениальность, – так сказал он тогда, – это нечто подобное блуждающему огню, когда она не подкреплена настойчивостью и фанатичным упорством. Это самое главное, что есть в человеческой жизни. Люди, имеющие только озарения, мысли и т. п., но не обладающие твердостью характера, упорством и настойчивостью, так ничего и не добьются, несмотря ни на что. Это – рыцари удачи. Если повезет, дела у них идут в гору, а если не повезет, то они сразу же пойдут на попятную и сразу же снова все бросят. Но так всемирную историю не делают» [507].

По своей строгости относительно исполнения обязанностей и по своей угрюмости у ставки фюрера было что-то от той «государственной клетки», куда хотел поместить его когда-то его отец и где, по наблюдению юного Гитлера, люди «сидели друг на друге так же плотно, как обезьяны». Противоестественная

механика, в которую он втискивал свою жизнь, станет скоро поддерживаться лишь искусственным путем. Способным соответствовать непривычным требованиям его делает теперь система лекарств и близких к наркотикам препаратов. До конца 1940 года эти лекарственные дары, по всей видимости, почти не сказывались на состоянии его здоровья. Правда, Риббентроп свидетельствует об одной якобы бурной дискуссии летом того же года, когда Гитлер упал на стул и разразился стонами, говоря, что он чувствует себя на пределе сил и что его вот-вот хватит удар [508]; однако эту сцену следует – и ее описание в целом побуждает к такому выводу – все же отнести к тем его выходкам, которые, будучи наполовину порождены истерикой, а наполовину сознательно разыгранными спектаклями, являлись для Гитлера одним из средств его убеждающей аргументации. Тщательное врачебное обследование, проведенное в начале и в конце года, выявило лишь несколько повышенное кровяное давление, а также те нарушения в желудке и кишечнике, которыми он страдал издавна [509].

С ипохондрической педантичностью отмечал Гитлер любое отклонение в своих анализах. Он непрерывно следил за своим состоянием, щупал пульс, обращался к книгам по медицине и «прямо-таки горами» принимал лекарства: таблетки снотворного и уколы, препараты для улучшения пищеварения, средства от гриппа, капсулы с витаминами и даже постоянно находившиеся у него под рукой эвкалиптовые леденцы давали ему ощущение заботы о своем здоровье. Если какое-то лекарство прописывалось ему без точного указания, когда его принимать, то он глотал его с утра до вечера почти беспрерывно. Профессор Морелль – модный берлинский врач по кожным и венерическим болезням, ставший по рекомендации Генриха Хоффмана его лейб-доктором и при всем своем врачебном старании не лишенный черт мракобесия и шарлатанства, – потчевал его, помимо всего прочего, почти ежедневно уколами: сульфанамиды, вытяжки из щитовидной железы, глюкоза или гормоны должны были улучшать или регенерировать кровообращение, кишечную флору, а также укреплять его нервы, недаром Геринг саркастически называл врача «рейхсмастером по уколам» [510]. Естественно, чтобы поддерживать трудоспособность Гитлера, Мореллю приходится с течением времени прибегать ко все более сильным средствам и значительно сокращать паузы между их применением, а затем снова прописывать противодействующие средства седативного характера для успокоения перевозбужденных нервов, так что Гитлер подвергался перманентному раздирающему его процессу. Последствия этих продолжительных медицинских интервенций –

иногда до двадцати восьми различных средств – стали заметны только во время войны, когда напряжение происходящего, короткий сон, монотонность вегетарианской пищи, а также лемурное существование в бункерном мире еще более усилили воздействие препаратов. В августе 1941 года Гитлер жалуется на приступы слабости, тошноту и озноб, у него отекают голени, и не исключено, что в этом проявилась первая противодействующая реакция годами насильственно управляемого тела. Во всяком случае, начиная с этого времени, состояние изнеможения наблюдается у него значительно чаще. После Сталинграда он через день принимает средство, которое должно снимать депрессивное настроение [511], теперь он не переносит яркого света и по этой причине велит сшить себе для пребывания вне помещения фуражку с большим козырьком, порою жалуется, что теряет равновесие: «У меня все время такое чувство, будто я заваливаюсь в правую сторону» [512].

Несмотря на видимые изменения во внешности, ссутулившуюся спину, быстро седеющие волосы и становившиеся все более изможденными черты лица, выпученные глаза, он до самого конца сохраняет поразительную работоспособность. Правильно считая, что его несломленная энергия – это заслуга усилий Морелля, он при этом все же упускает из виду, в какой степени его сегодняшнее здоровье жило за счет будущего. Профессор Карл Брандт, также принадлежавший к узкому врачебному персоналу Гитлера, заявил уже после войны, что лечение Морелля привело к тому, «что, так сказать, жизненный эликсир был заимствован и израсходован на годы вперед» и Гитлер как бы «ежегодно старел не на год, а на четыре – пять лет» [513]. Это и было причиной его словно бы внезапно наступившего раннего одряхления, превращения в развалину, что выглядело так странно и нелепо на фоне тех лекарственных эйфорий, что он себе создавал.

Поэтому было бы также неверно сводить очевидные явления упадка, кризисы и подобные припадкам приступы Гитлера к структурным изменениям его натуры. Скорее, хищническая эксплуатация возможностей и резервов собственной психики частью перекрывала наличествовавшие элементы, частью усиливала их, но, конечно же, не послужила причиной, как это иногда утверждалось, разрушения его до того совершенно здоровой личности [514]. Спор относительно воздействия содержащегося в некоторых из прописывавшихся Мореллем лекарств стрихнина на этом оканчивается. То же самое можно сказать и по поводу неразрешимого вследствие ситуации с источниками вопроса о том, не страдал ли Гитлер болезнью

Паркинсона (Paralysis agitans), или объясняются ли дрожь в левой руке, сутулость, а также нарушения движений психогенными причинами, – все это представляет собой вторичный, а отнюдь не по-настоящему исторический интерес, ибо это сходное по своему внешнему виду с тенью явление когда-то было мужчиной, теперь же оно бродило с застывшим, подобно маске, выражением на лице по ставке, опираясь на палку, и вовсе не эти изменения придают ему в его последние годы такой захватывающий дух характер, а та его производящая впечатление застылости последовательность, с которой он держался за свои прежние навязчивые идеи и воплощал их в жизнь.

Он был человеком, нуждавшимся во все новых искусственных разрядках; можно сказать, что в определенной степени наркотики и лекарства Морелля заменяли ему старый стимулятор, которым была овация масс. После Сталинграда Гитлер чурается публики и произнесет в последующее время, в общем-то, всего лишь две большие речи. Уже вскоре после начала войны он заметно отступает на задний план, и все пропагандистские старания облечь в миф это его отшельничество не могут все же заменить столь укоренившееся чувство его постоянного присутствия всегда и во всем, то чувство, с помощью которого режим снимал и ставил себе на службу латентный избыток энергии, стихийности и готовности к жертвам. И вот теперь это представление рушится. Насколько редко Гитлер, заботясь о своем ореоле непреклонности, бывает в разрушенных городах, настолько же редко выступает он после поражений, обозначивших перелом в войне, и перед массами, хотя, вероятно, чувствует, что эта боязнь не только отнимает у него власть над душами, но и – в удивительной обратной связи – энергию у него самого. «Все, чем я есть, это только благодаря вам», – бросил он как-то в массы [515] и выразил этим, поверх всех аспектов, касавшихся техники власти, соотношение имеющей силу закона, чуть ли не физической взаимозависимости. Потому что риторические эксцессы, сопровождавшие его жизнь, начиная с первых, еще неуверенных выступлений в пивных залах Мюнхена и кончая тяжелыми, вымученными попытками двух последних лет, всегда служили не только тому, чтобы разбудить чужие силы, но и чтобы оживить свои собственные, и были для него – помимо всех политических поводов и целей – средством самосохранения. В одной из своих последних больших речей он как бы уже заранее объяснит свое бросавшееся в глаза молчание на заключительном этапе величием событий на фронте: «Разве тут требуется от меня много слов?» Но после он будет жаловаться в узком кругу, что не

рискует уже выступать перед десятками тысяч, и скажет, что, наверное, не сможет больше в своей жизни произнести длинную речь. Представление же о конце своей карьеры оратора ассоциировалось у него с понятием конца вообще [516].

С уходом с публичной сцены впервые проявилась и своеобразная слабость Гитлера-руководителя. С первых дней своего восхождения он постоянно утверждал свое превосходство с помощью харизмы демагога и богатства тактических идей, но на этой стадии войны ему нужно было быть на высоте и других требований, предъявляемых к руководителю. Принцип соперничающих инстанций, внутренней борьбы за власть и интриг – весь этот ориентированный на собственную персону и ее господство административный хаос, который инсценировался им вокруг себя в прошедшие годы с такой макиавеллистской ловкостью, теперь, в борьбе с полным решимости противником, оказался неподходящим и явился одной из слабостей режима, ибо расходовал энергию, необходимую для внешней борьбы, в борьбе внутренней и влек за собой, в конечном счете, состояние почти полнейшей анархии. В одной только военной сфере соседствовали друг с другом театры военных действий, находившиеся в компетенции верховного командования вермахта и главного командования сухопутных войск, неупорядоченность особого положения Геринга, перекрывающие все иные компетенции полномочия Гиммлера и СС, неразбериха между дивизиями всех родов сухопутных войск, частями «народных гренадеров», авиапехотными соединениями, войсками СС, а на заключительном этапе еще и частями народного ополчения – фольксштурма – тоже со своими собственными отношениями команды и подчинения – и, наконец, ко всему этому добавлялась подтачиваемая взаимным недоверием связь с войсками государств-партнеров. Столь же запутанной была и управленческая система в оккупированной Европе, рождавшая всякий раз новые формы подчинения – от прямой аннексии через протекторат и генерал-губернаторство до самых разнообразных типов военной и гражданской администрации: едва ли когда-нибудь еще попытка концентрации всей власти в руках одной личности оборачивалась в итоге столь явственно полнейшей дезорганизованностью.

И тем не менее, нет никакой уверенности в том, что Гитлер когда-либо действительно осознавал все пагубные последствия своего стиля руководства: рациональные порядки, структурные целесообразности, вообще любого рода беззатратный авторитет были чужды ему в принципе, и буквально до самых последних дней войны он продолжает вновь и вновь разжигать свары в своем

окружении – из-за ведомств, сфер полномочий и невероятно запутанных вопросов о рангах и званиях. Кое-что говорит за то, что в жажду власти и тщеславие, которые проявлялись в такого рода противоборствах, он верил больше, чем в бескорыстное поведение, потому что они занимали свое прочное место в его картине мира. И прежде всего здесь коренилось его недоверие к специалистам, вот и пытается он вести войну, в максимальной степени отказываясь от сотрудничества с ними – от их совета, от деловых материалов и точных расчетов, – в анахронистическом стиле чуть ли не античного полководца-одиночки. Пытается – и проигрывает.

Особенно наглядно проявилась слабость Гитлера-руководителя в ходе кампании 1943 года, когда у него еще не было стратегического представления об огромных масштабах противоборства. По единодушному свидетельству его окружения, Гитлер чувствовал себя неуверенно, был нерешителен, колебался, а Геббельс прямо говорил о «кризисе фюрера» [517]. Он неоднократно требовал от терзаемого сомнениями Гитлера вернуть утерянную в лишенной какой-либо концепции, раздробившейся войне инициативу путем решительнейшей мобилизации всех резервов. Вместе с назначенным в прошлом году министром вооружений Альбертом Шпеером, Робертом Леем и Вальтером Функом Геббельс разработал планы по значительному упрощению управления, беспощадному снижению личного потребления среди привилегированных слоев, по дополнительному производству вооружений, а также и другие меры, но ему пришлось убедиться в том, что корпус гауляйтеров, высших чинов СА и партийных руководителей давно уже утратил всю свою готовность к самопожертвованию прошлых лет, заменив ее паразитарными барскими замашками. Его речь 18 февраля 1943 года во Дворце спорта, в которой он поставил перед приглашенными сторонниками свои знаменитые десять вопросов, не требовавших ответов и получивших, как он сам писал, «в кавардаке неистовства» общее согласие на тотальную войну, была в первую очередь рассчитана на то, чтобы путем радикализированного призыва к массам сломить сопротивление со стороны озадаченного корпуса высших функционеров, а в то же время и нерешительность Гитлера [518].

Нежелание Гитлера согласиться на дополнительные лишения в обществе в ходе тотального ведения войны в чем-то определялось его реминисценциями, шоковым опытом революционного ноября 1918 года, но в чем-то – и его глубоко укоренившимся недоверием по отношению к инертным, ненадежным массам, в известной мере кажется, будто в таких

реакциях проявляется его догадка, насколько же хрупко и мимолетно его господство и как труден его замысел, по его собственному выражению, «принудить к величию» страшащийся этого немецкий народ. Во всяком случае, Англия смогла вследствие своих военных усилий куда более резко, если сравнивать с рейхом, ограничить комфорт в частной жизни, равно как и привлечь в военную промышленность намного больше женской рабочей силы [519].

Однако колебания Гитлера в вопросе о переходе к тотальной войне следует объяснять также и интригами Мартина Бормана, почувствовавшего в прорыве, предпринятом Геббельсом и Шпеером, не сразу ощутимые угрозы своему собственному положению. Путем приспособленчества, усердия и неутомимо плетущихся интриг он сумел за эти годы выбиться в «секретари фюрера» и, опираясь на эту, казалось бы, непритязательную должность, создать в рамках режима одну из сильнейших властных позиций. Его короткая, приземистая фигура в плохо сидевшей на нем коричневой форме управленца, его всегда внимательное, оценивающее либо даже настороженное выражение крестьянского лица являются постоянным атрибутом картины ставки фюрера. Неясно очерченный круг его полномочий, который он неуклонно расширял, ссылаясь на якобы волю фюрера, обеспечил ему права, действительно сделавшие его «тайным руководителем Германии» [520], в то время как Гитлер выказывал свое удовлетворение тем, что его незаметный секретарь снял с него груз рутинной административно-технической работы. Вскоре Борман стал тем человеком, от кого зависели и уровень полномочий, и благожелательное отношение со стороны фюрера, и назначения и повышения в любой сфере, он хвалил людей, изводил их придирками либо устранял и при всем этом вечно держался молча на заднем плане и постоянно внушал подозрение, что у него наготове всегда на одну лесть больше, чем даже у его самых могущественных антагонистов. Он ревниво контролировал список посетителей, а через него и все контакты Гитлера с внешним миром и, по свидетельству одного наблюдателя, воздвиг вокруг того «настоящую великую китайскую стену» [521].

Его изоляционистские старания не требовали большого труда, поскольку отвечали и возраставшей одновременно потребности в этом самого Гитлера. Как обитатель мужского общежития неизменно жил когда-то во дворцах своей фантазии, так и вынуждаемый ныне к отступлению на всех фронтах полководец создает теперь свои призрачные миры и с упоением квартирует в них. Тяга Гитлера к уходу от реальности обретает с

переломом в ходе войны все более невротические черты, и это ощущается на многочисленных примерах его поведения порою просто с рельефной наглядностью: скажем, в привычке ездить по стране в плотно зашторенном салон-вагоне и преимущественно по ночам, словно спасаясь бегством, или даже при ясной погоде держать окна помещения в ставке, где проходили обсуждения на фронте, закрытыми, а то и плотно зашторенными. Примечательно, что день он начинал с доклада-обзора печати и только потом переходил к ознакомлению с новейшей информацией, а его окружение свидетельствует, что само событие он воспринимал более спокойно, нежели отклик на него, и что реальность воздействовала на него не так сильно, как ее отражение [522]. И выливавшийся все в большей степени в монологи стиль бесед Гитлера, его неспособность выслушивать или воспринимать возражения, а также все сильнее проявлявшаяся потребность в чрезмерно нараставших колонках цифр, его rage du mombre[523], тоже занимают свое место в этом ряду. Еще в конце 1943 года он с презрительной насмешкой отзывается о записке генерала Томаса, где потенциал советских сил по-прежнему оценивается как серьезная опасность, и, не долго думая, запрещает обращаться к нему впредь с записками такого рода [524]. Одновременно он отказывается от поездок на фронт или посещения штабов действующей армии, его последнее пребывание в штабе одной из групп армий датировано 8 сентября 1943 года [525]. И многие вызывающе ошибочные решения вытекали именно из незнания действительности, потому что значки, обозначавшие на карте армии и дивизии, не несли никаких сведений о климате, степени измотанности или психических резервах, и в удивительно странной атмосфере зала, где проходили обсуждения обстановки на фронте, лишь изредка могли звучать реалистические данные о состоянии вооружения войск или тыловом обеспечении. Сохранившиеся стенограммы свидетельствуют, помимо того, и о некритической готовности высших чинов к приспособленчеству, о том беззастенчивом угодничестве, которое, особенно после ухода Гальдера, определяло климат этих встреч, так что в конечном счете все обсуждения положения могли теперь именоваться «показушными положениями», как на жаргоне ставки фюрера назывались приукрашенные доклады об обстановке, делавшиеся в присутствии государственных деятелей из стран-союзниц. Попытка Шпеера как-то свести Гитлера с более молодыми офицерами-фронтовиками не увенчалась успехом, равно как и намерение побудить его посетить города, подвергшиеся интенсивной бомбежке; напрасными оказались в этом плане и

усилия Геббельса, апеллировавшего к положительному примеру Черчилля. Когда однажды спецпоезд фюрера по пути в Мюнхен по недосмотру остановился с поднятыми жалюзи рядом с эшелоном, где находились раненые, Гитлер в возбуждении вскочил и приказал персоналу немедленно зашторить все окна [526].

Несомненно, презрение к действительности было в минувшие годы его сильной стороной, оно вознесло его из небытия, равно как и обеспечило ему цепь государственных триумфов и, пожалуй, какую-то часть военных успехов. Но теперь, когда страница перевернулась, неуважение к реальности возводило в степень последствия каждого его поражения. И после случавшихся и неизбежных столкновений с действительностью вновь стали звучать старые сетования, что политиком он стал вопреки своему желанию и что ему тяжело носить серый мундир, который держит его на расстоянии от планов самоувековечивания в области культуры. «Жаль, – говорил он тогда, – что из-за этого пьянчуги(Черчилля) приходится вести войну, вместо того, чтобы служить мирным делам, скажем, искусству», а ему так хотелось бы побывать в театре или в «Винтергартене» в Берлине «и снова быть человеком среди людей». Порой он говорил с горечью, что вокруг один обман и предательство и что генералитет все время вводит его в заблуждение, и все безудержнее звучал непривычный тон плаксивой мизантропии: «только и делают, что обманывают» [527]942/43, S. 336.].

Один из тех, кто знал его раньше, пришел, внимательно наблюдая за ним еще в двадцатые годы, к выводу, что Гитлеру необходимо самообольщение, чтобы он вообще был в состоянии действовать [528]. Недостаток решимости и полная летаргия требовали от него конструирования грандиозных призрачных миров, на фоне которых все препятствия становились незначительными, а все проблемы – тривиальными; способен действовать он был только благодаря своего рода мании мистификации. Черта фантастического перенапряжения, окружающая его личность, имеет своим истоком именно эту нарушенную связь с реальностью; только ирреальное содержание делало его реалистом. В своих высказываниях в рамках своего окружения, даже в усталых, бесцветных выступлениях на последнем этапе войны его голос постоянно оживал тогда, когда он говорил об «огромных задачах», «гигантских замыслах» будущего – они и были его реальной действительностью [529].

Чудовищная перспектива открывалась ночной компании за столом, когда он позволял ей «заглянуть через боковые двери в рай», – гибель и преображение целого континента путем массовых

уничтожений, широкомасштабных акций по переселению, процессов ассимиляции и нового передела опустевших пространств; речь шла о сознательном разрушении прошлого этой части света и ее переделке по лишенным исторической почвы чертежам. Верный склонности своего интеллекта, Гитлер вращался в не имевшей измерений обстановке, перед его устремленным в вечность взором съеживались столетия, мир становился маленьким, и от Средиземного моря оставался, как он как-то сказал, один «рассол» [530]. Наивный век на этом кончался – наступало тысячелетие нового, заверенного наукой и художественным озарением познания. Его центральной идеей было избавление мира от многовековой болезни в эсхатологическом противоборстве чистой и неполноценной крови.

Свою миссию он видел в том, чтобы создать для чистой крови имперский базис – великий рейх во главе с Германией, охватывающий подавляющую часть Европы, а также обширные районы Азии, рейх, который через сто лет станет «самым сплоченным и самым колоссальным блоком мощи», какого еще не бывало [531]. В противоположность Гиммлеру и СС Гитлер был свободен от каких-либо псевдоромантических представлений о Востоке; «лучше я пойду пешком во Фландрию», – заявлял он и сетовал на судьбу за то, что она вынудила его в целях завоевания пространства пойти в восточном направлении. Россия – это «ужасная страна… конец света»; мысленно он ассоциировал ее с дантовским адом. «Только рассудок заставляет нас идти на Восток» [532].

Покорялся же и создавался этот блок мощи, представлявший собой бастион агрессивной мессианской идеи избавления, народом господ, в подавляющей степени единым в расовом отношении, народом, который Гиммлер эмфатически называл «человечеством ариев-творцов атлантическо-арийско-нордического рода» [533]. Оно возникало из панорамы борьбы за жизнь, культа крови и расового угара, его появление было надеждой смертельно зараженного мира, а его господство возвещало наступление «истинно золотого века». Строгая социальная иерархия, которую оно осуществляло, предусматривала наличие трех слоев: выпестованную борьбой национал-социалистическую «знать», широкую элиту членов партии, образующую как бы «новое среднее сословие», и позади них – «огромную массу безымянных… коллектив прислуживающих, вечно несовершеннолетних», как следовало из объяснений Гитлера, но все эти три слоя были призваны властвовать «над слоем покоренных чужеплеменников… мы

сможем спокойно назвать их слоем современных рабов» [534]. И сколь бы ничтожной ни была убедительность этого проекта в интеллектуальном отношении, он имел – по меньшей мере, в глазах идеологов и пропагандистов национал-социализма – очарование некоего идеального строя. Как коммунизм провозглашал утопию последовательного равенства в обществе, так и здесь имела место утопия последовательной иерархии общества; только историческое предназначение господства одного класса заменялось тут «естественным» предназначением господства одной расы.

Согласно каталогу масштабных мер по восстановлению нарушенного естественного порядка, начало которому было положено еще в предвоенные годы приказом по СС о браках и системой пунктов отбора Главного управления СС по делам расы и переселений, в захваченных восточных областях осуществлялся теперь ряд новых, более широких и более радикальных начинаний. Гитлер и экзекуторы нового порядка вновь исходили из сочетания позитивных и негативных мер и связывали отбор хорошей крови с искоренением тех, кто был расово неполноценным. «Они посыплются, как мошкара», – говорилось в одной широко распространенной агитационной брошюре СС, а из монологов Гитлера встала картина, как он сам говорил, биологического «процесса очищения от навоза», от всего инородческого «отребья», с последующей германизацией [535].

Как и обычно, его энергия проявляется с наибольшей силой в разрушении. 7 октября 1939 года он секретным указом назначил рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера «рейхскомиссаром по укреплению немецкой народности» (РФК) и поручил ему, наряду с «очищением почвы», подготовить восточные территории к осуществлению широкомасштабной программы их нового заселения. Правда, вскоре и в этой сфере наступила та неразбериха полномочий и планов, которую режим порождал повсюду, за что бы он ни брался. Покоренные восточные территории так и не поднялись выше уровня экспериментальных полигонов для преисполненной дилетантских починов идеи расового отбора, и далее нескольких неудавшихся наметок нового строя дело тут и не пошло.

Что же касается уничтожения, то здесь режим развернул невиданную динамику. Уже сам многозначительный лексикон, описывавший то, что происходило, показывает, насколько эта активность отвечала самой сути и назначению режима, ибо именовалась она «всемирно-исторической задачей», «славной страницей нашей истории», «высшим испытанием», благодаря которому исполнители воспитывались в духе нового героизма и

душевной черствости: «Во многих случаях куда легче, – заявлял Гиммлер, – идти с ротой в бой, чем подавлять с той же ротой в каком-нибудь районе сопротивляющееся население с низким уровнем культуры, производить экзекуции, вывозить людей, убирать воющих и плачущих женщин… (осуществлять же) это «так надо», эту деятельность, быть форпостами мировоззрения, быть последовательными, быть бескомпромиссными – вот это в некоторых случаях много, много трудней» [536]. Речь идет, так определял он свое задание, в первую очередь о «совершенно ясном решении» еврейского вопроса, решении о «полном исчезновении этого народа с лица Земли». Но поскольку большинство немецкого населения еще не обладало расово просвещенным сознанием, то СС «решали это за наш народ, (мы) взяли ответственность на себя… и унесем потом тайну с собой в могилу» [537].

До сего дня так и остается невыясненным, когда же было принято Гитлером «окончательное решение», поскольку соответствующих документов не существует. Но по всей видимости, он раньше, чем даже его ближайшее окружение, понял такие слова как «устранение» или «искоренение» не только как метафоры, но и как акт физического уничтожения, потому что мысли не пробуждали у него страхов: «И здесь, – писал Геббельс, не скрывая своего восхищения, – фюрер тоже непоколебимый поборник и сторонник радикального решения». Еще в начале тридцатых годов Гитлер в узком кругу выдвигал требование о выработке «техники депопуляции» и подчеркивал при этом, что имеет в виду ликвидацию целых народов: «Природа жестока, поэтому мы должны быть такими же. Если я пошлю цвет немецкой нации в стальную грозу грядущей войны, не испытывая даже малейшего сожаления о проливающейся драгоценной немецкой крови, то разве не будет у меня права ликвидировать миллионы представителей неполноценной, размножающейся подобно насекомым расы» [538]. Даже примененный впервые в декабре 1941 года в старом уединенном замке в лесу под Кульмхофом метод уничтожения жертв отравляющим газом следует отнести на счет собственного опыта Гитлера в первую мировую войну; во всяком случае, в «Майн кампф» есть пассаж с его сетованиями насчет того, что хорошо было бы тогда «двенадцать или пятнадцать тысяч этих еврейских совратителей народа подержать вот так под отравляющими газами», как это испытали на фронте сотни тысяч немецких солдат [539]. Но в любом случае «окончательное решение», когда бы ни было оно принято, не имело ничего общего с обострением военной обстановки. И значило бы грубейшим образом исказить всю суть

целеустремлений Гитлера, интерпретируя бойню на Востоке как выражение его возраставшей злости на ход войны, как акт мести старому символическому врагу; скорее, она объяснялась неумолимой последовательностью гитлеровского мышления и была с этой точки зрения просто неизбежной. Обсуждавшийся одно время в Главном управлении СС по делам расы и переселений, а также в Министерстве иностранных дел план по превращению острова Мадагаскар в своего рода гетто для примерно пятнадцати миллионов евреев противоречил намерениям Гитлера в самом решающем пункте. Ибо коль скоро еврейство действительно, как он постоянно заявлял и писал, было главным носителем инфекции великой болезни мира, то не имело смысла создавать для него какую-то резервацию, а следовало уничтожить его как биологическую субстанцию.

Уже в конце 1939 года прошли первые депортации в гетто генерал-губернаторства, но конкретное решение Гитлера о массовых истреблениях было принято, очевидно, в период активной подготовки к походу на Россию. Речь 31 марта 1941 года, познакомившая широкий круг высших офицерских чинов со «спецзадачами» Гиммлера в прифронтовом тылу, представляет собой первое наглядное доказательство наличия плана массовых умерщвлений. Два дня спустя Альфред Розенберг после двухчасовой беседы с Гитлером не без оттенка ужаса поверяет своему дневнику: «То, что я не хочу сегодня записывать, но никогда не забуду». Наконец, 31 июля 1941 года Геринг даст шефу СД Рейнхарду Гейдриху указание о «желательно окончательном решении еврейского вопроса» [540].

Для всех этих событий с самого начала характерно то, что их стремились засекретить. Бесконечные эшелоны, везшие с начала 1942 года систематически учитываемое и сгоняемое вместе еврейское население, шли без указания станций назначения, в сознательно распространявшихся слухах говорилось о вновь построенных, чудесных городах на завоеванном Востоке. Самим «командам смерти» постоянно давались по поводу их действий самые разные оправдательные объяснения, и евреи изображались то инициаторами сопротивления, то носителями эпидемий – кажется, даже идеологическим гвардейцам национал-социализма были не по плечу практические выводы из их собственного мировоззрения. Бросающееся в глаза молчание самого Гитлера только подтверждает это предположение. Потому что за все эти годы не встречаешь – ни в «Застольных беседах», ни в речах, ни в документах или воспоминаниях очевидцев – ни единого конкретного указания на практику истребления[541][542]; Никто не может сказать, как реагировал Гитлер на донесения

«айнзацгрупп», затребовал ли он или видел ли фильмы и фотографии и вмешивался ли в события своими инициативами, похвалой или порицанием. Тому же, кто помнит, что вообще все, что его занимало, он имел обыкновение превращать в громогласные речи и никогда не делал секрета из своего радикализма, своей вульгарности и своей готовности идти на самые крайние меры, такое молчание о главном деле его жизни – спасении мира – покажется еще более странным. Можно строить какие-то предположения по поводу мотивов, которыми он тут руководствовался, – его мания засекречивания всего и вся, остатки буржуазной морали, стремление толковать события абстрактно и не ослаблять аффект наглядностью происходящего, – но все равно смущает сама картина спасителя, скрывающего свое деяние по спасению где-то глубоко в тайниках своего сердца. Из всей руководящей верхушки режима только Генрих Гиммлер присутствовал однажды в конце августа 1942 года при одной массовой экзекуции, да и то почти потерял при этом сознание, а потом бился в истерике [543]. Бюрократия СС изобрела в конечном счете свой собственный эрзац-язык, где фигурировали «выселение», «спецобращение», «чистка», «перемена местожительства» и «естественное сокращение». А в реальности это выглядело так:

> «Менникес и я пошли прямо к ямам. Нам никто не мешал. Теперь я слышал звучавшие один за другим в быстрой последовательности выстрелы из-за земляного холма. Сошедшие с грузовиков люди – мужчины, женщины и дети всех возрастов – должны были по требованию эсэсовца, державшего в руке плетку для лошадей или собак, раздеться догола и сложить свою одежду, обувь, верхнее и нижнее белье – все раздельно – в определенных местах. Я видел гору обуви – примерно восемьсот или тысячу пар – , огромные груды белья и одежды. Эти люди раздевались без крика и плача, стояли семейными группами, целовались, прощаясь друг с другом и ожидая знака другого эсэсовца, который стоял у ямы и тоже держал в руке плетку. На протяжении четверти часа, что я стоял у ям, я не слышал никаких стенаний или просьб о пощаде. Я наблюдал за одной семьей, их было человек восемь… Старая женщина с седыми волосами держала на руках годовалого ребенка, что-то ему напевала и щекотала его. Ребенок закатывался от удовольствия. Супружеская пара со слезами на глазах смотрела на него. Отец держал за руку

мальчика лет десяти и что-то тихо говорил ему. Мальчик изо всех сил старался сдержать слезы. Отец указывал пальцем на небо, гладил его по голове и, кажется, что-то ему объяснял. Тут эсэсовец у ямы крикнул что-то своему товарищу Тот отделил человек двадцать и велел им идти за холм Семья, о которой я говорил, тоже была в их числе. Я еще отлично помню, как одна девушка, черноволосая и стройная, проходя мимо меня, показала на себя рукой и сказала: «Двадцать три года!» Я обошел холм и оказался перед огромной ямой. В ней вплотную друг к другу лежали люди, так что видны были только их головы. Почти со всех голов на плечи стекала кровь. Часть расстрелянных еще шевелилась. Некоторые поднимали руки и крутили головой, чтобы сказать, что они еще живы… Я оглянулся на того, кто стрелял. Этот человек, эсэсовец, сидел на краю ямы на вынутом грунте, опустив ноги в яму и положив автомат на колени, и курил сигарету. Совершенно нагие люди спускались по земляным ступенькам, вырытым по склону ямы, вниз, перелезали через головы лежащих к тому месту, которое было им указано эсэсовцем. Они ложились впереди убитых или раненых людей, некоторые гладили еще живых и что-то тихо говорили им. Потом я услышал автоматную очередь. Я посмотрел в яму и увидел, как еще вздрагивают тела или уже недвижно лежат головы на лежащих перед ними телах. Из затылков струилась кровь»[544].

Такой была действительность. Но благодаря цепи высокоорганизованных фабрик смерти работа по уничтожению постепенно стала в значительной степени укрываться от глаз населения, рационализироваться и переводиться на использование отравляющих газов. 17 марта 1942 года начал функционировать лагерь Бельжец с «мощностью умерщвления» в 15 000 человек в день, в апреле – Собибор на границе с Украиной (20 000 человек), затем Треблинка и Майданек (примерно 25 000), а также вершина всего – Освенцим (Аушвиц), ставший «крупнейшим во все времена сооружением для уничтожения людей», как сказал о нем не без налета идиотской гордости уже во время следствия его комендант Рудольф Хесс; весь процесс умерщвления, начиная с селекции поступивших людей и их отравления газом и до уничтожения трупов и оценки оставшихся вещей, был здесь отработан до безукоризненной системы последовательных, взаимодополняющих операций. Уничтожение

проводилось спешно, с возрастающим ускорением, «чтобы не получилось, что в один из дней все застопорится», как заявил фюрер СС и начальник полиции Люблина Одило Глобочник [545]. Многочисленные очевидцы опишут ту обреченность, с которой шли на смерть люди: в Кульмхофе свыше 152 000 евреев, в Бельжеце – 600 000, в Собиборе – 250 000, в Треблинке – 700 000, в Майданеке – 200 000, а в Освенциме – свыше 1 000 000 человек. Помимо этого, продолжались и расстрелы. По оценкам Главного управления имперской безопасности, уничтожению подлежали примерно одиннадцать миллионов евреев [546], убиты были свыше пяти миллионов.

Гитлер и его комиссары по «жизненному пространству» рассматривали ВостокЕвропыпойдет теперь уже не в Америку, а на Восток, и «самое позднее через десять лет он желал бы получить известие о том, что в… восточных областях живут по меньшей мере двадцать миллионов немцев» [547].

«Огромный пирог» будет разделен на четыре «рейхскомиссариата» (Остландия, Украина, Кавказ, Московия). Бывший когда-то ведущим идеологом партии Альфред Розенберг, постоянно переигрываемый другими и болтавшийся без дела в минувшие годы, прежде чем стать теперь «рейхсминистром по делам оккупированных восточных территорий» и вернуть себе былое признание, безуспешно ратовал за разделение Советского Союза на политические автономии народностей, но Гитлер уже видел в этом опасные зачатки новой, легитимированной этнически или исторически государственности, а вся задача как раз и заключается в том, считал он, чтобы «избегать любой государственной организации и держать представителей этих народностей на максимально низком культурном уровне»; он даже готов, как он заявлял, предоставить этим народам определенную индивидуальную свободу, потому что всякая свобода отбрасывает назад, поскольку она отрицает высшую форму организации людей – государство [548]. С неизменным увлечением он то и дело рисует себе детали своей имперской мечты наяву: как германские господа и славянские народы-рабы совместно наполнят гигантское восточное пространство деловой активностью, не забывая при этом всемерно сохранять расово обусловленную классовую дистанцию между собой. Перед его взором возникают немецкие города со сверкающими губернаторскими дворцами, вздымающимися ввысь храмами культуры и административными строениями, тогда как поселения туземцев должны будут выглядеть непритязательно и ни в коем случае не иметь «каких-либо удобств или тем более украшений»;

даже «глиняная штукатурка» или соломенные крыши не должны быть одинаковыми, считал он. Славянскому населению не следует давать хорошего образования, в лучшем случае, пусть они знают значение дорожных знаков, название столицы рейха да несколько слов по-немецки, а вот, скажем, учить арифметике их не нужно; совершенно правильно, сказал он как-то, генерал Йодль высказал свое недовольство плакатом, запрещавшим на украинском языке выход на проезжую часть улицы, – ведь «задавят одним местным жителем меньше или больше, это нас волновать не должно» [549]. В своих макиавеллистских потугах на остроумие, чему он охотно предавался в минуты разрядки, он бросил как-то раз замечание, что лучше всего было бы научить славянские народности «только языку жестов», а по радио передавать для них только то, «что им доступно: музыку без конца… (Потому что веселая музыка стимулирует работоспособность)». Любую заботу о здоровье, любую гигиену он считает «чистейшим бредом» и рекомендует распространять суеверие, «что прививки и все такое прочее – весьма опасная вещь». Когда в одной памятной записке он встретил предложение запретить в оккупированных областях распространение и употребление средств по прерыванию беременности, то возмутился до готовности «лично расстрелять… этого идиота». Напротив, ему кажется, что необходимо стимулировать «широчайшую торговлю противозачаточными средствами», и, снова шутя, добавил: «Только сперва, пожалуй, придется позвать на помощь еврея, чтобы быстро наладить это дело» [550].

Система широких дорог и подъездных путей («начало начал всякой цивилизации») – вот что сделает страну управляемой и поможет эксплуатировать ее природные богатства. Среди любимых идей Гитлера было строительство железной дороги на Донбасс с шириной колеи в четыре метра, по которой будут мчаться в том и другом направлении двухэтажные поезда со скоростью двести километров в час. Узловые пункты главных магистралей станут центрами кристаллизации городов, выполняющих роль опорных пунктов для крупных подразделений мобильных войск и находящихся в середине окружности радиусом в тридцать-сорок километров, которая образуется «кольцом прекрасных деревень» с по-настоящему сельским населением. В своем меморандуме от 26 ноября 1940 года Гиммлер уже изложил директивы по сельскому строительству на захваченных польских территориях и установил при этом иерархию среди немецких поселенцев – от простого сельскохозяйственного рабочего до представителя «местного руководства» – так же педантично, как и обустройство сел и

дворов («о толщине стен… менее 38 см не может быть и речи»), равно как и прежде всего их «озеленение», которое должно будет способствовать выражению унаследованной любви немецких племен к деревьям, кустам и цветам и придаст ландшафту в целом немецкий облик: посадка деревенских дубов и деревенских лип является поэтому столь же необходимой, как и подведение «к строениям линий электропередач… в максимально незаметной форме» [551]. Та же романтическая идиллия планировалась и в предназначенных для военных поселенцев областях России: небольшие боевые поселенческие формирования должны будут жить во враждебном окружении и утверждать себя в этой первобытной ситуации перманентной борьбы за жизнь.

А между тем вскоре стало оЕвропыи из-за океана, а также увешанные наградами участники войны и эсэсовцы: Восток принадлежит охранным отрядам, – заявил начальник Главного ведомства по делам расы и поселений (РУСХА) Отто Хофман. Однако, по расчетам плановиков, из них не набиралось даже пяти миллионов новых поселенцев; и если даже предположить чрезвычайно благополучные обстоятельства, говорилось в памятной записке от 27 апреля 1942 года, то «можно будет рассчитывать на количество в восемь миллионов немцев в этих районах примерно через тридцать лет» [552]. Кажется, тут впервые и начала распространяться определенная агорафобия.

Решить неожиданно возникшую дилемму был призван целый набор различных мер. Так, была идея «вновь пробудить в немецком народе тягу к поселению на Востоке» и разрешить полноценным в расовом отношении народам-соседям участвовать в колонизации Востока. В меморандуме Розенберга рассматривалось его заселение не только датчанами, норвежцами и голландцами, но и «после победного окончания войны также англичанами». Все они станут «звеньями рейха», заверил Гитлер и выражал мнение, что этот процесс будет иметь такое же значение, как и объединение сто лет назад нескольких немецких государств в единый Таможенный союз[553][554]. Одновременно, как это представлялось в памятной записке министерства по делам восточных территорий Розенберга, из сорока пяти миллионов жителей российского Запада тридцать один миллион должен будет принудительно переселен в другую страну либо уничтожен, затем были также идеи о введении соперничающих сект, а если и этого будет недостаточно, то, как считал Гитлер, нужно будет из служащих опорными пунктами городов-хозяев «бросить тогда парочку бомб на их города – и вопрос решен» [555].

Главнейшие же надежды связывались с мерами, которые должны были восстановить хорошую кровь. Сам Гитлер не раз

сравнивал свою деятельность в период так называемого времени борьбы с действием магнита, который вытягивал из немецкого народа «всякий металлический, содержащий железо элемент». «Так же должны мы поступать и теперь, сооружая новый рейх, – заявил он в ставке в начале февраля 1942 года. – Где бы в мире ни находилась германская кровь, мы берем то, что хорошо, себе. С тем, что останется после этого у других, против германского рейха они не выступят» [556]. Уже в Польше так называемые «расовые комиссии» проверяли многих отобранных лиц на их «немецкий дух» и, если он соответствовал требованиям, переселяли их, чтобы окончательно онемечить, в Германию, причем без всяких церемоний отбирались – даже главным образом – и несовершеннолетние. В будущем, как заявил однажды за ужином в Растенбурге Гиммлер, во Франции будет ежегодно организовываться «ловля крови неводом», он же предлагал отсылать захваченных таким путем детей в немецкие интернаты, где они должны будут узнать, что их принадлежность к французской нации случайна, и где им помогут осознать их германскую кровь. «Потому что мы получим хорошую кровь, которую сможем использовать, и введем ее в наш обиход, или же – вы, господа, можете назвать это жестокостью, но ведь природа жестока, – мы уничтожим эту кровь» [557].

И за этими соображениями о «расширении базиса крови» тоже виден был старый страх перед вымиранием арийца, перед тем вторым «изгнанием из рая», о котором писал Гитлер в «Майн кампф» [558]. Но, мечтал он, если удастся сохранить рейх «в расовом отношении на высоте и в чистоте», то он обретет твердость кристалла и будет неуязвим. Тогда вновь вступят в свои права сила сильного, отвага и варварское насилие, падут все эти лжерелигии, проповедующие разум и гуманизм, и восторжествует нарушенный природный порядок. Будучи «самым прожорливым хищником мировой истории» [559], национал-социализм имеет на своей стороне и ее самое, и ее предзнаменования, считал он. А в своем на удивление исковерканном осознании реальности, когда собственные видения представлялись ему явью, он видел, как в восточных «рассадниках германской крови» уже через несколько лет вырастет столь желанный тип нового человека, вырастут «натуры истинных господ», «вице-короли», как восторженно говорил он [560].

Одновременно он поощряет предпринимавшиеся главным образом Гиммлером и Борманом усилия по созданию нового законодательства о браке. Те в своих рассуждениях исходили из того, что после войны нужда в приросте населения, скорее всего, еще более возрастет, поскольку три-четыре миллиона женщин

останутся незамужними, а этого, заметил Гитлер, если пересчитать на дивизии, «наш народ просто не вынесет». Чтобы дать этим женщинам возможность иметь детей, а «порядочным, волевым, физически и психически здоровым мужчинам» предоставить одновременно удобный случай усиленно размножаться, был специально разработан порядок ходатайств и отбора, который имел своей целью обеспечить возможность «вступления в прочные брачные отношения не только с одной женщиной, но и еще с одной». Эти изложенные Борманом в его меморандуме представления были дополнены Гиммлером, который, к примеру, предлагал закреплять привилегированное положение первой жены ее титулом «Domina» (настоятельница), а право вступления во второй брак предоставлять сначала «как высокую награду героям войны, кавалерам золотого «германского креста», а также «рыцарского креста». Позднее можно будет распространить это право «на кавалеров «железного креста» первой степени, а также на тех, кто имеет серебряный или золотой знак участника рукопашных боев», потому что, как любил говорить Гитлер, «лучшему воину достается самая красивая женщина… Если немецкий мужчина-солдат готов безоговорочно умирать, то он должен тогда иметь и свободу безоговорочно любить. Борьба и любовь ведь всегда были связаны друг с другом. Пусть обыватель радуется, получив то, что ему останется» [561]. Особенно же эти соображения обсуждались и совершенствовались в рамках руководства СС, так, например, там обдумывали возможности рационального использования половой потенции; брак, в котором свыше пяти лет не было детей, государству придется расторгнуть, а, кроме того, «все незамужние и замужние женщины, если у них нет четверых детей, обязаны до достижения возраста в тридцать пять лет, произвести с безупречными в расовом отношении немецкими мужчинами четверых детей. Являются ли эти мужчины женатыми или нет, не играет при этом никакой роли. Каждая семья, уже имеющая четверых детей, должна отпускать мужа для этой акции» [562].

Но заселение Востока задумывалось еще и как решение спорных национальных и этнических вопросов в Европе. Крым, например, считавшийся для планов заселения предпочтительным объектом, должен был быть, как однажды заявил Гитлер, «полностью очищен» и стать под старым греческим названием «Таврия» либо «Готенланд»[563] составной частью территории рейха, Симферополь будет именоваться Готенбургом, а Севастополь – Теодерихсхафеном[564][565]. Один из планов предусматривал превращение этого благодатного полуострова, притягивавшего к себе в течение столетий скифов и гуннов, готов

и татар, в «огромный немецкий курорт», а по другим соображениям – в «немецкий Гибралтар» для владычества на Черном море. В качестве поселенцев тут рассматривались живущие в румынском Заднестровье 140 000 «фольксдойче», одно время в памятных и деловых бумагах фигурировали и 2 000 немцев из Палестины, но главным образом в фантазиях об установлении нового порядка в этом регионе речь шла о населении Южного Тироля. Гитлер считал предложение гауляйтера Фрауенфельда, назначенного генеральным комиссаром Крыма, о том, чтобы переселить всех жителей Южного Тироля на этот полуостров, «чрезвычайно удачным»; «он полагает также, что в климатическом и ландшафтном отношении Крым вполне подходит для людей из Южного Тироля. Кроме того, этот полуостров – по сравнению с нынешним районом расселения южных тирольцев – это земля с молочными реками и кисельными берегами. Переселение южных тирольцев в Крым не представит особых трудностей ни в физическом, ни в психологическом плане. Им нужно будет всего-навсего спуститься вниз по немецкой реке Дунаю – и вот они уже тут» [566]. У Фрауенфельда было еще и намерение построить на плато Яйла[567] новую крымскую столицу.

Однако, хотя в начале июля 1942 года уже вышла директива фюрера об эвакуации русского населения Крыма, все планы по его новому заселению заблудились в неразберихе компетенций и военных событий. Только в расположенной между Чудским и Онежским озерами Ингрии (Ингерманландии), которая рассматривалась как первая территория для заселения, поскольку, по мнению специалистов по «жизненному пространству», тут сохранился еще относительно сильный элемент германского населения, дело дошло до крупной переселенческой акции. В начале 1942 года финскому правительству было сообщено, что оно может получить назад «своих «ингерийцев», и, действительно, до весны 1944 года, когда эта область была вновь утрачена, отсюда было выселено около 65 000 человек. И тут на примере единичного случая был продемонстрирован весь порочный характер химер нового порядка в целом: решалась несуществовавшая на самом деле проблема меньшинств, а в Финляндии создавалась новая [568].

Экспансионистская воля Гитлера устремилась, однако, не только на Восток. Хотя он не раз, вплоть до самой войны, уверял, что у него нет целей для завоеваний на Западе, тем не менее, это его благое намерение столкнулось вскоре с его неспособностью возвращать назад то, что уже попало в его руки. Никто не

поставит ему в укор, полагал он, если он «встанет на такую точку зрения: Кто имеет – имеет! Ибо тот, кто отдаст назад то, что у него есть, совершает прегрешение, поскольку возвращает с трудом завоеванное, будучи более сильным на этой земле. Ведь Земля – это переходящий кубок, и поэтому она всегда стремится попасть в руки более сильного. На протяжении тысячелетий все на этой земле тянут туда-сюда» [569].

Его замыслы вышли вскоре за рамки всех военных целей, как те формулировались в требованиях «фелькише» или пангерманцев, видевших в своих мечтах «Великогерманский рейх немецкой нации». Теперь этот рейх охватывал почти весь европейский континент, образуя унифицированно организованную, тоталитарную и автаркическую в экономическом отношении империю, чьи отдельные звенья держались в разных формах зависимости и служили собственным амбициям мирового господства: «Старая Европа изжила себя», – заявил Гитлер в беседе со словацким президентом Тисо, он видел Германию в ситуации Рима непосредственно перед его победой над государствами латинян, говорил он и о «хламе мелких государств», который собирался устранить [570]. Наряду с Америкой, Британской империей и основанной Японией Великой Восточной Азией Европа с рейхом во главе станет четвертой из тех экономических империй, которые, по его мысли, разделят между собой мир в будущем. В течение столетий, говорил он, проблемы перенаселенности Старого света удавалось решать или хотя бы затушевывать с помощью заморских владений, но с предстоящим концом колониальной эпохи выходом тут может быть только слабо заселенный Восток: «Если Украиной управлять европейскими методами, – уверял Гитлер, – то из нее можно будет выжать в три раза больше. Мы могли бы неограниченно обеспечивать Европу тем, что там производится. Восток имеет все в беспредельных количествах: железо, уголь, нефть и землю, на которой можно выращивать все, в чем нуждается Европа: зерно, подсолнечник, каучук, хлопок и т. д.» [571]

Еще в своей так называемой «Второй книге» Гитлер в 1928 году выразил мнение, что этаЕвропы как они были, например, выражены в апреле 1941 года французской стороной, он воспринимал как дерзость и не удостаивал даже ответа. Правда, иной раз он охотно отклонял идею нации во имя «более высокого понятия расы»: «Оно (понятие расы) растворяет старое и дает возможность новых соединений, – заявлял он. – С понятием нации Франция несла свою великую революцию через границы. С понятием расы национал-социализм пронесет свою революцию до установления нового порядка в мире» [572]. На деле же он

оставался узким националистом XIX века, так никогда и не сумевшим преодолеть свою прежнюю зашоренность и неотрывно прикованным к связанным с идеологией «фелькише» аффектам самоутверждения поры своей молодости. Даже после первых крупных поражений на всех фронтах, когда хотя бы из тактических соображений следовало противопоставить Атлантической хартии противника «Европейскую хартию держав оси» [573], он остался на той же жесткой позиции национализма народа-господина и, боясь, как бы его не заподозрили в проявлении слабости, отвергал тут любые уступки. Ведь будущая Европа виделась ему не чем иным, как расширившимся в результате крупных аннексий рейхом, стоящим в центре венка послушных государств-карликов и преследующим вместе с осуществлением своей исторической миссии и дело собственной выгоды. Сразу же вслед за кампанией во Франции был при его личном участии выработан проект урегулирования границ на Западе, согласно которому территория рейха включала в себя Голландию, Бельгию и Люксембург и простиралась до берегов Фландрии: «Ничто на свете не заставит нас отказаться от завоеванной в Западной кампании… позиции у Ла-Манша», – заявил он., Оттуда новая граница проходила «примерно от устья Соммы, на восток вдоль Парижского бассейна и Шампани до Аргонн, затем поворачивала на юг и шла далее через Бургундию и западнее франш-Конте до Женевского озера» [574]. Детальные экспертизы и меры по онемечиванию должны были оправдать эти приобретения исторически, для Нанси было предусмотрено имя Нанциг, Безансон должен был именоваться Бизанцем.

И из Норвегии, как полагал Гитлер, он тоже «уже никогда не уйдет»; он собирался сделать Тронхейм немецким городом с 250 000 жителей и крупной военной гаванью и дал уже в начале 1941 года соответствующие задания Альберту Шпееру и командованию военно-морского флота. Создание такого рода опорных баз для обеспечения безопасности морских путей планировалось вдоль атлантического побережья Франции, а также в Северо-Западной Африке, тогда как Роттердаму предусматривалась роль «крупнейшей гавани германского региона» [575]. Были мысли и о том, чтобы организовать экономику побежденных стран по образцу немецкой промышленности и с учетом ее интересов, сравнять заработную плату и прожиточный минимум с условиями в Германии, урегулировать проблемы трудоустройства и производства в масштабах континента и перераспределить рынки. Внутренние границы Европы скоро утратят свое значение, писал один из идеологов нового порядка, «за исключением альпийской границы, где встречаются Германская империя Севера и Римская

империя Юга» [576].

Над этой гегемонистской панорамой поднимались помпезные декорации, чьи гигантские пропорции служили напоминанием о величии режима и наполняли его самого трепетом. В центре панорамы возвышалась столица мира Германиа, с которой, по замыслу Гитлера, могли равняться разве что метрополии античных империй, «древний Египет, Вавилон или Рим… а что такое Лондон, что такое Париж по сравнению с ними?» [577] И вокруг этого центра, от мыса Нордкап и до Черного моря, простиралась плотная система гарнизонов, партийных замков, храмов искусства, лагерей и сторожевых башен, под сенью которых племя людей-господ отправляло культ арийской крови и выращивало нового богочеловека. В области с неполноценной кровью, например, в Баварский лес или в Эльзас и Лотарингию, Гитлер собирался перевести формирования СС и «с их помощью позаботиться об освежении крови местного населения» [578]. Следуя своим старым, укоренившимся пристрастиям, он связывал видение Новой Европы с мифом смерти. Страсбурский собор, когда закончится война и наступит час великой расплаты с церквями, а Папа в своей тиаре и во всем прочем облачении будет повешен на площади Святого Петра, превратится в памятник Неизвестному солдату, а на границах империи, от скалистых мысов на берегах Атлантики и до равнин России, будет сооружен венок из величественных «тотенбургов», крепостей в честь мертвых [579].

Все это было лишенной каких-либо предпосылок и равнодушной к жизненным запросам и правам других народов манией планирования, находившей для себя выход в проектах такого рода и распоряжавшейся судьбами, попирая ногами «народы-выродки», переселяя целые этнические группы или же, как это говорилось в уже упоминавшейся памятной записке министерства по делам восточных территорий, просто «пуская их в расход». Сам же Гитлер воспринимал конструкцию нового порядка как «нечто необыкновенно прекрасное» [580]. Ибо широкие пространства покоренных земель, безбрежные равнины, куда он проецировал свои видения, должны будут избавить людей от индустриального порабощения, от расового и нравственного упадка атмосферы больших городов и вернут их к самым истокам, к утраченной ими жизни предков. Такого рода представления выявляли, опять же, своеобразнейшее коренное противоречие национал-социализма, связь интеллектуального прагматизма с иррациональностью, «ледяной холодности» с приверженностью магии, новых веяний со средневековьем. По асфальтовому миру грядущей империи маршировал

мировоззренческий авангард, задерживаясь то для возрождения «искусства вязания кимвров», то для культивирования корней кок-сагыза, и получая рекомендации насчет того, как при помощи воздержания, пеших маршей и хорошего питания гарантировать производство детей мужского пола. Вся рациональность власти была пронизана неожиданным элементом тривиального фантазирования, углублявшегося со «священной серьезностью» в проблемы, связанные с овсяной кашей и компостными ямами, многолетней рожью и «жировыми отложениями на ягодицах» у женщин примитивных народов или с какой-то служившей разносчиком эпидемий мушкой [581], и изобретавшего, к примеру, некоего «спецуполномоченного рейхсфюрера СС по обеспечению поголовья собак» или «унтерфюрера по борьбе с комарами и насекомыми». И как бы ни издевался Гитлер над всякого рода буколическими взглядами, сам он, странным образом, так и остался подверженным им навсегда. Он верил в такие немыслимые теории как крушение небес, воздействие Луны и «великое обжорство народов», обнаруживал у вислоусых чехов их монгольское происхождение и планировал запретить в будущем Великом рейхе курение и ввести там вегетарианский образ жизни [582].

Сходные противоречия были характерны и для его великой мечты о двухстах миллионах человек, полноценных в расовом отношении хозЕвропыв подчинении по установленному ранжиру, так что те могут «по ту сторону добра и зла вести свое скромное и самодостаточное существование», тогда как избранный народ следует своей исторической миссии и танцует у костра в ночь на Иванов день, почитает законы природы, искусство, равно как и идею величия, и в общедоступных гостиницах движения «Сила через радость» на Британских островах, у фиордов Норвегии или в Крыму находит в веселии фольклорных праздников и музыке оперетт разрядку от тягот своего исторического призвания. Скрепя сердце говорил Гитлер о том, как еще далеко до осуществления этих его видений – понадобится сто или двести лет – и что он, «подобно Моисею, лишь издали увидит эту Обетованную землю» [583].

Череда постоянных поражений начиная с лета 1943 года отодвинула его мечту еще дальше. После неудачного крупного наступления под Курском Советы неожиданно перешли в контрнаступление и, вводя в бой казавшиеся неисчерпаемыми резервы, опрокинули отчаянно сопротивлявшиеся немецкие соединения. На южном участке фронта соотношение сил было один к семи, а на участках групп армий «Север» и «Центр» –

приблизительно один к четырем. К этому прибавилось еще и партизанское войско, поддержавшее по точно согласованным планам советское наступление и разрушившее, например, только в течение августа железнодорожные пути в немецком тылу на двадцати тысячах участков. В начале августа Красная Армия захватила Орел, примерно три недели спустя – Харьков, 25 сентября – Смоленск, а затем и Донбасс. В середине октября она уже была под Киевом.

Не менее фатально развивались в это время события и в Средиземноморье. Несмотря на все увещевания и уступки с немецкой стороны, с началом весны появились неопровержимые признаки того, что Италия находится накануне краха. Муссолини, усталый и больной человек, все в большей степени утрачивал свою власть и превратился в неубедительно жестикулирующую марионетку дергавших его со всех сторон партий. В середине апреля он встретился с Гитлером в Зальцбурге и под давлением своего окружения выразил готовность назвать партнеру по «оси» те условия, на которых Италия будет продолжать войну, в частности, он повторил и требование о заключении мира на Востоке, которое безуспешно выдвигал еще за несколько недель до этого. Но и тут он оказался не в состоянии противостоять гипнотизирующему потоку слов Гитлера; как тот потом резюмировал, дуче по прибытии выглядел «сломленным старцем», а уезжая четыре дня спустя, производил впечатление «воспрянувшего, готового действовать человека» [584].

И уже через три месяца, 19 июля 1943 года, обострившееся положение вновь свело обоих в Фельтре в Северной Италии. За это время союзники захватили Тунис и Бизерту, взяли в плен пополненные – вопреки совету Роммеля – до 250 000 человек войска в Фрица. Никто не может сказать, будет ли грядущее поколение поколением гигантов. Германии понадобилось тридцать лет, чтобы прийти в себя, Рим так и не поднялся. Таков язык истории» [585]. Однако Муссолини и тут промолчал. Манящий зов истории, сохранявший для него такое очарование на протяжении всей его жизни, казалось, уже был столь же не в силах вырвать его из состояния подавленности, как и пробудить в нем простую волю к самоутверждению. И в последующие дни, когда он вернется в Рим, он останется таким же застывшим в своей пассивности, хотя, как и все, он чувствовал, что его вот-вот свергнут. И будучи в курсе намерения заговорщиков лишить его власти и заменить триумвиратом из высшего фашистского эшелона, он тем не менее не воспрепятствовал созыву Большого совета в ночь с 24 на 25 июля. Одного из близких ему людей, посоветовавшему ему в последнюю минуту разгромить заговор,

он попросил помолчать: Молча и словно в изумлении, высидел он и тот пылкий, продолжавшийся в течение десяти часов суд над собой. На следующий вечер его арестовали. Ни один человек за него не вступился. Безмолвно, после столь долгого пароксизма и театрального возбуждения, он и фашизм исчезли из общественной жизни. Назначенный главой правительства маршал Бадольо распустил партию и снял ее функционеров со своих постов.

Хотя нельзя сказать, что Гитлер был не готов к этому, но свержение Муссолини все же глубоко потрясло его; итальянский диктатор был единственным государственным деятелем, к кому он питал определенную личную привязанность. Правда, куда больше его беспокоили политические последствия этого события, особенно же слишком явные «параллели с Германией», которые, как следовало из донесений политической полиции, невольно возникали у общественности: «Simul stabant, simul cadent» (то же стойло – тот же навоз) – так охарактеризовал Чиано еще за годы до того идентичность обеих систем [586]. Примечательно, что Гитлер отказался выступить с речью, но приказал принять обширные меры для предотвращения беспорядков. Затем он – быстро и не без осмотрительности – разработал план по освобождению Муссолини (операция «Дуб»), по военной оккупации Италии (операция «Шварц»), а также по захвату Бадольо и короля с целью восстановления фашистского режима (операция «Штудент»). На вечернем обсуждении обстановки 25 июля он отверг предложение Йодля дождаться сначала более подробной информации:

> «В одном можно не сомневаться: совершив предательство, они, разумеется, заявят, что будут продолжать борьбу, – это же совершенно ясно. Но это – предательство, и борьбу они продолжать как раз не будут… Правда, этот тип(Бадольо) сразу же заявил: война продолжается, тут ничего не изменилось. – Им приходится так делать, потому что это – предательство. Но и с нашей стороны будет вестись точно такая же игра, будет готовиться все, чтобы молниеносно захватить весь этот сброд, убрать эту шайку. Я завтра же пошлю человека, который передаст командиру 3-й моторизованной дивизии приказ немедленно двинуться со специальной группой на Рим, арестовать все правительство, короля, всю эту братию, а в первую очередь сразу же арестовать кронпринца и захватить это отребье, прежде всего Бадольо и весь этот сброд. Тогда

вы увидите, как у них поджилки затрясутся, и через два-три дня будет еще один переворот» [587].

Поздно вечером, перегруппировывая находившиеся на итальянской территории соединения и выделяя дополнительные силы, Гитлер почувствовал позыв к тому, чтобы оккупировать и Ватикан: «Там ведь торчит главным образом весь этот дипломатический корпус», а все возражения он отмел лапидарным замечанием: «Все это чепуха. Тут весь сброд, вот этот сброд свинячий и вытащим…» А потом, добавил он, можно будет и извиниться. Правда, в конечном счете он отказался от этой мысли. И все же ему удалось так усилить свои войска в Италии, что, когда Бадольо заключил вскоре с союзниками соглашение о прекращении огня, немцы смогли за несколько часов справиться с численно превосходившими их итальянскими войсками и занять все ключевые позиции в стране.

Муссолини же после его ареста перевозили в течение нескольких дней из одного места в другое, пока он не был вызволен командой немецких десантников из горного отеля на Гран-Сассо. Свое возвращение к власти он воспринял безучастно, так как видел, что изменился только антураж его заключения. В октябре ему пришлось уступить Германии Триест, Истрию, Южный Тироль, Триент (Тренто) и Лайбах (Любляну), что он и сделал все с тем же безразличием. У него было, собственно, единственное желание – вернуться назад в Романью, откуда он был родом. Мысленно он уже ждал конца. Одной из почитательниц, попросившей у него еще в дни ареста автограф, он написал на своей фотографии: «Mussolini defunto» Муссолини – мертвец (итал.) – Примеч. пер. [588].

Однако эти события не только не убивали решительности Гитлера, а, скорее, укрепили ее: человеческие слабости, половинчатость и предательство, встречавшиеся ему на его пути, лишь обостряли его чувство дистанции и придавали ему то ощущение великой трагической ауры, которая ассоциировалась у него с представлением об историческом масштабе. Как и в годы своего восхождения, когда он именно и утверждал свою убежденность в кризисные по сути дела периоды, так и теперь с каждым новым поражением у него возрастала вера в себя; составной частью его базисного чувства пессимизма было то, что свою силу и опору он черпал именно в катастрофах: «До сих пор любое осложнение обстановки оборачивалось для нас в конечном счете ее улучшением», – сказал он как-то в кругу своих генералов [589]. Часть того воздействия, которое он по-прежнему оказывал

на свое окружение, на скептически настроенных офицеров и ставших неуверенными функционеров, шла, несомненно, от той силы убеждения, коей награждали его удары судьбы. Очевидцы описывают, как, начиная с осени 1943 года, бродил он по мрачным помещениям бункеров ставки, окруженный стеной молчания и презрения к людям, и многим невольно приходила на ум мысль о «постепенно угасающем человеке» [590]. Но все подчеркивают неизменное гипнотическое воздействие, которым он по-прежнему обладал и которое находилось в удивительнейшем противоречии с его внешним обликом. Конечно, эта оценка может быть не свободна от оппортунизма, от интеллектуальной коррумпированности, а кое в чем и от потребности в самооправдании, и все же сама личность остается примечательным феноменом энергии, умножающейся как раз в катастрофах.

Ведь все аргументы, на которые он мог еще опираться, были сравнительно слабыми. Он любил напоминать о времени борьбы, поднимая его на щит как великую параболу триумфа воли и упорства, говорил о «чудо-оружии», с помощью которого он подвергнет союзников возмездию за их террор в небе над Германией, и связывал немало замыслов с ожиданием предстоящего раздора в рядах «неестественной коалиции» противника. Но весьма характерным было то, что он не был готов даже взвесить возможности сепаратного мира с той или другой стороной. В декабре 1942 года, а потом еще раз летом 1943 года, Советский Союз через свое представительство в Стокгольме давал понять о своей готовности вести переговоры с Гитлером о заключении сепаратного мира. Все более опасаясь, что западные державы ориентируются в своей политике на войну на истощение между Германией и Советской Россией, последняя, наконец, в осторожной форме конкретизировала в сентябре 1943 года свои предложения: восстановление германо-советских границ 1941 года, свобода действий в спорных вопросах о проливах, а также широкомасштабные экономические отношения. Заместитель министра иностранных дел и бывший посол в Берлине Владимир Деканозов был готов приступить к обмену мнениями в Стокгольме с 12 по 16 сентября. Но Гитлер отклонил все переговоры. Он усматривал в этом советском зондировании тактический маневр, и, действительно, по сей день остается неясным, насколько серьезными были намерения Москвы. Что же касается Гитлера, то его соображения оставались маниакальными и застывшими, они определялись все тем же одним, раз и навсегда принятым решением. Своему министру иностранных дел, выступавшему за контакты с Москвой на предмет мира,

Гитлер заявил, пожимая плечами: «Знаете, Риббентроп, если я сегодня замирюсь с Россией, то завтра я начну все снова, – я просто не смогу иначе». Риббентроп справедливо выразил мнение, что Гитлер, вероятно, уже совсем не понимает смысл и возможности политики, для него существуют только «победа или смерть». Геббельсу Гитлер в середине сентября тоже сказал, что момент для политических контактов «максимально неподходящий», он сможет вести персговоры только после решающего военного успеха [591]

Однако до сих пор решающие военные успехи всегда лишь разжигали его жажду еще более решающих военных успехов, а теперь о переломе уже нечего было и думать – бог войны, как заметил Йодль, давно уже отвернулся от немецкой стороны и подался в другой лагерь. В 1938 году, в пору великих архитектурных проектов, Альберт Шпеер завел счет для финансирования строительства исполинских зданий в столице мира городе Германца. А вот теперь, в конце 1943 года, он, не уведомляя Гитлера, молча прикрыл этот счет [592].

КНИГА ВОСЬМАЯ
ГИБЕЛЬ

Глава I
Сопротивление

Убить!

Ответ фон Штауффенберга
в конце 1942 года на вопрос,
как поступить с Гитлером.

Европейское сопротивление. – Дилемма немецкого сопротивления. – Попытки покушения. – Сдержанность западных держав. – Группы и противоречия. – Фон Штауффенберг. – Вторжение. – 20 июля 1944 г. – Реакция не заставляет себя ждать, пытки, казни, аресты родственников. – Причины неудачи. – Государственный заговор, не оставивший следа. – Радикальные меры. – Решение о наступлении на Западе. – Наступление в Арденнах. – Большое наступление с Востока.

К началу 1944 года со всей мощью разворачивается штурм «крепости Европы» – Гитлер отступает на всех фронтах. На Юге западные державы продвинулись до Центральной Италии, технологическое преимущество, которое они имели в первую очередь благодаря своим превосходящим немецкие радиолокационным системам, дает им возможность вести почти тотальную войну в воздухе и, кроме того, вынуждает немецкую сторону на какое-то время приостановить подводную войну; на Востоке русские, непрерывно наступая, уже приближаются к тем полям сражений, где немецкие армии одерживали свои первые крупные победы летом 1941 года. Линии обороны трещат и рушатся со всех сторон, а Гитлер по-прежнему лишь повторяет свой тезис о необходимости сопротивляться до последнего человека, вновь демонстрируя тем самым тот факт, что его полководческий талант проявлялся только в наступательной обстановке. Поспешное отступление лишает его возможности осуществлять свое намерение – оставлять противнику «полностью выжженную и разрушенную страну» [593]. Но все равно уже сама эта территория представляет собой сцену чудовищной постановки. Вокруг гигантских костров, над которыми возведены политые бензином ржавые металлические конструкции, лихорадочно и в полном молчании работают люди из «команды

1005», чье задание отыскивать бесчисленные массовые захоронения почти трехлетнего периода немецкого господства, выкапывать трупы и устранять все следы злодеяний. Огромные клубы черного дыма поднимаются над этими кострищами; режим отрекался от своих видений и сводил их к idee fixe [594].

Как только проявился паралич гитлеровского колосса власти, повсюду в Европе стало разворачиваться Сопротивление. Оно сосредоточивалось главным образом в рядах коммунистических партий, но исходило также и от офицерских союзов, католической церкви и групп интеллигенции, организовываясь в некоторых странах – в Югославии, Польше, да и во Франции – в почти настоящие военные соединения, выступавшие как «отечественная армия» или «внутренние вооруженные силы» и навязывавшие оккупационным властям ожесточенную кровавую войну. На все возраставшее число покушений и актов саботажа немцы отвечали экзекуциями, увеличивая количество заложников, – смерть одного часового каралась нередко расстрелом двадцати, тридцати и более жертв. Акт мести, совершенный дивизией СС «Рейх» по отношению к французской деревне Орадур-сюр-Глан с ее шестьюстами ни в чем не повинных жителей, явился апогеем этой безжалостно проводившейся маленькой войны, а знаменитая операция Тито по прорыву на Неретве или Варшавское восстание летом 1944 года стали легендарными акциями европейского Сопротивления – столь же известными, как и крупнейшие сражения.

Одновременно вновь появились оппозиционные силы и в самой Германии. В минувшие годы они терпели поражение перед лицом сперва дипломатических, а затем военных успехов Гитлера; и его победа над Францией стала кульминационной точкой этого процесса. Но вот теперь перелом в войне снова возродил все подавленные сомнения, которыми всегда сопровождался этот режим, в том числе и в минуты восторгов и безудержных торжеств. После Сталинграда, а затем после новых поражений зимой 1943-1944 годов в Германии какое-то время царило странное настроение, представлявшее собой смесь страха, усталости и апатии и придавшее усилиям оппозиции новый стимул и определенную надежду на резонанс. Озабоченность тем, как бы после стольких разочарований прошлых лет шанс на акцию не оказался в очередной раз, а значит, и навсегда сорван быстро надвигавшимся поражением, чрезвычайно укрепляла решимость к действию. Но в то же время это обстоятельство послужило и поводом для столь часто высказываемого упрека, будто немецкое Сопротивление было, по сути, оппортунистическим, оно решилось пойти на свержение режима

только тогда, когда тот и без того уже рушился, и являлось всего лишь обдуманным актом отчаяния нескольких националистов, стремившихся спасти скорее силу, а не моральный облик страны.

От внимательного взгляда наблюдателя не могут ускользнуть те трудности, с которыми Сопротивление столкнулось в начале 1944 года. Еще за некоторое время до этого гестапо обнаружило «центральное бюро» Сопротивления – аппарат Остера и арестовало нескольких виднейших его сотрудников, тогда как Канарис оказался в значительной мерс лишенным связей, а Бек из-за тяжелой болезни был неспособен к действиям. Кроме того, свержение Муссолини послужило для Гитлера серьезнейшим сигналом тревоги и сделало его еще более подозрительным. Намного строже, чем прежде, засекречивает он теперь все свои поездки, его персонал получает указание скрывать все, относящееся к распорядку дня фюрера, даже от таких высокопоставленных фигур в руководстве как Геринг и Гиммлер, да и вообще, когда намечается его появление на публике, то он в большинстве случаев резко изменяет программу – иногда буквально за минуту до выхода. Даже в ставке он носит тяжелую, бронированную фуражку, глубоко спадавшую ему на уши. В его выступлении по радио 10 сентября, посвященном событиям в Италии, не лишены угрожающего подтекста слова относительно лояльности его «фельдмаршалов, адмиралов и генералов», и дается отпор надежде противников «найти сегодня предателей, как в Италии» и в немецком офицерском корпусе [595].

Дилемма, перед которой оказались активные противники режима в Германии, имела дело с трудно поддающимся расшифровке комплексом мотивов, препятствий и слабых мест. Естественно, играли тут свою роль и традиционные проблемы и принципы воспитания, образовавшие задний план конфликта. Но если в европейском Сопротивлении национальный и нравственный долг почти полностью совпадали друг с другом, то здесь имело место резкое, подчас неразрешимое кое для кого столкновение норм. Многие главные действующие лица – в первую очередь, из рядов военной оппозиции – при всей их многолетней конспирации так и не преодолели в итоге тот последний эмоциональный барьер, за которым то, что ими планировалось, казалось им самим изменой стране, новым «ударом кинжалом в спину» и предательством всех традиционных ценностей. В противоположность европейскому Сопротивлению, их освободительное деяние должно было первым делом принести отнюдь не свободу, а поражение и добровольную сдачу на милость ожесточившемуся противнику, и только высокомерная мораль может не считаться с этим конфликтом в среде тех, кто

при всей своей ненависти к Гитлеру и при всем отвращении к совершенным преступлениям не мог забыть ни преступлений Сталина, ни ужасов «красного террора», ни страшных чисток – вплоть до жертв Катыни.

Такого рода сомнения накладывали свой отпечаток и на те бесконечные дискуссии, вся серьезность которых поддается сегодня прослеживанию в историческом плане лишь частично: о том, как скажется нарушение присяги на самом клятвопреступнике, об обязанности подчинения приказу, а также главным образом о покушении, которое одним представлялось неизбежным и единственно последовательным актом Сопротивления, в то время как другие не могли не ставить под сомнение его безупречность в плане морали [596] и до самого последнего момента отвергали эту идею. Но как те, так и другие были изолированы в своей стране, а с неизбежным расширением круга посвященных усиливалась угроза слежки со стороны гигантского аппарата надзора и возрастала опасность доносов. Кроме того, свободе действий мешала зависимость всех их планов от текущих событий: насколько каждая победа Гитлера ослабляла шансы государственного переворота внутри страны, настолько же каждое поражение уменьшало шансы вовне в глазах союзнической коалиции, обойтись без поддержки которой было невозможно.

На фоне этих обстоятельств история немецкого Сопротивления – это история терзаний, противоречий и растерянности. Правда, источники порою заставляют подозревать, что добрая часть сомнений, терзавших Сопротивление, была продиктована манией драматизации проблем, искавшей в порожденной обилием мыслей безысходности предлог к уклонению от необходимости совершения поступка; другие же опасения, в частности, среди значительной части высших офицеров служили поводом для того, чтобы прикрыть их собственную моральную инертность. Но как бы ни относиться ко всем этим обстоятельствам, бесспорным остается то, что над всеми высказываниями и делами доминирует несомненное выражение глубокого отчаяния. В нравственном отношении оно вытекало не столько из чувства внешней немощности перед лицом такого режима насилия, как этот, сколько из внутреннего бессилия людей, которые осознали анахроничный, тормозящий характер своих представлений о ценностях, но все равно так и не сумели расстаться с ними. Примечательно, что все эти беки, гальдеры, фон вицлебены и канарисы, как ни презирали они Гитлера, находили тысячу препятствий, мешавших им решиться на поступок, и после первой

неудачи осенью 1938 года уже не проявляли больше никаких самостоятельных инициатив. И только вступление в дело какого-то количества молодых, не отягощенных предубеждениями офицеров придало этому измотанному доводами и контрдоводами предприятию новую энергию. Один из них, полковник фон Герсдорф, проиллюстрирует это противоречие в одной из своих записей, рассказав, как фельдмаршал фон Манштейн в ходе одного разговора всеми силами уклонялся от ответа на вопрос, готов ли он встать в ряды заговорщиков, а потом, в образовавшейся паузе, при всеобщем молчании спросил: «Вы что же, хотите его убить?!» – и получил лапидарный ответ: «Так точно, господин фельдмаршал, – как бешеную собаку!» [597]

Начиная с весны 1943 года, предпринимаются все новые попытки покушения. Все они проваливаются – то отказывает техника, то проявляется чутье на опасность самого Гитлера, то вмешивается какая-то непостижимая, никоим образом не могущая быть предусмотренной случайность. Два взрывных устройства, подложенных Хеннингом фон Тресковом и Фабианом фон Шлабрендорфом после посещения Гитлером штаба группы армий «Центр» в середине марта 1943 года в самолет фюрера, не сработали; намерение фон Герсдорфа восемь дней спустя взорвать себя вместе с Гитлером и другими главарями режима во время осмотра ими выставки в берлинском цейхгаузе сорвалось, потому что Гитлер сократил свое пребывание там до десяти минут, так что взрыватель не успел сработать. План полковника Штиффа взорвать бомбу во время обсуждения положения на фронте в ставке фюрера провалился из-за того, что взрыв произошел раньше времени. Чтобы избежать неудачи, постигшей фон Герсдорфа, молодой пехотный капитан Аксель фон дем Буше в ноябре заявил заговорщикам о своей готовности во время демонстрации нового военного обмундирования броситься на Гитлера, схватить его и в тот же момент дать сработать взрывателю; но за день до того бомба союзников уничтожила подготовленные для демонстрации образцы. Когда же фон дем Буше вновь появился в декабре с заново пошитым обмундированием, Гитлер неожиданно решил уехать в Берхтесгаден и сорвал тем самым не только этот план, но и намеченное на 26 декабря покушение одного полковника из общего управления сухопутных войск, который собирался в своем портфеле пронести в ставку фюрера бомбу с часовым механизмом. Так впервые появился на сцене человек по имени Клаус Шенк фон Штауффснберг. Так как фон дем Буше был вскоре тяжело ранен, в распоряжение заговорщиков предоставил себя другой молодой офицер – Эвальд Генрих фон Кляйст, но

Гитлер по неизвестным причинам на назначенной на 11 февраля демонстрации обмундирования так и не появился. Попытка ротмистра фон Брайтенбуха застрелить Гитлера во время совещания в «Бергхофе» сорвалась, потому что охранники-эсэсовцы – якобы по распоряжению Гитлера – не впустили его в большой зал [598]. Сходным образом закончился и еще ряд планов покушения.

Почти столь же безуспешными были попытки заговорщиков обеспечить свою акцию во внешнеполитическом плане и получить у западных держав определенные уступки в случае удачи государственного переворота: непрерывные, предпринимавшиеся самыми разными путями усилия вступить с ними в контакт так и окончились ничем. Конечно, сдержанность государственных деятелей стран коалиции достаточно понятна: их нежелание связывать себе руки накануне ставшей теперь уже осязаемой победы, а также опасение вызвать недовольство Советского Союза были вполне объяснимы. Равным образом следует принять во внимание и то обстоятельство, что, будучи уже уверенными в победе, они не пытались разобраться в сплетении морально-политических конфликтов в среде немецких заговорщиков. Что же касается Рузвельта и Черчилля, а также некоторых из их советников, то эта сдержанность усугублялась еще и их явно антинемецкой настроенностью, которая и обращалась-то постоянно как раз против того типа, который выставлял теперь себя перед ними носителем нового строя, а им казался лишь олицетворением строя позавчерашнего: «милитаристы», «прусские юнкеры», «генштаб».

Недоверие со стороны западных держав должно было еще более возрасти, когда в 1943 году на периферии Сопротивления вдруг на какое-то мгновение всплыл не кто иной как Генрих Гиммлер. Обеспокоенный смахивающим на болезнь упрямством Гитлера и подталкиваемый кое-кем из своего окружения, он получил медицинское заключение, откровенно называвшее состояние Гитлера болезнью, и вслед за этим, хотя и продолжая все время колебаться, согласился на то, чтобы шеф заграничной службы СД Вальтер Шелленберг прозондировал через Испанию, Швецию и различных американских посредников возможности компромиссного мира без Гитлера и против Гитлера [599]. Эти инициативы сомкнулись со стараниями кое-кого из числа заговорщиков-консерваторов столкнуть друг с другом ключевые фигуры режима и расширить сеть Сопротивления вплоть до сфер СС, полиции и гестапо. 26 августа 1943 года состоялась встреча прусского министра финансов Иоганнеса Попица с Генрихом Гиммлером, ставшая – во всяком случае, для оппозиции –

свидетельством того, насколько неуверенно чувствовали себя даже главари режима. Но затем эти нити оборвались, причем почти одновременно во всех местах. На внешнем уровне всем устремлениям по достижению досрочного мирного урегулирования с максимальной решимостью противилась прежде всего Англия, в то время как на внутреннем фронте главные действующие лица самой оппозиции увязли в ожесточенных спорах. Конечно, Попиц и сторонники единого Сопротивления рассчитывали в случае успеха планировавшегося ими государственного переворота переиграть Гиммлера и *СС* и вернуться к правовому состоянию. Но тут не только в очередной раз неразумно оживлялись самонадеянные иллюзии консерваторов времен весны 1933 года – даже временный прагматичный союз с одной из наиболее одиозных фигур режима неминуемо уже в принципе компрометировал смысл и мораль Сопротивления. Некоторые из молодых офицеров во время дискуссии в штабе группы армий «Центр» с возмущением заявили адмиралу Канарису, что они не станут подавать ему руки, если дело дойдет до планируемого контакта с Гиммлером [600].

Такие расхождения во взглядах, да и вообще весь этот своеобразный разброд настроений, доминировавший в немецком Сопротивлении, подчеркивают, что оно отнюдь не было неким «блоком» и что само понятийное обобщение представляет тут, строго говоря, неточность; это Сопротивление было шатким союзом многочисленных, характеризовавшихся личными и деловыми антагонизмами групп, которые объединялись только их враждебным отношением к режиму. При этом наиболее четко выделяются здесь три группы: получивший название по силезскому имению Крайзау графа Гельмута Джеймса фон Мольтке кружок, рассматривавший себя преимущественно как дискуссионный клуб немного эмфатических друзей с обновленческими воззрениями как христианского, так и социалистического толка и, как это и соответствовало ограниченным возможностям кружка из гражданских лиц, видевший задачу переворота прежде всего в воодушевлении примером: «Нас повесят, потому что мы вместе думали», – писал фон Мольтке в одном из своих последних писем из заключения, будучи чуть ли не счастлив из-за того, что смертным приговором удостоверялась сила их духа [601]. Затем группа консервативно-национальной элиты во главе с бывшим бургомистром Лейпцига Карлом Герделером и отставным начальником генерального штаба Людвигом Беком, которые, не имея правильного представления о фатальных последствиях гитлеровской политики, по-прежнему претендовали на руководящую роль

Великой Германии в Европе, так что у их помыслов даже оспаривается право считаться сколь-нибудь подлинной альтернативой имперскому экспансионизму Гитлера, в то время как сами они – в первую очередь, в силу своих авторитарно-государственных амбиций – рассматривали себя как продолжение антидемократической оппозиции веймарских времен, что и дало фон Мольтке повод обозвать их «герделеровским дерьмом» [602]. И наконец группа молодых офицеров, куда входили фон Штауффенберг, фон Тресков, Ольбрихт и другие; они едва ли были твердыми приверженцами какой-либо идеологии, хотя, правда, прежде всего искали контакт с левыми и в противоположность, скажем, Беку и Герделеру рассчитывали путем государственного переворота добиться сближения не с западными державами, а скорее с Советским Союзом. Бросается в глаза, что многие из них происходили из старой прусской аристократии, были среди них также служители церкви, профессора, высокопоставленные чиновники – и если говорить вообще в целом, то, что их толкало теперь на дело, представляло собой скорее Сопротивление с изначально консервативных или либеральных позиций, хотя были тут и несколько социал-демократов. Дело в том, что левые еще не оправились от результатов преследований, да и к тому же они боялись союза с офицерами как «пакта с дьяволом» [603]. Примечательно, что среди всех многочисленных участников не нашлось ни одного государственного деятеля веймарского периода, который бы оставил свое имя в истории Сопротивления; но не было тут и представителей низших групп среднего сословия, равно как и предпринимателей, – одни застыли в тупой лояльности маленького человека, не ввязывающегося в то, что не касается его лично, другие застопорились в традиционном немецком альянсе интересов промышленников и политической власти, в той во все времена внемлющей призыву общности предпринимательства и государства, которая хотя и обернулась выдающимися достижениями в экономике, но в то же время привела потом их множеством изломанных дорог на скамьи для обвиняемых на нюрнбергских процессах против промышленников; и, наконец, в рядах Сопротивления почти не было рабочих – хотя их оппозиция и была намного шире, чем это отмечено вплоть до сегодняшнего дня историографией, все же она оказалась намного меньше, чем этого требовала роль великого исторического антагониста: в принципе, то, что они совершали, вообще было не настоящим Сопротивлением с реалистическим началом, а скорее рядом демонстраций – бессловесным, лишенным какого-либо плана и словно бы так и оставшимся парализованным с момента

поражения 1933 года и крушения прекрасной мечты о мощи и роли пролетариата [603.1]. К тому же и те, и другие были запуганы, были физически и психологически измучены войной. То, что имеет право называться Сопротивлением, было Сопротивлением «сверху».

Оно оставалось изолированным со всех сторон. Помимо всего, в феврале был схвачен фон Мольтке, и пришел конец крайзаускому кружку. Незадолго до того были взяты оппозиционеры в абвере, так что каждый день следовало ожидать раскрытия заговора. Последняя попытка Герделера и Бека остановить неумолимо утекавшее время вылилась в апреле 1944 года в направленное в адрес США предложение, в котором заговорщики выражали свою готовность после государственного переворота открыть Западный фронт и дать возможность парашютным частям союзников высадить десант на территории рейха; однако ответа вновь не последовало [604]. Таким образом, уже не оставалось иного пути, как устранить режим, не связывая это ни с какими стратегическими и политическими соображениями, а перейдя целиком и полностью на уровень моральной аргументации. Некоторые из заговорщиков склонялись, как будто, к мнению, что уже нельзя, да и не следует уберегать властителей от их гибели, – теперь они должны будут испить чашу до дна.

Тем, кто окончательно рассеивал возникавшие новые сомнения и без устали устанавливал связи, был Штауффенберг. Он вовлекал в заговор все новых людей и вопреки всем преградам, несмотря на неуклонное требование союзной коалиции о безоговорочной капитуляции, несмотря на риск возникновения новой легенды «об ударе кинжалом в спину» и упреков в расчетливом оппортунизме, неуклонно держал курс на покушение и государственный переворот. Будучи сам родом из южногерманской аристократической семьи и находясь в родственных отношениях с семьями Йорков и Гнайзенау, он в юные годы был близок окружению Стефана Георге, и, если это даже всего лишь легенда, рассказывали, что 30 января 1933 года в Бамберге он шел во главе охваченной восторгом толпы; в любом случае, революционное начало и ранние успехи Гитлера он встречал не без одобрения. Однако под впечатлением еврейских погромов 1938 года этот талантливый офицер генерального штаба впервые стал относиться к режиму скептически, а в ходе войны – в первую очередь, в связи с оккупационной и антиеврейской политикой на Востоке – превратился в принципиального противника национал-социалистического государства. Ему было тридцать семь лет, на североафриканском

театре военных действий он потерял правую руку, два пальца на левой и один глаз. Предприятию, прозябавшему в бесчисленных маневрах мыслей, он придал организационный фундамент и на место устаревших понятий, заведших многих офицеров в непроходимые дебри сталкивающихся друг с другом ценностей, он поставил почти что революционную решимость: «Давайте посмотрим in medias res[605], – начал он разговор с одним из заговорщиков-офицеров, – я при помощи всех имеющихся в моем распоряжении средств занимаюсь государственной изменой» [606].

Время торопило. Весною заговорщикам удалось в лице Роммеля привлечь на сторону планов государственного переворота не только фельдмаршала, но и одного из самых популярных военных. Примерно в то же время Гиммлер сказал Канарису, что ему точно известно о планируемом в кругах вермахта мятеже, и что он в нужный момент нанесет удар по этим планам. Кроме того, со дня на день ожидается вторжение союзников, которое неминуемо сорвет все побочные политические намерения заговорщиков, а главное – даст закостеневшим в своих традиционных предрассудках офицерам старшего поколения повод для новых уверток. Когда же, наконец, гестапо схватило Юлиуса Лебера и Адольфа Райхвайна при их попытке расширить сеть ячеек Сопротивления путем контактов с группой коммунистов Антона Зефкова, события потребовали незамедлительного принятия решения. ДажеШтауффенбергаотставить все соображения об успехе или неуспехе и не ждать более: «Покушение должно осуществиться, coute que coute[607]». Если оно и не удастся, то несмотря ни на что нужно действовать в Берлине. Ибо речь уже будет идти не о практической цели, а о том, чтобы участники немецкого движения Сопротивления перед лицом всего мира и истории поставили на карту свои жизни. Все остальное по сравнению с этим – пустяки» [608].

В ночь на 6 июня 1944 года из портов Южной Англии двинулись к континенту силы вторжения. Армада из пяти тысяч кораблей направлялась к берегам Нормандии, в то время как на флангах предполагавшейся зоны десанта уже спускались подразделения британских и американских парашютистов. Около трех часов утра за несколько километров от берега были спущены на воду первые десантные баркасы, и вскоре, при сильном волнении на море, оставив позади транспортные суда, они устремились вперед. Три часа спустя, когда уже совсем рассвело, и они приблизились к берегу, над этой полоской нормандского побережья появились тысячи самолетов и осыпали немецкие

позиции нескончаемым градом бомб. Одновременно по всему району десанта был открыт огонь из крупнокалиберных орудий боевых кораблей. В некоторых местах, прежде всего на полуострове Котантен и у устья Орна, сопротивление немцев оказалось неожиданно слабым, и операция по высадке прошла успешно. Только на центральном участке, у Вьервилля, американцы натолкнулись на немецкую дивизию, случайно поднятую по тревоге для проведения учений, и попали под ожесточенный заградительный огонь. Обороняющиеся вели стрельбу «по ковру из людей», как было сказано в одном донесении, вдоль всего берега полыхали танки, самоходные орудия и корабли, он был усеян убитыми и ранеными [609]. К вечеру американцы захватили два небольших плацдарма, а англичане и канадцы – прилегающий участок побережья шириной примерно в триста квадратных километров. Но главным было то, что союзники уже имели в районе высадки численный перевес.

Неспособность оборонявшихся успешно противостоять этой операции вновь продемонстрировала их слабость как в материальном, так и в военном плане. Даже достоверных сведений о предполагаемом времени и месте вторжения ставке фюрера получить не удалось. Немецкая авиация не сумела обнаружить скопления войск и судов в районе их развертывания в Южной Англии, а сигналы абвера, точно предсказавшего дату высадки, услышаны не были [610]. Главнокомандующий Западным фронтом фельдмаршал фон Рундштедт еще 30 мая докладывал Гитлеру, что никаких признаков предстоящей высадки не наблюдается, а фельдмаршал Роммель, ответственный за оборону побережья, 5 июня оставил свой штаб и отправился на совещание к Гитлеру в Берхтесгаден. К тому же немецкое военное руководство было убеждено в том, что нападения противника следует ожидать в самом узком месте Ла-Манша, у Па-де-Кале, и поэтому главные силы были сосредоточены именно там. Гитлер же, напротив, руководствуясь своей удивительной «интуицией», говорил, что Нормандия представляет собой не менее подходящий для вторжения район, однако в конечном счете пошел на поводу у своих военных специалистов, тем более, что их мнение, как казалось, подтверждалось различными мерами противника.

Однако куда более примечательным оказалось замешательство немецкого руководства, которое выявило это вторжение. Оно наметилось еще тогда, когда Гитлеру не удалось свести противоположные взгляды своих генералов на наиболее целесообразный способ отражения операции по высадке в какую-то единую концепцию [611], и в конечном результате

расплывчатые компромиссы, усугубленные царившей неразберихой в области компетенций, создали такую ситуацию в сфере принятия решений, которая парализовывала все операции [612]. 6 июня рассыпанные по всему Берхтесгадену инстанции военного руководства, каждая из которых не могла функционировать в полном объеме без другой, целых полдня только и были заняты тем, что вели друг с другом телефонные переговоры и спорили главным образом о том, перебрасывать ли на Запад четыре дивизии из резерва, в то время как сам Гитлер после очередной ночи со своими длинными пустыми монологами отправился спать лишь под утро, и поначалу никто не хотел его будить. Только вскоре после полудня состоялось, наконец, что-то наподобие обсуждения обстановки, но Гитлер попросил его участников отправиться в находившийся примерно в часе езды на автомобиле замок Клессхайм, где он ожидал в тот день венгерского премьер-министра Стояи. С миной, не позволявшей понять, считает ли он действия западных союзников обманным маневром или сам хочет обмануть свое окружение, Гитлер после своего прибытия туда подошел к столу с военными картами и легкомысленным тоном сказал на диалекте: «Вот так-то, пошло-поехало». Спустя несколько минут, когда ему разъяснили положение на новом фронте на последний момент, он поднялся для «более наглядного знакомства с обстановкой» в помещения этажом выше [613]. Наконец, около семнадцати часов он отдал распоряжение «уничтожить противника на плацдарме уже вечером 6. 6. вечером».

Это на удивление сомнамбулическое и кажущееся совсем чуждым реальности спокойствие первого дня сохранилось у Гитлера почти на всем протяжении начального этапа вторжения. А ведь он постоянно повторял в минувшие месяцы, что наступление на Западе решает вопрос о победе или поражении: «Если вторжение не будет отбито, то война для нас проиграна». Теперь же, свято веря в собственную непогрешимость, он не хочет видеть того, что вторжение действительно и есть вторжение, и держит между Сеной и Шельдой значительные силы, напрасно ожидающие высадки тех призрачных дивизий, которые должны появиться в результате военной хитрости противника, инсценировавшего этот маневр (операция «Фортитьюд»). Одновременно он, как это бывало всегда, вмешивается в ход боевых действий, отдавая приказы даже на уровне подразделений, и принимает решения, не учитывающие истинного положение на фронте. 17 июня, уступив настояниям фон Рундштедта и Роммеля, он приезжает на совещание в тыловой район фронта вторжения.

Это совещание состоялось в ставке фюрера «Волчье логово И» в Марживале севернее Суасона, построенной в 1940 году, когда планировалось вторжение в Англию. Гитлер выглядел «бледным и усталым от бессонницы, – писал потом начальник штаба Роммеля генерал Шпейдель, – он нервно перебирал свои очки и карандаши всех цветов, которые держал между пальцами. Только он один сидел, сгорбившись, на табурете, тогда как фельдмаршалы стояли. Казалось, что вся его прежняя гипнотическая сила улетучилась. После короткого, ледяного приветствия он выразил, громко и желчно, свое недовольство тем, что высадка союзников удалась, и стал говорить об ошибках здешнего командования». Ссылка Роммеля на огромное превосходство противника была им отвергнута точно так же, как просьба дать разрешение на вывод немецких войск с полуострова Котантен, где им грозила опасность быть уничтоженными, и на переброску, наконец, резервов из Па-де-Кале. Вместо этого он со все возрастающим нажимом заговорил о «решающих для исхода войны» ракетах «Фау», пообещал «массы реактивных истребителей», которые очистят небо от вражеской авиации и поставят, наконец, Англию на колени. Когда же Роммель попытался перейти к политическим вопросам и, указав на серьезность положения, высказал настоятельное требование об окончании войны, Гитлер резко оборвал его и сказал: «Вы должны беспокоиться не о дальнейшем ходе войны, а о своем фронте, на котором произошло вторжение» [614].

Выявившаяся в ходе этой встречи противоположность во взглядах еще более усугубила и без того сильное недоверие Гитлера к офицерскому корпусу. Весьма показательно, что незадолго до своего прибытия он приказал окружить местность подразделениями СС и стал есть из одного котла со своими фельдмаршалами фон Рундштедтом и Роммелем только после того, как те уже попробовали пищу. На всем протяжении обеда за его стулом стояли два эсэсовца. Когда стали прощаться, генералы попытались уговорить Гитлера послушать в штабе Роммеля доклад нескольких командиров с фронта. Гитлер с трудом согласился посетить штаб 19 июня. Однако сразу же после отъезда Рундштедта и Роммеля из Марживаля он тоже собрался и возвратился в Берхтесгаден [615].

Примерно десять дней спустя союзники – главным образом, благодаря «искусственным гаваням», давшим им возможность решить все трудности с транспортировкой, на которые так надеялся Гитлер, – высадили уже почти миллион солдат и выгрузили пятьсот тысяч тонн снаряжения. Но даже теперь обоим фельдмаршалам, прибывшим в Берхтесгаден, так и не удалось

добиться согласия Гитлера хотя бы на свободу оперативных решений. Он с ледяным видом выслушал их соображения и отклонил просьбу о беседе в узком кругу; вместо этого он просто снял фон Рундштедта с его поста. Его преемником он назначил фельдмаршала фон Клюге, который уже своим первым выступлением продемонстрировал, насколько обманчивой и искаженной была картина действительности в окружении Гитлера. До этого Клюге был в течение четырнадцати дней гостем в «Бергхофе» и, хотя он, пусть с колебаниями, относился к Гитлеру критически, за это время успел перенять убеждение, что командование Западного фронта слабонервно и настроено пораженчески. В острой стычке сразу же после своего прибытия на фронт вторжения он упрекнул Роммеля в том, что тот сверх меры подавлен материальным превосходством противника и срывает своим упрямством правильные распоряжения Гитлера. Возмущенный до глубины души «берхтесгаденским стилем» нового главнокомандующего, Роммель предложил ему собственными глазами убедиться, какова обстановка. Как и следовало ожидать, через два дня фон Клюге, побывав на фронте, значительно отрезвел. 15 июля Роммель отправил через фон Клюге телеграмму Гитлеру: «Неравная борьба приближается к своему концу», – написал он и присоединил к этим словам призыв: «Я прошу Вас незамедлительно сделать выводы из этой обстановки». А Шпейделю он сказал: «Если он (Гитлер) не сделает никаких выводов, то мы будем действовать» [616].

Действовать теперь решился и Штауффенберг, тем более, что было уже видно, как под ударами советского летнего наступления, начавшегося незадолго до того, рушится и весь Восточный фронт. На помощь замыслам Штауффенберга пришло счастливое обстоятельство: 20 июня он был назначен начальником штаба при командующем войсками резерва генерал-полковнике Фридрихе Фромме и получил с этого момента доступ на совещания в ставке фюрера, 1 июля, вступая в должность, он заявил Фромму, что из соображений лояльности должен уведомить его о планируемом им государственном перевороте. Фромм выслушал это признание молча, а затем попросил своего начальника штаба приниматься за работу [617].

6 и 11 июля фон Штауффенберга вызывали на совещания в ставке фюрера в «Бергхоф». После столь многих неудачных акций он решил теперь взять на себя организацию как самого покушения, так и все руководство государственным переворотом. Оба раза ему удается проносить пакет со взрывчаткой и обеспечивать незамедлительное возвращение назад в Берлин. Но оба эти раза он отказывается привести план покушения в

исполнение, потому что в помещении, где проходило совещание, не было Геринга и Гиммлера, которых он намеревался устранить вместе с Гитлером. Новая попытка 15 июля сорвалась, так как Штауффенберг не смог до начала совещания вставить во взрывное устройство запал. Как 11, так и 15 июля войска, которые должны были занять Берлин, были уже подняты по тревоге, но оба раза приказы приходилось отменять, а все могущие вызвать подозрения моменты – устранять.

Через два дня после первой попытки – 17 июля – заговорщики узнали, что уже подготовлен приказ об аресте Герделера. Они отнюдь не были уверены, как это имело место с Лебером, Райхвайном, фон Мольтке или Бонхефером, что гестапо при допросе не сумеет достаточно быстро развязать ему язык. Штауффенберг воспринял это известие как последний толчок к акции – теперь Рубикон перейден, считал он. Его не остановило и сообщение, что в тот же день при обстреле с шедшего на бреющем полете самолета был тяжело ранен Роммель, в результате чего из его игры выпадала одна из ключевых фигур, ибо вызревший к тому времени план предусматривал заключение благодаря этому пользовавшемуся уважением и у союзников фельдмаршалу соглашения о прекращении огня на Западном фронте, уход с захваченных территорий и использование возвращающихся армий для поддержки операции по государственному перевороту. Штауффенберг заявил, что станет действовать теперь при любых обстоятельствах, однако добавил, что это будет его последней попыткой [618].

За несколько дней до того ставка фюрера вновь была переведена из Берхтесгадена в Растенбург. Конвой уже был готов отправляться, все, кто должен был ехать, уже заняли места в вагонах, а тут Гитлер еще раз переиграл и направился назад в «Бергхоф». Он прошел в жилую комнату, постоял у большого окна, а затем медленно, неверной походкой прошелся по помещению. На несколько мгновений он задержался перед картиной Ансельма Фойербаха «Нана». Одному из тех, кто оказался с ним рядом, он дал понять, что, может быть, уже никогда не вернется сюда [619].

Штауффенберг был вызван на 20 июля с докладом в Растенбург.

Покушение и драматические события этого дня уже многократно описаны: и неожиданный перенос совещания в барак, где действие взрывной волны оказалось менее эффективным, и опозданиеШтауффенбергаиз барака, и его уверенность, что Гитлер убит, когда, стоя невдалеке от барака у

заранее подготовленного автомобиля, он увидел, как взметнулось вверх облако огня и дыма, полетели деревянные обломки и бумаги, и из разрушенного здания стали выскакивать люди, и его полет до Берлина, отнявший столько драгоценного времени.

Как и все, кто был рядом в момент взрыва, Гитлер ощутил «адски яркое пламя» и разрывающий барабанные перепонки грохот. Когда он с покрытым черной копотью лицом и опаленным затылком поднялся из-под горящих, дымящихся обломков, к нему с криком «Где фюрер?» бросился Кейтель и помог ему выйти из помещения. Брюки Гитлера превратились в лохмотья, сам он был с ног до головы покрыт пылью, но получил лишь незначительные ранения. На правом локте у него появился небольшой синяк, на тыльной стороне правой ладони – небольшие ссадины, и хотя лопнули обе барабанные перепонки, уже через короткое время его слух немного восстановился. Тяжелее всего досталось его ногам, куда впилось бесчисленное множество мелких щепок, но в то же время он, к своему собственному изумлению, обнаружил, что дрожь в левой ноге почти полностью унялась. Из двадцати четырех человек, находившихся в момент взрыва в помещении, где проходило совещание, были тяжело ранены только четверо. Самого Гитлера защитила прежде всего тяжелая крышка стола, над которым он склонился, когда сработало взрывное устройство. Он был возбужден, но казался в то же время странным образом испытывающим какое-то облегчение. Не без удовлетворения он то и дело повторял своему окружению, что давно уже знал о существовании заговора и вот теперь может, наконец, разоблачить изменников. Он всем показывал разорванные в клочья брюки, а также китель с зиявшей квадратной дырой на спине [620].

Его самообладание вытекало в первую очередь из чувства «чудесного спасения»: казалось даже, что он был благодарен этому предательству за то, что оно укрепило в нем сознание собственного призвания; во всяком случае, именно эту мысль выразил он во второй половине того же дня Муссолини, который прибыл с заранее объявленным визитом в Растенбург: «Когда я снова восстанавливаю в памяти все это, – сказал Гитлер при совместном осмотре разрушенного помещения, где проходило совещание, – то мне думается, что это ведь не в первый раз, когда я чудесным образом избегаю смерти… После моего сегодняшнего спасения от смертельной опасности я больше, чем когда бы то ни было, убеждаюсь в том, что мне суждено довести теперь до счастливого конца и наше общее великое дело!» Явно тронутый Муссолини провозгласил: «Это было знаком небес!» [621]

Однако во второй половине дня его долго укрощавшиеся

нервы все же не выдержали. Когда Гитлер вместе со своим гостем около 17 часов появился в своем бункере, он встретил там Геринга, фон Риббентропа, Деница, Кейтеля и Йодля. Разговор снова зашел о спасении Гитлера, но вскоре перешел во взаимные, все более резкие упреки. Дениц пожаловался на предательское поведение армии, Геринг его поддержал. Но Дениц тут же обрушился и на авиацию с ее слабыми результатами. Геринг в ответ на это набросился на фон Риббентропа и его провалившуюся внешнюю политику и в возбуждении стал даже, если верить сохранившемуся свидетельству, угрожать тому своим маршальским жезлом, тогда как фон Риббентроп, к которому Геринг обращался, опуская его дворянскую приставку, возмущенно заявил, что он – министр иностранных дел, и его фамилия – фон Риббентроп. Гитлер же, казалось, был какое-то время занят собственными мыслями, он сидел в своем кресле с выражением апатии на лице и сосредоточенно сосал прописанные ему Мореллем пестрые пастилки. Только когда кто-то из споривших упомянул «дело Рема», он, как рассказывают, вскочил и начал внезапно бушевать. Он кричал, что суд, который он устроил тогда над изменниками, будет ничем по сравнению с тем возмездием, которое будет уготовано виновникам теперь; он сотрет их с лица земли вместе с их женами и детьми и, раз они противятся Провидению, никто не получит пощады. А в то время как он заходился в крике, прислуга из эсэсовцев молча двигалась между рядами стульев и под этот монолог о мести, крови и истреблении сервировала чай.

Многократно описаны уже и события в Берлине со всеми их кульминационными моментами, кризисами и гибельным исходом: и непонятная задержка с осуществлением плана операции «Валькирия», и неудавшаяся информационная блокада ставки фюрера, и телефонный разговор Ремера с Гитлером («Майор Ремер, вы слышите мой голос?»), и арест Фромма, а также постоянные старания Штауффенберга воодушевить и побудить к действию неожиданно оказавшийся столь тяжеловесным механизм, и появление разгневанного фельдмаршала фон Вицлебена на Бендлерштрассе, и сообщение около 21 часа по радио, что Гитлер выступит этим вечером с обращением к немецкому народу, и первые признаки растерянности среди заговорщиков, и арест коменданта города фон Хазе, а затем снова Штауффенберг с его страстными, но уже словно обращенными в пустоту речами, и, наконец, его подавленное состояние в тот вечер, когда он, сняв повязку с изувеченного глаза, просто бродил по помещению, а потом и театральное возвращение на сцену Фромма, заставившего вдруг

снова функционировать казавшийся парализованным аппарат, на который заговорщики возлагали так много надежд, и, в конце концов, волна арестов, несколько неудачных попыток Бека покончить с собой, спешно организованная экзекуция перед кучей песка во внутреннем дворе, освещенном фарами подогнанного грузовика, а в заключение громкий выкрик Фромма «Да здравствует фюрер!» Около часу ночи все немецкие радиостанции разнесли голос Гитлера:

> «Немецкие соотечественники и соотечественницы! Я не знаю, в какой уже раз было организовано и осуществлено покушение на меня. И если я выступаю сегодня перед вами, то это происходит по двум причинам: во-первых, чтобы вы слышали мой голос и знали, что я жив и здоров. И, во-вторых, чтобы вы узнали также подробно о преступлении, подобного которому не было в истории Германии.
>
> Совсем ничтожная клика честолюбивых, лишенных стыда и совести и в то же время глупых офицеров-преступников устроила заговор, чтобы устранить меня и вместе со мною одновременно практически уничтожить штаб верховного командования германского вермахта. Бомба, подложенная полковником графом фон Штауффенбергом, взорвалась в двух метрах от меня. Ею был очень тяжело ранен ряд дорогих мне сотрудников, один из них умер. Сам я совершенно невредим, если не считать нескольких небольших ссадин, ушибов, ожогов. Я вижу в этом подтверждение возложенной на меня Провидением миссии – продолжать осуществление цели моей жизни, как я это делал до сих пор…
>
> Круг, который представляют эти узурпаторы, максимально узок. Он не имеет ничего общего с германским вермахтом и, главное, с германской армией… На этот раз мы уже рассчитаемся с ними так, как это в обычае у нас, национал-социалистов» [622].

Уже в ту же ночь покатилась широкая волна арестов, направленная против всех подозреваемых, независимо от того, были ли они связаны с неудавшимся государственным переворотом или нет. Вторая волна, примерно месяц спустя (акция «Гроза»), захватила еще раз несколько тысяч предполагаемых оппозиционеров, прежде всего из рядов старых партий [623]. Созданная в этих целях «спецкомиссия по событиям 20 июля», в которую вошли четыреста человек, в течение месяцев, до самых последних дней крушения режима, шла по любому

следу и все новыми рапортами об успехах демонстрировала широту Сопротивления. Изматывающее давление, пытки и шантаж принесли в скором времени наглядные доказательства наличия многолетней, основательно подготовленной теоретически, но неспособной к действиям оппозиции: в частности, изобилие писем и дневников, придающих ей характер перманентного разговора с самой собой. О том, к каким средствам прибегало следствие, видно на примере Хеннинга фон Трескова, покончившего с собой 21 июля на фронте и с похвалой упоминавшегося даже в сводке вермахта в качестве одного из наиболее выдающихся генералов. Но как только выявилось его участие в государственном перевороте, его труп под бранные слова приведенных родных и близких был вытащен из семейной усыпальницы и отправлен в Берлин, где его демонстрировали на допросе в случае упорного сопротивления его друзей, чтобы привести их в шоковое состояние [624].

Вообще же режим развернул – совершенно вопреки своему идеалу бесстрастной, чуть ли не равнодушной расправы – поразительную жестокость, спровоцированную лично Гитлером. Он всегда и раньше, даже во времена контролировавшихся им реакций, демонстрировал свое бросающееся в глаза стремление самым жесточайшим образом мстить за любое неповиновение, любое противодействие. Политика истребления в Польше, например, в своих безудержных, террористических побочных явлениях отвечала не столько уже имевшейся концепции отношения к восточным народам, сколько сиюминутной потребности в возмездии тому из этих народов, кого Гитлер до этого безуспешно обхаживал, желая сделать его союзником при осуществлении мечты своей жизни, – великом походе на Советский Союз; и когда Югославия весной 1941 года после путча офицеров захотела выйти из навязанного ей Тройственного пакта, он пришел в такую ярость, что приказал бомбить с летящих на низкой высоте самолетов в течение трех дней и ночей беззащитную столицу этой страны, назвав свою акцию операцией «Наказание». Теперь же он заявил на одном из совещаний, посвященных обсуждению обстановки, всего через несколько дней после покушения: «С этим пора кончать. Так дело не пойдет. Все эти наиподлейшие твари из числа тех, кто когда-то в истории носил военный мундир, весь этот сброд, спасшийся от прежних времен, нужно обезвредить и искоренить». По поводу юридического решения вопроса о государственном заговоре он сказал так:

«На этот раз я расправлюсь с ними безо всякого. Эти

> преступники предстанут не перед военным судом, где сидят их пособники и где затягиваются процессы. Они будут вышвырнуты из вермахта и предстанут перед Народным трибуналом. Они не получат честной пули, а будут повешены как подлые изменники! Суд чести вышвырнет их из вермахта, и тогда можно будет судить их как гражданских лиц, так что они не запятнают престижа вермахта. Судить их следует молниеносно; не позволять им произносить никаких речей. И приводить приговор в исполнение в течение двух часов после его вынесения! Их следует вешать тут же без всякой жалости. И самое главное – не давать им времени для длинных речей. Ну, Фрайслер уж об этом позаботится. Это – наш Вышинский» [625].

Так и поступали. «Судом чести» под председательством фельдмаршала фон Рундштедта, где заседателями были фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Гудериан, а также генералы Шрот, Шпехт, Крибель, Бургдорф и Майзель, впервые собравшимся 4 августа, были, без заслушивания самих обвиняемых, с позором выгнаны из армии двадцать два офицера, в том числе один фельдмаршал и восемь генералов. С момента начала допросов Гитлер ежедневно получал подробное донесение об их результатах, а также информацию об арестах и казнях, которую он «жадно проглатывал». Он вызвал председателя Народного трибунала Роланда Фрайслера, а также главного палача к себе в ставку и потребовал, чтобы к осужденным не приглашали священника и чтобы они вообще были лишены всего, что каким-либо образом облегчило бы их участь. «Я хочу, чтобы их повесили – повесили, как скотину», – так звучало его указание [626].

8 августа первые восемь заговорщиков были казнены в тюрьме Плетцензее. Облаченные в одежду каторжников и деревянные башмаки, они по одному выходили в имевшее два маленьких окна, пропускавших тусклый свет, помещение, где происходила казнь. Их проводили мимо гильотины и подводили к крюкам, укрепленным на свисавшем с потолка рельсе. Палачи снимали с них наручники, набрасывали им на шею петлю и раздевали их до пояса. Затем они вздергивали осужденных вверх, затягивали петлю и, когда те уже начинали биться в удушье, стягивали с них штаны. Как правило, протоколы отмечают, что казнь длилась не более двадцати секунд, хотя инструкция требовала, чтобы смерть наступала не так быстро. После каждой экзекуции палач и его помощники подкреплялись из бутылки со

шнапсом, стоявшей на столе в центре помещения. Все это запечатлевалось на кинопленке, и уже в тот же вечер Гитлеру демонстрировали казни со всеми их подробностями – вплоть до последних конвульсий осужденных [627].

Чрезмерностью реакции характеризовалась не только интенсивность, но и широта преследования: идеологически окрашенная ответственность за деяния каждого из заговорщиков возлагалась на всех его близких. Через две недели после неудавшегося государственного переворота Генрих Гиммлер, выступая 3 августа 1944 года на совещании гауляйтеров в Позене, заявил:

> «Затем мы введем здесь абсолютную ответственность всей семьи. Мы уже так поступали… и пусть никто не приходит и не говорит нам: то, что вы делаете, это большевизм. Нет, вы уж на нас не обижайтесь, это совсем не большевизм, а очень старый и практиковавшийся еще нашими предками обычай. Почитайте-ка хотя бы германские саги. Когда они подвергали какую-то семью остракизму и объявляли ее вне закона или когда в какой-то семье была кровная месть, тут уж они были беспредельно последовательными. Когда семья объявляется вне закона и предается анафеме, они говорили: этот человек совершил измену, тут плохая кровь, тут кровь изменника, ее следует истребить. А при кровной мести истреблялся весь род до последнего колена. Семья графа Штауффенберга будет уничтожена до последнего колена»[628].

В соответствии с этим принципом были арестованы все оказавшиеся в пределах досягаемости родственники братьев Штауффенбергов – начиная с трехгодовалого ребенка и кончая восьмидесятипятилетним отцом одного из кузенов. Сходная судьба постигла и членов семей Герделера, фон Трескова, фон Зейдлица, фон Лендорфа, Шверина фон Шваненфельда, Йорка фон Вартенбурга, фон Мольтке, Остера, Лебера, фон Кляйста и фон Хефтена, а также многих других. Фельдмаршалу Роммелю пригрозили карами против его семьи и судом над ним самим, если он откажется уйти из жизни добровольно. Генералы Бургдорф и Майзель, передавшие ему это требование Гитлера, вручили ему одновременно и ампулу с ядом. Спустя полчаса они доставили труп в одну из больниц в Ульме и запретили производить какое-либо вскрытие: «Не прикасайтесь к трупу, – сказал Бургдорф главному врачу, – все уже согласовано с Берлином». Казни продолжались до апреля 1945 года.

Так след государственного переворота, предпринятого 20 июля, потерялся в бараках, где проходили казни, и в моргах, куда привозили трупы. Среди причин его провала следует поставить на первое место, пожалуй, все то же внутреннее торможение перед поступком, который шел наперекор слишком уж многим стереотипам мышления и освященным традициями рефлексам. Будучи заговором офицеров, он имел дело со всеми окаменелостями этого слоя, как никакая другая социальная группа зашоренного своим происхождением и идеологическим сводом правил поведения. Наиболее решительному ядру заговорщиков эта проблематика была знакома до отчаяния, и часть проблем, отягощавших акцию с самого ее начала, имела своей причиной то, что операция «Валькирия» была связана фикцией «легального государственного переворота» ради преодоления офицерским корпусом комплекса присяги и бунта. Одно из главных действующих лиц, генерал Хепнер, даже 20 июля принял командование над войсками резерва только тогда, когда получил запрошенный им письменный приказ, однозначно подтверждавший легальность перехода к нему командования [629]. Случаи подобной тяжеловесности придают этой попытке государственного переворота на удивление неуклюжий и при всей его серьезности в моральном плане чуть ли не пародийный характер. Многие эпизоды и детали воскрешают тут в памяти что-то от незабвенного донкихотства генерал-полковника фон Фрича, который собирался в 1938 году, после своей спровоцированной интригами Гиммлера отставки, вызвать рейхсфюрера СС на дуэль; старый мир столкнулся здесь с лишенной предрассудков группой революционеров и в лице своих отдельных еще не коррумпированных представителей проявил всего лишь беспомощную и чудную реакцию. Так, Герделер, будучи последовательным противником идеи покушения, верил, что, случись у него разговор с Гитлером, он смог бы того вразумить, тогда как Штауффенберг и ряд других заговорщиков собирались после восстановления правопорядка добровольно предстать перед судом [630].

Подобный подход демонстрирует большинство из них и после провала операции. Оцепенело ожидали они своих преследователей, будучи неспособными бежать и укрыться: «Не ударяться в бега, а выдержать», – такими словами оправдывает свое решение явиться с повинной капитан Клаузинг, один из главных персонажей событий на Бендлерштрассе; Теодор Штельцер даже возвратился из Норвегии; генерал Фельгибель отклонил протянутый ему непосредственно перед арестом

револьвер замечанием, что так не поступают [631], и все эти манеры поведения, с их старофранкской и трогательной чертой, образцово выражает своим решительным жестом Карл Герделер, который собрал рюкзак, взял в руки дорожную трость и пустился в бега. И во время допросов некоторые из участников заговора больше занимаются доказыванием серьезности и решимости Сопротивления, нежели защитой самих себя, а другие запрещают себе по моральным соображениям лгать, несмотря на опасность того, что их гордость может быть только на руку следователям. Один из руководителей «спецкомиссии по событиям 20 июля» так и заявит, что «мужественная позиция идеалистов тотчас же пролила какой-то свет на эту тьму» [632]. С той же элементарной нравственностью связан и тот факт, что попытка путча прошла без единого выстрела, и в результате неизбежно был упущен ряд шансов на успех. Уже само исходное соображение – идти по пути военного приказа – покоилось на таком обосновании: надо отдавать команды, а не стрелять. И прав был Ханс Бернд Гизевиус, задавший вопрос, почему же главарь эсэсовцев и верный Гитлеру войсковой командир, преградившие путчистам дорогу на Бендлерштрассе, были лишь арестованы, а не «тут же поставлены к стенке», дабы уже с самого начала продемонстрировать непоколебимую решимость государственного переворота и придать ему характер вызова, готового на все [633]. Здесь проявилось то, что 20 июля и было-то именно путчем офицеров – в том плане, что у них не было солдат, которые бы стреляли, арестовывали и осуществляли захват. В свидетельствах того дня то и дело сталкиваешься с маленькими офицерскими отрядами, готовыми к выполнению спецзадач: даже поздним вечером на Бендлерштрассе не было команды караульных, а полковник Егер тщетно просил генерала фон Хазе дать ему боевую группу, с которой он захватил бы Геббельса. В принципе у операции отсутствовала какая-либо ударная сила, а сами офицеры, стоявшие во главе операции, в большинстве своем олицетворяли интеллектуальный тип штабного офицера, а не того бесстрашного вояки, коим был, например, Ремер. Две неудачных попытки Бека в конце этого дня покончить с собой как бы символизировали в финале всю горькую неспособность заговорщиков к решительным поступкам. И, наконец, у путча не было опоры в народе: когда Гитлер вечером 20 июля провожал Муссолини из ставки на вокзал, он задержался у группы строителей и сказал: «Я с самого начала знал, что это были не вы. Я глубоко убежден в том, что мои враги – это носящие приставку „фон“ и называющие себя аристократами» [634]. Он всегда прямо-таки вызывающим образом был уверен, что простые люди

поддерживают его и что он и сейчас знает их желания, их поведение, их потолок; и, действительно, общественность поначалу чуть ли не механически реагировала на попытку государственного переворота как на преступление против государства и встретила это известие со смешанным чувством равнодушия и неприятия. Конечно, такая реакция имела своим истоком и все еще немалую когерентность государства, а также – и подавляющим образом – сохранявшийся престиж Гитлера, ибо он все еще обладал психологической властью, хотя мотивы тут за последнее время и изменились: это уже было не столько восхищение прошлых лет, сколько тупое, окрашенное фатализмом чувство прикованности друг к другу, которое приумножалось как собственной, так и западной пропагандой, угрожающе приближающейся Красной Армией, а также органами устрашения в лице гестапо, сети шпиков и СС, – и над всем этим витала смутная надежда на то, что, как это уже не раз бывало в прошлом, этот человек найдет средство, чтобы отвратить беду. Неудача покушения и быстрый провал попытки государственного переворота избавили народ от необходимости решать вопрос о выборе, перед которым хотели поставить его заговорщики, собираясь раскрыть ему глаза на преступный характер режима в моральном плане, на то, что творилось в концлагерях, на сознательно ориентированную на войну политику Гитлера и на практику истребления, Герделер был убежден, что тогда у общества вырвется крик возмущения и вспыхнет народное восстание [635]. Но этот вопрос поставлен не был.

Таким образом, 20 июля осталось решением и делом немногих одиночек. Однако в смысле характерологической социологии заговора следствием тут явилось то, что этот день стал не только финалом путча – это был – в первую очередь, для прусского дворянства, составлявшего ядро попытки восстания, – крах того богатого традициями слоя, который представлял собой, «может быть, единственную, наверняка наиболее мощную, способную к господству и образованию государства силу, порожденную Германией в новое время», и который один только обладал тем, «в чем нуждается правящий класс и чего не было и нет ни у немецкой высшей аристократии, ни у немецкой буржуазии, ни, как представляется, у немецкого рабочего класса: единством, стилем, волей к господству, пробивной мощью, верой в себя, самодисциплиной, моралью» [636], Конечно же, этот слой уже был коррумпирован Гитлером, лишен власти и обличен в своих паразитических амбициях. Но ликвидирован он был им только теперь. С ними, носителями многих звучных имен, ушла одновременно со сцены и старая Германия, и если даже она давно

уже утратила свою славу, растеряла ее в оппортунистическом и близоруком альянсе с Гитлером, то все равно следует сказать, что решимость разорвать этот заключенный в прошлом союз исходила от этих людей. А в безудержной реакции Гитлера в очередной раз проявилось никогда не затухавшее в нем чувство неприязни к старому миру, тот аффект ненависти, который отличал и его двоедушное отношение к буржуазии: «Я уже часто горько жалел, что не подверг мой офицерский корпус чистке, как это сделал Сталин», – говорил он [637]. В этом смысле 20 июля и то, что последовало вслед за ним, было завершением национал-социалистической революции.

Редко какому социальному слою «уход из истории» [638] удавался столь впечатляюще и выигрышно, как этому, и все же, говоря в целом, он принес жертвы только ради себя самого. Да, его движущей мыслью была мысль о «священной Германии», как это патетически, словно заклинание, воскликнул перед расстрелом Штауффенберг, но за ней всегда стояла и убежденность, что надо действовать как класс и подчиняться в качестве класса особому моральному императиву, который давал право на сопротивление и возводил в долг тираноубийство. «Мы очищаем самих себя», – ответил генерал Штифф на вопрос, как решился он участвовать в деле со столь неопределенным исходом [639].

Из сознания этого и черпались ими все главные мотивы. По сравнению с ним упрек в государственной измене, нарушении присяги или «ударе кинжалом в спину» уже не был таким весомым, равно как и фальсификации и обвинения, к которым они были готовы. «Теперь на нас набросится весь мир и будет поливать нас руганью, – сказал Хеннинг фон Тресков незадолго до смерти одному из своих друзей, – но я, как и раньше, непоколебимо убежден, что мы действовали правильно» [640]. И, действительно, национал-социалистическая пропаганда и пропаганда союзников с фатальным единодушием, которое на этом этапе войны стало проявляться все чаще, обрушили на заговорщиков град подозрений и обвинений, ибо и та, и другая были заинтересованы в тезисе о монолитном характере режима, о тождестве народа и фюрера. Союзники придерживались этого тезиса еще долго и после окончания войны, когда оккупационные власти запрещали публикации о немецком Сопротивлении, И скорее вынужденное уважение, которое проявляется по отношению к заговорщикам всеми сторонами, сохраняет в себе ту же былую неприязнь; во всяком случае, ничего из их идей и представлений о ценностях современностью не унаследовано. Они не оставили за собой почти никакого следа, и случайности

истории только подчеркнули такой исход: трупы казненных были переданы анатомическому институту Берлинского университета, а руководитель этого института, у которого были близкие друзья среди заговорщиков, распорядился кремировать их без вскрытия и захоронить урны на одном из деревенских кладбищ. А там, во время налета авиации союзников, большинство урн было уничтожено бомбами [641].

События 20 июля лишний раз послужили для режима радикализирующим импульсом, и если он когда-либо и отвечал полностью понятию тоталитарного государства, то это было именно в те последние месяцы, принесшие больше жертв и разрушений, нежели весь предыдущий период войны. Уже в день покушения Гитлер назначил рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера командующим войсками резерва и таким актом изощренного унижения офицерского корпуса передал ему тем самым одну из ключевых позиций в вермахте. И Геббельс получил в соответствии с его настоятельным требованием пост «имперского уполномоченного по ведению тотальной войны» и под девизом «Народ этого хочет!» моментально издал целую серию распоряжений об ограничениях, запретах и сокращениях. Были закрыты почти все театры и варьете, все академии, хозяйственные и торговые учебные заведения, отменены все отпуска, введена трудовая повинность для женщин в возрасте до пятидесяти лет и т. д. 24 августа им была объявлена тотальная мобилизация, и вскоре всех годных к несению службы мужчин в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет стали призывать в «фолькс-штурм». «Понадобилась бомба у Гитлера под задницей, чтобы он уловил суть», – так выразился Геббельс [642].

В то же время военное производство достигает таких высоких показателей, каких еще не бывало. И хотя недопоставки и беспрерывные бомбежки постоянно создают все новые трудности, но Шпееру все же удается справиться с ними своими изобретательными и энергичными импровизациями. Производство орудий увеличилось с 27 000 в 1943 году до более чем 40 000, танков – с 20 000 до 27 000, а самолетов – с 25 000 до почти 38 000. Но это был лишь наичрезвычайный, безжалостно пожиравший все резервы сил и словно зовущий на самый последний бой подъем, ни сохранить, ни как-то поддержать, ни тем более повторить который стало уже невозможно. Поэтому он лишь ускорял крушение, тем более что союзники перешли к тем систематическим бомбардировкам заводов, производивших горючее, которые они когда-то планировали, а затем оставили. В результате тут же стало наблюдаться, например,

недопроизводство авиационного бензина – со 156 000 тонн в мае 1944 года до 52 000 тонн в в июне, 10 000 тонн в сентябре и, наконец, всего до 1 000 тонн в феврале 1945 года [643]. Тем самым начали исчерпывать себя все возможности для продолжения войны: недопоставки и бомбежка имели своим следствием ощутимую нехватку сырья, а это, в свою очередь, сокращало производство и снижало качество вооружений, что вело к новым территориальным потерям и давало, со своей стороны, возможность противнику базировать свою авиацию все ближе к территории рейха. Теперь почти все оперативные решения принимаются с оглядкой на состояние военной техники, на каждом разборе положения на фронтах речь идет о сырьевых ресурсах, трудностях транспортировки, дефицитах. С осени 1944 года к взрывчатым веществам подмешивается двадцать процентов соли, на аэродромах готовые к вылету истребители стоят с пустыми баками, а в одной из своих памятных записок того времени Шпеер приходит к выводу, что «с учетом времени складирования и прохождения в перерабатывающей промышленности… зависимое от хрома производство, т. е. все производство вооружений, к 1 января 1946 года будет свернуто» [644].

А в это время русские, прорвав фронт на центральном участке, уже вышли к Висле и из-за ожесточенной тактики Гитлера на удержание продолжали отрезать и окружать все новые немецкие соединения; на некоторых разборах обстановки на фронте выяснялось, что у немцев вдруг, не подав о себе знать, исчезали и больше не находились целые дивизии. Сходным образом, как цепь прорывов и окружений, складывалась и ситуация на Западе, после того как союзники повели с конца июля маневренную войну. Гитлер, сам когда-то успешно применявший такой метод операций, не мог уже теперь находить ему какого-то противодействия и, как и прежде, упорно отклонял все предложения о подвижной обороне, настоятельно делавшиеся ему новым начальником генерального штаба генералом Гудерианом. Вместо этого он, словно зациклившись на своих наступательных концепциях, постоянно разрабатывал планы все новых наступлений, до деталей предписывавшие командующим на местах участки, а также деревни, мосты, дороги, по которым они должны были продвигаться вперед [645]. И хотя вермахт еще насчитывал в своем составе более девяти миллионов человек, эти войска были рассредоточены на половине континента – от Скандинавии до Балкан. Стремление Гитлера удерживать потерянные престижные позиции, а также необходимость сохранять все уменьшающуюся сырьевую базу подавляли всякую

оперативную свободу. В августе Красная Армия отобрала Румынию с ее нефтяными месторождениями, в сентябре – Болгарию, а когда немецкие линии на Балканах были прорваны почти без сопротивления, из войны вышла и измотанная Финляндия. Примерно в то же время англичане высадились в Греции и вошли в Афины. До конца августа союзники заняли и Северную Францию, захватив при этом огромное количество трофеев – материалов и вооружения, а также целое войско пленных. В первые дни сентября их танковые соединения вышли к Мозелю, а неделю спустя, 11 сентября, американский патруль впервые перешел западную границу Германии. И хотя немного позже еще раз удалось отразить предпринятый русскими прорыв в Восточной Пруссии, всем теперь стало ясно: война вернулась на территорию Германии.

Несмотря на все это, Гитлер и не думал сдаваться. Первые же проявления разложения вермахта подавлялись им драконовскими методами; так, например, в начале сентября он устами Гиммлера пригрозил всем дезертирам наказанием, которое будет постигать их семьи. Он рассчитывает на раздоры в стане союзников, на силу вновь подтвердившегося 20 июля «Провидения», на какой-то внезапный перелом в войне: «Они плетутся к своей гибели», – заявил он на одном из совещаний в ставке, которое выявило его решимость продолжать войну при всех обстоятельствах.

> «Пожалуй, я вправе сказать, что большего кризиса, чем тот, что мы уже пережили однажды в этом году на Востоке, невозможно себе представить. Когда фельдмаршал Модель прибыл в группу армий «Центр», она и вправду была сплошною дырой. Она была больше дырой, нежели фронтом, а потом, наконец, стала больше фронтом, нежели дырой… Мы будем сражаться, если понадобится, даже на Рейне. Мы при всех обстоятельствах будем продолжать эту борьбу, пока, как сказал Фридрих Великий, один из наших проклятых противников не устанет бороться и пока мы не получим мир, который обеспечит немецкой нации жизнь на ближайшие 50 или 100 лет и который, главное, не покроет во второй раз нашу честь позором, как это случилось в 1918 году… Если бы моя жизнь окончилась (20 июля), то для меня лично это было бы – я вправе это сказать – освобождением от забот, от бессонных ночей и тяжелой нервотрепки. Ведь всего лишь какая-то доля секунды – и ты избавлен от всего и имеешь свой покой и вечный мир. И все-таки я благодарен Провидению за то,

что остался в живых» [646].

Однако тем не менее кажется, что его организм стал теперь реагировать на перманентное перенапряжение уже сильнее и нетерпеливее, чем когда бы то ни было. После 20 июля Гитлер покидает бункер еще реже, чем прежде, и избегает свежего воздуха, он боится инфекций и террористов. Он не поддается уговорам своих врачей оставить душные, маленькие помещения с их угнетающей атмосферой, более того, разочарованный и терзаемый своими горькими чувствами, он все глубже погружается в этот бункерный мир. В августе он начинает жаловаться на постоянные головные боли, в сентябре заболевает вдруг желтухой, мучится зубной болью, а в середине месяца, вскоре после того как впервые крупные соединения союзников вторглись на территорию рейха, с ним случился сердечный припадок. По сохранившимся свидетельствам, он лежал в апатии на своей походной кровати, в его голосе слышалась легкая дрожь, и какое-то время казалось, что воля к жизни уже покинула его, Головокружения, приступы потливости и боли в желудке следовали друг за другом, все это было связано с какой-то тяжелой инфекцией, а лежавшее на поверхности подозрение в истерическом характере этого букета болезней усиливалось тем, что и теперь, как и осенью 1935 года, понадобилась операция на голосовых связках. 1 октября, в ходе врачебной процедуры, Гитлер на какое-то время потерял сознание [647]. Только после этого болезни начинают утихать, но теперь еще больше усиливается дрожь в конечностях, часто бывает у него и нарушение равновесия, а однажды, во время одной из его редких прогулок, на которые он в конце концов дал себя уговорить, он, словно направляемый чьей-то рукой, стал клониться в сторону. Надо полагать, что одной из причин этой в целом внезапной регенерации явилось давление на него тех принципиальных решений, принимать которые он был теперь, перед лицом надвигающейся заключительной фазы войны, просто вынужден.

В стратегическом плане у него оставались всего лишь две альтернативы: он мог, используя старую идею Германии-бастиона, собрать воедино всю массу еще остававшихся на Востоке сил и укрепить таким образом растянутый фронт обороны, либо же попытаться еще раз нанести удар на Западе. Такой была, так сказать, военная формулировка неоднократно, начиная с лета 1943 года, возникавшего вопроса, где же все-таки следует искать шанс – на Востоке или на Западе, насколько бы неудачным и по сути своей беспочвенным ни был сам этот вопрос. В начале 1944 года в одном из выступлений по радио Гитлер

попытался вновь повторить свое притязание на роль спасителя Европы от «большевистского хаоса», сравнил свою миссию с миссией Греции и Рима и заявил, что высшим смыслом этой войны является борьба не на жизнь, а на смерть между Германией и Советским Союзом и что она представляет собой сопротивление новому вторжению гуннов, угрожающему всей Западной Европе и Америке. Если победит Советская Россия, то «десять лет спустя старейший культурный континент утратит характерные черты своей жизни, сотрется ставшая всем нам такой дорогой картина художественного и материального развития, а народы – носители этой культуры, ее представители… деградируют где-то в лесах и болотах Сибири, если судьба их не будет до того решена выстрелом в затылок» [648]. Теперь же, несколько месяцев спустя, он решается на наступление на Западе, пойдя на ослабление находящегося в чрезвычайно тяжелом положении Восточного фронта.

Это решение часто рассматривается как акт последней великой демаскировки, как саморазоблачение этого беспринципного циника, и почти кажется, что оно и впрямь срывает с него покрывало, за которым он ведь и появился тем революционером-нигилистом, каким увидел его Герман Раушнинг, – человеком, не интересующимся ни идеей, ни программой, ни целью, а использующим идеи, цели и программы ради увеличения объема власти и усиления ее действенности. Бесспорно, стесненное положение, в котором он в тот момент находился, высветило какие-то стороны его сути: его вероломство по отношению к идеям и убеждениям и его презрение к принципам, и, конечно же, оно показывает в тусклом свете и без того замызганный стяг «борьбы против большевизма». Строго говоря, это решение компрометировало его больше, нежели московский договор, который Гитлер мог еще оправдывать как обходной путь и тактический маневр, ибо теперь никаких обходных путей тут уже не было.

И все же, при всем том, решение о наступлении на Западе отнюдь не снимает того, что было фиксацией Гитлера на всю его жизнь и что носило одержимый, чуть ли не маниакальный характер, и доказательств этому буквально несть числа. От внимательного наблюдателя не ускользнет ведь и та последовательность, что содержалась в его решении. Разумеется, тут играет свою роль и упрямство, и отчаяние, и неугасимая ненависть к Западу, разрушившему его великий план, и, как можно предполагать, в своем радикальном настроении на заключительном этапе он еще раз открыл, насколько же ближе ему Сталин, этот, как он часто говорил, «гениальный мужик», к

которому следует относиться «с безусловным уважением» [649]. Но в целом решение Гитлера было в подавляющей мере продиктовано более продуманным соображением, чем этого можно было ожидать от него, когда он стоял уже на краю гибели, у финиша своей власти и своей жизни.

Поначалу он полагал, что его восхищение Сталиным позволит ему сделать правильные выводы о том, как тот поведет себя: величие, знал он, неумолимо по своей сущности, оно не допускает ни колебаний, ни той уступчивости, что была уделом буржуазных политиков. Поэтому новое наступление на Востоке могло бы, возможно, оттянуть конец, но уж никак не могло, конечно же, предотвратить его. Напротив, наступление на Западе, как казалось Гитлеру, было способно своей неожиданностью вызвать у неустойчивых – так он считал – американцев и англичан настоящий шок, а это возвращало ему утерянную инициативу и давало тем самым тот выигрыш во времени, который возрождал лелеемую им надежду на распад вражеской коалиции: в этом смысле наступление было своего рода последним отчаянным предложением западным союзникам делать общее дело. Но прежде всего ему представлялось, что наступление вообще возможно только на Западе, и это соображение перевесило почти все остальное: здесь он мог еще раз вырваться вперед, мог еще раз подтвердить свой, проявленный как раз в наступлении полководческий талант. Растянутый до бесконечности восточный фронт с его исполинскими пространствами в тылу, где Гитлер блуждал даже во времена своей несломленной силы, давал куда меньше оперативных исходных и конечных ориентиров, нежели Запад, где наступление можно было вести, помимо всего, с опорой на систему укреплений Западного вала, на более коротких расстояниях, а также с меньшим расходом горючего. Кроме того, Гитлер полагал также, что его соединения на Восточном фронте будут оказывать отчаянное сопротивление; на Востоке его союзником был страх, в то время как на Западе он мог предполагать рост пораженческих настроений; и хотя попытки специалистов по пропаганде использовать только что ставшие известными планы американского министра финансов Генри Моргентау-младшего по расчленению Германии и превращению ее в аграрную страну в качестве стимуляторов по нагнетанию страха и имели определенный эффект, но ожидавшегося дикого ужаса они отнюдь не породили. Поэтому наступление должно было придать войне на Западе что-то от той решимости и непримиримости, которые уже имели место на Востоке.

За несколько дней до начала наступления, 11 и 12 декабря,

Гитлер приказал созвать войсковых командиров Западного фронта двумя отдельными группами в штабе фельдмаршала фон Рундштедта. После того как у них отобрали там оружие и портфели, их еще в течение получаса возили по местности, прежде чем колонна автомашин остановилась перед входом в большой бункер, который оказался ставкой фюрера «Орлиное гнездо» неподалеку от Бад-Наухайма. Затем через шеренги эсэсовцев командиров провели к Гитлеру. Один из участников рассказывал, что он с изумлением увидел «согнутую фигуру с бледным, оплывшим лицом, съежившуюся на стуле, с дрожащими ладонями, старательно прячущую левую, сводимую сильной судорогой руку». За каждым стулом стоял вооруженный телохранитель, а еще один из участников потом говорил, что «никто из нас не посмел бы даже достать носовой платок» [650]. В своей двухчасовой речи, где оправдания соседствовали с призывами, Гитлер познакомил собравшихся с планами операции «Осенний туман». Наступление должно было пойти через Арденны на Антверпен – главный порт, через который шло снабжение союзников, а затем разгромить все находившиеся севернее войска противника. Гитлер упомянул, что его план представляет собой «риск» и может показаться «в известной степени не соответствующим силам и их состоянию», но теперь он вынужден рисковать: в последний раз соблазнился он мыслью все поставить на одну карту. Расхваливая преимущества наступательной стратегии именно в условиях общей оборонительной ситуации, он призывает офицеров «показать противнику следующее: что бы он ни делал, он не может рассчитывать на капитуляцию – никогда, никогда», и вновь возвратился к своей все более крепнущей надежде:

> «В мировой истории не было еще коалиций, которые бы, как коалиция наших противников, состояли из столь несовместимых элементов с такими абсолютно разными целями… Это – государства, которые в своих целях уже сегодня с каждым днем все больше расходятся друг с другом. А тот, кто, я бы сказал, сидя как паук в гнезде, наблюдает за этим процессом, видит, как с каждым часом эти противоречия обостряются все больше и больше. Если нанести здесь еще парочку тяжелых ударов, то в любой момент может случиться так, что этот искусственно поддерживаемый общий фронт вдруг с оглушительным грохотом рухнет…. однако при условии, что в этой борьбе Германия ни при каких обстоятельствах не проявит даже минутной слабости…

> И вот теперь, господа, я пошел на такие жертвы на других фронтах, которые не понадобились бы, пошел на них, чтобы создать здесь условия для новых наступательных действий» [651].

Четыре дня спустя, 16 декабря, при тумане и низкой облачности, что затрудняло действия авиации противника, на фронте шириной в сто двадцать километров началось наступление. Гитлер снял с Восточного фронта несколько наиболее боеспособных дивизий и сумел с помощью радиоигр ввести противника в заблуждение. Чтобы не привлекать внимания шумом, часть тяжелого снаряжения доставлялась лошадиной тягой, низко летящие штурмовики имели своей задачей заглушить лязг и гул в районе развертывания, и надо сказать, что неожиданность наступления удалось обеспечить полностью, и немецкие соединения прорвали оборону сразу во многих местах. И все-таки уже через несколько дней стало ясно, что это наступление и без ожесточенного сопротивления американцев было обречено на неудачу просто вследствие истощения сил и резервов. Одному танковому подразделению оставалось менее двух километров до огромного американского склада с провиантом, где находилось почти пятнадцать миллионов литров бензина, другая часть безрезультатно ждала горючего и подкреплений на высотах близ Динана, чтобы спуститься вниз по склонам к находившейся всего в нескольких километрах реке Маас. Помимо всего, перед самым Рождеством погода переменилась, в синем, безоблачном небе вновь появились плотные рои самолетов союзников и, совершив за считанные дни пятнадцать тысяч боевых вылетов, буквально разнесли на куски немецкие коммуникации. 28 декабря Гитлер вновь собрал у себя в ставке командиров дивизий и обратился к ним с новой речью:

> «Я никогда в своей жизни не знал такого понятия – «капитуляция», а я один из тех людей, кто начинал свой путь с нуля. Так что для меня ситуация, в которой мы сегодня находимся, не представляет ничего нового. В прошлые времена мне доводилось бывать в совсем других ситуациях, намного хуже. Я говорю это лишь для того, чтобы вы поняли, почему я с таким фанатизмом преследую мою цель и почему ничто не сможет меня сломить. Как бы ни терзали меня заботы и как бы ни разрушалось, наверное, в том числе и заботами мое здоровье, это ни на йоту не изменит моей решимости бороться…» [652]

А в это время на Востоке Красная Армия начала подготовку наступления на широком фронте, и 9 января Гудериан еще раз просит аудиенции у Гитлера, чтобы убедить его в грозящей опасности. Но тот нетерпеливо возражает ему, все его мысли заняты только его собственным наступлением, и он с раздражением защищает вновь обретенную возможность планировать и проводить операции, называет все не отвечающие его мнению предостережения «совершенно идиотскими» и требует запереть начальника разведки на Востоке, на чьи данные опирался в своих словах Гудериан, «немедленно в сумасшедший дом». На замечание Гитлера, что Восточный фронт никогда еще не получал так много резервов, как сейчас, начальник генерального штаба ответил: «Восточный фронт – это карточный домик. Если фронт будет прорван хотя бы в одном месте, то он рухнет» [653].

12 января, непосредственно перед тем, как наступление в Арденнах после еще двух попыток прорыва, предпринятых южнее, было с большими потерями отброшено на исходные позиции, войска под командованием маршала Конева начали с баранувского плацдарма наступление русских и первым же ударом без труда прорвали немецкие позиции. Через день армии маршала Жукова форсировали Вислу по обе стороны польской столицы, тогда как севернее еще две армии прорвались в Восточную Пруссию и начали продвигаться в направлении Данцигского залива. Тем самым пришел в движение весь советский фронт между Балтийским морем и Карпатами – исполинская военная машина при превосходстве в пехоте одиннадцать к одному, в танках – семь к одному и в артиллерии – двадцать к одному. Тесня перед собой гигантскую людскую лавину, она проходила катком по разрозненным потугам немцев оказывать ей сопротивление. Уже к концу месяца была потеряна Силезия, и советские войска вышли к Одеру. Теперь Красная Армия находилась всего в ста пятидесяти километрах от Берлина. По ночам жители города могли слышать гул выстрелов тяжелых орудий.

30 января 1945 года, через двенадцать лет после назначения рейхсканцлером, Гитлер произнес по радио свою последнюю речь. В ней он в очередной раз говорил об угрозе «наводнения из глубин Азии» и в на удивление усталых и неубедительных выражениях апеллировал к духу сопротивления каждого немца: «Каким бы тяжелым ни был нынешний кризис, – сказал он в заключение, – мы, несмотря ни на что, в конечном счете справимся с ним благодаря нашей непреклонной воле, благодаря нашей самоотверженности и нашему умению. Мы выдержим и эту

беду» [654].

В тот же день Альберт Шпеер направил Гитлеру памятную записку, в которой говорилось, что война окончательно проиграна.

Глава II
ГИБЕЛЬ БОГОВ

Короче говоря, ведь тому, кому завещать свой дом некому, не остается ничего другого, как спалить этот дом со всем, что там находится, – получится превосходный костер.

Адольф Гитлер

Возвращение в имперскую канцелярию. – Стратегия грандиозной гибели. – Распад явления. – Перепады настроений. – Подозрительность. – Наступление на всех фронтах. – Тенденции мифотворчества. – Противодействие со стороны Шпеера. – 20 апреля 1945 г. – Несостоявшееся наступление Штайнера. – Совещание 22 апреля и решение умереть в Берлине. – «Предательство» Геринга. – Бункерные медитации. – И Гиммлер – тоже предатель. – Бракосочетание и завещания. – Конец. – Судьба трупа.

Известие о начале крупного советского наступления заставило Гитлера вернуться в рейхсканцелярию. Огромное серое здание, которое виделось когда-то прообразом новой архитектуры, к тому времени лежало в окружении ландшафта из гор битого кирпича, кратеров и руин. Бомбы повредили многочисленные коммуникации, раскололи порфир и мрамор, выбитые окна были заделаны досками. Лишь та часть здания, где находились жилые и рабочие помещения Гитлера, не подверглась еще разрушениям, даже окна этого флигеля оставались пока чуть ли не повсюду целыми. Однако почти непрерывные бомбежки скоро стали вынуждать Гитлера то и дело спускаться в заложенный в саду на глубине восьми метров бункер, и через какое-то время он решил перебраться туда совсем; к тому же такой уход в пещеру отвечал все явственнее проявлявшимся главным чертам его натуры: страху, недоверию и отрицанию реальности. Даже в верхних помещениях, где Гитлер еще в течение нескольких недель имел обыкновение принимать пищу, гардины были всегда плотно задернуты [655]. А снаружи в это время рушились все фронты, пылали города и тянулись

нескончаемые потоки беженцев – хаос разрастался.

И все же во всем этом виделась какая-то направляющая энергия, которая вела не просто к кончине рейха, а к его гибели. Ибо с самого начала своей политической карьеры Гитлер не уставал в высокопарных формулировках, которые он так любил, заклинать альтернативой – мировое господство или гибель, и не было никакого повода сомневаться в том, что о гибели он говорил в не менее буквальном смысле, нежели о своей – теперь уже рухнувшей – страсти к господству над миром. Действительно, отсутствие драматического конца дезавуировало бы всю его прошлую жизнь, его оперный, очаровывающийся грандиозными эффектами темперамент: если мы не победим, заявил он еще в начале тридцатых годов, распространяясь в одной из своих фантазий насчет предстоящей войны, «то погибая сами, мы увлечем в эту погибель еще и половину мира» [656].

Конечно, дело тут было не только в его тяге к театральности и не только в его упрямстве и отчаянии – они лишь подталкивали к катастрофе, скорее, дело тут было в том, что Гитлер видел в этом максимальный шанс для выживания. Штудируя историю, он понял, что только грандиозная гибель и развивает ту мифотворческую силу, благодаря которой остаются в памяти потомков чьи-то имена; и вот теперь он вкладывал всю свою оставшуюся силу в постановку своего ухода. Когда в конце января ставший к тому времени генерал-майором Отто Эрнст Ремер спросил его, почему же он несмотря на неминуемое поражение все еще стремится продолжать борьбу, Гитлер мрачно ответил: «Из тотального поражения вырастает посев нового». Нечто подобное сказал он примерно неделю спустя и Борману: «Отчаянная борьба сохранит свою вечную ценность в качестве примера. Во всяком случае это не наш стиль – дать себя прирезать, как овец. Пусть нас, может быть, и уничтожат, но безропотно привести себя на бойню мы не позволим» [657].

Это соображение придавало поведению Гитлера на всем заключительном этапе безысходную последовательность и послужило, в частности, основой для его последней концепции ведения войны – стратегии «грандиозной гибели». Еще осенью 1944 года, когда армии союзников вышли к германской границе, он распорядился о применении практики «выжженной земли» уже и на территории рейха и потребовал, чтобы противнику оставляли лишь пустыню цивилизации. Но то, что казалось поначалу хоть как-то оправданным оперативными соображениями, превратилось вскоре в бесцельную, прямо-таки абстрактную манию разрушения. Ликвидации подлежали не только предприятия промышленности и снабжения, но и все

учреждения, необходимые для поддержания жизни: продовольственные склады и канализационные системы, подстанции, кабели связи и радиомачты, телефонные станции, распределительные схемы и склады запасных частей, документация отделов прописки и бюро актов гражданского состояния, а также все банковские документы; та же участь ожидала даже уцелевшие после бомбежки памятники искусства: исторические здания, дворцы, церкви, драматические и оперные театры. Вандалистекая суть Гитлера, всегда жившая в нем под тонким слоем буржуазной культурности, этот его синдром варварства, проявилась теперь во всей своей наготе, На одном из последних совещаний, где обсуждалась обстановка, он вкупе с Геббельсом, вернувшимся на свои начальные радикальные позиций и ставшим по этой причине в те недели ближе к Гитлеру, чем когда бы то ни было, сожалел, что они не развернули революции в классическом стиле и что как захват власти, так и аншлюс Австрии оказались полны «изъянов» из-за отсутствия сопротивления, а то мы «разгромили бы все», – усердствовал министр, а Гитлер посетовал на свои многочисленные уступки: «всегда потом жалеешь, что был таким добрым» [658].

Действуя именно в таком духе, он, по свидетельству Гальдера, еще в самом начале войны настоял, вопреки мнению генералитета, на бомбардировке и обстреле уже готовой сдаться Варшавы и эстетически наслаждался картинами разрушений: апокалипсически черным небом, миллионом тонн бомб, вздыбливающимися от взрывов стенами зданий, паникой и гибелью людей [659]. Во время похода на Россию он с нетерпением ожидал уничтожения Москвы и Ленинграда, летом 1944 года – гибели Лондона и Парижа, а после с наслаждением рисовал себе картину того ужасающего эффекта, который принесла бы бомбардировка с воздуха улиц-ущелий Манхэттена; вот только ни одному из этих ожиданий и видений так и не суждено было сбыться [660]. Но зато теперь он мог почти без каких-либо ограничений пойти на поводу своего первобытного аффекта разрушения, без труда сочетавшегося не только с особой стратегией гибели, но и с революционной ненавистью к старому миру, и все это вместе и придавало лозунгам заключительного этапа тот тон экстатического гибельного восторга, которым пронизаны все крики возмущения и который представляется актом крайнего саморазоблачения: «Под развалинами наших опустошенных городов окончательно погребены последние так называемые достижения буржуазного девятнадцатого века, – чуть ли не ликуя писал Геббельс. – Вместе с памятниками культуры рушатся и последние препятствия для выполнения нашей

революционной задачи. Теперь, когда все лежит в развалинах, нам придется отстраивать Европу заново. В прошлом частное владение принуждало нас к буржуазной сдержанности. Теперь же бомбы вместо того, чтобы убить всех европейцев, лишь отполировали тюремные стены, в которых они были заперты… Врагу, стремившемуся уничтожить будущее Европы, удалось только уничтожение прошлого, и это означает конец всему старому и изжившему себя» [661].

Бункер, в который удалился Гитлер, доходил до сада рейхсканцелярии и заканчивался там круглой бетонной башней, служившей также и запасным выходом. В двенадцати помещениях верхнего этажа, так называемого предбункера, размещалась часть обслуживающего персонала, диетическая кухня Гитлера, а также находилось несколько хозяйственных комнат. Винтовая лестница вела оттуда в расположенный ниже бункер фюрера, который состоял из двенадцати помещений, связанных широким коридором. Дверь справа вела к комнатам Бормана, Геббельса, эсэсовского врача д-ра Штумпфеггера, а также в несколько комнат канцелярии, слева располагалась анфилада из шести комнат, в которых обитал Гитлер, через пару метров коридор заканчивался большим залом, где проходили совещания. В течение дня Гитлер находился в своей жилой комнате, где висел большой портрет Фридриха Великого и стояли всего лишь маленький письменный стол, узкий диван и три кресла [662]. Нагота и узость этого лишенного окон помещения порождали удушливую атмосферу, на что жаловались многие посетители, но эта его последняя остановка из бетона, тишины и электрического света, несомненно, очень точно выражала нечто, что было присуще самому естеству Гитлера, – изолированность и искусственность его существования.

Все, кто был очевидцем тех недель, единодушны в своих описаниях Гитлера и отмечают в первую очередь его согбенную фигуру, серое лицо с тенями под глазами и становившийся все более хриплым голос. Его обладавший раньше такой гипнотической силой взгляд был теперь опустошенным и усталым. Он все более явно переставал сдерживать себя, казалось, самопринуждение к стилизации в течение столь многих лет мстило теперь, наконец, за себя. Его китель часто был заляпан остатками еды, на впалых старческих губах виднелись крошки пирожного, а когда он, слушая доклад, брал в трясущуюся левую руку очки, то слышно было, как они постукивают по крышке стола. Иной раз, словно уличенный в чем-то, он откладывал их тогда в сторону; держался он только благодаря своей воле, а из-за

дрожи в конечностях мучился не в последнюю очередь именно потому, что она противоречила его убеждению, будто железная воля может превозмочь все. Один из офицеров генштаба так описывал свои впечатления:

> «Физически он представлял собой ужасную картину. Он с трудом передвигался, бросая вперед верхнюю часть туловища и подтягивая за ней ноги, из своего жилого помещения в помещение для совещаний в том же бункере. У него было нарушено ощущение равновесия, и если его останавливали на этом коротком пути (метров двадцать-тридцать), то ему приходилось садиться на одну из приготовленных для этого у обеих стен скамеек или же держаться за своего собеседника… Глаз его были налиты кровью; хотя все предназначенные для него бумаги печатались увеличенными втрое буквами на специальных «фюрерских машинках», он мог читать их только с помощью сильных очков. Из уголков рта часто капала слюна…» [663]

Изменение режима сна и бодрствования уже смешало к этому времени все представления о дне и ночи, последнее совещание заканчивалось зачастую около шести часов утра. Вконец измученный, Гитлер ждал после этого, лежа на диване, прихода своих секретарш, чтобы дать им указания на день, Как только они входили в комнату, он грузно поднимался: «С дрожащими ногами и трясущейся левой рукой, – расскажет потом одна из них, – он какое-то время стоял перед нами, затем в изнеможении падал на диван, а прислуживающий ему человек устраивал ему ноги повыше. Он лежал в глубокой апатии, занятый только одной мыслью…: шоколад и пирожные. Его страсть к пирожным приняла прямо-таки болезненный характер. Если раньше он съедал не больше трех штук пирожных, то теперь ему подавали наполненную до краев тарелку трижды… Никаких разговоров он не вел…» [664]

Несмотря на прогрессировавшее все более быстрыми темпами разложение, Гитлер и теперь не выпускал из своих рук командование операциями, смесь из упрямства, недоверия, сознания своей миссии и волевого запала все еще подхлестывала его. Один из его врачей, не видевший Гитлера с начала октября 1944 года, был в середине февраля 1945 года просто потрясен его видом и отметил, в частности, его слабеющую память, отсутствие сосредоточенности и частые провалы в сознании. И его реакции становятся все более непредсказуемыми. Когда в начале октября Гудериан предложил, вопреки мнению Гитлера, план по

углублению одной из линий обороны на Восточном фронте, тот не сказал ни слова, а лишь тупо уставился на карту; затем он медленно поднялся и, сделав несколько неверных шагов, остановился с устремленным в пустоту взглядом, после чего кивком отпустил присутствовавших, и никто не может сказать, насколько такого рода явления были продиктованы его потребностью в лицедействе. А потом, несколько дней спустя, какое-то несогласие со стороны начальника генерального штаба спровоцировало у Гитлера один из сильнейших его приступов. «С пылающими от гнева щеками, с поднятыми кулаками, стоял предо мной этот дрожащий всем телом человек, вне себя от ярости и полностью потеряв самообладание. После каждого всплеска гнева Гитлер делал несколько шагов туда и обратно по кромке ковра, потом снова останавливался вплотную ко мне и бросал мне свое очередное обвинение. При этом он заходился в крике, его глаза выпрыгивали из орбит, а жилы на висках налились кровью» [665].

Такие перепады настроения были характерны для обстановки тех недель. Людей, которые годами находились с ним рядом, он неожиданно отстранял, – а других столь же неожиданно приближал. Когда курировавший его много лет врач д-р Брандт вместе со своим коллегой фон Хассельбахом предпринял попытку ослабить влияние Морелля и избавить Гитлера от зависимости от наркотиков, тот без раздумий избавился от него самого, приговорив его вскоре после этого к смертной казни. Так же резко он отстранил от себя Гудериана, Риббентропа, Геринга и многих других. Он часто впадал в бесплодные раздумья, как это было столь характерно для него в ранние годы его формирования; с отсутствующим видом сидел он тогда на своем диванчике со щенком от последнего помета Блонди на коленях, которого он называл «Волком» и сам дрессировал. Только с заверениями в собственной невиновности и со словами о незаслуженном вероломстве возвращался он назад к действительности. В каждой помехе, в каждом отступлении он видел измену. Человечество настолько плохо, посетовал он как-то, «что не стоило бы и жить дальше» [666].

Еще больше усилилась и его отмечавшаяся тяга компенсировать свою мизантропию безвкусными издевками над своим окружением. Тогда он, например, утверждал в присутствии женщин, «что губная помада изготавливается из нечистот Парижа», или отпускал во время обеда, упомянув, что Морелль спускает ему кровь, такую шуточку по адресу своих сотрапезников-невегетарианцев: «Я велю из излишков моей крови приготовить для вас кровяные колбаски как дополнительное

питание. А почему бы и нет? Вы же так любите мясо!» Одна из его секретарш рассказывает, как он однажды, после привычной жалобы насчет великого предательства, с горечью заговорил о том, что будет после его конца: «Если со мной что-то случится, то Германия останется без вождя, так как у меня нет преемника. Первый сошел с ума (Гесс), второй разбазарил симпатии народа (Геринг), а третьего не захотят партийные круги (Гиммлер)… и он полностью чуждый искусству человек» [667].

И все-таки ему как-то удавалось уходить от мрачных чувств, часто стимулом для него становилась какая-то случайность, имя любимого военачальника или какая-нибудь иная звучная, но несущественная мелочь. По стенограммам последних совещаний можно проследить, как охотно он подхватывал какое-то слово, какой-то факт, переиначивал и раздувал его, чтобы в конечном итоге зажечься от него эйфорической верой в победу [668]. Порой он конструировал свои иллюзии с далеко идущими последствиями. Так он распорядился, начиная с осени 1944 года формировать на базе проявивших себя фронтовых частей многочисленные дивизии так называемых народных гренадеров, но в то же время при казал остатки разбитых дивизий не расформировывать, а заставлять их продолжать сражаться и так постепенно «обескровливать» себя, поскольку он считал, что деморализующее воздействие поражения преодолеть невозможно [669]. Но это его распоряжение имело своим следствием, что и при растущих потерях он все еще мог тешить себя мыслью об исполинской растущей военной мощи, и к картинам ирреального мира бункера как раз и относится манипулирование теми дивизиями-призраками, которые он то и дело формировал для наступательных операций, обходных маневров, и, наконец, решающих сражений, которые так никогда и не состоятся.

Его окружение и теперь почти безоговорочно следовало за ним в становившуюся все более прозрачной паутину из самообмана, искажения реальности и мании. С трясущимися руками и ногами и поникшим туловищем сидел он за оперативным столом, ерзая по карте движениями непослушных пальцев. Когда неподалеку от рейхсканцелярии падала бомба, и электрический свет в бункере начинал от взрыва мигать, его взгляд скользил по застывшим лицам стоящих перед ним навытяжку офицеров: «Близко упала [670]!» Но вопреки всему этому, болезненному состоянию и слабости, делавшей его похожим на призрак, он все еще сохранил что-то от своей гипнотизирующей власти. Конечно, какие-то отдельные явления разложения сказались и на его окружении; налицо были признаки беспорядка и ослабевшая дисциплина, нарушения протокола и

выдававшая истинное положение вещей фамильярность персонала. Когда Гитлер входил в большой зал, где проходили совещания, редко кто прерывал разговор и приветствовал его стоя. Но все это было небрежением по дозволению, доминировала же призрачная атмосфера придворного общества, теперь скорее даже усугубившаяся ирреальностью подземного антуража. Один из участников совещаний скажет потом, что «эти флюиды раболепия, нервозности и лживости были почти невыносимы не только для души, они ощущались и в прямо-таки физическом недомогании. Ничто не было там настоящим, кроме страха» [671]. И все-таки Гитлеру все еще удавалось вселять веру и пробуждать самые абсурдные надежды. Его авторитет, несмотря на все ошибки, ложь и неверные выводы, буквально до последних часов, когда у него не стало ни власти казнить и миловать, ни силы навязывать свою волю, оставался абсолютно непререкаемым. Иной раз кажется, что он был в состоянии каким-то непостижимым образом разрушать связь с реальностью у каждого, кто оказался близ него. В середине августа в бункере появился охваченный отчаянием гауляйтер Форстер: тысяча сто советских танков подошли к Данцигу, у вермахта же оставалось всего четыре «тигра», и Форстер был твердо намерен, – так провозглашал он в приемной, – с полной откровенностью описать Гитлеру «всю пагубность положения» и заставить его «принять ясное решение». Но после короткой беседы он вернулся от Гитлера «полностью преображенным»: фюрер пообещал ему «новые дивизии», он спасет Данциг, «и в этом можно не сомневаться» [672].

Тем не менее, такого рода случаи позволяют сделать и обратный вывод: насколько же искусственной и зависимой от перманентного личного воздействия была вся система лояльностей в окружении Гитлера. Его безграничное недоверие, выливавшееся в последние месяцы в столь же болезненные, сколь и гротескные формы, как бы находит тут свое дополнительное подтверждение. Еще до начала наступления в Арденнах он ужесточил и без того строжайшие предписания о режиме секретности одной необычной мерой: потребовал от всех командующих армий подписку о неразглашении тайны. Затем 1 января 1945 года жертвой этого недоверия стала сколоченная в очередной раз из последних резервов истребительная авиация: крупное соединение, состоявшее примерно из восьмисот машин, совершило в этот день на низкой высоте неожиданное глубокое нападение на аэродромы союзников в Северной Франции, Бельгии и Голландии и за несколько часов уничтожило почти тысячу вражеских самолетов, потеряв около ста машин (операция

«Каменная плита»), но из-за чрезмерных предписаний по сохранению тайны попало при возвращении под огонь собственной зенитной артиллерии и потеряло при этом свыше двухсот самолетов. Когда в середине января было сдана Варшава, Гитлер приказал арестовать и привезти под дулами пистолетов причастных к этому офицеров, а генерал, исполнявший обязанности начальника генерального штаба, был подвергнут многочасовому допросу у Кальтенбруннера и шефа гестапо Мюллера [673].

Наверное, с этим недоверием связан и тот факт, что он снова все еще ищет общества своих старых соратников, словно желая в очередной раз почерпнуть силу в былой бесшабашности, радикальности и уверенности. Уже сам факт назначения рейхскомиссарами по обороне гауляйтеров явился актом заклинания старой боевой дружбы; вспомнил он теперь и о Германе Эссере, находившемся в опале почти пятнадцать лет, доверив ему 24 февраля, в день 25-й годовщины провозглашения программы партии, зачитать в Мюнхене соответствующее воззвание, в то время как сам он принял в тот день в Берлине делегацию партийных функционеров. В своем выступлении он пытался воодушевить их обязывающей идеей героической германской борьбы до последнего человека: «Если моя рука и дрожит, – заявил он собравшимся, которые были поражены его видом, – и даже если будет дрожать голова, – сердце мое никогда не дрогнет» [674].

Два дня спустя русские вышли через Западную Померанию к Балтийскому морю, подав тем самым знак, что они уже готовы захватить Германию. На западе союзники преодолели в начале марта «Западный вал» на всем его протяжении от Ахена до Пфальца, захватили 6 марта Кельн и создали у Ремагена плацдарм на правом берегу Рейна. Затем советские войска развернули крупное наступление в Венгрии и обратили в бегство отборные эсэсовские части Зеппа Дитриха, почти одновременно перешли в наступление и партизанские соединения Тито, тогда как западные союзники еще в нескольких местах форсировали Рейн и стремительно продвигались вглубь страны – война вступила в свою завершающую стадию.

Гитлер реагировал на крушение всех фронтов все новыми приказами держаться, вспышками ярости и летучими военно-полевыми судами; он в третий раз отправил в отставку фон Рундштедта, лишил элитные части Зеппа Дитриха нарукавных повязок с вышитым на них названием дивизии и 28 марта снял с поста начальника генерального штаба Гудериана, без объяснений

предложив ему немедленно взять на полтора месяца отпуск для отдыха. Как свидетельствуют сохранившиеся протоколы совещаний, он уже потерял всякую ориентацию и только напрасно расходовал время в бессмысленных препирательствах, упреках и воспоминаниях. Его постоянное нервозное вмешательство лишь ухудшало положение. В конце марта, например, он отдал приказ направить подразделение из резерва в составе двадцати двух танков в район Пирмазенса, затем, получив тревожное известие с Мозеля, передислоцировал эту часть «в область Трира», после чего изменил приказ на движение «в направление Кобленца» и в конечном итоге, по мере поступления новых донесений об обстановке, надавал столько распоряжений по изменению маршрута движения, что никто не был в состоянии даже выяснить, где же находятся эти танки [675].

Но главное – стратегия гибели вступила теперь в стадию своего осуществления. Конечно, речь шла не о какой-то системе хладнокровно спланированного самоуничтожения, а о череде реакций, сопровождающихся безрассудством, вспышками гнева и истерическими припадками, – его сердце все-таки дрогнуло. Но за всем этим все равно почти в каждый момент ощущалось тяготевшее над ним стремление к катастрофе.

Ради создания атмосферы жесточайшей непримиримости Гитлер еще в феврале дал министерству пропаганды указание так подвергать нападкам и оскорблять в личном плане государственных деятелей коалиции, «чтобы они были лишены возможности сделать немецкому народу какое-либо предложение» [676], и на таком вот фоне, когда все мосты были сожжены, шел он теперь на последний бой. Целая серия приказов, начиная с 19 марта («нероновский приказ»[677]), предписывала «уничтожать… все имеющие военное значение транспортные, коммуникационные, промышленные и коммунально-бытовые сооружения, а также материальные ценности на территории рейха, которые могут быть каким-либо образом немедленно или в обозримое время использованы врагом для продолжения им борьбы…» В соответствии с этими приказами были приняты незамедлительные меры по подготовке к разрушению шахт и подземных сооружений, к выводу из строя водных артерий путем затапливания загруженных цементом судов, а также по эвакуации населения вглубь страны, в Тюрингию и в области на среднем течении Эльбы, а оставляемые города должны были, как гласил подготовленный призыв дюссельдорфского гауляйтера Флориана, предаваться огню. Так называемый «приказ о флагах» предписывал, что в тех домах, где будут вывешиваться белые флаги, все лица мужского пола подлежали расстрелу на месте.

Направленная в конце марта директива главнокомандующего требовала активизировать до фанатизма борьбу против надвигающегося врага. При этом какие-либо ссылки на население в настоящее время приниматься во внимание не могут [678]. Всему этому противоречили предпринимавшиеся одно время усилия по спасению свезенных со всех концов континента сокровищ искусства и неоднократно засвидетельствованные хлопоты Гитлера о будущем города Линца – это были последние и тщетные заклинания в бозе почившей мечты о «государстве красоты».

С приближением конца значительно четче проступают и тенденции к мифологизации. Штурмуемая со всех сторон Германия уподобляется образу одинокого героя, мобилизуется в очередной раз и глубоко укоренившаяся в немецком сознании тяга к идеализируемому презрению к жизни, к романтике поля брани и преображению насильственной смертью. Укрепления и заграждения, которые по приказу Гитлера должны были сооружаться повсюду и удерживаться до последнего, символизировали как ту идею «забытого отряда», которая в миниатюре олицетворяла всю Германию в целом и которая издавна имела смутную притягательную силу для пессимистического эмоционального мира Гитлера, так и тех, кто шел за фашистами: вагнеровские мотивы, германский нигилизм и какая-то романтика гибели входили сюда пестрой и похожей на оперную постановку составной частью: «Лишь одного еще хочу я – конца, конца!» Разумеется не случайно Мартин Борман в своем последнем сохранившемся письме из рейхсканцелярии, написанном в начале апреля 1945 года, напоминал своей жене о гибели «доброй памяти нибелунгов в зале короля Этцеля», и вполне можно предположить, что старательный секретарь и этот образ перенял у своего патрона [679]. И для Геббельса это были, несмотря на все беспросветные беды, снова счастливые дни, когда Вюрцбург, Дрезден и Потсдам стали сплошными руинами, ибо такого рода акты бессмысленного варварства не только оправдали прогноз Гитлера, что демократии в этой войне явно потерпели поражение, потому что пошли на предательство собственных принципов, – более того, эти бомбежки работали на его собственные деструктивные замыслы. В воззвании от 24 февраля Гитлер даже заявил, что сожалеет, что «Бергхоф» в Оберзальцберге не стал еще жертвой бомб; а через некоторое время последовал налет, и триста восемнадцать четырехмоторных бомбардировщиков «ланкастер» за считанные минуты превратили эту местность, по свидетельству одного очевидца, в «лунный

ландшафт» [680].

Пожалуй, вообще не отвечает действительности представление, будто Гитлер стремился уберечь собственную персону в этой столь рьяно нагнетавшийся круговерти погибели. Куда вернее было бы сказать, что при всем крахе это были для него недели и дни реализации переплетавшихся в нем чувств: безысходный инстинкт самоубийцы, сопровождавший его всю жизнь и сделавший его готовым пойти на самый большой риск, достиг тут, наконец, своей цели. В очередной раз стоял он, прижавшись спиной к стене, только теперь игра была окончена и уже нельзя было удвоить ставку: в этом конце есть какой-то элемент возбужденного самоудовлетворения, и именно он и объясняет наличие той все еще значительной волевой энергии, которые умела проявлять эта «пожирающая пирожные человеческая развалина», как назвал Гитлера тех недель один из обитателей бункера [681].

Однако решение пойти на гибель натолкнулось теперь на неожиданное сопротивление. Альберт Шпеер, товарищ и наперсник его былых, связанных с архитектурой мечтаний, стал еще с осени 1944 года, опираясь на свой авторитет министра вооружений, противодействовать начатым по приказу Гитлера акциям по разрушению в оккупированных странах и приграничных немецких областях. Правда, при этом Шпеера терзали сомнения, ибо несмотря на наступившее между ними отчуждение он не мог заглушить в себе чувства, что обязан Гитлеру многим: личной его симпатией, огромными художественными возможностями, влиянием, славой, властью. Но когда Шпеер получил приказ разрушить промышленность, его чувство ответственности, окрашенное как чисто деловыми, так и романтическими мотивами, оказалось в конечном счете сильнее чувства личной преданности. В своих многочисленных памятных записках он пытался убедить Гитлера в бесперспективности войны в военном плане и противопоставить рожденным в пещерных системах ставки химерам реалистический анализ ситуации, не добившись, правда, ничего, кроме немилости Гитлера, хотя и все еще в определенном сентиментальном преломлении. Наконец, «придя в отчаяние», Шпеер составил план умерщвления обитателей фюрерского бункера путем пуска в подземную вентиляционную установку отравляющего газа, однако затеянная в последнюю минуту переделка вентиляционной шахты сорвала этот план и в очередной раз спасла Гитлера от покушения. Когда же Шпеер передал ему 18 марта новую памятную записку, в которой предсказывал «с уверенностью окончательный крах немецкой экономики» в самое

ближайшее время и напоминал об обязательстве фюрера «в случае проигранной войны уберечь народ от героического конца», произошла, наконец, их резкая стычка. Преисполненный своими темными, катастрофическими настроениями, Гитлер противопоставил тут словам Шпеера свою концепцию гибели, нацеленную теперь уже не на эффектный уход со сцены, а на саморазрушительную сдачу на милость первобытной власти закона природы. Шпеер в своем последующем письме к Гитлеру передает суть их разговора следующим образом:

> «Из Ваших слов, сказанных мне… в тот вечер – если я правильно их понял – ясно и недвусмысленно следовало: если война проиграна, то погибнет и народ. Такова неотвратимость судьбы. Не следует обращать внимание на те основы, которые нужны народу для его примитивнейшей дальнейшей жизни. Напротив, лучше самим разрушить эти вещи. Ибо этот народ показал себя слабым, и будущее теперь принадлежит более сильному восточному народу. Если что и останется после борьбы, так это все равно лишь неполноценные люди, ибо все достойные погибли.
>
> Я был чрезвычайно потрясен этими словами. И когда день спустя прочитал приказ о разрушениях, а вскоре вслед за ним приказ об эвакуации, я увидел в них первые шаги по осуществлению этих намерений» [682].

Хотя приказ о разрушениях лишал Шпеера власти и отменял все его распоряжения, он ездит в прифронтовые районы и убеждает местные власти в бессмысленности полученных ими приказов, дает указания топить в воде взрывчатку и достает для руководителей жизненно важных предприятий автоматы, чтобы те могли защищаться от прибывших команд подрывников. Призванный Гитлером к ответу, он вновь напирал на то, что война проиграна, и отказался от настойчивого предложения пойти в отпуск. В ходе этой драматической сцены Гитлер потребовал от него проявления уверенности, что война еще не проиграна, а поскольку Шпеер настаивал на своем мнении, – заявления о вере в конечную победу и, наконец, стал, смягчая свои амбиции, чуть ли не умолять того хотя бы выразить надежду на «успешное продолжение» войны: «Если бы Вы, по меньшей мере, сохранили надежду, что для Вас еще не все потеряно! – заклинал Гитлер своего министра. – Вы же должны иметь надежду!… *я уже этим был* бы доволен». Но Шпеер продолжал молчать. Резким тоном, дав ему на размышление двадцать четыре часа, Гитлер отпустил Шпеера, спасшегося от роковых

последствий только изъявлением своей личной преданности фюреру – тот был так растроган, что вернул ему даже часть отобранных полномочий [683].

Примерно в это же время Гитлер в последний раз покидает бункер и выезжает на позиции на Одере. В «фольксвагене» он добрался до замка близ Фрайенвальде, где его ожидали офицеры и генералы штаба 9-й армии. Старый, ссутулившийся человек с седыми волосами и изрезанным морщинами лицом с трудом выдавливал из себя подобие улыбки, которая должна была вселять уверенность. Стоя у покрытого картами стола, он говорит окружавшим его офицерам, что русское наступление на Берлин должно быть остановлено, что тут дорог каждый день, каждый час, чтобы произвести страшное оружие, которое и внесет перелом в войну, – таким был смысл его призывов. Один из офицеров подумал при том, что Гитлер похож на человека, вышедшего из могилы [684].

Тогда как наступление советских войск действительно удалось на какое-то время приостановить, Западный фронт рухнул уже окончательно. 1 апреля была окружена в Рурской области группа армий фельдмаршала Моделя, и уже 11 апреля американцы вышли к Эльбе. За два дня до того пал Кенигсберг. А на Одере в это время русские готовились к штурму Берлина.

В те лишенные какой-либо надежды дни Геббельс, как свидетельствовал он сам, читал вслух павшему духом фюреру, чтобы его подбодрить, «Историю Фридриха Великого» Карлейля, выбрав из нее как раз ту главу, где описывались тяжелые дни короля в зиму 1761 – 1762 года:

> «Про то, как сам великий король не видит больше выхода, не знает больше, что ему делать, как все его генералы и государственные мужи убеждены в его поражении, как враги уже переходят от побежденной Пруссии к своим повседневным делам, как будущее представляется ему беспросветным и он в своем последнем письме министру графу Финкенштайну устанавливает для себя срок: если до 15 февраля не наступит перелом, то он бросит все и примет яд. И далее Карлейль пишет: «Отважный король, погоди еще немного, и твои мучения кончатся, уже восходит за тучами солнце твоего счастья, которое вот-вот покажется». 12 февраля умерла царица[685], и свершилось чудо Бранденбургского дома. У фюрера, сказал Геббельс, были слезы на глазах» [686].

С приближением конца склонность искать знаки и надежды

вне реальности вышла за рамки литературы, заполнила все вокруг и в очередной раз продемонстрировала покрытую флером современности иррациональность национал-социализма. Лей сделался в эти первые дни апреля страстным ходатаем за некоего изобретателя «лучей смерти», Геббельс обращался за советом к двум гороскопам, и в то время как американские войска вышли уже в предгорья Альп, отрезали Шлезвиг-Гольштейн и была сдана Вена, из противостояний планет, восходов светил и их двойных прохождений вновь мерцали надежды на великий перелом во второй половине апреля. И вот, будучи еще во власти этих параллелей и прогнозов, вернувшийся во время воздушного налета после поездки на фронт Геббельс, поднимаясь при свете пожарища по ступенькам своего министерства пропаганды, узнал, что умер американский президент Рузвельт. «Он был в экстазе», как вспоминал потом один из офицеров, и тут же приказал соединить его с бункером фюрера: «мой фюрер, я поздравляю Вас, – кричал он в трубку. – Звезды предсказывают, что вторая половина апреля принесет нам переломный момент. Сегодня – пятница, 13 апреля. Это переломный момент [Со слов фрау Хаберцеттель, одной из секретарш министра пропаганды, см. ее рассказ в книге Тревора-Роу-пера: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 118.

О "лучах смерти" Лея см.: Speer A. Op. cit. S. 467 f.]!» В самом же бункере Гитлер собрал уже в это время министров, генералов и функционеров, всех этих скептиков и маловеров, которых в последние месяцы ему приходилось то и дело принимать, чтобы преподать им «сеанс гипноза», и, захлебываясь, по-старчески путаясь в словах, довел до них известие: «Вот! А вы не верили…» [Speer A. Op. cit. S. 467; оттуда же взят *и* последующий рассказ о состоянии Гитлера.] Еще раз ему показалось, что Провидение демонстрирует свою надежность и удостоверяет этим последним великим вмешательством закономерность тех многочисленных счастливых стечений обстоятельств, что случались в его жизни. В течение нескольких часов в бункере царило шумное праздничное настроение, в котором перемешались облегчение, благодарение, и чуть ли не снова уверенность в победе. Но долго удержаться это чувство уже не могло, как вспоминает Шпеер, «Гитлер сидел в своем кресте опустошенный, словно испытавший освобождение и одновременно вновь оказавшийся в плену, и все же он производил впечатление безнадежности».

Один из забытых министров-консерваторов, входивший в кабинет в 1933 году, услышал даже в тот день «шелест крыльев ангела истории, пролетевшего через комнату» [687], и едва ли можно найти более подходящие слова, чтобы охарактеризовать

наступившую почти на всех уровнях столь явную отчужденность от реальности. Смерть Рузвельта не оказала никакого воздействия на ход военных событий. Три дня спустя советские войска, введя в бой два с половиной миллиона солдат, 41 600 орудий, 6250 танков и 7560 самолетов, начали наступление на Берлин.

20 апреля, в день пятидесятишестилетия Гитлера, руководство режима в последний раз собралось вместе: Геринг, Геббельс, Гиммлер, Борман, Шпеер, Лей, Риббентроп, а также высшие чины вермахта. За несколько дней до того неожиданно приехала и Ева Браун, и каждый знал, что должно было означать ее прибытие. Все же в бункере царил наигранный оптимизм, сам Гитлер во время поздравительной церемонии пытался оживить его еще больше. Он произнес пару коротеньких речей, хвалил, ободрял, делился воспоминаниями. В саду – в последний раз в присутствии кинооператоров и фотографов – он принял группу членов гитлерюгенда, отличившихся в боях с быстро приближающимися советскими армиями, ласково поговорил с ними и вручил награды. Примерно в это же время приводились в исполнение и последние связанные с событиями 20 июля 1944 года казни.

Первоначально Гитлер выражал намерение покинуть в тот день Берлин и возвратиться в Оберзальцберг, чтобы продолжить борьбу из этой «альпийской крепости», под сенью овеянной легендами горы Унтерсберг. Туда уже была отправлена часть персонала. Но в канун своего дня рождения он вновь заколебался, в первую очередь Геббельс страстно уговаривал его возглавить это решающее исход войны сражение у ворот Берлина и, если так случится, искать свой конец на развалинах столицы, как это и подобает его прошлому, его былым клятвам и его историческому рангу; в Берлине, говорил Геббельс, еще можно добиться «моральной всемирной победы». В то же время все другие настаивали сейчас на том, чтобы он покинул обреченный город и бежал, воспользовавшись еще оставшимся узким коридором, потому что кольцо вокруг Берлина должно было сомкнуться со дня на день, а то и с часу на час. Но Гитлер все никак не мог принять решения и согласился только на учреждение северного и южного командований на случай, если Германия в ходе продвижения противника вперед окажется разделенной. «Как смогу я призывать войска к решающей битве за Берлин, – сказал он, – если сам буду в этот момент в безопасности!» Наконец он заявил, что отдает решение на волю судьбы [688].

Великий исход начался уже вечером того же дня. Гиммлер, Риббентроп, Шпеер и почти вся верхушка командования военно-

воздушных сил присоединились к длинным колоннам грузовиков, готовившихся к отъезду в течение всего дня. Бледнея и потея, распрощался Геринг, он ссылался на какие-то «наисрочнейшие задачи», но Гитлер смотрел на этого все еще грузного человека как на пустое место [689], и есть основания предполагать, что его презрение к слабости и оппортунистической расчетливости, которые он обнаружил вокруг себя в этот час, уже тогда предопределило его решение.

Во всяком случае, он отдал приказ – провести крупное наступление всеми имеющимися в наличии силами и отбросить вступивших уже в границы города русских; должны были быть пущены в ход каждый солдат, каждый танк, каждый самолет, и любое своеволие каралось строжайшим образом. Руководство наступлением он поручил обергруппенфюреру СС Феликсу Штайнеру, однако приказ выступать частям отдал он сам, сам же определил их исходные позиции и сам сформировал для готовящегося последнего сражения дивизии, которые уже давно перестали быть дивизиями. Один из участников выскажет потом подозрение, что новый начальник генштаба генерал Кребс, в отличие от Гудериана, перестал снабжать Гитлера конкретной информацией и вместо того, вне связи с реальностью, занимал его как бы «играми в войну», которые сохраняли ему иллюзии, а всем остальным участникам – нервы [690]. Наглядное впечатление о путанице в руководстве операциями в те дни дают записки начальника штаба военно-воздушных сил Карла Коллера:

> «21 апреля. Рано утром звонок Гитлера: «Вы знаете, что Берлин под артиллерийским огнем? Центр города». – «Нет». – «Вы не слышите?» – «Нет, я нахожусь в заповеднике Вердер».
>
> *Гитлер:* «В городе большое возбуждение из-за огня дальнобойной артиллерии. Наверное, речь тут идет о батарее крупного калибра, установленной на рельсах. Русские навели, вероятно, железнодорожный мост через Одер. Авиация должна обнаружить и подавить эту батарею».
>
> *Я:* «У противника нет железнодорожного моста через Одер. Может быть, ему удалось захватить немецкую тяжелую батарею и повернуть стволы на город. Но, вероятно, речь все же идет о русских полевых орудиях среднего калибра, чей огонь достает уже до центра города». Продолжительные дебаты, есть ли у русских железнодорожный мост через Одер, или нет, и может ли полевая артиллерия русской армии обстреливать центр

города…

Вскоре после этого Гитлер снова самолично у аппарата. Хочет знать точные цифры, сколько боеспособных самолетов в данный момент южнее Берлина. Я отвечаю, что информацию такого рода, поскольку связь с войсками функционирует отнюдь не безукоризненно, сразу дать невозможно. Придется довольствоваться текущими утренними и вечерними сводками, поступающими автоматически; это его сильно обозлило.

Спустя какое-то время снова его звонок и возмущение, что реактивные истребители не прибыли вчера с их аэродромов под Прагой. Я объясняю, что над аэродромами постоянно находились вражеские истребители, так что наши самолеты… не могли взлететь. Гитлер ругается: «Тогда реактивные самолеты больше ни к чему, и люфтваффе тоже не нужны…»

В своем раздражении Гитлер упоминает письмо промышленника Рехлинга и кричит: «Того, что он пишет, мне уже достаточно! Все командование люфтваффе следовало бы немедленно повесить!»

Вечером между 20.30 и 21.00, он снова у телефона. «У рейхсмаршала в Каринхалле личная армия. Немедленно распустить ее и… подчинить обергруппенфюреру СС Штайнеру», – и с этими словами бросает трубку. Пока я обдумываю, что же все это должно значить, Гитлер звонит опять: «Всех имеющихся в наличии людей люфтваффе в районе между Берлином и побережьем, вплоть до Штеттина и Гамбурга, привлечь к организованному по моему приказу наступлению северо-восточнее Берлина»… на мой вопрос, где же будет организовано наступление, ответа не последовало, он уже повесил трубку…

В ряде разговоров по телефону я пытаюсь добиться ясности. Так я узнаю через майора Фрайганга из штаба генерала Конрада, что он слышал, будто обергруппенфюрер Штайнер должен начать наступление из района Эберсвальда в южном направлении. Но пока в Шенвальде прибыл только Штайнер с одним офицером. Где войсковые части для наступления, неизвестно…

В телефонный разговор с бункером фюрера, где я только в 22.30 добиваюсь генерала Кребса и прошу более подробной информации о планируемом наступлении… вмешивается Гитлер. Вдруг в трубке слышится его

возбужденный голос: «Вы что, сомневаетесь в моем приказе? Мне кажется, я выразился достаточно ясно…» В 23.50 снова звонок Гитлера. Он спрашивает о мерах люфтваффе в связи с наступлением Штайнера. Я докладываю. При этом я подчеркиваю, что у этих войск совершенно нет боевого опыта, их не готовили к наземным боям, и они не имеют необходимого снаряжения, к тому же у них нет тяжелого вооружения. Он читает мне короткую лекцию об обстановке…» [691].

Нужно знать весь этот фон, чтобы понять фиктивный характер наступления Штайнера, на которое Гитлер возлагал такие далеко идущие надежды: «Вот увидите, – заявил он Коллеру, – русские потерпят у ворот Берлина самое большое поражение, самое кровавое поражение в своей истории». В течение всей первой половины следующего дня он нервно и со все возрастающим отчаянием ожидал известий о ходе операций; в три часа, к началу совещания, посвященного обсуждению обстановки, никакого донесения от Штайнера все еще не было, но зато стало ясно: вчерашние распоряжения так запутали и оголили. фронт, что Красная Армия смогла прорвать внешнее оборонительное кольцо на севере Берлина и ее передовые танковые части ворвались в город. Наступление Штайнера так никогда и не состоялось.

А на обсуждении обстановки разразилась буря, сделавшая это совещание 22 апреля памятным событием. После короткого, задумчивого молчания, не в силах справиться со своими беспредельно обманутыми надеждами, Гитлер начал бушевать. Это было что-то вроде глобального обвинения всего мира в трусости, подлости и измене. Его осипший в последние месяцы почти до шепота голос еще раз обрел что-то от своей силы. Привлеченные шумом, в проходах и на лестницах столпились обитатели бункера, а он кричал, что все оставили его в беде. Он проклинал армию, говорил о коррупции, слабости, лжи. Вот уже сколько лет его окружают предатели и трусы. При этом он потрясал кулаками, слезы бежали по его щекам, и, как это бывало всегда, когда в его жизни случались крупные катастрофы, сопровождаемые исчезновением чар, вместе с одним-единственным, истерическим, доведенным до верхнего предела ожиданием для него рухнуло все. Теперь все кончено, сказал он; больше предпринять он ничего не может, остается одна только смерть; он встретит ее здесь, в городе; кто хочет, может пробиваться на юг, сам же он останется на своем посту в Берлине. Все протесты и просьбы окружающих, которые снова обрели дар

речи, когда Гитлер в изнеможении умолк, были им отвергнуты: он не позволит себя тащить еще куда-то, ему не следовало бы в свое время покидать «Волчье логово». Попытки уговоров, предпринятые по телефону Гиммлером и Деницем, остались безрезультатными, Риббентропа он просто не захотел выслушать. Вместо этого он вновь заявил, что останется в Берлине и встретит смерть на ступенях рейхсканцелярии. Захваченный такой столь же драматичной, сколь и святотатственной картиной, он, по свидетельству одного очевидца, повторил это десять или двадцать раз. Продиктовав текст телеграммы со своим решением о том, что берет оборону города лично на себя, он закрыл совещание. Было восемь часов вечера. Все участники были потрясены и измотаны [692].

Позднее, в личных покоях Гитлера и в узком кругу, дебаты вспыхнули еще раз. Сначала Гитлер вызвал Геббельса и предложил ему переселиться со всей семьей в фюрерский бункер. Затем он стал просматривать свои личные бумаги и, как обычно, когда решение уже было принято, распоряжался быстро, без колебаний. Приказав сжечь документы, он предложил Кейтелю и Йодлю отправиться в Берхтесгаден, их же просьбы об отдаче оперативных приказов были им отклонены. В ответ на их новые настояния он заявил, подчеркнув неизменность своего решения: «Я никогда не покину Берлин – никогда!» Какое-то время оба офицера независимо друг от друга даже раздумывали, не следует ли им силой вывезти Гитлера из бункера и переправить в «Альпийскую крепость», однако эта идея была невыполнимой. После этого Кейтель отправился в расположенный примерно в шестидесяти километрах юго-западнее Берлина, в лесничестве «Старая пещера» штаб армии Венка, которая стала в оставшиеся дни еще раз предметом преувеличенных надежд, а Йодль несколько часов спустя так рассказывал о состоявшейся беседе:

> «Гитлер принял… решение остаться в Берлине, руководить его обороной и застрелиться в последний момент. Он сказал, что сражаться он не сможет физически, лично сражаться не будет, так как не сможет тогда избежать опасности раненым попасть в руки врага. Все мы пытались изо всех сил отговорить его и предложили снять войска с Западного фронта для продолжения борьбы на Восточном. На это он сказал, что все развалилось, что делать этого он не может, и пусть это сделает рейхсмаршал. На прозвучавшее замечание, что ни один солдат не будет сражаться на стороне рейхсмаршала, Гитлер сказал: «Что значит – сражаться?

Теперь уже сражаться много не придется» [693].

Казалось, что он, наконец, сдался. Неукротимое сознание своей миссии, с ранних пор сопровождавшее его лишь иногда скрытое, но остававшееся непоколебимым, сменилось явной депрессией: «Он утратил веру», – написала под впечатлением событий своей подруге Ева Браун. Еще раз в течение вечера Гитлер вновь пришел в то же возбужденное состояние, что и тогда, во время совещания, когда обергруппенфюрер СС Бергер упомянул во время разговора народ, который «так преданно и долго выносил все». Гитлер, «с налившимся синевой и кровью лицом», стал кричать что-то о лжи и предательстве [694]. Но после, прощаясь со своим адъютантом Юлиусом Шаубом, двумя секретаршами, стенографистами и многими другими лицами из своего окружения, он казался уже успокоившимся. А когда вечером следующего дня движимый «противоречивыми чувствами» Шпеер еще раз прилетел в окруженный, полыхающий Берлин, чтобы проститься с Гитлером, тот тоже произвел на него впечатление каким-то неестественно спокойного, сосредоточенного человека; о предстоящем конце он говорил как об избавлении: «Мне это дается легко». Даже на признание Шпеера, что тот уже в течение месяцев срывает его приказы, Гитлер прореагировал спокойно и казался скорее пораженным, что кто-то может себе позволить такую вольность [695].

Однако в нем уже копился очередной приступ ярости, и все оставшиеся часы этой жизни наполнены столь бросающимися в глаза резкими сменами настроения, от состояний эйфории прямо, без какого-либо перехода, к глубоким депрессиям, что это невольно заставляет думать о проявлении в этих скачках диаграммы действия сказавшегося, наконец, многолетнего злоупотребления мореллевской психофармацевтикой. Правда, Гитлер распрощался со свои врачом вечером того же дня со словами: «Мне уже не помогут никакие наркотики» [696]. Но и после ухода Морелля он продолжал принимать его лекарства, и конечно же, в общем и целом, то состояние, в котором он теперь находился, вовсе не было философским равнодушием. Будучи далек от какой-либо слепой покорности судьбе, он в своей депрессии неизменно сохранял тот подспудный тон отталкивающей презрительности, который мог быть только уничтожен, но не заглушен. Одно из последних зафиксированных обсуждений обстановки передает это характерное сосуществование иллюзорной эйфории, подавленности и презрения:

«У меня нет сомнений: сражение здесь достигло

своей кульминации. Если это действительно правда, что в Сан-Франциско у союзников возникнут разногласия – а они возникнут, – то перелом может наступить только в том случае, если я в одном месте нанесу удар большевистскому колоссу. Тогда, может быть, остальные придут к убеждению, что есть только один человек, который в состоянии остановить большевистского колосса, и это – я, моя партия и нынешнее германское государство.

Если же судьба распорядится иначе, тогда я исчезну бесславным беглецом со сцены всемирной истории. Но я считаю, что было бы в тысячу раз трусливее покончить жизнь самоубийством в Оберзальцберге, нежели остаться пасть здесь. – Нельзя говорить: Вы, будучи фюрером…

Я – фюрер, пока я действительно могу вести. А я не могу вести, если буду сидеть где-то высоко в горах… Не для того пришел я в этот мир, чтобы защищать только мой «Бергхоф».

После этого он с удовольствием указал на потери противника, который «израсходовал большую часть своих сил» и истечет кровью в уличных боях за Берлин: «Я лягу сегодня спать немного более успокоенным, – сказал он затем, – и хотел бы, чтобы меня разбудили, если у моей спальной каморки появится русский танк». Потом он посетовал, что с его смертью умрут все его воспоминания, и, пожав плечами, встал: «Но какое значение имеет все это. Ведь когда-то надо смывать эту киноварь» [697].

Отныне так это и будет. Вечером 23 апреля Геринг из Берхтесгадена запросил телеграфом, вступает ли в связи с решением Гитлера остаться в Берлине в силу закон от 29 июня 1941 года, согласно которому преемником фюрера становится он, рейхсмаршал. Хотя Гитлер воспринял эту сформулированную в лояльном тоне телеграмму сперва спокойно, Борману, старому врагу Геринга, удалось представить инициативу последнего как своего рода государственный переворот и своими нашептываниями довести Гитлера до одного из сильнейших припадков. Упрекая Геринга в лени и неспособности, Гитлер обвинил его в том, что тот своим примером «сделал возможной коррупцию в нашем государстве», обозвал его наркоманом и в конечном счете в продиктованной с подачи Бормана радиограмме лишил Геринга всех прав. После чего, изнуренный, но не без видимого злого удовлетворения, он вернулся в свое апатическое состояние, презрительно бросив: «Ну и ладно, пусть себе Геринг ведет переговоры о капитуляции. Коли война проиграна, то не все

ли равно, кто это делает» [698].

У него не было больше резервов. Чувства бессилия, страха и жалости к самому себе овладели им и не нуждались уже в патетических камуфляжах, за коими он так долго скрывался. Вероятно, его отчаяние частью шло и отсюда: на протяжении всей жизни он нуждался в ролях и искал их; теперь же он больше не находил для себя ни одной, потому что роль, например, его кумира Фридриха не давала потерпевшему поражение никаких патетических эффектов, а на роль той вагнеровской фигуры героя, позу которого он пытался принять, сил у него уже недоставало. Отсутствие опоры, находившее свое выражение в судорогах, приступах ярости и засвидетельствованных многими очевидцами приступах неудержимых рыданий, обозначало не в последнюю очередь именно дилемму утраченной роли.

Это проявилось еще раз, когда вечером 26 апреля в окруженный город прибыл вместе с летчицей Ханной Райч генерал-полковник барон фон Грайм, назначенный им преемником главнокомандующего люфтваффе Геринга, – Гитлер непременно хотел, чтобы это назначение было произведено им лично. На глазах у него, как рассказывала Ханна Райч, были слезы, голова падала на грудь, а лицо было мертвенно бледным. Он говорил об «ультиматуме» Геринга: «теперь уже ничего не осталось, – сказал он, – ничто не минуло меня, а теперь вот еще и это. Все кончено. Нет такой несправедливости, какой бы мне не пришлось испытать». Тем не менее, у него еще оставалась одна надежда, правда, мизерная, но в непрерывных разговорах с самим собой он возводил ее в ранг одной из своих фантасмагорических достоверностей. Ночью он попросил Ханну Райч зайти к нему и сказал, что то великое дело, ради которого он жил и боролся, кажется, теперь погибнет, – если армия Венка, которая уже близко, не прорвет кольцо окружения и не деблокирует город. Он дал ей капсулу с ядом: «Но я все еще надеюсь, дорогая Ханна. Армия генерала Венка подходит с юга. Он должен – и сделает это – отбросить русских достаточно далеко, чтобы спасти наш народ» [699].

В ту же ночь первые советские снаряды стали рваться на территории рейхсканцелярии, и бункер вздрагивал, когда наверху рушились стены. В некоторых местах наступавшие были уже на расстоянии примерно одного километра.

На следующий день был схвачен уже переодевшийся в гражданскую одежду личный представитель Гиммлера в ставке фюрера группенфюрер СС Фегеляйн, и в бункере начались новые сетования по поводу непрерывного роста измен. Под подозрением

были теперь уже все. «Бедный, бедный Адольф, – воскликнула Ева Браун, находившаяся в родстве с Фегеляйном в результате его женитьбы на ее сестре Гретль, – все тебя покинули, все тебя предали!» [700] В принципе подозрение не коснулось только Геббельса и Бормана. Они и образовали ту «фалангу последних», которую высокопарно расхваливал Геббельс в одном из своих апофеозов гибели еще много лет назад. Чем больше предавался Гитлер своей меланхолии, тем теснее он приближал к себе этих немногих. С ними проводил он чаще всего вечера после своего возвращения в рейхсканцелярию, иногда приглашали еще и Лея. Различные признаки указывали на какие-то их секретные занятия, которые стали вскоре привлекать любопытство других обитателей бункера [701].

Годы спустя стало известно, что в ходе этих встреч с начала февраля до середины апреля Гитлер проводил своего рода генеральную инвентаризацию и как бы подводил итоги своей жизни: в серии продолжительных монологов он еще раз оглядывался на пройденный им путь, на предпосылки и цели своей политики, равно как и на упущенные шансы и заблуждения. Как всегда, свои соображения он излагал многословно и бессистемно, но в целом эти страницы, составляющие один из основополагающих документов его жизни, содержат нечто от его прежней силы мысли, хоть и уменьшившейся, но все еще ощутимой, и в то же время и его старые навязчивые представления.

Исходным пунктом его соображений была незажившая рана, вызванная крушением идеи германо-британского альянса. Еще в начале 1941 года, распространялся он, можно было бы покончить с этой бессмысленной, ошибочной войной, тем более, что Англия «доказала свою волю к сопротивлению в небе над Лондоном» и, кроме того, «имела в своем активе позорные поражения итальянцев в Африке». Тогда можно было бы в очередной раз удержать Америку от вмешательства в европейские дела и принудить показавшие свою слабость мировые державы Францию и Италию к отказу от их «несвоевременной политики величия», а одновременно и сделать возможной «смелую политику дружбы с исламом». Англия – и это все еще было сердцевиной его великого плана – могла бы посвятить себя «полностью благополучию империи», а Германия, имея безопасный тыл, – своей истинной задаче, «цели моей жизни и основе, на которой возник национал-социализм: искоренению большевизма» [702].

Когда он разбирал причины: погубившие эту концепцию, он опять натыкался на того противника, который с самого начала вставал всякий раз на его пути и силу которого он все-таки не

учел. Это и было, как констатировал он, оглядываясь назад, приведшей к тяжелым последствиям ошибкой: «Я недооценил мощного влияния евреев на англичан во главе с Черчиллем». А в одном из своих бесконечных антисемитских выпадов, то и дело, страница за страницей, пронизывающих этот его самоотчет, он жаловался: «Вот если бы судьба подарила стареющей и закостеневшей Англии нового Питта вместо любящего выпить и объевреившегося полуамериканца![703]» По этой же причине он ненавидел обитателей этого острова, которых он так безуспешно охаживал, больше чем кого-либо из других своих противников, и не скрывал своего удовлетворения тем, что в ближайшем будущем они уйдут из истории и затем, в соответствии с законом жизни, должны будут погибнуть: «Английский народ вымрет от голода или туберкулеза на своем проклятом острове» [704].

Война с Советским Союзом, в очередной раз подчеркивал он, не была продиктована какими-либо волюнтаристскими соображениями: это была основополагающая целеустановка вообще. Конечно, опасность фиаско присутствовала тут всегда, но отказ от этой войны, считал он, был бы хуже всякого поражения, ибо это было бы равнозначно акту предательства: «Мы были обречены на эту войну, и нашей заботой могло быть только одно – по возможности, выбрать удачный момент для ее начала. В то же время разумелось само собой, что мы никогда не откажемся от нее, после того, как мы уже решились на это».

Что же касается срока, то тут Гитлер был далеко не так уверен в правоте, и тот явный пыл, с которым он затрагивал этот вопрос в ходе нескольких вечеров, разбирая его стратегические и тактические аспекты и приводя всякого рода оправдательные аргументы, указывает на то, что здесь он усматривал одну из главных своих ошибок, в результате которой и создал столь характерным для него образом безвыходную ситуацию.

> «Роковым для этой войны является то, что она началась для Германии, с одной стороны, слишком рано, а с другой – несколько поздно. С военной точки зрения, мы были заинтересованы в том, чтобы начать годом раньше. Мне следовало проявить инициативу в 1938 году, а не доводить дело до того, что мне навязали ее в 1939 году, когда она уже в любом случае была неизбежной. Но я ничего не мог поделать, поскольку англичане и французы согласились в Мюнхене со всеми моими требованиями.
>
> Так что в этом плане война на какое-то время запоздала. Но в смысле нашей моральной подготовки

она началась слишком рано. У меня еще не было времени сформировать людей соответственно моей политике. Мне понадобилось бы двадцать лет, чтобы вырастить новую элиту, такую элиту, которая впитала национал-социалистический образ мыслей как бы с молоком матери. Драма немцев состоит в том, что у нас никогда не бывает достаточно времени. На нас всегда давят обстоятельства. А времени нам не хватает главным образом потому, что нам не хватает пространства. Русские на своих огромных равнинах могут себе позволить роскошь не спешить. Время работает на них. Но оно работает против нас…

Роковым образом мне приходится совершать все это на коротком отрезке одной человеческой жизни… Там, где у других в распоряжении вечность, у меня лишь какие-то жалкие несколько лет. Другие знают, что у них будут наследники, которые вновь подхватят дело именно там, где они его оставили, которые тем же плугом будут пахать те же борозды. Я спрашиваю себя, найдется ли среди моих непосредственных преемников человек, который призван к тому, чтобы подхватить факел, выпавший из моих рук.

Другим моим роком является то, что я служу народу с трагическим прошлым, такому непостоянному народу, как немецкий, столь переменчивому, впадающему с удивительной невозмутимостью, в зависимости от обстоятельств, из одной крайности в другую…» [705].

Таковы предпосылки, чьим пленником он был, те принципиальные помехи со стороны ситуации и материала, с которыми он должен был мириться, но и им самим были допущены ошибки, порожденные роковым безумием; он шел на уступки, не диктовавшиеся ни заинтересованностью, ни необходимостью, и весьма знаменательно, что теперь, бросая назад испытующий взор, он дезавуировал одно из немногих сохранявшихся человеческих отношений своей жизни и причислил это к своим заблуждениям:

«Рассматривая события трезво и без всякой сентиментальности, я должен признать, что мою неизменную дружбу с Италией и с дуче можно отнести к числу моих ошибок. Можно без преувеличения сказать, что альянс с Италией больше шел на пользу нашим врагам, нежели нам самим… и в конечном итоге будет способствовать тому, что мы – если мы не одержим все

же победу – проиграем войну…

Итальянский союзник мешал нам почти повсюду. Он помешал нам, к примеру, проводить революционную политику в Северной Африке… потому что наши исламские друзья вдруг увидели в нас вольных или невольных сообщников своих угнетателей… В них все еще жива память о варварских мерах возмездия по отношению к членам ордена сенуситов[706]. Помимо того, смешная претензия дуче на то, чтобы в нем видели «меч ислама», вызывает сегодня такой же хохот, как и до войны. Этот титул, приличествующий Мухаммеду или такому великому завоевателю, каким был Омар, был присвоен Муссолини несколькими печального вида парнями, которых он подкупил или запугал. Был шанс проведения большой политики по отношению к исламу. Он упущен – как многое другое, что мы проворонили из-за нашей верности союзу с Италией…

С военной точки зрения, дело едва ли обстоит лучше. Вступление Италии в войну почти сразу же принесло нашим противникам первые победы и дало Черчиллю возможность влить в своих соотечественников новое мужество, а англофилам во всем мире – новую надежду. Хотя итальянцы уже показали свою неспособность удержать Абиссинию и Киренаику, у них хватило нахальства, не спрашивая нас, даже не поставив, нас в известность, начать бессмысленный поход на Грецию… Это заставило нас, вопреки всем нашим планам, ввязаться в войну на Балканах, что имело опять же своим последствием катастрофическую задержку войны с Россией… Мы смогли бы напасть на Россию еще 15 мая 1941 года и… завершить кампанию до наступления зимы. И все было бы по-другому!

Из чувства благодарности, потому что я не мог забыть позицию дуче во время аншлюса, я все время отказывался от того, чтобы критиковать или обвинять Италию. Напротив, я всегда старался обращаться с ней, как с равной. Законы жизни демонстрируют, к сожалению, что это ошибка – обращаться, как равный, с тем, кто на самом-то деле равным не является… Я сожалею, что не внимал голосу разума, который мне предписывал по отношении к Италии жестокую дружбу»[707].

Если говорить в целом, то он сожалел тут о своей

уступчивости вообще, о недостатке жестокости и самообладания, что и привело его, как он полагал, к краху, после того как он был так близок к своему триумфу, – и в этом последнем документе он свидетельствует сам о столь присущем ему безальтернативном радикализме. Только в одном пункте он всегда оставался верен себе: «Я боролся с евреями с открытым забралом, начало войны было последним предупреждением им… [708].» Что же касается остального, то он сожалел, что не обошелся более безжалостно с немецкими консерваторами, что в Испании поддержал не коммунистов, а Франко, аристократию и церковь, а во Франции не использовал возможности для освобождения рабочего класса из рук «ископаемой буржуазии». Повсюду, говорил он, следовало бы разжечь пламя восстания колониальных народов, провозгласить пробуждение угнетаемых и эксплуатируемых наций, подтолкнуть к бунту египтян, иракцев, весь Ближний Восток, с ликованием встретивший немецкие победы, – так что не из-за его агрессивности и его ненасытности гибнет сейчас рейх, а из-за его неспособности к радикализму, из-за его моральной скованности: «подумать только, какие были у нас возможности!» – говорил он удрученно. Хью Р. Тревор-Роупер скажет о «характерной ясности», с которой Гитлер в этих разговорах с самим собой осмысливает шанс и крушение своей идеи мирового господства по такому принципу: он сознавал, что над Европой господствовать могла только такая континентальная держава, которая бы контролировала западную часть России, черпала резервы из Азии и одновременно взяла бы на себя роль защитницы колониальных народов, чего можно было бы достичь соединением политической революции и лозунгами социального освобождения. Он знал также, что его борьба с Советским Союзом и была борьбой именно за этот шанс. Решающим в этом противоборстве явилось то, что Гитлер не вел его со всей последовательностью революционной войны, он пошел на это противоборство в союзе с традиционными дипломатами и военными старой школы, с помехой в виде дружбы с Муссолини, и ни от того, ни от другого он так и не сумел освободиться. Его радикализм оказался недостаточным, он позволил себе слишком много буржуазных сантиментов, буржуазной половинчатости, сам оказался с червоточиной – таким был результат его размышлений: «Жизнь не прощает слабости» [709].

Решение покончить счеты с жизнью было принято в ночь с 28 на 29 апреля. Около 22 часов, когда Гитлер беседовал с бароном фон Граймом, их разговор был прерван слугой Гитлера Хайнцем Линге, который передал ему сообщение агентства Рейтер, что рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер вступил в контакт со шведским

графом Бернадоттом на предмет переговоров о капитуляции на Западном фронте.

Потрясение, последовавшее за этим известием, было для его души более сильным, чем все испытания последних недель. Гитлер всегда считал Геринга оппортунистом и коррумпированным человеком: поэтому измена рейхсмаршала явилась лишь подтверждением предугадывавшегося разочарования; напротив, поведение Гиммлера, всегда называвшего своим девизом верность и гордившегося своей неподкупностью, означало крах принципа. Для Гитлера это был самый тяжелый удар, который только можно было себе представить. «Он бесновался, как сумасшедший, – описывала дальнейший ход событий Ханна Райч, – лицо его стало багрово-красным и изменилось почти до неузнаваемости» [710]. Но в отличие от предыдущих приступов силы на этот раз очень скоро отказали ему и, сопровождаемый Геббельсом и Борманом, он удалился для беседы за закрытыми дверями.

И снова, приняв одно решение, он принял вместе с ним и все остальные. Для удовлетворения своей жажды мести он приказал сперва подвергнуть короткому допросу Фегеляйна, которого считал соучастником Гиммлера, а затем расстрелять его, что и было сделано его охранниками в саду рейхсканцелярии. После этого он разыскал Грайма и приказал ему попытаться выбраться из Берлина и арестовать Гиммлера. Никаких возражений он не слушал. «Предатель не может быть моим преемником на посту фюрера, – сказал он. – Позаботьтесь, чтобы он им не стал!» [711] Затем он занялся улаживанием своих личных дел.

Было приказано спешным образом подготовить помещение для совещаний к проведению брачной церемонии. Из находившегося поблизости подразделения фолькештурма вызвали некоего начальника управления по делам гау, которого звали Вальтер Вагнер, и попросили его зарегистрировать брак фюрера с Евой Браун. Свидетелями на бракосочетании были Геббельс и Борман. Обе брачующиеся стороны выразили просьбу, чтобы, с учетом особых обстоятельств, бракосочетание было проведено по законам военного времени, то есть незамедлительно; они заявили, что имеют безупречное арийское происхождение, а также не страдают наследственными болезнями, и в брачном протоколе отмечено, что их просьба удовлетворяется, и заявление «проверено и признано надлежаще обоснованным». После чего Вагнер, как следует из того же документа, обратился к брачующимся со следующими словами:

«Теперь я перехожу к торжественному акту

бракосочетания. В присутствии вышеназванных свидетелей… я спрашиваю Вас, мой фюрер Адольф Гитлер, согласны ли вы вступить в брак с фрейлейн Евой Браун. В таком случае прошу Вас ответить «да».

Теперь я спрашиваю Вас, фрейлейн Ева Браун, хотите ли Вы вступить в брак с моим фюрером Адольфом Гитлером. В таком случае прошу Вас ответить «да».

После того, как теперь оба брачующихся изъявили свое желание вступить в брак, я в соответствии с законом объявляю о заключении брака».

Затем участники церемонии поставили свои подписи в свидетельстве, новобрачная была так взволнована, что начала подписываться своим девичьим именем, но тут же зачеркнула начальную букву «Б» и написала: «Ева Гитлер, урожд. Браун». После чего все перешли в личные покои Гитлера, где собрались секретарши, кухарка – фрейлейн Манциали, готовившая Гитлеру диетические блюда, а также несколько адъютантов, ' чтобы немножко выпить и меланхолически повспоминать о былых временах.

Кажется, что с этого момента все события и управление ими вышли из-под влияния Гитлера: можно предположить, что заключительный акт он хотел инсценировать как зрелище более грандиозное и катастрофическое, с большей затратой пафоса, стиля и страха. Вместо этого то, что теперь происходило, создавало впечатление удивительной беспомощности, импровизации, словно он, помня о многих подобных чуду поворотах в своей жизни, вплоть до того самого момента никогда и не думал всерьез о возможности непоправимого конца. Во всяком случае, ужасная идея этой свадьбы для двойного самоубийства – словно он боялся некоего незаконного смертного одра – свидетельствует о тривиальном уходе и демонстрирует, насколько же он был опустошенным и впрямь утратившим свою страсть к эффектам, даже если и пробуждавшая вагнеровские мотивы ассоциация с объединяющей смертью могла еще придать в его глазах этому событию примиряющую черту трагического крушения. Но что бы ни связывалось еще с его именем, – это был конец, который разоблачал миф.

Возможно, теперь он расставался с чем-то большим, нежели с режиссурой жизни, которая всегда понималась им как исполнение каких-либо ролей. Ибо несмотря на все привходящие обстоятельства это бракосочетание знаменовало собой, если рассматривать его в ином аспекте, еще и некую примечательную цезуру: оно явилось не только жестом признательности по

отношению к единственному существу, которое, как однажды заметил Гитлер, помимо овчарки Блонди, оставалось верным ему до конца, – скорее, оно означало также и определенный акт окончательного отречения. Будучи фюрером, – об этом он говорил не раз, – он не имел права быть женатым, мифологическое представление, которое он вкладывал в понятие «фюрер», не выносило никаких человеческих черт; и вот теперь он распрощался с этой амбицией, и здесь можно предположить, что он уже не верил в то, что национал-социализм будет продолжать жить. И он действительно заявил своим гостям, что идея скончалась и не оживет больше никогда [712]. После чего он оставил общество, чтобы в одной из соседних комнат продиктовать свою последнюю волю.

Гитлер составил два завещания – политическое и личное. В первом преобладают безудержные обвинения в адрес евреев, уверения в собственной невиновности и призывы к духу сопротивления: «Пройдут века, и из руин наших городов и памятников искусства будет вновь и вновь возрождаться ненависть к народу, несущему в конечном счете ответственность за это, к тому, кому мы обязаны всем, к международному еврейству и его пособникам». Минуло двадцать пять лет, за его плечами были беспримерное восхождение, немыслимые триумфы, а потом приступы отчаяния и моменты крушений, но, как это с изумлением констатировал еще друг его юности Август Кубицек, когда они увиделись снова в 1938 году, он лишь постарел, но нисколько не изменился: Идеологические пассажи политического завещания прямо-таки текстуально можно было бы считать взятыми из первого документального свидетельства его карьеры – написанного в 1919 году письма Адольфу Гемлиху или из одной из речей начинающего агитатора в пивных. Тот феномен изначальной закостенелости, отрицания всякого опыта, что столь характерен для Гитлера, находит в этом документе свое последнее, дополнительное подтверждение. В отдельной его части он изгонял Геринга и Гиммлера из партии и со всех постов. Своим преемником на посту рейхспрезидента, военного министра и верховного главнокомандующего вермахтом он назвал адмирала Деница; содержащуюся в завещании ссылку на то, что на флоте еще живет понятие о чести, которому чужда даже сама мысль о капитуляции, следовало, несомненно, понимать как задание продолжать борьбу и после его смерти – вплоть до окончательной гибели. Одновременно он назвал состав нового правительства рейха во главе с Геббельсом. Этот документ, в котором не было и признака понимания, солидарности, великодушия и даже приличествовавших моменту слов пафоса,

заканчивался следующей фразой: «Прежде всего я вменяю в обязанность руководству и народу, чтобы строжайшим образом соблюдались расовые законы и оказывалось беспощадное сопротивление всемирному отравителю всех народов – международному еврейству» [713].

Личное завещание Гитлера было значительно короче. Если политический документ претендовал на место в истории, то здесь слышится голос сына чиновника из Леондинга, каковым он всегда и оставался под всеми своими масками:

> «Поскольку в годы борьбы я считал, что не могу взять на себя ответственность за создание семьи, то теперь, перед окончанием этого земного пути, я решил взять в жены девушку, которая после долгих лет дружбы по собственной воле прибыла в уже почти полностью окруженный город, чтобы разделить свою судьбу с моей. Она по своему желанию, как моя супруга, уходит вместе со мной из жизни. Смерть заменит нам то, чего лишал нас обоих мой труд на службе моему народу.
>
> Все, чем я владею – если это вообще имеет какую-либо ценность, – принадлежит партии. Если она перестанет существовать, – государству; если же будет уничтожено и государство, то какие-либо распоряжения с моей стороны будут уже не нужны.
>
> Я всегда собирал мои картины в приобретенных мною в течение этих лет коллекциях не для личных целей, исключительно для расширения галереи в моем родном городе Линце на Дунае. Чтобы это наследие было там – вот мое самое заветное желание. Исполнителем завещания назначаю моего преданнейшего товарища по партии Мартина Бормана Он наделен правом принимать любые решения, имеющую окончательную и официальную силу. Ему разрешается отобрать и передать все то, что имеет ценность как личная память или же необходимо для скромной буржуазной жизни, моим сестре и брату, равно как и главным образом матери моей жены и моим преданным, хорошо ему известным сотрудникам и сотрудницам, в первую очередь моим старым секретарям, секретаршам, фрау Винтер и т. д., которые на протяжении многих лет поддерживали меня своим трудом.
>
> Я сам и моя супруга, чтобы избежать позора смещения или капитуляции, выбираем смерть. Мы

хотим, чтобы нас немедленно сожгли вместе на том месте, где проходила наибольшая часть моего труда в течение двенадцатилетнего служения моему народу».

Оба документа были подписаны 29 апреля, в четыре часа утра. С них сделали три копии и пытались в течение дня разными путями вынести из бункера. Одним из курьеров был полковник фон Белов, адъютант Гитлера от люфтваффе, взявший еще и письмо для фельдмаршала Кейтеля, это было последнее письменное послание Гитлера, и кончалось оно весьма примечательными фразами:

> «Народ и вермахт отдали в этой долгой и суровой борьбе все до последнего. Это было гигантской жертвой. Но многие злоупотребляли моим доверием. Измена и предательство подрывали силу сопротивления в течение всей войны. Поэтому мне не суждено привести мой народ к победе. Генеральный штаб сухопутных войск был несравним с генеральным штабом времен первой мировой войны. Его усилия далеко отстают от усилий действующей армии…
>
> Усилия и жертвы немецкого народа в этой войне были так велики, что я не могу поверить, что они могли быть напрасными. И впредь должно быть целью завоевание немецкому народу пространства на Востоке» [714].

Не раз в течение последних недель Гитлер высказывал опасение, как бы ему не пришлось стать «экспонатом в московском зоопарке» или же главным действующим лицом в «поставленной евреями пьесе» [715]. Эти опасения еще более усилились, когда днем 29 апреля пришло известие о конце Муссолини. За два дня до того дуче был схвачен партизанами в деревушке близ озера Комо и без долгих разбирательств расстрелян вместе со своей любовницей Кларой Петаччи, их трупы привезли в Милан и повесили вверх ногами у бензоколонки на Пьяццале Лорето, где кричащая толпа осыпала их ударами, оплевывала и забрасывала камнями.

Под впечатлением от этого известия Гитлер начал готовиться к собственному концу. Со многих лиц в своем окружении, в том числе со своего слуги Хайнца Линге, своего шофера Эриха Кемпки и командира личного самолета Ханса Баура, он взял обещание позаботиться о том, чтобы его останки не попали в руки врагу. Предпринимавшиеся им приготовления производили эффект последней демонстрации присущего ему на протяжении

всей его жизни стремления к самозасекречиванию, и едва ли мыслим больший контраст, нежели между подготавливаемой сейчас Гитлером смертью чуть ли не исподтишка и концом Муссолини, который призвал еще оставшихся у него сторонников занять вместе с ним позиции в Вальтелине и «умереть там с солнцем на лице» [716].

Гитлер опасался также, что приготовленный яд не принесет быстрой и гарантированной смерти. Поэтому он приказал проверить действие снадобья на своей овчарке. Около полуночи Блонди заманили в туалет бункера, фельдфебель Торнов, собаковод Гитлера, раскрыл ей пасть, а профессор Хаазе, входивший во врачебный персонал, сунул туда ампулу с ядом и щипцами раздавил ее. Минуту спустя зашел Гитлер и безучастно оглядел труп собаки. После этого он попросил обитателей двух соседних бункеров собраться для прощания в зале совещаний. С отсутствующим видом он обошел всю шеренгу, молча протягивая каждому руку; кто-то что-то говорил ему, но он не отвечал или же беззвучно шевелил губами. Утром, в три часа с небольшим, он велел отправить телеграмму Деницу, содержавшую сетования на недостаточную активность войск и в очередной раз требовавшую – что имело вид какого-то запоздалого жеста – действовать «самым скорым и беспощадным образом против всех изменников».

Однако это было, по всей вероятности, лишь новой попыткой еще раз оттянуть приближение конца, прожить еще несколько часов в ожидании, когда поступит ответ, построить еще одну, самую последнюю фикцию: из всех «тяжелейших решений» его жизни предстоящее – хоть он не раз называл это пустяковым делом – было, надо думать, самым тяжелым. Как обычно, в конце дня он провел совещание. Безучастно было им принято к сведению, что советские войска уже заняли территорию Тиргартена, Потсдамерплац, а также метро у Фоссштрассе в непосредственной близости от рейхсканцелярии. Затем он приказал достать двести литров бензина. В два часа ночи он поел в обществе своих секретарш и кухарки; это был как раз тот момент, когда два советских сержанта под немецким заградительным огнем водрузили красное знамя на куполе находящегося поблизости рейхстага. Когда с обедом было покончено, Гитлер велел созвать своих ближайших сотрудников, в том числе Геббельса, Бормана, генералов Бургдорфа и Кребса, а также своих секретарш, фрау Кристиан и фрау Юнге, и нескольких ординарцев. Вместе с женой он пожал каждому руку, а затем, молча и ссутулившись, исчез за дверью своей комнаты. И вот, как будто бы эта жизнь, которая столь во многом

определялась постановочными замыслами и строилась в расчете на яркие эффекты, и не могла не завершиться безвкусным финалом, как раз в этот момент, если верить свидетельствам очевидцев, в столовой рейхсканцелярии начались танцы, которые, наверное, должны были таким насильственным путем снять нервное напряжение последних недель. И даже неоднократные настойчивые напоминания, что фюрер готовится к смерти, были не в силах остановить их [717]. Было 30 апреля 1945 года, около половины четвертого.

А что случилось затем, однозначно выяснить уже невозможно. По показаниям большинства из оставшихся в живых обитателей бункера, раздался один-единственный выстрел. Сразу же после этого начальник команды охранников СС Раттенхубер зашел в комнату. Гитлер сидел, скорчившись и с залитым кровью лицом, на диване, с ним рядом – его жена, на ее коленях лежал револьвер, которым она не воспользовалась; она приняла яд. Советские авторы, напротив, как правило, утверждают, что Гитлер покончил с собой, приняв яд. Однако их противоречивые доказательства, с одной стороны, полностью отрицающие наличие каких-либо следов пули в обнаруженных остатках черепа, а с другой – попытки выяснить, кто же из окружения Гитлера получил задание «пристрелить из милости», ради гарантии, что он будет мертв, заставляет предположить, что вся теория такого самоубийства продиктована политическими мотивами. Она производит впечатление последнего отголоска тех неоднократно предпринимавшихся еще при жизни Гитлера попыток принизить его путем презрительного к нему отношения: как будто уже недостойна сама мысль, что у морально испорченного человека могут быть какие-то способности и сила. Как когда-то полученный им «железный крест», его дарование политика, тактика, а затем государственного деятеля, теперь задним числом подвергается сомнению и мужество, которое требуется для конечно же более тяжелой смерти от пули [718].

Во всяком случае, Раттенхубер распорядился вынести трупы во двор. Там он велел облить их уже приготовленным для этого бензином и пригласил присутствовавших выйти на траурную церемонию наверх. Но едва они собрались, русский артналет загнал всех назад во вход бункера. Затем адъютант Гитлера эсэсовец Отто Гюнше бросил на оба трупа горящую тряпку, и когда взметнувшееся вверх пламя охватило тела, все вытянулись по стойке «смирно» и отсалютовали поднятой рукой. Один из охранников, проходивший мимо места этой церемонии полчаса спустя, опознать Гитлера «уже не смог, потому что он здорово обгорел», а когда он еще раз был там около двенадцати часов, то,

как он потом рассказывал, «по ветру летели только отдельные хлопья». Около двадцати трех часов остатки почти полностью сгоревших трупов были, по свидетельству Гюнше, завернуты в брезент, который «опустили в одну из воронок перед входом в бункер, засыпали землей и утрамбовали деревянной трамбовкой» [719]. В одной из утрированных картин, которые Гитлер любил рисовать в начале карьеры, он видел себя окруженным всеобщим ликованием человеком, чья готовность к собственной гибели диктуется решимостью «лучше быть мертвым Ахиллом, чем живой собакой» [720]; и мысль о собственной смерти всегда была у него насыщена подобного рода преувеличенными представлениями. Свою гробницу он видел в форме огромной крипты внутри башни с колоколами планировавшегося гигантского комплекса на берегу Дуная в Линце [721]; и вот он обрел ее – среди гор щебня, остатков стен, бетономешалок и разбросанного мусора, утрамбованной в воронке от разорвавшегося снаряда.

Это был еще не конец истории. Два дня спустя, после того как Геббельс, предпринявший безуспешную попытку, использовав как предлог «общий праздник Первомай», склонить русских к сепаратным переговорам, покончил с собой, а Борман вместе с другими обитателями бункера сумел вырваться наружу, советские войска захватили покинутый бункер и тут же принялись искать труп Гитлера. Судебно-медицинское обследование сильно обгоревшего мужского туловища от 8 мая 1945 года пришло к заключению, что обнаружен «предположительно труп Гитлера». Однако сделанные вскоре другие заявления опровергали это утверждение, потом советские инстанции сообщили все же об идентификации Гитлера по челюсти, после чего это заявление было снова поставлено под сомнение и появилось утверждение, будто британские власти укрывают его в своей зоне. На Потсдамской конференции 1945 года Сталин сказал, что никакого трупа найдено не было, и Гитлер укрывается в Испании или Южной Америке [722]. В конечном итоге Советам удалось окружить этот вопрос такой таинственностью, что о конце Гитлера стали ходить самые невероятные легенды. Одни утверждали, будто он был расстрелян в берлинском Тиргартене командой немецких офицеров, другие подозревали, что он бежал на подводной лодке на какой-то отдаленный остров, говорили, будто он живет в одном испанском монастыре либо на каком-то ранчо в Южной Америке. При жизни Гитлер был всегда обязан своими успехами в значительной части тому или иному из своих противников, вот и теперь нашелся кто-то, кто создал ему

возможность задним числом – и как бы запоздало демонстрируя все заблуждения эпохи – какое-то время вести полумифическую жизнь и после ее конца.

И пусть даже это явление не имело никаких последствий, но оно было символом. Достаточно ясно подчеркивало оно еще раз, что само появление Гитлера, условия его восхождения и его триумфов имели своим истоком предпосылки, выходящие далеко за узкие рамки чисто немецких обстоятельств. Конечно, каждая нация сама несет ответственность за свою историю. Но только такое сознание, которое вышло из перипетий эпохи, так ничему и не научившись, назовет его человеком одной нации и откажет себе в постижении того, что в нем сфокусировалась мощнейшая тенденция времени, под знаком которой находилась вся первая половина века.

Так что Гитлер разрушил не только Германию, он положил конец и старой Европе с ее национализмами, ее конфликтами, наследственными распрями и ее неискренними императивами, равно как и со всем ее блеском и величием. Возможно, он заблуждался, утверждая, что она «изжила себя» [723]. И потребовались его уникальная радикальность, его видения, его мессианская лихорадочность и – как их порождение – беспримерный взрыв энергии, чтобы добить ее. Но в конечном итоге совершенно непреложным является тот факт, что разрушить Европу без содействия самой Европы он не сумел бы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ: НЕСПОСОБНОСТЬ К ВЫЖИВАНИЮ

Как-то один человек мне сказал: «Послушайте, если вы это сделаете, то тогда через шесть недель Германия погибнет». Я говорю: «Что вы имеете в виду?» – «Тогда Германия развалится». Я говорю: «Что вы имеете в виду?» – «Тогда Германии конец». Я ответил: «Немецкий народ в былые времена выдержал войны с римлянами. Немецкий народ выдержал переселение народов. После немецкий народ выдержал большие войны раннего и позднего Средневековья. Немецкий народ выдержал затем религиозные войны Нового времени. Немецкий народ выдержал потом Тридцатилетнюю войну. После немецкий народ выдержал наполеоновские войны, освободительные войны, он выдержал даже мировую войну, даже революцию – и меня он тоже выдержит!

Адольф Гитлер, 1938 год

Бесперспективность режима. – Спасение мира – Самоутверждение Европы. – Модернизм и анахронизм Гитлера. – Связь с XIX веком. – Немецкий образ Революции. – Разрушение личного мира. – Изменение немецкого отношения к политике. – Сохраняющиеся фашистские тенденции. – Неспособность к выживанию.

Почти без перехода, словно одно мгновение сменило другое, со смертью Гитлера и капитуляцией исчез и национал-социализм, как будто он был всего лишь движением, состоянием опьянения и катастрофой, которую он же и породил. Не случайно в сообщениях весны 1945 года нередко фигурируют выражения о

вдруг улетучившихся «чарах», о растаявшем «призраке»: такого рода формулы, взятые из сферы магического, наглядно характеризовали как на удивление ирреальный характер режима, так и внезапную природу его конца. Специалисты гитлеровской пропаганды неустанно твердили об альпийских твердынях, редутах сопротивления, а также о многочисленных подразделениях вервольфов-«оборотней» и предсказывали продолжение войны и после ее окончания – и вот все это оказалось блефом.

Еще раз выяснилось, насколько же национал-социализм – да и фашизм вообще – в своей сути зависел от превосходящей силы, амбициозности, триумфа, и каким неподготовленным был он, в сущности, к моменту поражения. Недаром же указывалось на то, что Германия была единственной побежденной в ходе второй мировой войны страной, не породившей никакого движения Сопротивления [724].

Это отсутствие прочности не в последнюю очередь наглядно прослеживается и на поведении ведущих действующих лиц и функционеров режима. Прежде всего ход Нюрнбергского процесса, а также последующих судебных разбирательств продемонстрировал, за весьма немногими исключениями, явные старания идеологически дистанцироваться от того, что происходило, а преступные деяния, которые вчера только имели эсхатологический смысл, преуменьшить или оспорить, дабы в конечном счете все – насилие, война, геноцид – обрело характер некоего страшного и глупого недоразумения. Все это способствовало созданию впечатления, будто национал-социализм вовсе не был явлением, охватывающим целую эпоху, а явился порождением жажды власти у одного конкретного человека, а также комплекса чувств зависти и ненависти у одного беспокойного, жаждущего завоеваний народа, ибо если бы национал-социализм имел глубокие корни в своем времени и был одним из непременных движений оного, то военное поражение не смогло бы устранить и так круто оттеснить его в ночь забвения.

А ведь он всего лишь за какие-то двенадцать лет придал миру новый облик, и даже слепому видно, что столь мощные процессы едва ли могут быть достаточным образом объяснены капризом дорвавшегося до власти одиночки. Ибо только если этот одиночка является фигурой, интегрирующей разнообразнейшие эмоции, страхи или интересы, и если влекут его вперед мощные, приходящие из дальних далей энергии, становятся возможными подобные события. В таком свете еще раз вырисовывается роль и значение Гитлера по отношению к окружающим его силам: существовал гигантский, неупорядоченный потенциал

агрессивности, страха, самоотдачи и эгоизма, лежавший втуне и нуждавшийся лишь в том, чтобы некое властное явление разбудило, сфокусировало и использовало его; этому явлению был обязан тот потенциал своей ударной силой и легитимностью, с ним праздновал он свои колоссальные победы, но с ним же вместе он и рухнул.

Однако Гитлер был не только фигурой, объединившей столь многие тенденции времени; в еще большей степени он и сам придавал событиям их направление, масштабы и радикальность. Благоприятствовало ему при этом то, что его мысли не были отягощены какими-либо предварительными условиями и что буквально все – антагонизмы, противников, партнеров по союзу, нации, идеи – он столь же хладнокровно, как и маниакально подчинял своим чудовищным целям. Его экстремизм соответствовал той внутренней дистанции, которую он сохранял по отношению ко всем силам. Еще Август Кубицек подметил склонность своего друга «не раздумывая бросаться тысячелетиями» [725], и если даже и не рекомендуется придавать слишком большого значения такого рода мемуарным формулировкам, – то все равно в поведении Гитлера, какое время тут ни возьми, явно есть что-то от той инфантильной безоглядности в обхождении с миром, на которую намекают приведенные выше слова, да и его, Гитлера, собственное замечание, что он смотрит «на все с чудовищным, ледяным хладнокровием, лишенным каких бы то ни было предрассудков» [726], говорит, по сути, о том же самом. Многое говорит за то, что он – вопреки его относящейся еще к юношеским годам претензии, – так никогда и не осмыслил, что есть история; он видел в ней своего рода настежь открытый для честолюбцев храм славы. Смысла же и правоты свершившегося он не осознавал совершенно. Несмотря на все настроение буржуазного распада, несмотря на окружавшую его атмосферу тления, он был homo novus. И именно таким образом, с абстрагированной беспечностью, шел он на осуществление своих замыслов. В то время как другие государственные деятели учитывали реальность существующего соотношения сил, он отталкивался от чистого места: точно так же, как начал он без оглядки на существующее проектировать новый мегаполис Берлин, планировалась им и полная перестройкаЕвропы закрепившиеся в результате войн и изменения соотношения сил, он переделал эту карту на свой лад, разрушил державы и помог подняться новым силам, вызвал революции и положил конец веку колониализма; в конечном итоге он гигантским образом расширил эмпирический горизонт человечества. Перефразируя слова Шопенгауэра, которого он по-

своему почитал, можно сказать, что Гитлер дал миру урок который тот уже не забудет никогда.

Доминирующим среди тех мотивов, в которых он смыкался с сильным течением духа времени, было неизменное чувство угрозы: страх перед лицом процесса уничтожения жертвой которого были на протяжении веков многие государства и народы, но который только теперь, на этом перекрестке всей истории, развил универсальную, угрожающую всему человечеству мощь. Один из снимков, сделанных в новом здании рейхсканцелярии, демонстрирует лежащий на письменном столе Гитлера фолиант с названием «Спасение мира» [727], и на различных этапах этого жизненного пути наглядно прослеживается, с какой настойчивостью он все время стремился к роли спасителя; она была для него не только призванием и «циклопической задачей», но и представляла собой в этой направляемой режиссерскими соображениями жизни ту великую, образцовую сольную партию, которая ассоциировалась у него с воспоминаниями о любимой опере его молодости – «Лоэнгрин» [728] и мифическими образами каких-то героев-освободителей и «белых рыцарей».

Идея спасения была для него неразрывно связана с самоутверждением Европы, рядом с которой не существовало никакой иной части света, никакой иной сколь-нибудь значительной культуры, все другие континенты были лишь географическими понятиями, пространством для рабовладения и эксплуатации, были пустыми плоскостями, лишенными истории: hic sunt leones[729]. Да и само выступление Гитлера было одновременно и последним гиперболизированным выражением европейского притязания оставаться хозяином собственной, а тем самым и всей истории вообще. В его картине мира Европа, в конечном счете, играла ту же роль, что и немецкий дух в сознании поры его молодости: это была находившаяся под угрозой, уже почти утраченная высшая ценность. У него было острое чутье на опасность растворения, угрожавшую континенту со всех сторон, на угрозу самой его внутренней сути как извне, так и изнутри: эта угроза исходила от неудержимо размножающихся, заполняющих и буквально душащих земной шар «неполноценных рас» Азии, Африки и Америки, а также и от собственных, отрицающих традицию, историю и величие Европы демократических идеологий.

И хотя сам он был фигурой демократического века, но олицетворял собой лишь его антилиберальный вариант, характеризуемый сочетанием манипуляции голосами путем

плебисцитов и харизмы вождя. Одним из непреходящих горьких уроков ноябрьской революции 1918 года было осознание того, что существует неясная взаимосвязь между демократией и анархией, что хаотические состояния и являются собственным, неподдельным выражением подлинного народовластия, а произвол – его законом. Отсюда нетрудно истолковать восхождение Гитлера и как последнюю отчаянную попытку удержать старую Европу в условиях привычного величия. К парадоксам явления Гитлера относится то, что он с помощью краха пытался защитить чувство стиля, порядка и авторитета перед лицом восходящей эпохи демократии с ее правами решающего голоса для масс, эгалитаризацией плебейства, эмансипацией и распадом национальной и расовой идентичности. Но он выразил также и долго копившийся протест против презренного эгоизма крупного капитала, против коррумпирующей мешанины буржуазной идеологии и материального интереса. Ему виделось, что континенту грозит мощный двойной натиск, чреватый чуждым Европе засильем и ее поглощением «бездушным» американским капитализмом с одной стороны, и «бесчеловечным» русским большевизмом – с другой. И вполне правомерно суть выступления Гитлера была обозначена как «борьба не на жизнь, а на смерть» [730].

Не составляет труда, расширив эти представления до глобального уровня, распознать в них парадигматическую ситуацию раннего этапа обретения фашизмом своих приверженцев: это те массы среднего сословия, которые – на фоне общих панических настроений – видели себя в медленно Удушающих их объятиях, с одной стороны, профсоюзов, а с другой – универсальных магазинов, в объятиях коммунистов и анонимных концернов. И, наконец, явление Гитлера можно понимать и как попытку утверждения своего рода третьей позиции – между обеими господствующими силами эпохи, между левыми и правыми, между Востоком и Западом. Это и придало его выступлению тот двуликий характер который не охватывается всеми этими однозначными дефинициями, нацепляющими на него этикетки типа «консервативный», «реакционный», «капиталистический» или «мелкобуржуазный». Находясь между всеми позициями, он в то же время участвовал в них во всех и узурпировал их существеннейшие элементы, сведя их, однако, к собственному, неподражаемому феномену. С его приходом к власти пришел конец и противоборству за Германию, начало которому было положено после первой мировой войны Вильсоном и Лениным [731], когда один пытался привлечь ее на сторону парламентской демократии и идеи мира между

народами, а другой – на сторону дела мировой революции; лишь двенадцать лет спустя это противоборство возобновилось вновь и завершилось якобы соломоновым решением о разделе страны.

Хотя третья позиция, к которой стремился Гитлер, и должна была захватить весь континент, но ее энергетическим ядром должна была быть Германия: современная миссия рейха заключалась в том, чтобы дать уставшей Европе новые стимулы и использовать ее как резервуар сил для мирового господства Германии. Гитлер рвался наверстать упущенное на империалистической стадии немецкого развития и, будучи последышем истории, выиграть главный из возможных призов – гарантированное гигантской экспансией власти на Востоке господство над Европой, а благодаря этому – над всем миром. Он правильно исходил из того, что поделенный земной шар вскоре уже не даст возможности завоевать какую-нибудь империю, а поскольку он всегда мыслил категорическими альтернативами, то ему представлялось, что удел Германии – либо стать мировой державой, либо же «завершить существование… как вторая Голландия и как вторая Швейцария», а может быть, даже и «исчезнуть с лица земли или стать народом-рабом, обслуживающим других» [732]. То соображение, что его замысел до безнадежного предела перенапрягал силы и возможности страны, никак не могло сколь-нибудь серьезно обеспокоить его, ибо он считал, что задача тут заключается в первую очередь в том, чтобы «заставить колеблющийся перед лицом своей судьбы немецкий народ пойти своим путем к величию». Мысль о связанном с этим риске гибели самой Германии вызвала у него во время войны лишь замечание на жаргоне его молодости, чьи рецидивы так для него характерны: тогда, мол, будет «все равно» [733].

Следовательно, и национализм Гитлера также не был однозначен, ибо он, не задумываясь, готов был поступиться интересом нации. Но тем не менее, этот национализм был достаточно интенсивным, чтобы вызвать всеобщее сопротивление. Потому что хотя Гитлер частично и выражал защитные эмоции времени и континента, а его мессианские лозунги оказывали воздействие и далеко за пределами страны, так что к Германии Гитлера относились с уважением и даже – удивительным образом – с завистью [734], ему так никогда и не удалось придать этому своему оборонительному началу нечто большее нежели узкий и жесткий национальный профиль. В ходе своих бункерных медитаций весной 1945 года он как-то назвал себя «последним шансом Европы» и попытался в этой связи оправдать применение насилия по отношению к континенту: «Она не могла быть

покорена шармом или силой убеждения. Чтобы ее заиметь, нужно было ее изнасиловать» [735]. Но вот именно шансом Европы, даже в виде наметки, в виде иллюзии или в плане тактического расчета, Гитлер и не был: не было такого момента, когда он смог бы, перешагнув через себя, войти в игру действительно в роли политической альтернативы. Разве только во время войны, когда речь шла о предположительно не лишенной перспективы попытке придать кампании против Советского Союза европейскую видимость, он раскрылся как тот заклятый враг «интернационализма», каким он начинал, – человеком из, так сказать, глубокой европейской провинции, с неизменной фиксацией на антагонизмах ушедшей в небытие эры.

Тем самым взор еще раз обращается к до странности противоречивому месту Гитлера во времени. Несмотря на всю свою оборонительную в принципе позицию, он долгое время считался прогрессивной по своей сути, современной фигурой эпохи, и окружавший его ореол нацеленности на будущее был тогда в сознании большинства его современников столь же неоспоримым, как и та анахронистическая природа, каковой он обладает в глазах подавляющей части нынешнего восприятия. Современными и отвечавшими духу времени казались 20-м и 30-м годам в своей пестрой череде и техника, и коллективные представления о порядке, и монументальные пропорции, и воинственные позиции, и гордость человека из массы, и аура «звезды»; и одной из причин успеха национал-социализма было также как раз то, что он ловко присвоил себе все эти элементы. В том же ряду стояли и командные жесты крупных личностей; время восхождения и успехов Гитлера в значительной степени протекало под знаком цезаристских тенденций, доходивших до тоталитарного культа вождя в сталинском Советском Союзе, да и в автократическом стиле Рузвельта отражавшихся характерным образом. На этом фоне Гитлер, открыто и с принципиальной остротой заявивший о своей принадлежности к такому типу властителя, казался сигналом новых времен: он был рекламным щитом пафоса и содрогания тех великих трибунов «века масс», приход которых предвещал этой эпохе Шпенглер. Примечательно, что для публики Гитлер и подчеркивал-то всегда сильнее оптимистический, обращенный к будущему характер национал-социализма, а не его регрессивные, окрашенные ностальгическим культурным пессимизмом черты, которые стали предметом забот главным образом Гиммлера, Дарре, а также множества эсэсовских чинов.

На самом же деле, однако, Гитлер побаивался будущего; в «Застольных беседах» в ставке фюрера он как-то заявил, что рад,

что ему довелось жить только в начале технического века, более поздние поколения уже не будут знать, «как прекрасен был когда-то этот мир» [736]. Несмотря на всю свою ориентированную на прогресс позу он о чрезвычайно запоздавшей натурой, приверженной в основном образам, нормам и инстинктам XIX века, который он и воспринимал, наряду с классической древностью, как на лее значительный период в истории человечества. Да и в самой его кончине, какой бы неудачно тривиальной и театральной она ни показалась, отразились те две стороны эпохи которая его восхищала и которую он одновременно еще раз представил: тут было нечто от ее гремучего блеска, нашедшего свое выражение в продирижированном им по мот» гибели богов финале, но было и нечто от ее пошловатого характера, когда он на манер потерпевшего фиаско игрока зри шапокляков лежал мертвецом на диване в бункере рядом с метрессой, ставшей его официальной женой. Это явилось финалом, продемонстрировавшим его выпадение из времени и еще раз раскрывшим всю архаичность самого его существа Феномен застылости, с которым так часто сталкиваешься на протяжении всей этой жизни, и обретает именно на таком фоне свое истинное значение: он хотел остановить то неповторимое мгновение, какое являл собой мир в пору его, Гитлера, становления. В отличие от фашистского типа вообще, от Муссолини, Морраса или даже Гиммлера, Гитлером соблазнен не историей, а тем, что пережил он в период своего формирования, – ознобом счастья и страха поры полового созревания. Поэтому и спасение, которое он стремился принести, непременно должно было идти под знаком великого XIX века. Вся картина мира Гитлера, его маниакальные представления о борьбе за жизнь, о расе, пространстве, как и сохранившееся у него до самого конца восхищение идолами великими мужами его молодости, да и вообще великими мужами, чьим простым рефлексом воли и представлялась ему история вплоть до последних его дней, до абсурдных его надежд, связанных со смертью Рузвельта в апреле 1945 года именно это, как и многое другое, и характеризует всю меру его фиксации. То же самое сказывается и в многочисленных трудностях, мешавших ему представить себе горизонты текущего века: постоянно всплывавшая в его выступлениях пугающая цифра – 140 жителей на один квадратный километр, – которой он стремился оправдать свои притязания на расширение «жизненного пространства», раскрывает его неспособность найти современные по своей сути решения, направленные на завоевание, так сказать, внутреннего жизненного пространства, срывает с него маску поборника

модернизации, по крайней мере, частично, как всего лишь показной атрибут. В целом же мир, уже стоявший тогда на пороге атомного века, оставался в его представлении идентичным тому, на который – так заявлял он не без оттенка благодарной признательности еще в феврале 1942 года – когда-то открыл ему глаза Карл Май [737].

Да и суть величия как такового он понимал на лубочный лад, в стиле старых приключенческих романов, – в образе сверхчеловека-одиночки. К константам его картины мира относится тот момент, что он хотел быть не просто великим, а великим в манере, стиле и темпераменте человека искусства, и когда он в одной из своих речей провозгласил «диктатуру гения» [738], то явно имел при этом в виду право на господство людей искусства. Примечательно, что свое представление о величии он видел в образах Фридриха Великого и Рихарда Вагнера – двух явлений, равным образом связанных с художественной и политической сферой, и определял его как «героическое», а его самый тяжкий упрек своему антагонисту ранних лет Густаву фон Кару состоял в том, что тот «не был героическим явлением» [739]. В принципе он – рассматривал величие как категорию, выражающую статичность и нашедшую наилучшее воплощение в памятниках, и не требуется никаких обстоятельных попыток истолкования, чтобы обнаружить тут психопатический характер – проявляющуюся в этих представлениях наивную, ребяческую черту, при одновременно напряженном, форсируемом естестве. Отпечаток этого лежал на всем поведении волевого человека, как оно было усвоено им; но давайте вспомним, сколько же скрывалось за этим апатии, нерешительности и нервозности, какие искусственные импульсы постоянно нужны были Гитлеру для значительных проявлений энергии, при которых все равно всегда присутствовало что-то от механической конвульсии гальванизированной мышцы. Подобным же образом искусственной и натужной выглядела его аморальность, которой он охотнее всего придал бы холодность свободной, обладающей грубой силой натуры – натуры человека-господина, чтобы скрыть, сколько тайной страсти к возмездию переполняло его. Несмотря на всю свою макиа-зеллистскую вольность, чем он так нравился самому себе, он, конечно же, не был свободен от вмешательства со стороыы той самой морали, которую презрительно называл «химерой» [740]. Внутренний холод и расстройства пищеварения – и эти симптомы легко позволяют отнести подверженного им типа, даже в плане состояния его организма, к XIX веку; слабость нервов, компенсируемая повадками сверхчеловека, – и в этом распознается связь Гитлера с поздней буржуазной эпохой,

временами Гобино, Вагнера и Ницше.

Однако характерным для этой связи является как раз то, что она была полна изломов и необычностей, недаром же Гитлера с полным основанием называли «detache» (отрезанный ломоть) [741]: несмотря на все свои мелкобуржуазные наклонности, он в действительности не принадлежал к этому миру, во всяком случае, его корни никогда не достигали тут достаточной глубины, чтобы он разделял ограниченность, присущую ему. По этой же причине его оборонительная реакция и была преисполнена таких неприязненных чувств, и потому-то он довел оборону мира, о защите которого говорил, до разрушения этого мира.

И все же поразительным образом этот обращенный в прошлое, совершенно очевидно сформированный XIX веком человек вывел Германию, равно как и немалые части зараженного его динамизмом мира, в XX столетие: место Гитлера в истории куда ближе к великим революционерам, нежели к тормозившим ее, консервативным власть имущим. Конечно, свои решающие стимулы Гитлер черпал из стремления воспрепятствовать приходу новых времен и путем внесения великой, всемирно-исторической поправки вернуться к исходной точке всех ложных дорог и заблуждений: он – как это он сам сформулировал – выступил революционером против революции [742]. Но та мобилизация сил и воли к действию, которых потребовала его операция по спасению, чрезвычайно ускорила процесс эмансипации, а перенапряжение авторитета, стиля, порядка, связанное с его выступлением, как раз и ослабило взятые ими на себя обязательства и привело к успеху те демократические идеологии, которым он противопоставлял такую отчаянную энергию. Ненавидя революцию, он стал, на деле, немецким феноменом революции.

Конечно, самое позднее уже с 1918 года в Германии шел процесс острых перемен. Но этот процесс проходил половинчато и чрезвычайно нерешительно. И только Гитлер придал ему ту радикальность, которая и сделала процесс по сути революционным и кардинально изменила застывшую и удерживаемую в рамках определенных авторитарных социальных структур страну. Только теперь, под воздействием притязаний фюрерского государства, рухнули почтенные институты, были вырваны из привычных связей люди, устранены привилегии и разрушены все авторитеты, не исходившие от самого Гитлера или не санкционированные им. При этом ему удалось либо погасить страхи и аффекты выкорчевывания, которые сопровождают обычно разрыв с прошлым, либо преобразовать их в энергию на пользу обществу, поскольку он умел достаточно достоверным

образом преподнести себя массам в качестве всеобъемлющего эрзац-авторитета, но главным тут явилось то, что он ликвидировал наиболее конкретную форму проявления страха перед революционным будущим – левые марксистские силы.

Конечно, было пущено в ход насилие. Но он никогда – с самого начала – не делал ставку только на грубую силу. С намного большим успехом Гитлер противопоставил мифу о мировой революции и об определяющей ход истории – силе пролетариата свою собственную, конкурирующую с этим идеологию. Клара Цеткин видела приверженцев фашизма в первую очередь в разочарованных людях всех слоев, в «наиболее усердных, сильных, решительных, отважных элементах всех классов» [743], и вот Гитлеру и удалось объединить их всех в новом мощном массовом движении. И даже если ненадолго, но тем не менее на какой-то ошеломляющий момент лозунг «Адольф Гитлер пожрет Карла Маркса», с которым Йозеф Геббельс начал борьбу за «красный» Берлин, оказался отнюдь не столь уж дерзким, как это могло показаться в начале. Во всяком случае, идеологическая инициатива в 30-е годы перешла на некоторое время от Москвы к Берлину, и утопия о классовом примирении оказалась настолько явно сильнее утопии о диктатуре одного класса над всеми другими, что Гитлер смог привлечь на свою сторону значительные отряды даже вызывавшего такой страх пролетариата и включить их в пестрый состав своих сторонников, где были люди всех классов, всех категорий сознания и имущественного положения. И в этом плане он, действительно, соответствовал своему притязанию на роль «разрушителя марксизма»; по меньшей мере, он открыл уязвимость марксизма и то обстоятельство, что этот противник отнюдь но имеет на своей стороне законов истории. Во всяком случае, Гитлер вовсе не был тем последним, отчаянным шагом уходящего со сцены капитализма, как это представляют некоторые находящиеся в состоянии ослепления идеологии.

Как фигура социальной революции Гитлер, следовательно, представляет собой амбивалентное явление, его неоднократно отмечавшаяся «двойная суть» не проявляется нигде столь явственно, как именно в этой связи. Ибо нельзя сказать, что революция, которая была делом его рук, случилась якобы вопреки его намерениям: революционная мысль об «обновлении», о преобразовании государства и общества в свободную от конфликтов, по-боевому сплоченную «народную общность» была доминирующей всегда. Обладал Гитлер и волей к переменам, и представлением о цели, и готовностью к соединению воедино того и другого. Тот, кто мерит его по образу и подобию набора

политиков веймарского периода, по Гугенбергу, Брюнингу, Папену, Брайтшайду и, конечно же, по вождю коммунистов Тельману, не может, помимо всего прочего, не назвать его несомненно современным явлением. Да и сопутствовавшие обстоятельства национал-социалистической революции, ее тупая радикальность и кажущаяся лишенной программы всеядность легко могут служить основанием для того, чтобы назвать ее вдохновителя и руководителя революционером, ибо с более близкого расстояния почти все процессы насильственных преобразований видятся «патетическим и кровавым шарлатанством» [744]. Поэтому и господство Гитлера следует, может быть, рассматривать не изолированно, а как террористическую, в определенном смысле якобинскую фазу в ходе той широкомасштабной социальной революции, которая привела Германию в XX век и до сей поры не получила еще своего завершения.

И все-таки тут не может не звучать и голос сомнения: не была ли эта революция в большей степени случайной, слепой и лишенной цели, нежели это представляется задним числом аналитикам-интерпретаторам, не лежали ли в основе перемен не долгое размышление, а лишь волюнтаризм и безоглядность Гитлера, недостаточное понимание им того, чем была Германия в плане ее социального, исторического и психологического своеобразия, и не имел ли он в виду, взывая к ярким образам прошлого, всего-навсего пустой традиционализм, помогавший ему скрывать за декорациями в фольклорном духе ужас перед будущим?

Не в последнюю очередь эти сомнения порождаются склонностью национал-социализма идеологически рядиться в максимально «консервативные» одежды; вопрос тут заключается в том, не был ли он подобен тому коммунару, который брызгал в свой керосин несколько капель святой воды. Вот что он не намеревался делать ни при каких обстоятельствах так это реставрировать доиндустриальное государство привилегий, и никакие маскарады не должны затушевывать тот факт, что он – вопреки своей амбиции восстановить немецкое прошлое, его достоинство, его пасторальное очарование его аристократию – с помощью радикального насилия втолкнул страну в современность и раз и навсегда отрезал обратные пути в то авторитарно-государственное прошлое, которые благодаря охранительному темпераменту немцев держались открытыми несмотря на все социальные изменения. Парадоксально, но только с ним в Германии завершился XIX век. И какое бы анахронистическое впечатление не производил Гитлер, он был

современнее или хотя бы решительнее по своей ориентации на современность, нежели все его внутриполитические антагонисты. Трагичность консервативного Сопротивления как раз и заключается в том, что у его участников понимание морали во многом превосходило понимание политики: там авторитарная, глубоко погрязшая в своей романтической запоздалости Германия вела бесперспективную борьбу с современностью [745]. Превосходство Гитлера над всеми его соперниками, включая и социал-демократов, основывалось именно на том, что он острее и решительнее их осознал необходимость перемен. Отрицание им современного мира проходило как раз под знаком современности, а своему аффекту он придал черты духа времени. Да и тот разлад, чьей вынужденной жертвой стал он как революционер, вполне им осознавался; скажем, с одной стороны, он воздавал должное заслугам германской социал-демократии за то, что в 1918 году была устранена монархия, но, с другой стороны, говорил о «тяжких страданиях», которые причиняются любым общественным поворотом [746]. А в конечном же счете внутреннее желание назвать его революционером целиком связано, наверное, с тем, что идея революции представляется сознанию в тесном единстве с идеей прогресса. Но господство Гитлера не оставило незатронутой и терминологию, и одним из последствий этого не в последнюю очередь является и то, что понятие революции лишилось тут той моральной амбиции, на которую оно долго претендовало.

Однако национал-социалистическая революция захватила и разрушила не только устаревшие социальные структуры; не менее глубоким были ее психологические последствия, и, возможно, именно в этом и заключается ее важнейший аспект: она коренным образом изменила все отношение немцев к политике. На многих страницах этой книги было наглядно продемонстрировано, насколько немецкий мир чуждался политики и ориентировался на частные вкусы, качества и цели; успех Гитлера был частично связан с этим. А бросающееся в глаза на протяжении длительных периодов и в этой книге отсутствие людей, выступающих лишь при случае и как бы издалека как пассивный элемент, как инструмент или декорация, отражает что-то от традиционного немецкого воздержания от политики, что в психологическом плане так играло на руку режиму и было умело использовано им. Ибо в целом нация, которой разрешалось только маршировать, тянуть в знак приветствия вверх руки и аплодировать, воспринимала себя не столько выключенной Гитлером из политики, сколько избавленной от нее. Всему набору ценностей – таких как «третий рейх», народная общность, вождизм, судьба

или величие – были гарантированы массовые Рукоплескания не в последнюю очередь как раз потому, что они означали отказ от политики, от мира партий и парламентов, от уловок и компромиссов. Мало что воспринималось и понималось столь спонтанно, как склонность Гитлера мыслить категориями героики, а не политики, трагики, а не социальности и замещать вульгарную заинтересованность подавляющими мистическими суррогатами. О Рихарде Вагнере сказано, что он делал музыку для людей без музыкального слуха [747], с тем же правом можно сказать, что Гитлер делал политику для аполитичных.

Враждебное отношение немцев к политике Гитлер использовал двояким образом: вначале он непрерывной тотальной мобилизацией заставил людей втянуться в общественную сферу, и хотя это в подавляющей степени шло под знаком одурманивающих массовых празднеств, которые как раз и имели своей целью извести весь политический интерес, он все же не мог воспрепятствовать тому, что тем самым была порождена новая сфера переживаний: впервые нация последовательно отчуждалась от своего приватного мира. Пусть режим допускал или требовал лишь ритуальных форм участия – но сознание-то они все-таки изменяли. В результате же, в подрывных действиях социальной революции, рушился и весь привычный немецкий интерьер, вся сфера личного довольства бытием с ее мечтами, ее отчужденным от всего мирского счастьем и тоской по политике без политики.

Но, с другой стороны, и шок политической и моральной катастрофы, уготованный Гитлером стране, повлиял на изменение ее сознания; Освенцим явился символом фиаско приватного немецкого мира и его эгоцентрической самозабвенности. Конечно, это правда, что большинство немцев ничего не знало о том, что творилось в лагерях уничтожения и уж, во всяком случае, было куда хуже осведомлено об этом, нежели мировая общественность, с конца 1941 года непрерывно получавшая все новые тревожные свидетельства этого массового преступления [748]. С немецкой стороны это подтверждается и уже приводившейся фразой Гиммлера насчет того, что, мол, немецкая общественность является политически недостаточно зрелой, чтобы понять меры по истреблению, и, следовательно, СС обязаны «унести тайну с собой в могилу». Отсутствие у людей реакции на ходившие слухи нельзя понять, не принимая во внимание традицию, которая издавна считала сферу политики исключительной компетенцией государства.

В той же плоскости лежит и одна из причин тяги немцев к тому, чтобы забыть все, что было до 1945 года. Потому что

вытеснение из своей памяти Гитлера означало – хотя частично – и преодоление какой-то формы жизни, расставание с личным миром и тем типом культуры, который продолжительное время представлял этот мир. Лишь более мол поколение осуществило такой разрыв и отрезало, будучи свободным от сантиментов, предрассудков и воспоминаний, связующие нити, ведущие к прошлому. Парадоксальным образом оно тем самым как бы и довело до конца революцию Гитлера. Оно мыслит в непривычном для Германии масштабе политическими, общественными, прагматическими категориями; оно – если не принимать во внимание некоторые шумные романтические, но маргинальные группы – отреклось и от любого рода интеллектуального радикализма, от любого рода асоциальной страсти к великой теории и оставило прошлому то, что столь долго было присуще немецкому мышлению: системность, глубокомыслие и пренебрежение реальностью. Это поколение обладает трезвыми и деловыми аргументами и, действительно, не ведет больше, если воспользоваться тут знаменитой фразой Бертольда Брехта, разговора о деревьях [749]; сознание этого поколения в высшей степени современно, для него нет больше царств никогда не существовавшего прошлого и химерического будущего, впервые страна начинает жить в ладу с реальностью. Но вместе с тем немецкая мысль утратила и нечто от своей тождественности, она упражняется эмпирически, готова к компромиссам и ориентирована на общую пользу. «Немецкий сфинкс», о котором говорил Карло Сфорца незадолго до прихода Гитлера к власти [750], расстался со своей загадкой, и миру от этого стало лучше.

И все-таки в Германии, да и в других странах тоже, фашистские или родственные им тенденции продолжают жить: в первую очередь некоторые психологические предпосылки, пусть и не имеющие легко распознаваемой связи с национал-социализмом или даже выступающие под непривычными, большей частью левыми знаменами, равно как и определенные социальные и экономические условия. Наименее живучими оказались идеологические предпосылки, такие как, например, национализм межвоенной поры, обеспокоенность по поводу утраты статуса великой державы или панический антикоммунизм. В качестве реакции на переход от стабильных, фиксированных порядков к лишенному твердых гарантий будущему современных обществ отдельные факторы, благоприятствовавшие фашистским решениям, будут встречаться до тех пор, пока будет продолжаться кризис приспособляемости. И еще не очень ясно, как можно ответить на него наиболее

эффективным образом. Потому что опыт национал-социализма не только не способствовал рациональному анализу причин кризиса, но, скорее, на протяжении длительного времени препятствовал такому анализу. Гигантская тень, которую отбрасывали лагеря уничтожения, затмевала познание того, в какой мере явления, о которых идет речь, связаны с эпохальными или даже всеобщими потребностями людей, со страхами перед будущим, мотивами сопротивления, с эмоциональным преображением примитивности, с пробуждением преисполненных страсти атавизмов, чтобы все могло стать по-другому и восстановилось своего рода естественное состояние.

Эти аспекты событий долгое время оставались оттесненными в тень. Нравственное возмущение заслоняло понимание того, что те, кто шел за Гитлером, кто организовывал торжества и варварские преступления, были людьми, а не чудовищами. А прокатившиеся по всему миру волнения конца 60-х годов вновь выявили многие элементы, с которыми то и дело встречаешься в описаниях обстановки предфашистских времен: аффект, направленный против цивилизации, тягу к стихийности, упоенности и образности, безудержность молодежи и эстетизацию насилия. Верно, конечно, что тут все равно остается дистанция огромного размера, да и все совпадения между этими явлениями и теми ранними движениями кончаются там, где встает вопрос о слабых и угнетенных – вопрос, на который у фашизма нет ответа [751]. Когда Гитлер назвал себя «величайшим освободителем человечества», то он примечательным образом сослался на «избавляющее учение о ничтожности отдельно взятого человека» [752]. Однако не следует также забывать, что в прошлом фашистский синдром едва ли выступал когда-либо в чистой, содержащей все его элементы форме и что всегда возможен его резкий переход в новые разновидности.

Поскольку фашизм уходит своими корнями в чувство кризиса эпохи, он останется латентным и обретет свой конец только с самой эпохой. Так как он в столь значительной степени представляет собой реакцию и отчаянный оборонительный рефлекс, то самой его природе присуще, что предпосылки, на которых он базируется, и являются всего лишь предпосылками, то есть фашистские движения нуждаются больше, нежели иные политические группировки, в выдающемся вожде. Именно он аккумулирует все отрицательные эмоции, называет по имени врагов, обращает депрессию в опьянение и приводит бессилие к осознанию им своей силы. К наиболее внушительным достижениям Гитлера и относится как раз то, сколь большие перспективы сумел угадать он в кризисе нервов и использовать

их; как никто другой, сумел он взнуздать идеологические и динамические возможности межвоенных лет. Но с его концом все это неизбежно рухнуло, и возведенные в степень, сфокусированные и целеустремленно вводившиеся в действие чувства немедленно вернулись к своему расслабленному, неупорядоченному первоначальному состоянию.

Эта неспособность к выживанию ощутима на всех уровнях. Как бы ни подчеркивал Гитлер надличностный аспект своей задачи, как бы ни напирал он на свою миссию и как бы ни выдавал себя за орудие Провидения, выше своего времени он так и не поднялся. Поскольку он не мог дать ни внушающей веру картины грядущего состояния мира, ни надежды, ни вдохновляющей цели, то ни одна из его мыслей не пережила его. И идеи, которые он всегда использовал лишь в качестве инструментов, остались после него потрепанными и скомпрометированными. Этот великий демагог не оставил после себя ни единого слова, ни единой запоминающейся формулы, точно так же не дошло до сегодняшнего дня ни единого его строения, а он ведь столь жаждал стать величайшим архитектором всех времен; не осталось даже запланированных им величественных руин. Среди всех документов, свидетельствующих о психической силе его феномена, немногое встретишь сверх того, что говорит о воздействии его голоса, внушающего сегодня скорее чувства смущения, нежели очарования. В очередной раз тут проявилось, какое романтическое недоразумение лежало в основе соображений, которые уже вскоре после так называемого захвата власти стали выдвигаться наиболее рьяными радикалами в рядах НСДАП: мол, «мертвый Гитлер… движению(нужнее), чем живой»; мол, когда-нибудь ему следовало бы исчезнуть в тумане легенды, и его труп не должен быть найден, дабы он «для верующих масс завершился тайной» [753]. Нет, вновь подтвердилось – и это стало особенно ясным на переломном этапе войны, – что без катализирующей силы Гитлера не было бы ничего, а без личного присутствия великого «фюрера» мгновенно рухнуло все: воля, цель, сплоченность. У Гитлера не было тайны, которая выходила бы за рамки его непосредственного настоящего. Люди, чья приверженность и восхищение были им завоеваны, шли не за видением – они всегда шли за силой, и в ретроспективе эта жизнь представляется непрерывным выбросом гигантской энергии. Воздействие этой энергии было огромным, страх, который она внушала, – беспримерным, но сверх этого в памяти мало что осталось.

БИБЛИОГРАФИЯ

Печатные источники, сборники документов

Akten zur Deutschen Auswaertigen Politik 1918-1945, Serie D: 1937-1945. Baden-Baden, 1950 – (сокр. AD AP)

Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Second Series (1930-). London, 1950-

Dokumente der deutschen Politik. Hrsg. von Paul Meier-Benneckenstein. Bd. I-VII. Berlin, 1937-1940.

Dokumente der deutschen Politik und Geschichte. Bd. I-III. Berlin; Muenchen, s.a.

Hitler und Kahr: Aus dem Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags. Muenchen, 1928

Das Deutsche Reich von 1918 bis Heute. Hrsg. von Cuno Horkenbach. Berlin, 1930-. (сокр. C.Horkenbach)

Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Hrsg. von Percy Ernst Schramm. Bd. 1-7. Frankfurt/M., 1961-. (сокр. KTB/OKW)

Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militaergericbtshof: Sitzungsprotokolle und Beweisurkunden. Bd. I-XLII. Nuernberg, 1947-1949. (сокр. IMT).

Spiegelbild einer Verschwoerung: Die Kaltenbrunner-Berichte an Bormann und Hitler ueber das Attentat vom 20. Juli 1944. Stuttgart, 1961

Ursachen und Folgen: Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Hrsg. von Herbert Michaelis und Ernst Schraepler. Berlin, 1958.

Vierteljahreshefte fuer Zeitgeschichte: Gutachten des Instituts fuer Zeitgeschichte. Muenchen, 1958, 1966. (сокр. VJHfZ)

Литература

Abendroth, Wolfgang (Hrsg.). Faschismus und Kapitalismus: Theorien ueber den sozialen Urspruenge und die Funktion des Faschismus. Frankfurt/M., 1967

Adorno, Theodor W. Versuch ueber Wagner. Muenchen, 1964.

Andics, Hellmuth. Der ewige Jude: Ursachen und Geschichte des Antisemitismus. Wien, 1965

Arendt, Hannah. Elemente und Urspruenge totaler Herrschaft. Frankfurt/Main, 1955.

– Eichmann in Jerusalem. Muenchen, 1964

Baden, Prinz Max v. Erinnerungen und Dokumente. Stuttgart, 1968

Benn, Gottfried. Gesammelte Werke in vier Baenden. Hrsg. von Dieter Wellershof. Wiesbaden, 1961.

Bennecke, Heinrich. Hitler und die SA. Muenchen; Wien, 1962.

– Wirtschaftliche Depression und politischer Radikalismus. Muenchen, 1968

Besymenski, Lew. Der Tod des Adolf Hitler. Hamburg, 1968.

Bloch, Charles. Hitler und die europaeischen Maechte 1933/34: Kontinuitaet Oder Bruch. Frankfurt/M., 1966

Boberach, Heinz (Hrsg.) Meldungen aus dem Reich: Auswahl aus den geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS 1939-1944. Neuwied, 1965

Boehme, Helmut. Deutschlands Weg zur Grossmacht. Koeln; Berlin, 1966

Boelcke, Willi A. (Hrsg.) Wollt ihr den totalen Krieg?: Die geheimen Goebbels-Konferenzen 1939-1943. Stuttgart, 1967

Boepple, Ernst. Adolf Hitlers Reden. 3. Aufl. Muenchen, 1933

Boldt, Gerhard. Die letzten Tage der Reichskanzlei. Hamburg, 1947

Bonnet, Georges. Vor der Katastrophe. Koeln, 1951

Bor, Peter. Gespraeche mit Haider. Wiesbaden, 1950.

Bouhler, Philipp. Kampf um Deutschland: Ein Lesebuch fuer die deutsche Jugend. Berlin, 1938

Bracher, Karl Dietrich. Die Aufloesung der Weimarer Republik: Eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie. Stuttgart; Duesseldorf, 1955. (сокр. Aufloesung)

– Deutschland zwischen Demokratie und Diktatur. Bern; Muenchen, 1964

– Die deutsche Diktatur: Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus. Koeln; Berlin, 1969. (сокр. Diktatur)

Bracher, Karl Dietrich, Sauer, Wolfgang u. Schulz, Gerhard. Die nationalsozialistische Machtergreifung: Studien zur Errichtung des totalitaeren Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34. Koeln; Opladen, 1960. (сокр. Machtergreifung)

Brecht, Arnold. Vorspiel zum Schweigen: Das Ende der deutschen Republik. Wien, 1948.

Brenner, Hildegard. Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus. Reinbek, 1963

Bronder, Dietrich. Bevor Hitler kam. Hannover, 1964 Broszat, Martin. Der Staat Hitlers. Muenchen, 1969 Bruening, Heinrich. Memoiren 1918-1934. Stuttgart, 1970 Bryant, Arthur. Kriegswende. Duesseldorf, 1957 – Sieg im Westen 1943-1946. Duesseldorf, 1960

Bucher, Peter. Der Reichswehrprozess: Der Hochverrat der Ulmer Reichswehroffiziere 1929/30. Boppard, 1967

Buchheim, Hans. Die SS – das Herrschaftsinstrument:

Befehl und Gehorsam // Anatomie des SS-Staaten. Olten;

Freiburg i. Br., 1965

Buchheit, Gert. Hitler, der Feldherr: Die Zerstoerung einer Legende. Rastatt, J958.

Bullock, Alan. Hitler: Eine Studie ueber Tyrannei.

Duesseldorf, 1959.

Burckhardt, Carl Jacob. Meine Danziger Mission 1937-1939. Zuerich; Muenchen, 1960.

Burckhardt, Jacob. Gesammelte Werke. Basel, 1956 Burke, Kenneth. Die Rhetorik in Hitlers «Meim Kampf» und andere Essays zur Strategie der Ueberredung.

Frankfurt/M., 1967

Butler, James R. M. Lord Lothian «Philipp Kerr» 1882-1940. London; N.Y., 1960

Butler, Rohan D'O. The Roots of National Socialism. N.Y., 1942

Calic, Edouard. Ohne Maske: Hitler-Breiting. Geheimgespraeche 1931. Frankfurt/M., 1968

Carsten, Francis L. Der Aufstieg des Faschismus in Europa. Frankfurt/M., 1968

Cartier, Raymond. Der Zweite Weltkrieg. Bd. 1-2. Muenchen, 1967

Chamberlain, Houston Stewart. Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. 6. Aufl. Muenchen, 1906

Churchill, Winston. Der Zweite Weltkrieg. Bern, 1954

Ciano, Galeazzo. Tagebuecher 1939/43. Bern, 1946

Cooper, Duff. Das laesst sich nicht vergessen. Muenchen 1954

Coulondre, Robert. Von Moskau nach Berlin. 1936-1939. Bonn, 1950

Crankshaw, Edward. Die Gestapo. Berlin, 1959.

Czihon, Eberhard. Wer verhalf Hitler zur Macht? Koeln 1967

Dahlerus, Birger. Der letzte Versuch. Muenchen, 1948

Dahrendorf, Ralf. Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. Muenchen, 1965

Daim, Wilfried. Der Mann, der Hitler die Ideen gab. Muenchen, 1958.

Dallin, Alexander. Deutsche Herrschaft in Russland 1941-1945: Eine Studie ueber Besatzungspolitik. Duesseldorf, 1958.

Deakin F. W. Die bmtale Freundschaft: Hitler, Mussolini und der Untergang des italienischen Faschismus. Koeln, 1962

Delmer, Sefton. Die Deutschen und ich. Hamburg, 1963

Deuerlein, Ernst. Der Hitler-Putsch: Bayerische Dokumente zum

8./9.. November 1923. Stuttgart, 1962

– DerAufstiegderNSDAP 1919-1933. Duesseldorf, 1968. (сокр. Aufstieg)

Deutsch, Harold C. Verschwoerung gegen die Krieg: Der Widerstand in den Jahren 1939-1940. Muenchen, 1969 Diels, Rudolf. Lucifer ante portas. Zuerich, s.a. Dietrich, Otto. Mit Hitler in die Macht. Muenchen, 1934

– 12 Jahre mit Hitler. Muenchen, 1955.

Doenitz, Karl. Zehn Jahre und zwanzig Tage. Frankfurt/M.; Bonn, 1964

Dollmann, Eugen. Dolmetscher der Diktatoren. Bayreuth, 1963

Domarus, Max. Hitler: Reden und Proklamationen 1932-1945. Kommentiert von einem deutschen Zeitgenossen. Bd. 1-2. Wuerzburg, 1962-63.

Drexler, Anton. Mein politisches Erwachen. Muenchen, 1919

Duesterberg, Theodor. Der Stahlhelm und Hitler. Wolfenbuettel, 1949

Dulles, Allen Welsh. Verschwoerung in Deutschland. Kassel, 1949.

Eckart, Dietrich. Der Bolschewismus von Moses bis Lenin: Zwiegespraeche zwischen Adolf Hitler und mir. Muenchen, 1925

Eden, Anthony. Angesichts der Diktatoren. Koeln; Berlin, 1964

Ehlers, Diter. Technik und Moral einer Verschwoerung. Frankfurt/ M.; Bonn, 1964

Eyck, Erich. Geschichte der Weimarer Republik. Bd. 1-2. Zuerich, 1954

Fabry, Philipp W. Mutmassungen ueber Hitler. Duesseldorf, 1969

Feiling, Keith. The Life of Neville Chamberlain. London, 1946

Fest, Joachim C. Das Gesicht des Dritten Reiches. Muenchen, 1963

Fischer, Fritz. Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18. Duesseldorf, 1961

– Krieg der Illusionen: Die deutsche Politik von 1911 bis 1914. Duessseldorf, 1969

Foerster, Wolfgang. Generaloberst Ludwig Beck: Sein Kampf gegen den Krieg. Muenchen, 1953

Foertsch, Hermann. Schuld und Verhaengnis: Die Fritschkrise im Fruehjahr 1938 als Wendepunkt in der Geschichte der nationalsozialistischen Zeit. Stuttgart, 1951.

Forsthoff, Ernst. Der totale Staat. Hamburg, 1933.

Fraenkel, Ernst. The Dual State. London; N.Y., 1941

Francois-Poncet, Andre. Botschafter in Berlin 1931-1938. Berlin; Mainz, 1962.

Frank, Hans. Im Angesicht des Galgens: Deutung Hitlers und seiner Zeit auf Grund eigener Erlebnisse und Erkenntnisse. 2. Aufl.

Neuhaus, 1955.

Franz-Willing, Georg. Die Hitlerbewegung: Der Ursprung 1919-1922. Hamburg; Berlin, 1962.

Friedensburg, Ferdinand. Die Weimarer Republik. Hannover; Frankfurt/Main, 1957.

Friedlaender, Saul. Auftakt zum Untergang: Hitler und die Vereiniglen Staaten von Amerika. Stuttgart, 1965

Freund, Michael. Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten. Bd. 1-3. Freiburg, 1954-56. (сокр. Weltgeschichte)

– Abendglanz Europas. Stuttgart, 1967

Funke, Manfred. Sanktionen und Kanonen: Hitler, Mussolini und der Abessinienkonflikt. Duesseldorf, 1971

Gafencu, Grigore. Derniers jours de l'Europe. Paris, 1946. ' Gessler, Otto. Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit. Stuttgart, 1958

Gilbert, Martin; Gott, Richard. Der gescheiterte Frieden: Europa 1933 bis 1939. Stuttgart, 1964

Gisevius, Hans Bernd. Bis zum bitteren Ende. Bd. 1-2. Zuerich, 1946

– Adolf Hitler: Versuch einer Deutung. Muenchen, 1963 Goebbels, Joseph. Das Tagebuch von Joseph Goebbels 1925/26: Mit weiteren Dokumenten herausgegeben von Helmut Heiber. Stuttgart, s.a. (сокр. Goebbels-Tagebuch)

– Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei: Eine historische Darstellung in Tagebuchblaettern. Muenchen, 1934. (сокр. Kaiserhof)

– Die Zweite Revolution: Briefe an Zeitgenossen. Zwickau, s.a.

– Tagebuecher aus den Jahren 1942/43: Mit anderen Dokumenten herausgegeben von Louis P. Lochner. Zuerich, 1948. (Цит. как Tagebuecher 1942/43)

Goering, Hermann. Aufbau einer Nation. Berlin, 1934. Goerlitz, Walter. (Hrsg.) Der deutsche Generalstab: Geschichte und Gestalt. Frankfurt/M., 1963

– Generalfeldmarschall Keitel: Verbrecher oder Offizier? Erinnerungen, Briefe, Dokumente des Chefs OKW. Goettingen; Berlin; Frankfurt/M., 1961.

Goerlitz, Walter und Quint, Herbert A. Adolf Hitler: Eine Biographic Stuttgart, 1952.

Gordon, Jr., Harold J. Hitlerputsch 1923: Machtkampf in Bayern 1923 bis 1924. Frankfurt/M., 1971

Govern, W. M. From Luther to Hitler. London, 1946

Greiner, Helmuth. Die oberste Wehrmachtfuehrung 1939-1943. Wiesbaden, 1951

Greiner, Josef. Das Ende des Hitler-Mythos. Zuerich; Leipzig; Wien, 1947

Grew, Joseph C. Zehn Jahre in Japan. 1932-1942. Stuttgart, 1947

Gritzbach, Erich. Hermann Goering: Werk und Mensch. 2. Aufl. Muenchen, 1938.

Groener-Geyer, Dorothea. General Groener, Soldat und Staatsmann. Frankfurt/M., 1955

Groscurth, Helmut. Tagebuecher eines Abwehroffiziers 1938-1940. Hrsg. von Helmut Krausnick und Harold C. Deutsch. Stuttgart, 1970

Gruchmann, Lothar. Der Zweite Weltkrieg. Muenchen, 1967

Guderian, Heinz. Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg, 1951

Gumbel, Emil Julius. Verraeter verfallen der Feme. Berlin, 1929

Gun, Nerin E. Eva Braun-Hitler: Leben und Schicksal. Velbert; Kettwig, 1968

Gutmann, Robert W. Richard Wagner: Der Mensch, sein Werk, seine Zeit. Muenchen, 1970

Haffner, Sebastian. Der Teufelspakt: 50 Jahre deutsch-russische Beziehungen. Reinbek, 1968

– Der Selbstmord des deutschen Reiches. Bern; Muenchen; Wien, 1970

Hagemann, Walter. Publizistik im Dritten Reich. Hamburg, 1948

Haider, Franz. Kriegstagebuch: Taegliche Aufzeichnungen des Chefs des Generalstabs des Heeres 1939-1942. Stuttgart, 1962-64. (сокр. КТВ)

Hale, Oron J. Presse in der Zwangsjacke. Duesseldorf, 1965

Hallgarten, George W. F. Hitler, Reichswehr und Industrie. Frankfurt/M., 1955

– Daemonen oder Retter. Muenchen, 1966 Hammersiein, Kunrat v. Spaehtrupp. Stuttgart, 1963

– Flucht: Aufzeichnungen nach dem 20. Juli. Olten, 1966 Hanfstaengl, Ernst. The Missing Years. London, 1957

– Zwischen Weissem und Braunem Haus. Muenchen, 1970

Hassell, Ulrich v. Vom anderen Deutschland: Aus den nachgelassenen Tagebuechern 1938-1944. 2. Aufl. Zuerich; Freiburg, 1946.

Hauser, Oswald. England und das Dritte Reich. Bd. 1. Stuttgart, 1972

Heiber, Helmut. Adolf Hitler: Eine Biographic Berlin, 1960.

– Joseph Goebbels. Berlin, 1962.

– (Hrsg.) Hitlers Lagebesprechungen. Stuttgart, 1962

– (Hrsg.) Reichsfuehrer!., . Briefe an und von Himmler. Stuttgart, 1968

Heiden, Konrad. Adolf Hitler: Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. Eine Biographic Bd. HI, Zuerich, 1936-1937.

– Geburt des Dritten Reiches: Die Geschichte des Nationalsozialismus bis Herbst 1933. 2. Aufl. Zuerich, 1934. (сокр.

Geburt)

– Geschichte des Nationalsozialismus: Die Karriere einer Idee. Berlin, 1932. (сокр. Geschichte)

Henkys, Reinhard. Die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. 2. Aufl. Stuttgart, 1965

Heusinger, Adolf. Befehl im Widerstreit. Tuebingen; Stuttgart, 1950

Heuss, Theodor. Hitlers Weg: Eine Schrift aus dem Jahre 1932. Neu hrsg. von Eberhard Jaeckel. Stuttgart, 1968

Heyen, Franz Josef. Nationalsozialismus im Alltag. Boppard, 1967

Hildebrand, Klaus. Deutsche Aussenpolitik 1933-1945: Kalkuel oder Dogma? Stuttgart, 1971

Hillgruber, Andreas. Hitlers Strategic: Politik und Kriegfuehrung 1940 bis 1941. Frankfurt/M., 1965 (сокр. Strategic)

– (Hrsg.) Staatsmaenner und Diplomaten bei Hitler: Vertrauliche Aufzeichnungen ueber Unterredungen mit Vertretern des Auslands. Bd. 1-2. Frankfurt/M., 1967-70. (сокр. Staatsmaenner)

Hitler, Adolf. Mein Kampf. 37. Aufl. Muenchen, 1933.

– Adolf Hitler in Franken: Reden aus der Kampfzcit. Hrsg. von Heinz Preiss. s.l., s.a.

– Libres propos sur la guerre et la paix. Version francaise de Francois Genoud. Paris, 1952. (сокр. Libres propos)

– Hitler's Table Talk. 1941-1944. London, 1953

– Le testament politique de Hitler. Ed. par H. R. Trevor-Roper. Paris, 1959

– Hitlers zweites Buch: Ein Dokument aus dem Jahre 1928. Hrsg. von G. L. Weinberg. Stuttgart, 1961.

– Hitlers Lagebesprechungen: Die Protokollfragmente seiner militaerischen Konferenzen 1942-1945. Hrsg. von Helmut Heiber. Stuttgart, 1962. (сокр. Lagebesprechungen)

– Hitlers Weisungen fuer die Kriegsfuehrung. Hrsg. von Walther Hubatsch. Frankfurt/M., 1962

– Hitlers Tischgespraeche im Fuehrerhauptquartier 1941-1942. Hrsg. von Henry Picker. Stuttgart, 1965. (сокр. Tischgespraeche)

Hoegner, Wilhelm. Hitler und Kahr: Die bayerischen Napoleonsgroessen von 1923. Muenchen, 1928

– Die verratene Republik. Muenchen, 1958

Hoehne, Heinz. Der Orden unter dem Totenkopf: Die Geschichte der SS. Guetersloh, 1967

Hofer, Walther. Die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs. Frankfurt/M., 1960.

Hoffmann, Heinrich. Hitler Was My Friend. London, 1955.

Hoffmann, Peter. Widerstand, Staatsstreich, Attentat: Der Kampf der Opposition gegen Hitler. Muenchen, 1969

Hofmann, Hanns Hubert. Der Hitlerputsch: Krisenjahre deutscher Geschichte 1920 bis 1924. Muenchen, 1961.

Horn, Wolfgang. Fuehrerideologie und Parteiorganisation inderNSDAP 1919-1933. Duesseldorf, 1972

Hossbach, Friedrich. Zwischen Wehrmacht und Hitler 1934-1938. Wolfenbuettel; Hannover, 1949.

Hubatsch, Walther, Hindenburg und der Staat. Goettingen, 1966

Huber, Ernst Rudolf. Verfassungsrecht des Grossdeutschen Reiches. Hamburg, 1939

Ingrim, Robert. Hitlers gluecklichster Tag. Stuttgart, 1962

Jacobsen, Hans-Adolf. Fall Gelb: Der Kampf urn den deutschen Operationsplan zur Westoffensive 1940. Wiesbaden, 1957

– 1939-1945: Der Zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten. 5. Aufl. Darmstadt, 1961.

– Der Zweite Weltkrieg: Grundzuege der Politik und Strategic in Dokumenten. Frankfurt/M.; Hamburg, 1965

– Kommissarbefehl und Massenexekutionen sowjetischer Kriegsgefangener // Anatomie des SS-Staates. Olten; Freiburg i. Br., 1965

– Nationalsozialistische Aussenpolitik 1933-1938. Frankfurt/M.; Berlin, 1968

Jacobsen, Hans-Adolf und Jochmann, Werner. Ausgewaehlte Dokumente zur Geschichte des Nationalsozialismus 1933-1945. Bielefeld, 1961.

Jacobsen, Hans-Adolf; Rohwer, Juergen. (Hrsg.) Entscheidungsschlachten des Zweiten Weltkriegs. Frankfurt/M., 1960

Jaeckel, Eberhard. Frankreich in Hitlers Europa. Stuttgart, 1966

– Hitlers Weltanschauung: Entwurf einer Herrschaft. Tuebingen, 1969

Jaspers, Karl. Die geistige Situation der Zeit (1931). Berlin, 1947

Jenks, William A. Vienna and the Young Hitler. New York, 1960

Jetzinger, Franz. Hitlers Jugend: Phantasien, Luegcn – und die Wahrheit. Wien, 1956.

Jochmann, Werner. Im Kampf um die Macht: Hitlers Rede vor dem Hamburger Nationalklub von 1919. Frankfurt/M., 1960

– Nationalsozialismus und Revolution: Ursprung und Geschichte der NSDAP in Hamburg 1922-1933. Frankfurt/M., 1963

Joll, James. Three Intellectuals in Politics. New York, 1960 Kallenbach, Hans. Mit Adolf Hitler auf der Festung Landsberg. 4. Aufl. Muenchen, 1943

Kempner, Robert M. W. Eichmann und Komplicen. Zuerich; Stuttgart; Wien, 1961

Kennan, George F. Memoirs 1925-1950. Boston, 1967 Kersten, Felix. Totenkopf und Treue: Heinrich Himmler ohne Uniform. Aus den

Tagebuchblaettern des finnisehen Medizinalrats Felix Kersten. Hamburg, s.a.

Kessler, Harry Graf. Tagebuecher 1918-1937 Frankfurt/M., 1961

Kirkpatrick, Sir Ivone. Im inneren Kreis: Erinnerungen eines Diplomaten. Berlin, 1964

– Mussolini. Berlin, 1965

Klages, Ludwig. Der Geist als Widersacher der Seele. Muenchen; Bonn, 1954

Klee, Karl. Das Unternehmen Seeloewe. Goettingen; Berlin; Frankfurt/M., 1958

Klemperer, Klemens v. Konservative Bewegungen zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. Muenchen; Wien, s.a..

Knickerbocker, H. R. Deutschland so oder so? Berlin, 1932

Koerber, Viktor v. Hitler, sein Leben und seine Reden. Muenchen, 1923

Koktanek, Anton Mirko. Oswald Spengler in seiner Zeit. Muenchen, 1968

Koller, Karl. Der letzte Monat. Mannheim, 1948

Kordt, Erich. Wahn und Wirklichkeit: Die Aussenpolitik des Dritten Reiches. Versuch einer Darstellung. Stuttgart, 1948.

– Nicht aus den Akten: Die Wilhelmstrasse in Frieden und Krieg. Erlebnisse, Begegnungen und Eindruecke 1928-1945. Stuttgart, 1950.

Kosthorst, Erich. Die deutsche Opposition gegen Hitler zwischen Polen – und Frankreichfeldzug. 3. Aufl. Bonn, 1957

Kotze, Hildegard v.; Krausnick, Helmut. Es spricht der Fuehrer: Sieben exemplarische Hitler-Reden. Guetersloh, 1966

Kracauer, Sigfried. Die Angestellten. Neuaufl. Allensbach, 1959

Krause, Karl Wilhelm. Zehn Jahre Kammerdiener bei Hitler. Hamburg, s.a.

Krausnick, Helmuth. Judenverfolgung // Anatomie des SS-Staates. Olten; Freiburg i. Br., 1965

Krebs, Albert. Tendenzen und Gestalten der NSDAP: Erinnerungen an die Fruehzeit der Partei. Stuttgart, 1959.

Kruck, Alfred. Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890-1939. Wiesbaden, 1954

Kubizek, August. Adolf Hitler, mein Jugendfreund. Graz; Goettingen, 1953.

Kuehnl, Reinhard. Die nationalsozialistische Linke 1925-1930. Meisenheim am Glan, 1966

Kuhn, Axel. Hitlers aussenpolitisches Programm. Stuttgart, 1970

Kurowski, Franz. Armee Wenck. Neckargemuend, 1967

Lange, Karl. Hitlers unbeachtete Maximen: «Mein Kampf» und die Oeffentlichkeit. Stuttgart, 1968

Laqueur, Walter. Deutschland und Russland. Berlin, 1965

Lepsius, Rainer M. Extremer Nationalismus: Strukturbedingungen vor der nationalsozialistischen Machtergreifung. Stuttgart, 1966

Liddell Hart, Basil Henry. The Other Side of the Hill. London, 1951

Lossberg, Bernhard v. Im Wehrmachtsfuehrungsstab. Hamburg, 1949

Luedecke, Kurt. I Knew Hitler. London, 1938.

Lukacs, Georg. Schriften zur Literatursoziologie. Neuwied, 1961

– Die Zerstoerung der Vernunft. Neuwied, 1962

Mann, Golo. Deutsche Geschichte des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts. Frankfurt/M, , 1958

Mann, Thomas. Gesammelte Werke in zwoelf Baenden. Frankfurt/ M., 1956. (сокр. GW)

– Betrachtungen eines Unpolitischen. Frankfurt/M., 1956 Manstein, Erich v. Verlorene Siege. Frankfurt/M., 1963 Manvell, Roger; Fraenkel, Heinrich. Goebbels: Eine

Biographic Koeln; Berlin, 1960

Maser, Werner. Die Fruehgeschichte der NSDAP: Hitlers Weg bis 1924. Frankfurt/M.; Bonn, 1965. (сокр. Fruehgeschichte)

– Hitler's Mein Kampf. Muenchen; Esslingen, 1966

– Adolf Hitler: Legende, Mythos, Wirklichkeit. Muenchen; Esslingen, 1971. (сокр. Hitler)

Matthias, Erich; Morsey, Rudolf (Hrsg.) Das Ende der Parteien 1933. Duesseldorf, 1960

McRandle, James H. The Track of the Wolf. Evanston, 1965

Meier-Welcker, Hans. Seeckt. Frankfurt/M., 1967

Meinck, Gerhard. Hitler und die deutsche Aufruestung 1933-1937. Wiesbaden, 1959.

Meinecke, Friedrich. Die deutsche Katastrophe: Betrachtungen und Erinnerungen. 5. Aufl. Wiesbaden, 1955.

Meissner, Hans Otto; Wilde, Harry. Die Machtergreifung. Stuttgart, 1958

Meissner, Otto. Staatssekretaer unter Ebert-Hindenburg-Hitler: Der Schicksalsweg des deutschen Volkes von 1918-1945, wie ich ihn erlebte. 3. Aufl. Hamburg, 1950.

Mend, Hans. Adolf Hitler im Felde 1914-1918. Giessen, 1931

Milosz, Czeslaw. Verfuehrtes Denken. Koeln; Berlin, 1953.

Miltenberg, Weigand v.(i.e. Herbert Blank) Adolf Hitler – Wilhelm III. Berlin, 1930-31

Milward, Alan S. Die deutsche Kriegswirtschaft 1939-1945. Stuttgart, 1966

Mosse, George L.; Laqueur, Walter (Hrsg.) Internationaler Faschismus 1920-1945. Muenchen, 1966

Mueller, Christian. Oberst i. G. Stauffenberg: Eine Biographic

Duesseldorf, 1970

Mueller, Karl Alexander v. Mars und Venus: Erinnerungen 1914-1919. Stuttgart, 1954

– Im Wandel einer Welt: Erinnerungen 1919-1932. Muenchen, 1966

Mueller, Klaus-Juergen. Das Heer und Hitler: Armee und nationalsozialistische Regime 1933-1940. Stuttgart, 1969

Neumann, Franz Leopold. Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism. 2nd ed. New York, 1944.

Neumann, Sigmund. Die Parteien der Weimarer Republik. Stuttgart, 1965

Nicolson, Harold. Tagebuecher und Briefe 1930-1941. Frankfurt/M., 1969

Niedhart, Gottfried. Grossbritannien und die Sowjetunion 1934-1939. Muenchen, 1972

Niekisch, Ernst. Gewagtes Leben: Begegnungen und Begebnisse. Koeln; Berlin, 1958

Nietzsche, Friedrich. Werke in drei Baenden. Hrsg. v. Karl Schlechta. Muenchen, 1954-56

Nolte, Ernst. Der Faschismus in seiner Epoche: Die Action francaise, der italienischer Faschismus, der Nationalsozialismus. Muenchen, 1963. (сокр. Epoche)

– Der Faschismus von Mussolini zu Hitler: Texte, Bilder Dokumente. Muenchen, 1968. (сокр. Faschismus)

– Die Krise des liberalen Systems und die faschistische Bewegungen. Muenchen, 1968. (сокр. Krise)

– (Hrsg.) Theorien ueber den Faschismus. Koeln; Berlin, 1967. (сокр. Theorien)

Nyomarkay, Joseph. Charisma and Factionalism in the Nazi Party. Minneapolis, 1967

Oertzen, Friedrich Wilhelm v. Die deutschen Freikorps 1918-1923. Muenchen, 1936

Olden, Rudolf. Hitler. Amsterdam, 1936.

Orlow, Dietrich. The History of the Nazi Party 1919-1933. Pittsburg, 1969

Papen, Franz von. Der Wahrheit eine Gasse. Muenchen 1952.

Paulus, Friedrich. Ich stehe hier auf Befehl: Lebensweg des Generalfeldmarschall Friedrich Paulus. Hrsg. von Walter Goerlitz. Frankfurt/M., 1963

Picker, Henry. Hitlers Tischgespraeche im Fuehrerhauptquartier 1941-1942. Bonn, 1951. (сокр. Tischgespraeche)

Pulzer, Peter G, J. Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland und Oesterreich 1867-1914. Guetersloh, 1966

Raeder, Erich. Mein Leben. 2. Bd. Tuebingen, 1956-57

Rauschning, Hermann. Die Revolution des Nihilismus: Kulisse und Wirklichkeit im Dritten Reich. 5. Aufl. Zuerich; New York, 1938.

– Gespraeche mit Hitler. Zuerich; Wien; New York, 1940. (сокр. Gespraeche)

Reck-Malleczeven, Friedrich P. Tagebuch eines Verzweifelten: Zeugnis einer inneren Emigration. Stuttgart, 1966

Recktenwald, Johann. Woran hat Adolf Hitler gelitten? Muenchen; Basel, 1963

Reichmann, Eva Gabriele. Die Flucht in den Hass: Die Ursachen der deutschen Judenkatastrophe. Frankfurt/M., s.a.

Ribbentrop, Joachim von. Zwischen London und Moskau: Erinnerungen und letzte Aufzeichnungen. Leoni, 1953.

Riezler, Kurt. Tagebuecher, Aufsaetze, Dokumente. Hrsg. von Karl Dietrich Erdmann. Goettingen, 1972

Ritter, Gerhard. Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung. Stuttgart, 1954

Roehm, Ernst. Die Geschichte eines Hochverraeters. 5. Aufl. Muenchen, 1934.

Roehrs, Hans-Dietrich. Hitler: Die Zerstoerung einer Persoenlichkeit. Neckargemuend, 1965

Roennefarth, Helmuth K. G. Die Sudetenkrise in der internationalen Politik 1938. Bd. 1-2. Wiesbaden, 1961

Roon, Ger van. Neuordnung im Widerstand: Der Kreisauer Kreis innerhalb der Widerstandsbewegung. Muenchen, 1967

Rosenberg, Alfred. Letzte Aufzeichnungen. Goettingen, 1955.

– Das politische Tagebuch Alfreds Rosenbergs aus den Jahren 1934/35 und 1939/40. Hrsg. und erlaeutert von Dr. Hans-Guenther Seraphim. Goettingen, 1956.

Rosenberg, Arthur. Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik. Frankfurt/M., 1955

Rossbach, Gerhard. Mein Weg durch die Zeit. Weilburg, 1950

Rothfels, Hans. Die deutsche Opposition gegen Hitler: Eine Wuerdigung. Frankfurt/M., 1958

Sauer, Wolfgang. См. Bracher K. D. et al.

Schacht, Hjalmar. Abrechnung mit Hitler. Hamburg; Stuttgart, 1948

– 76 Jahre meines Lebens. Muenchen, 1953 Schellenberg, Walter. Memoiren. Koeln, 1956. Scheringer, Richard. Das grosse Los: Unter Soldaten, Bauern und Rebellen. Hamburg, 1959

Schieder, Theodor. Hermann Rauschnings «Gespraeche mit Hitler» als Geschichtsquelle. Opladen, 1972

Schirach, Baldur v. Ich glaubte an Hitler. Hamburg, 1967

Schlabrendorff, Fabian v. Offiziere gegen Hitler. Frankfurt/M.; Hamburg, 1959.

Schmeer, Karlheinz. Die Regie des oeffentlichen Lebens im Dritten Reich. Muenchen, 1956

Schmidt, Paul. Statist auf diplomatischer Buehne 1923-1945: Erlebnisse eines Chefdolmetschers im Auswaertigen Amt mit den Staatsmaennern Europas. Bonn, 1950.

Schmitlhenner, Walter; Buchhcim, Hans (Hrsg.) Dcr deutsche Widerstand gegen Hitler: Vier historisch-kritischen Studien. Koeln; Berlin, 1966

Schoenbaum, David. Die braune Revolution: Eine Sozialgeschichte des Dritten Reiches. Koeln; Berlin, 1968

Schubert, Guenter. Anfaenge nationalsozialistischen Aussenpolitik. Koeln, 1963

Schueddekopf, Otto-Ernst. Das Heer und die Republik: Quellen zur Politik der Reichswehrfuehrung 1918-1933. Hannover; Frankfurt/ M., 1955

– Linke Leute von rechts. Stuttgart, 1960

Schuschnigg, Kurt v. Ein Requiem in Rot-Weiss-Rot. Zuerich, 1946

Schwerin-Krosigk, Lutz Graf v. Es geschah in Deutschland: Menschenbilder unseres Jahrhunderts. Tuebingen; Stuttgart, 1951.

Schwertfeger, Bernhard. Raetsel um Deutschland. Heidelberg, 1948

Seabury, Paul. Die Wilhelmstrasse: Die Geschichte der deutschen Diplomatic 1930 bis 1945. Frankfurt/M., 1956.

Semler, Rudolf. Goebbels – the Man Next to Hitler. London, 1947.

Severing, Carl. Mein Lebensweg. Bd. II. Koeln, 1950

Sforza, Carlo. Europaeische Diktaturen. Berlin, 1932

Shirer, William L. A Berlin Diary. London, 1941

– Aufstieg und Fall des Dritten Reiches. Koeln; Berlin, 1961.

Siedler, Wolf Jobst. Behauptungen. Berlin, 1965 Silone, Ignazio. Die Kunst der Diktatur. Koeln; Berlin, 1965

Smith, Bradley F. Adolf Hitler: His Family, Childhood and Youth. Stanford, 1967

Sombart, Werner. Die Juden und das Wirtschaftsleben. Muenchen; Leipzig, 1920

Sommer, Theo. Deutschland und Japan zwischen den Maechten 1935-1940. Tuebingen, 1962

Sommerfeldt, Martin H. Ich war dabei: Die Verschwoerung derDaemonen 1933-1939. Darmstadt, 1949

Sontheimer, Kurt. Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik: Die politischen Ideen des des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. Muenchen, 1962.

Speer, Albert. Erinnerungen. Berlin, 1969

Speidel, Hans. Invasion 1944. Tuebingen; Stuttgart, 1961

Spengler, Oswald. Preussentum und Sozialismus. Muenchen, 1919
Springer, Hildegard. Es sprach Hans Fritzsche. Stuttgart, 1949.
Stampfer, Friedrich. Die vierzehn Jahre der ersten deutschen Republik. Offenbach, 1947
Stehlin, Paul. Auftrag in Berlin. Berlin, 1966
Steinert, Marlis G. Hitlers Krieg und die Deutschen. Duesseldorf; Wien, 1970
Stephan, Werner. Joseph Goebbels: Daemon einer Diktatur. Stuttgart, 1949.
Stern, Fritz. Kulturpessimismus als politische Gefahr. Bern; Stuttgart; Wien, 1963
Stoltenberg, Gerhard. Politische Stroemungen im schleswig-holsteinischen Landvolk 1918-1933. Duesseldorf, 1962
Strasser, Gregor. Kampf um Deutschland. Muenchen, 1932
Strasser, Otto. Hitler und ich. Konstanz, 1948.
– Mein Kampf. Frankfurt/M., 1969
Strothmann, Dietrich. Nationalsozialistische Literaturpolitik: Ein Beitrag zur Publizistik im Dritten Reich. Bonn, 1960.
Talmon, J. L. Politischer Messianismus. Bd. 1-2. Koeln; Opladen, 1961-63
Tobias, Fritz. Der Reichstagsbrand: Legende und Wirklichkeit. Rastatt, 1962
Treue, Wilhelm. Deutschland in der Weltwirtschaftskrise in Augenzeugenberichten. Duesseldorf, 1967
Treviranus, Gottfried Reinhold. Das Ende von Weimar. Duesseldorf, 1968
Trevor-Roper, Hugh Rewald (ed.) The Bormann Letters: The Private Correspondence between Martin Bormann and His Wife from January 1943 to April 1945. London, 1954.
– Hitlers letzte Tage. Frankfurt/M., 1965
Tucholsky, Kurt. Gesaramelte Werke. Bd. 1-3. Hrsg. von Mary Gerold-Tucholsky, Fritz Raddatz. Hamburg, 1961
Turner, Henry Ashby. Faschismus und Kapitalismus in Deutschland. Goettingen, 1972
Tyrell, Albrecht. Fuehrer befiehl… Selbstzeugnisse aus der «Kampfzeit» der NSDAP. Duesseldorf, 1969
Vienot, Pierre. Ungewisses Deutschland: Zur Krise seiner buergerlichen Kultur. Frankfurt/M., 1931
Vogelsang, Thilo. Reichswehr, Staat und NSDAP. Stuttgart, 1962
Wagner, Richard. Gesammelte Schriften und Dichtungen. Leipzig, 1907
Warlimont, Walter. Im Hauptquartier der Wehrmacht 1939-1945. Bonn, 1964
Weisenborn, Guenther. Der lautlose Aufstand: Bericht ueber die

Widerstandsbewegung des deutsches Volkes 1933-1945. Hamburg, 1953

Weizsaecker, Ernst von. Erinnerungen. Muenchen; Leipzig; Freiburg, 1950.

Wendt, Bernd-Juergen. Muenchen 1938: England zwischen Hitler und Preussen. Stuttgart, 1965

– Appeasement 1938: Wirtschaftliche Rezession und Mitteleuropa. Frankfurt/M., 1966

Wendt, Hans. Hitler regiert. Berlin, 1933.

Wernecke, Klaus. Der Wille zur Weltgeltung. Duesseldorf, 1969

Wheeler-Bennett, John W. Die Nemesis der Macht: Die deutsche Armee in der Politik 1918-1945. Duesseldorf, 1954

Wiedemann, Fritz. Der Mann der Feldherr werden wollte. Velbert; Kettwig, 1964

Wieder, Joachim. Stalingrad und die Verantwortung des Soldaten. Muenchen, 1962

Zeller, Eberhard. Geist der Freiheit: Der 20. Juli. 4. Aufl. Muenchen, 1963

Ziegler, Hans Severus. Hitler aus dem Erleben dargestellt. 2. Aufl. Goettingen, 1964

Zoller, Albert. Hitler privat: Erlebnisbericht seiner Geheimsekretaerin. Duesseldorf, 1949.

Zweig, Stefan. Die Welt von gestern. Frankfurt/M., 1949

notes

Примечания

1

Hitler A. Mein Kampf, S. 775; аналогичные высказывания см.: Ibid. S. 365 f.

2

Из речи 30 января 1941 г., см.: Domarus M. Op. cit. S. 1659.

3

Nolte E. Faschismus, S. 189 f.

Graf Kessler H. Op. cit. S. 716.

5

Из выступления 9 сентября 1936 г., см.: Domarus M. Op. cit. S. 638; далее из выступления 10 сентября 1936 г.: Ibid. S. 640, а также: Frank H. Op. cit. S. 209.

6

В скандинавской мифологии – гигантский волк, созданный на погибель богам. Вырвавшись из пут, в последней битве чудовищ и великанов с богами проглатывает верховного бога – Одина – и гибнет от руки его сына Видара. – Примеч. ред.

7

Из выступления, посвященного вопросам культуры, на партсъезде в 1934 г.; см. VB, 6. IX. 1934.

8

Rauschning H. Gespraeche, S. 255; о нежелании Чемберлена поверить Раушнингу, см.: Churchill W. Der Zweite Weltkrieg, Bd. 1, S. 419. Приведенное высказывание сэра Эрика Фиппса содержится в его донесении о германо-польском договоре, цит. по: Ingrim R. Op. cit. S. 70.

9

Высказывание П. Валери, цит. по: Silone I. Op. cit. S. 36. О рассуждениях Гитлера насчет "кризиса демократии" см. его примечательное и в других отношениях выступление в "орденском замке" Фогельзанг 29 апреля 1937 г., опубликованное в кн.: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 111 ff.$Об упомянутом ниже восхищении польского министра иностранных дел Бека Гитлером и Муссолини см.: Burckhardt C. J. Op. cit. S. 298 f., затем: Broszat M. Faschismus und Kollaboration in Ostmitteleuropa. In: VJHfZ, 1966, H. 3, S. 225 ff.

10

Выражение Арнольда Спенсера Лиза, цит. по: Nolte E. Krise, S. 332.

11

Высказывание У. К. А. Бойля в беседе с капитан-лейтенантом Обермюллером, см. письмо Розенберга Гитлеру от 15 марта 1935 г.: Jacobsen H. – A. Nationalsozialistische Aussenpolitik, S. 78. Предыдущая цитата из газеты "Тайме" взята из изложения выступления лорда Лотиана в Палате лордов, см.: Ingrim R. Von Talleyrand zu Molotov. Stuttgart 1951, S. 153.

12

Из выступления 22 марта 1936 г., цит. по: Domarus M. Op. cit. S. 610.

13

Mann Th. Dieser Friede, GW, Bd. 12, S. 783.

См.: Domarus M. Op. cit. S. 473 ff.

Ingrim R. Op. cit. S. 107.

Kuhn A. Op. cit. S. 159.

17

См.: Ingrim R. Op. cit. S. 140, 139; относительно мотивов политики "умиротворения" см. также: Bullock A. Op. cit. S. 336, равно как и (в качестве примеров из большого количества литературы на эту тему): Gilbert M., Gott R. Op. cit., Haffner S. Der Selbstmord des Deutschen Reiches. Кроме того: Niedhart G. Grossbritannien und die Sowjetunion 1934-1939. Studien zur britischen Politik der Friedenssicherung zwischen den beiden Weltkriegen, а также: Wendt B. – J. Appeasement 1938. Wirtschaftliche Rezession und Mitteleuropa.

Ingrim R. Op. cit. S. 143.

Domarus M. Op. cit. S. 491 ff.

Schmidt P. Statist auf diplomatischer Buehne, S. 292.

21

См.: Feiling K. Life of Neville Chamberlain, P. 256.

22

Schmidt P. Op. cit. S. 301. Правда, за время работы в Берлине Фиппс изменил свой взгляд на Гитлера. Уже вскоре после этого он говорил американскому послу в Париже, что "считает Гитлера фанатиком, который успокоится разве что добившись господства над Европой". Своему американскому коллеге в Берлине он заявил, что Германия не начнет войну ранее 1938 года, но что "война – это ее цель"; см.: Gilbert M., Gott R. Op. cit. S. 26 f.

23

См. описание в книге Р. Ингрима: Ingrim R. Op. cit. S. 129 ff.; затем: Schmidt P. Op. cit. S. 315, а также дневниковые записи Крогмана цит. в кн.: Jacobsen H. – A. Nationalsozialistische Aussenpolitik, S. 415, Anm.

24

Цит. по.: Ingrim R. Op. cit. S. 133; затем в этой связи также: Raeder E. Mein Leben, Bd. 1, S. 298 ff.

Ribbentrop J. v. Op. cit. S. 64.

26

Bracher K. D. Diktatur, S. 323; цитируемое ниже высказывание Гитлера см.: Kordt E. Nicht aus den Akten, S. 109.$По поводу оправдания политики "умиротворения со стороны Британии см., напр., выступление сэра Сэмьюэла Хора в Палате общин 11 июля 1935 г.: Churchill W. Op. cit. S. 178; затем: Hoare S. Neun bewegte Jahre. Duesseldorf, 1955, S. 127 ff. Хотя Черчилль и высказывался тогда против правительственной политики, однако при голосовании, закончившемся с результатом 247 голосов "за" и 44 "против", поддержал ее.

Noire E. Faschismus in seiner Epoche, S. 288.

28

Ibid. S. 288; затем: Mussolini B. Opera omnia, Vol. XXVI. Firenze, 1951, P. 319, а также: Kirkpatrick I. Mussolini, S. 268; там же (S. 275) содержится и приводимая ниже цитата Муссолини.

Император Эфиопии. – Примеч. пер.

30

См. в этой связи: Nolte E. Krise, S 162.

31

См.: Schmidt P. Op. cit. S. 342.

32

Nolte E. Krise, S. 160.

33

На этот конфликт впервые указал, приводя многочисленные подробности, А. Кун в уже упоминавшейся монографии о внешнеполитической программе Гитлера. Он же обнаружил и взаимосвязь этих событий с цитируемым ниже секретным выступлением Гитлера 29 апреля 1937 года.

34

См. исследование Манфреда Функе: Funke M. Sanktionen und Kanonen. Hitler, Mussolini und der Abessinienkonflikt. Duesseldorf, 1971.

35

См.: Hossbach F. Op. cit. S. 97. Автор пишет, что мысль о проведении операции в более ранние сроки пришла Гитлеру впервые 12 февраля, а это доказывает, что, несмотря на свойственную ему боязнь перед принятием решений, Гитлер при сложившихся обстоятельствах мог и очень быстро пойти на решительные шаги. По поводу приводимого ниже заверения Муссолини см.: Jacobsen H. – A. Nationalsozialistische Aussenpolitik, S. 418. Замечание о том, что дух Стрезы мертв, относилось к достигнутой в свое время договоренности держав всеми подходящими средствами препятствовать любому одностороннему расторжению договоров.

36

Начиная с 1933 г. СССР вел переговоры с Францией о заключении более широкого Восточного пакта, идея которого под влиянием целого ряда объективных и субъективных факторов международного развития сузилась до двустороннего договора, подписанного 2 мая 1935 г. и ратифицированного палатой депутатов французского парламента 27 февраля 1936 г. – Примеч. ред.

Domarus M. Op. cit. S. 580.

38

Schmidt P. Op. cit. S. 320; затем: Hossbach F. Op. cit. S. 23 и S. 98. Преувеличенное, по всей видимости, и не подтвержденное другими источниками утверждение, будто Гитлер был близок к нервному кризису, принадлежит Э. Кордту: Kordt E. Nicht aus den Akten, S. 134.

39

Bracher K. D. Diktatur, S. 325. В "Застольных беседах" Гитлер признался, что "после каждой успешной акции устраивал выборы. Это оказывало сильнейшее воздействие и в стране, и за ее пределами; Hitter Tischgespraeche. Op. cit. S. 169.

40

Hoffmann H. Op. cit. S. 82; затем: Hitlers Tischgespraeche, S. 155, 169. В том же смысле Чиано говорил о "фашистском принципе" свершившихся фактов-"Coso fatta capo ha". См.: Ciano C. Tagebuecher, S. 9.

41

См. в этой связи анализ в книге Г. Майнка: Meinck G. Op. cit. S. 145 ff.

Lord Avon. Facing the Dictators. London, 1962, p. 362.

Francois-Poncet A. Op. cit. S. 264.

Frank H. Op. cit. S. 204 f.

45

См.: ADAP Ser. D, Bd. 111. Итальянские вооруженные силы насчитывали свыше 50 000 человек, немецкие же – всего около 6 000, да и те постоянно переформировывались. Официальный набор добровольцев в Испанию был Гитлером запрещен, и само участие в войне не афишировалось, а держалось в строгом секрете.

Nolte E. Krise, S. 178.

Ciano G. Tagebuecher, S. 46.

Ciano G. Diplomatic Papers, цит. по: Bullock A. Op. cit. S. 351.

Ciano G. Tagebuecher, S. 13.

Члены молодежной фашистской организации в Италии. – Примеч. пер.

51

Муссолини был расстрелян захватившими его партизанами 28 апреля 1945 года, на следующий день его труп был подвешен вниз головой к металлическим опорам бензозаправочной станции на площади Лорето в Милане. – Примеч. ред.

52

Цит. по: Domarus M. Op. cit. S. 738; там же приводятся и другие высказывания, сделанные во время визита.

Nolte E. Faschismus, S. 270 f.

Wiedemann F. Op. cit. S. 150. Об эпизоде, касающемся вечерней беседы с Болдуином, см.: Gilbert M., Gott R. Op. cit. S. 34.

55

Wiedemann F. Op. cit. S. 150; см. также: Eden A. Angesichts der Diktatoren, S. 437.

56

Jones Th. A Diary with Letters 1931-1950. London. 1954, P. 251; относительно поручения Риббентропу см. его высказывание в беседе с премьер-министром Болгарии Кьосейваповым 5 июля 1939 г.: ADAP, Ser. D, Bd: V1, S. 714; см. затем также: Burckhardt C. J. Op. cit. S. 285, 295.

57

Из выступления 13 ноября 1936 года, цит. по: Domarus M. Op. cit. S. 643.

58

Из заявления партсъезда 1937 года, цит. по: Ibid S. 716. Приведенную выше цитату см.: Ibid. S. 646.

59

См. в этой связи: Kuhn A. Op. cit. S. 198 ff. Весьма примечательно однако, что поначалу на военных планах эти новые соображения никак не сказывались.

60

Из выступления 24 февраля 1937 года, цит. по: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 90, 92; затем: Domarus M. Op. cit. S. 667.

61

См.: Butler J. R. M. Lord Lothian, P. 337.

62

Священный эгоизм наций – лозунг итальянских фашистов, выдвигающий на передний план великодержавные националистические интересы. – Примеч. пер.

Bullock A. Op. cit. S. 355.

Francois-Poncet A. Op. cit. S. 188 f.

Kirkpatrick I. Im inneren Kreis, S. 44.

Goebbels J. Der Fuehrer als Staatsmann. In: Adolf Hitler (издано конторой сигаретных этикеток), S. 54 f.

67

Письмо от 23 мая 1936 г., ВАК R 43 11/1495.

Polish White Book, P. 36 ff., см.: Bullock A. Op. cit, S. 365.

69

Ciano G. Diplomatic Papers, P. 146. Затем: Sommer Th. Deutschland und Japan zwischen den Maechten 1935-1940, S. 90 f, а также: Grew E. Zehn Jahre in Japan.

Domarus M. Op. cit. S. 704.

См.: Speer A. Op. cit. S. 173.

72

Цит. по: Bullock A. Op. cit. S. 380; упомянутое выше свидетельство Макса Хоркхаймера приводится в его эссе "Эгоизм и освободительное движение": Horkheimer M. Egoismus und Freiheitsbewegung. О стилистических заимствованиях из литургии католической церкви см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 479.

73

Adorno Th. Op. cit. S. 155. Такой культ смерти встречается во всех фашистских движениях, но, пожалуй, наиболее ярко в румынской "Железной гвардии", и заслуживает, по всей видимости, более глубокого изучения.

Старое знамя мюнхенской организации НСДАП, считавшееся партийной реликвией. – Примеч. пер.

75

Schmeer K. Die Regie des oeffentlichen Lebens im Dritten Reich, S. 113; там же см. подробное описание и анализ режиссуры партсъездов в целом.

Der Parteitag der Arbeit vom 6. bis 13. September 1937. Offizieller Bericht. О том, что такие ночные мероприятия носили характер попытки уйти от действительности, писала в одной из статей и газета "Нидерэльбишес тагеблатт" 12 сентября 1937 года, где речь идет о "часе поминовения", о "море света, защищавшем от окружающего мрака".

77

Domarus M. Op. cit. S. 641 (речь, произнесенная 11 сентября 1936 г.), а также Ibid. S. 722 (10 сентября 1937 г.).

78

См.: Coulondre R. Von Moskau nach Berlin, S. 473 а также: Stehlin P. Auftrag in Berlin, S. 56. Предыдущее замечание принадлежит предшественнику Кулондра в Берлине Франсуа-Понсе, который далее пишет: "В течение всех восьми дней Нюрнберг представляет собой город, в котором царит только радость, город, который окутан каким-то волшебством, это почти город отрешенных. Такая атмосфера в сочетании с красотой зрелищ и щедрым гостеприимством производила огромное впечатление на иностранцев; и режим никогда не забывал приглашать их на эти ежегодные съезды. Немногие могли устоять против такого воздействия, так что домой они возвращались совращенными и покоренными". – Francois-Poncet A. Op. cit. S. 308.

79

Вслед за 30 января шли следующие официальные праздники: День памяти героев (середина марта), затем День рождения фюрера (20 апреля), День труда (1 мая), День матери (начало мая), День открытия партсъезда (начало сентября), Праздник урожая (конец сентября – начало октября) и, наконец, 9 ноября.

80

См.: Schmeer K. Op. cit. S. 30; упомянутый журнал назывался "Ди нойе гемайпшафт".

81

Из распоряжения отдела пропаганды окружного руководства Южный Ганновер-Брауншвейг от 21 июля 1936 года, цит. по: Ursachen und Folgen, Bd. XI, S. 62. См. в этой связи также циркулярное письмо имперского наместника в Гессене от 27 апреля 1936 года (Heyen F. Op. cit. S. 145), согласно которому не рекомендовалось заявлять в резкой форме о нежелательности присутствия евреев в общественных местах.

Об этом свидетельствуют, напр., П. Штелин (Stehlin P. Op. cit. S. 53), а также А. Франсуа-Понсе (Francois-Poncet A. Op. cit. S. 304), который даже сопровождает это (не использовавшееся никогда ни до, ни после того приветствие) таким описанием: "Выброшенная вперед рука вытягивается горизонтально на уровне плеча". Кстати, таким приветствием пользовалось большинство входивших на стадион команд, лишь англичане и японцы представляли тут наиболее заметное исключение.

Speer A. Op. cit. S. 71 f.

Graf Schwerin v. Krosigk L. Op. cit. S. 220.

85

См.: Zoller A. Op. cit. S. 127. О судорожном смехе Гитлера и его бегающих глазах свидетельствовали многие, не раз это было запечатлено и на кинопленке; см., напр.: Hitlers Tischgespraeche, S. 227, 243; затем: Zoller A. Op. cit. S. 84, где говорится, что "никто ни разу не слышал, чтобы он смеялся от души. Если его что-то забавляло или заражало веселье других, то в лучшем случае он издавал какое-то пронзительное квохтанье". См. также наглядное описание Гитлера у Г. Бенна: Benn O. Den Traum allein tragen. Wiesbaden, 1966, S. 116.

86

Hitlers Tischgespraeche, S. 433 f.; затем: Hoffmann H. Op. cit. S. 196 f. О постоянной озабоченности Гитлера, как бы не сделать что-нибудь не так, см.: Zoller A. Op. cit. S. 126. Как-то раз Гитлер даже выразил свое крайнее удивление по поводу того, что Муссолини однажды сфотографировался в купальных трусах: "Действительно великий государственный деятель такого не делает".

Hoffmann H. Op. cit. S. 113 f.

88

Из выступления 29 апреля 1937 года перед крайсляйтерами в "орденском замке" Фогельзанг; первое из двух замечаний сопровождается в стенограмме пометкой, что Гитлер при этом, чтобы подчеркнуть свои слова, постучал по кафедре; см.: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 154, 156. О записках, адресованных Еве Браун, см.: Zoller A. Op. cit. S. 125 f. – Упоминаемое ниже наблюдение, что Гитлер буквально никогда не говорил необдуманно, принадлежит Я. Шахту, см.: Schacht H. Abrechnung mil Hitler, S. 32.

89

Krebs A. Op. cit. S. 135; там же содержится и упоминаемое предположение, что Гитлер, возможно, сознательно пытался вызвать у людей "священный трепет". См. затем также: Speer A. Op. cit. S. 111.

90

См.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 23; затем: Hanfstaengl E. The Missing Years, P. 266.

Bullock A. Op. Cit. S. 376.

См.: Krebs A. Op. cit. S. 128 f.

93

См., напр.: Ziegler H. S. Op. cit. S. 54, 57, 58, 64, 67, 70 и т. д. Все приводимые на указанных страницах высказывания или примеры поведения Гитлера приходилось в той или иной форме слышать или наблюдать и А. Шпееру, как он сам подтвердил это автору.$О музыкальных пристрастиях Гитлера см. кроме того: Goebbels J. Der Fuehrer und die Kuenste. In: Adolf Hitler, S. 67 (издано рекламной конторой сигаретных этикеток "Реемтсма"); Dietrich O. Adolf Hitler als kuenstlerischer Mensch. In: NS-Monatshefte, 4. Jhg., h. 43, Okt. 1933, S. 474; далее: Dietrich O. Mit Hitler in die Macht, S. 198. Секретарша Гитлера фрейлейн Шредер тоже свидетельствует, что, наряду с Вагнером, большое впечатление на Гитлера производили в первую очередь "Летучая мышь" и "Веселая вдова", одно время он даже был "буквально захвачен" ими. "Помнится, был такой период, когда он каждый вечер, сидя у камина, крутил пластинки с записями этих оперетт. Даже и во время работы случалось, что он, стоя у окна и засунув руки в карманы брюк, отрешенно смотрел в бездонное небо и насвистывал мелодии из этих оперетт". См.: Zoller A. Op. cit. S. 58.

По свидетельству А. Шпеера, который часто сидел с другой стороны рядом с госпожой Вагнер и наблюдал эту сцену вблизи.

Schacht H. Abrechnung mit Hitler, S. 31.

Так он говорил К. Я. Буркхардту: Burckhardt C. J. Op. cit. S. 340.

97

Один из наглядных примеров содержится в секретной речи Гитлера, произнесенной перед выпускниками военных училищ 30 мая 1942 года; опубликовано в приложении к кн.: Picker H. Hitlers Tischgespraeche.

Burckhardt C. J. Op. cit. S. 153.

99

Имеется в виду Фридрих I Барбаросса (1122 – 1190). – Примеч. пер.

100

Hitlers Tischgespraeche, S. 227; ссылка на символическое значение Унтерсберга для Гитлера основана на личном свидетельстве А. Шпеера; см. также: Speer A. Op. cit. S. 100.

101

Domarus M. Op. cit. S. 704 (выступление 27. июня 1937 года в Вюрцбурге).

102

См. в этой связи: Bullock A. Op. cit. S. 386; приведенные примеры восхваления Гитлера см.: Fest J. C. Das Gesicht des Dritten Reiches, S. 76. Следует упомянуть еще и замечание Лея, что благодаря Гитлеру он оставил дарвинизм и вновь обрел "Христа"; см.: Scholtz H. In: VJHfZ, 1967, H. 3, S. 280.

103

Из упомянутой речи в "орденском замке" Фогельзанг, см.: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 157; о растущей антипатии по отношению к "старым борцам" см., напр.: Speer A. Op. cit. S. 58.

104

Свидетельство Г. Раушнинга из главы "Гитлер в личной жизни", которая не вошла в немецкое издание его книги "Разговоры с Гитлером"; эта глава теперь опубликована в кн.: Schieder Th. Hermann Rauschnings "Gespraeche mit Hitler" als Geschichtsquelle. S. 80. См. также: Price W. Fuehrer und Duce, S. 14.

105

Еще в декабре 1932 г. Гитлер отказался слушать по радио правительственное заявление Шляйхера: хочу, чтобы на меня оказывалось чье-либо влияние". См. Hoffmann H. Op. cit. S. 70.

106

Отсутствия. – Фр.

107

Zoller A. Op. cit. S. 45. Т. Шидер тоже считает, что Раушнинг точно уловил монотонный, самоопьяняющий ораторский стиль Гитлера (Schieder Th. Op. cit. S. 52). Меткую характеристику манере Гитлера говорить дал как-то и генерал Тренер, сделав после одной из встреч с ним такую запись: "От деловых разговоров он уходит и снова начинает плести свои фантазии по всем векам истории. Он прямо-таки сам заговаривает себя до состояния транса, его взгляд становится отрешенным, и тут низвергается шквал слов, фраз, образов, без точек и запятых, пока, совершенно обессилев, не выплеснет все!" См.: Craig G. A. Groener Papers, цит. по: Lange K. Op. cit. S. 48.

108

Rauschning H. Gespraeche, S. 162; в другом месте (S. 104) он пишет, что красноречие Гитлера производит впечатление "физической необузданности".

109

Luedecke K. O. W. Op. cit. S. 378. Упоминание о портретах матери и шофера Шрека основывается на свидетельстве А. Шпеера.

IMT, Bd. XVI, S. 476.

111

Zoller A. Op. cit. S. 73. Относительно всего, что связано с Евой Браун, см. написанную, правда, в немалой мере на основании слухов книгу: Gun N. E. Eva Braun-Hitler. Leben und Schicksal.

112

Speer A. Op. cit. S. 106; там же содержатся и другие свидетельства, касающиеся отношений между Гитлером и Евой Браун; см.: Ibid. S. 144.

113

Krause K. W. Kammerdiener, S. 12 f.; см. также, напр.: Speer A. Op. cit. S. 97 ff., 131 ff.

114

В Афинах и некоторых других древнегреческих полисах особая возрастная категория граждан, в которую зачислялись свободнорожденные юноши, достигшие совершеннолетия, для прохождения подготовки к военной и гражданской службе. – Примеч. пер.

115

Speer A. Op. cit. S. 107; аналогичные свидетельства приводит и А. Цоллер: Zoller A. Op. cit. S. 21. Приведенные выше характеристики окружения Гитлера принадлежат его личному врачу проф. Брандту (см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 47), а также Г. Бенну, видевшему таких эфебов при своем посещении отеля "Кайзерхоф" рядом с Гитлером; см.: Benn G. Den Traum allein tragen, S. 116.

116

Zoller A. Op. cit. S. 21; к приведенному выше наблюдению см.: Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 459.$Упоминание фильмов, которые предпочитал смотреть Гитлер, основывается на сообщении регирунгсрата Баркхаузена (ВАК), который снабжал Гитлера фильмами в тридцатых годах. В его же, Баркхаузена, распоряжении имеется каталог, содержащий 2 000 названий, запрещенных в Германии для широкого показа фильмов. См. в этой связи также: Hoffmann H. Op. cit. S. 191, где приводятся и другие названия.

117

Пер. А. А. Федорова.

118

Из программы открытия Декады Союза немецких девушек в Трире, цит. по: Heyen F. J. Op. cit. S. 230. См затем: Goebbels J. Unser Hitler (выступление по радио по случаю дня рождения Гитлера 20 апреля 1935 года), цит. по: Adolf Hitler, S. 87 (издано рекламной конторой сигаретных этикеток "Реемтсма").

119

Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 358 f. О посещениях представлений "Тристана" и "Веселой вдовы" см.: Libres propos, P. 322, а также: Dietrich O. Zwoelf Jahre, S. 165. По меткому замечанию Нольте, инфантильны и постоянные, преисполненные ненависти воспоминания Гитлера о школе, будто он "так и не вышел из юношеского возраста и ничему не научился у времени с его обогащающей, примиряющей и смягчающей остроту обид силой".

См.: Kubizek A. Op. cit. S. 125, 123.

121

Offizieller Bericht, S. 78; по поводу восторга Гитлера, когда ему удавалось своими собственными проектами перещеголять исторические архитектурные сооружения, см, : Speer A. Op, cit. S. 83.

Hitlers Tischgespraeche, S. 323.

123

Ibid. S. 195.

124

Ibid. S. 143; приводимое ниже замечание об "архитектуре сатрапов" содержится в воспоминаниях Шпеера – Speer A. Op. cit. S. 174.

125

Имеется в виду псевдомонументалистический стиль «Клеопатры». – Примеч. ред.

126

Domarus M. Op. cit. S. 527 (выступление 11 сентября 1935 года). См. по всей этой теме многочисленные свидетельства в книге А. Шпеера: Speer A. Op. cit., в частности, главы 3-6, 8, 10-13.

127

Со слов Шпеера автору; по его свидетельству, Гитлер видел в Перикле "своего рода параллель" самому себе. См. также: Speer A. Op. cit. S. 466.

128

Выражения такого рода встречаются почти во всех так называемых выступлениях по вопросам культуры, да и в "Застольных беседах" тоже. См. также сборник, составленный Д. Штротманом: Strothmann D. Nationalsozialistische Literaturpolitik, S. 302. Гитлер охотно подчеркивал воспитательное значение Немецкой художественной выставки как для публики, так и для художников, она представляет собой, как он говорил, "настоящее пугало для бездарностей"; Hitlers Tischgespraeche, S. 491.

129

Со слов А. Шпеера, который в этой связи отмечает, что неприятие Гитлером произведений, например, Лукаса Кранаха, объясняется еще и тем, что женские образы Кранаха не соответствовали его идеалу женщины более полной фигурой; он говорил, что женщины Кранаха "неэстетичны".

130

По свидетельству Х. Хофмана, бывшего основным закупщиком картин для Гитлера и его ближайшим советником в вопросах искусства: Hoffmann H. Op. cit S. 168. Там же (S. 175) содержится и приводимое ниже упоминание о картинах в квартире Гитлера на Принцрегентенплац; о Л. Коринте см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 379.

131

См. иллюстрацию на стр. 730 оригинала; относительно прочего см.: Hoffmann H. Op. cit. S. 180.

132

См. по всей этой теме: Brenner H. Op. cit., в частности, главу "Задание фюрера: Линц" (Der Fuehrerauftrag Linz, S. 154 ff.), из которой взяты эти свидетельства.

новый человек, выскочка – лат.

134

Speer A. Op. cit., S. 244; он тоже подчеркивает дилетантство Гитлера.

135

См., напр.: Hitlers Tischgespraeche, S. 322, где Гитлер отмечает, что важна не кропотливая работа, а способность к "великим мыслям".

136

См.: Dietrich O. Zwoelf Jahre, S. 168, или: Frank H. Op. cit. S. 133; см. также: Hitler A. Mein Kampf, S. 501.

137

Hitlers Tischgespraeche, S. 269; об идентификациях христианства и большевизма см.: Ibid. S. 169.

См.: Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 500.

139

Цит. по: Bracher K. D. Diktatur, S. 286 f. Цитируемое ниже высказывание П. Валери см.: Talmon J. L. Op. cit. Bd. 11, S. 200.

140

Hitlers Tischgespraeche, S. 186; последующее высказывание см. там же, S. 171.

141

Ibid. S. 446.

Ibid. S. 159, 173; затем также: Speer A. Op. cit. S. 108 ff.

143

Libres propos, P. 253. В "Майн Кампф" по этому поводу говорится: чистоту крови "еврей блюдет пуще любого другого народа на земле. Тем самым он продолжает свой губительный путь до тех пор, пока не встретит другую силу, которая в ожесточенной схватке не сбросит этого богоборца (!) назад к Люциферу". См.: Hitler A. Mein Kampf, S. 751. См. в этой связи также: Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 500 f.

144

Rauschning H. Cespraeche, S. 232; см. по этому поводу и в этой связи вообще: Doerner K Nationalsozialismus und Lebensvernichtung. In: VJHfZ, 1967, H. 2, S. 149.

145

Клингзор – персонаж в «Парцивале» Вольфрама фон Эшенбаха; волшебник, державший в плену женщин благородных семей, персонаж в «Парсифале» Рихарда Вагнера. – Примеч. пер.

146

Doerner K. Op. cit. S. 131; затем: Domarus M. Op. cit. S. 717, где приводится одна из прокламаций партсъезда, в которой Гитлер заявляет: "Но величайшей революцией для Германии является впервые планомерно осуществляемая в этой стране народная гигиена, а тем самым и расовая гигиена. Результаты этой немецкой расовой политики будут иметь для будущего нашего народа большее значение, чем последствия всех других законов. Ибо они создают нового человека".

147

Под этим названием в нацистской Германии в 1940-1945 г. г. осуществлялась программа массовых убийств (свыше 120 тыс. чел.), жертвами которых стали умственно неполноценные дети и душевнобольные взрослые. – Примеч. ред.

148

Евгеника – наука об улучшении наследственного фонда. В нацистской Германии служила теоретическим обоснованием уничтожения не только неполноценных в умственном отношении людей, но и тотального уничтожения представителей «низших рас». – Примеч. ред.

149

Высказывание Гитлера 13 февраля 1945 года, см.: Le Testament politique de Hitler, p. 85.

150

Rauschning H. Gespraeche, S. 233. См. также: Ueberhorst H. Elite fuer die Diktatur; Klose W. Generation im Gieichschritt.

151

Le Testament politique de Hitler, p. 85.

Rauschning H. Gespraeche, S. 217.

153

Hitler A. Mein Kampf, S. 782. Речь Гитлера перед офицерами опубликована в кн.: Jacobsen H. – A., Jochmann W. Op. cit., "25 января 1939 года".

154

Письмо Артуру Динтеру, цит. по: Tyrell A. Op. cit. S. 205, и в начале 1935 г., в беседе с англичанином Т. П. Корнуэллом-Эвансом, Гитлер тоже исходил из того – и на это нельзя не обратить внимание – что он едва ли доживет до шестидесяти лет; см.: Jacobsen H. – A, Nationalsozialistische Aussenpolitik, S. 375, Anm. Такие же мысли об отпущенном ему сроке жизни Гитлер высказывал и Шпееру, см.: Speer A. Erinnerungen, S. 117 ff.

155

Rauschning H. Gespraeche, S. 190. Приводимое ниже упоминание о террористе, готовящем на него покушение, содержится как в выступлении Гитлера перед командованием вермахта 22 августа 1939 года (см.: Jacobsen H. – A. 1939-1945, S. 115), так и в одном его высказывании в ходе беседы с польским послом Юзефом Липским, состоявшейся в то же время. (Последняя беседа Гитлера с Липским произошла 2 марта 1939 г. во время приема для дипломатического корпуса в Берлине. (Lipski J. Diplomatin Berlin. New York, 1968, P. 205) – Примеч.ред.)

156

Krebs A. Op. cit. S. 137; по всей совокупности вопросов, связанных с историей болезни Гитлера, см.: Maser W. Hitler, S. 326 ff.

157

Цит. по: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 160; приводимую ниже цитату см.: Speer A. Op. cit. S. 153.

158

Запись окружного руководителя пропаганды Вальдемара Фогта, см.: Domarus M. Op. cit. S. 745.

159

Broszat M. Op. cit. S. 432, где содержатся другие важные свидетельства.

Domarus M. Op. cit. S. 974.

161

Из материалов Браммера, см.: Jacobsen H. – A. Nationalsozialistische Aussenpolitik, S. 435. Что касается нападок Гитлера на интеллектуалов, см. его выступления 29 апреля 1937 года и 20 мая 1937 года, опубликованные в кн.: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 149 f., S. 241 f.

162

Слова Э. Нольте: Nolte E. Faschismus, S. 325.

163

Hitlers Tischgespraeche, S. 142. См. в этой связи также высказывание Гитлера в его речи перед командованием вермахта 22 августа 1939 года: "Нам нечего терять, мы только выиграем. Наше экономическое положение вследствие наших ограничений таково, что мы сможем продержаться лишь несколько лет. Геринг может это подтвердить. Нам не остается ничего другого, мы должны действовать". Цит. по: IMT, Bd. XXVI, S. 338. К высказываниям Геринга см.: IMT, Bd. XXXVI, Dok. EC-416.

Шахт вынужден был в 1937 р. оставить пост рейхсминистра экономики, однако вплоть до 1944 г. оставался в составе кабинета в качестве рейхсминистра без портфеля. – Примеч. ред.

165

Меморандум Гитлера опубликован в: VJHfZ, 1955, H. 2, S. 184 ff.

166

Из доклада о ситуации ландрата Бад-Кройцнаха, цит. по: Heyen F. J. Op. cit. S. 290 f. Там же приводятся и другие свидетельства.

167

Нацистское – Примеч. пер.

168

Из выступления 10 ноября 1938 года, см.: Domarus M. Op. cit. S. 974.

169

Heiden K. Hitler, Bd. II, S. 215, 251.

170

Часто ошибочно именуемые "протоколом", в действительности же, сделанные лишь 10 ноября 1937 года на основе собственных пометок записи полковника Хосбаха опубликованы в: IMT, Bd. XXV, S. 402 ff. (Dok. 386-PS). Подробности см.: Bussmann W. Zur Entstehung und Ueberlieferung der "Hossbach-Niederschrift". In: VJHfZ, 1968, H. 4, S. 373 ff.

Hossbach F. Op. cit. S. 219.

IMT, Bd. IX, S. 344; высказывание Геринга подтвердил в Нюрнберге Редер, см.: IMT, Bd. XIV, S. 44 f. Даже если желание Геринга и Редера ослабить конкретное политическое значение того, что говорил Гитлер, и придает их словам характер лишь относительной достоверности, все же высказывание Гитлера точно вписывается в общую картину боязни фактора времени.

173

Выражение итальянского посла Аттолико в беседе с Карлом Якобом Буркхардтом, см.: Burckhardt C. J. Op. cit. S. 307. Ср. также замечание Гитлера о том, что министерство иностранных дел – это "сборище тварей": Hitlers Tischgespraeche, S. 341. К замечанию о генералитете см.: Schiabrendorff F. Op. cit. S. 60, и о дипломатах: Rauschning H. Gespraeche, S. 249 ff.

Foertsch H. Op. cit. S. 85 f.

175

Jodl-Tagebuch, IMT, Bd XXVIII, S. 357.

176

Кейтель в ранге рейхсминистра возглавил штаб ОКВ, подчинявшийся непосредственно Гитлеру как главнокомандующему. – Примеч. ред.

177

Ibidem, S. 358 ff. Авторитет Браухича пострадал еще и оттого, что к моменту вступления в должность он безвозмездно получил довольно крупную сумму денег на ведение бракоразводного процесса.

178

См.: Goeriitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 489; определение 4 февраля как "бескровного 30 июня" принадлежит А. Франсуа-Понсе: Francois-Poncet A. Op. cit. S. 334.

179

См.: Foertsch H. Op. cit. S. 179, а также: Hassel U. v. Vom anderen Deutschland, S. 39.

180

Jodl-Tagebuch, Op. cit. S. 362; там же (S. 368) содержится и предыдущая цитата.

181

Schuschnigg K. v. Ein Requiem in Rot-Weiss-Rot, S. 44; там же см. и подробности встречи в Бергхофе. Хотя беседа передана и не дословно, но Шушниг сумел точно передать тон и манеру аргументации Гитлера. – См. также: Goeriitz W. (Hrsg.) Generalfeldmarschall Keitel. S. 177.

182

ADAP, Ser. D, Bd. I, S. 468 ff.

183

IMT, Bd. XXXIV, Dok. 102-C.

Goeriitz W. Keitel, S. 179.

185

Lagebesprechungen, S. 306 f. (25 июля 1943 г.).

186

IMT, Bd. XXXI, Dok. 2949-PS, S. 367 f.

Ibidem, S. 368 ff.

188

Из памятной записки Зейс-Инкварта от 9 сентября 1945 года, IMT, Bd. XXXII, Dok. 3254-PS, S. 70.

189

Neue Basler Zeitung, 16. III. 1938, цит. по: Domarus M. Op. cit. S. 822.

Б исмарковский рейх воплощал «малогерманскую идею» и не включал Австрии, правда, союз с побежденной в 1866 г. Габсбургской империей был одним из главных принципов внешней политики «железного канцлера». – Примеч. ред.

191

См.: Bracher K. D. Diktatur, S. 338.

IMT, Bd. XXVIII, Dok. 1780-PS, S. 371.

Zweig S. Op. cit. S. 446 f.

Ibid. S. 448.

195

Феаки – в греческой мифологии народ, любящий наслаждения. – Примеч. пер.

IMT, Bd. XXV, Dok. 388-PS, S. 414 ff.

197

Burckhardt C J. Op. cit. S. 157; высказывание Чемберлена см.: Wendt B. – J. Muenchen 1938, S. 26.

198

Из протокола переговоров между К. Генлейном и Адольфом Гитлером 28. марта 1938 года, цит. по: Freund M. Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten, Bd. I, S. 20 f.; свидетельство об анонимном письме см.: Jacobsen H. – A. Nationalsozialistische Aussenpolitik, S. 350.

Dollmann E. Dolmetscher der Diktatoren, S. 37.

В Москве Гитлер никогда не был. – Примеч. ред.

201

Hitlers Tischgespraeche, S. 134 f.

202

Ciano G. Tagebuecher, S. 158 f.; затем также: Kirkpatrick I. Mussolini, S. 331 f.

203

Слова Гендерсона, сказанные им 21 мая 1938 года Риббентропу, см.: ADAP, Ser. D, Bd. II, Dok. 184. То же самое говорил еще 22 апреля заместитель статс-секретаря Батлер представителю немецкого посольства в Лондоне; в Англии, сказал он, отдают себе отчет в том, что Германия добьется своей ближайшей цели (назвав при этом чехословацкий вопрос); Ibid. Bd. I, Dok. 750.

ADAP, Ser. D, Bd. VII, Anhang III H; затем: Ibid. Bd. II, Dok. 415.

205

IMT, Bd. XXV, 388-PS, S. 422, 434.

См.: Gilbert M., Gott R. Op. cit. S. 99; затем: Ibid. S. 89. К высказыванию Чемберлена см. его выступление по радио 27 сентября 1938 г., опубликованное 28 сентября 1938 г. в "Таймс". Чехословацкий посол в Риме сказал примерно в это же время Муссолини, что "в Англии не имеют никакого представления о Богемии. Когда он учился в Лондоне, ему как-то раз па приеме сунули в руку скрипку только лишь потому, что знали, что он чех. Путают богемцев с цыганами". См.: Ciano G. Op. cit. S. 248.

См.: Namier L. B. Diplomatic Prelude. London, 1948, P. 35.

Cooper D. Das laesst sich nicht vergessen, S. 291 Описание встречи основано, в частности, на свидетельстве П. Шмидта: Schmidt P. Op. cit. S. 395 ff.; см. затем протокол встречи и письмо Чемберлена, опубликованные в кн.: Freund M. Op. cit. S. 133 ff.

Хеб. – Примеч. пер.

См.: Broszat M. Das Sudetendeutsche Freikorps. In: VJHfZ, 1961, H. 1, S. 30 ff.

211

Протокол беседы см.: Freund M. Op. cit. S. 172 ff.

212

По записи А. Киркпатрика, Цит. по: Bullock A. Op. cit. S. 463.

213

См.: Shirer W. L. Aufstieg und Fall, S. 374. Речь Гитлера опубликована в кн.: Domarus M. Op. cit. S. 924 ff.

214

По записи А. Киркпатрика, см.: Kirkpatrick I. Op. cit. S. 462; см. в этой связи также: Schmidt P. Op. cit. S. 409.

215

Shirer W. L. Op. cit. S. 376. О том же говорят и совпадающие в целом свидетельства многих других наблюдателей, см., напр.: Schmidt P. Op. cit. S. 410; Wiedemann F. Op. cit. S. 176 f.; Kordt E. Nicht aus den Akten, S. 259 f., 265 ff. К. Я. Буркхардт писал в конце августа одному своему другу, что невозможно даже представить себе тот ужас, то отчаяние масс, когда вдруг снова заговорили о войне…. Никогда я столь явно не ощущал, что народы не несут ответственности за преступления своих вождей": Burckhardt C. J. Op. cit. S. 155.

216

Цит. по: Seabury P. Die Wilhelmstrasse, S. 149. Об Остере, а также об участниках Сопротивления и их активности в этот период см. фундаментальную книгу Гарольда К. Дойча "Заговор против войны": Deutsch H. C. Verschwoerung gegen den Krieg.

217

См.: Hoffmann P. Widerstand, Staatsstreich, Attentat, S. 79. Бывая в Париже весной, Герделер встречался прежде всего с Пьером Берто и Алексисом Леже (известен как поэт под именем Сен-Жон Перс), который был самым высокопоставленным чиновником на Кэ д'Орсе.

Ibid. S. 83; твердыми доказательствами считались официальные заявления о поддержке ЧСР и демонстрации военной решимости.

Burckhardt C. J. Op. cit. S. 182.

220

Выражение Дэвида Астора в его критическом анализе тяжеловесной и косной британской позиции по отношению к немецкому Сопротивлению: "20 июля 1944 года. Заговор был обречен на провал, потому что союзники не понимали сигналов", опубликовано в: Die Zeit, 18. VII. 1966; см. в этой связи также: Kennan G. F. Memoirs 1925-1950, P. 119 f.

221

Wendt B.-J. Muenchen, S. 72.

222

Слова Даладье из беседы с американским послом в Париже Буллитом 27 сентября; высказывание Чемберлена в беседе с Гамеленом известно через третьих лиц, поэтому за него, строго говоря, поручиться нельзя; однако по своей логике оно вполне вписывается в общий характер британской политики того времени, см.: Wendt B.-J. Muenchen, S. 108 f.

223

См.: Fperster W. Generaloberst Ludwig Beck, S. 125 ff. Такие же, как и у Бека, мысли высказал в памятной записке примерно в то же время начальник штаба военно-морских сил вице-адмирал Гузе, см.: Hoffmann P. Op. cit. S. 104

224

Kosthorst E. Die deutsche Opposition gegen Hitler, S. 50. По этому вопросу в целом см. также: Mueller K.-J. Das Heer und Hitler, S. 345 ff. Кстати, Браухич в ответ на упомянутое откровение, не раздумывая, пожал Гальдеру обе руки.

225

Об отношении Гальдера к Гитлеру см.: Krausnick H. Vorgeschichte und Beginn des militaerischen Widerstandes gegen Hitler. In: Vollmacht des Gewissens. Muenchen, 1956, S. 338, а также: Gisevius H. B. Bis zum bitteren Ende, S. 348 f-; свидетельство Гизевиуса имеет особое значение, поскольку он считался одним из самых рьяных критиков Гальдера. См. затем: Ritter G. Carl Goerdeler, S. 184.

Так, например, с командиром 23-й дивизии в Потсдаме генералом графом фон Брокдорф-Алефельдтом, с командиром 50-го пехотного полка в Ландсберге на Варте полковником фон Хазе, а также с генералом Хеппнером, который должен был выступить со своей дислоцированной в Тюрингии дивизией в том случае, если бы находящийся в Мюнхене лейб-штандарт СС предпринял попытку прорваться на помощь в Берлин.

Судя по всему, Канарис и Остер были посвящены в этот план и одобрили его – не в последнюю очередь потому, что только таким образом можно было решить проблему верности присяге, которая вплоть до 20 июля обладала столь фатальной значимостью.

228

Rothfels H. Opposition gegen Hitler, S. 68; затем: Roennefarth H. K. G. Die Sudetenkrise, Bd. I, S. 506.

229

Ritter G. Op. cit. S. 198 f. Вскоре после мюнхенской конференции Н. Гендерсон писал в том же духе: "Судя по всему, сохранив мир, мы спасли Гитлера и его режим". См.: Mueller K.-J. Op. cit. S. 378. И здесь Гитлер опять-таки закрепил свой успех, тут же уволив со службы ряд оппозиционно настроенных офицеров, например, генерала Адама, и лишил тем самым Сопротивление важных ключевых позиций.

Ciano G. Op. cit. S. 240.

231

Ibid. S. 243. Все сопутствующие обстоятельства наглядно показывают, что в действительности речь шла только о том, чтобы закрепить достигнутое по существу соглашение договором. Конечно же, конференция преследовала цель, по крайней мере, в глазах обоих западных глав правительств, обуздать Гитлера и затруднить его дальнейшую экспансию, однако весьма примечательно, что все заявления о гарантиях содержались лишь в частично подписанных дополнительных соглашениях.

Ciano G. Op. cit. S. 242. О ходе конференции см.: Stehlin P. Op. cit. S. 125 f.; Schmidt P. Op. cit. S. 415 ff., а также: Francois-Poncet A. Op. cit. S. 381 ff.

233

«Вот так Франция обращается с единственными союзниками, которые остались ей верны». – Фр.

Ciano G. Op. cit. S. 243.

235

Так Гитлер выразился в своем выступлении 24 апреля 1936 года по поводу открытия "орденского замка" Крессинзее, см.: Hoover-Institute, Folders 19-59; затем-Schmidt P. Op. cit. S. 417 f.; Kirkpatrick I. Im inneren Kreis, S. 110.

Nolte E. Faschismus, S. 281.

237

Le Testament politique de Hitler, p. lis f.. свидетельство Шахта см.: IMT, Bd. XIII, S. 4. Аналогичное высказывание Гитлера в сентябре 1938 года воспроизводится в "Дневниках" Хельмута Гроскурта: "Ему (Гитлеру) пришлось в сентябре отступить, не добившись своей цели. Войну надо вести, говорил Гитлер, пока он жив, ведь ни один немец никогда больше не будет пользоваться столь безграничным доверием; лишь он один способен воевать. Цели войны: а) господство в Европе, б) мировое господство на века. Войну следует начать немедля ввиду того, что другие вооружаются". Groscurth H. Tagebuecher, S. 166.

238

Из выступления перед командованием вермахта 23 мая 1939 года, IMT, Bd. XXXVII, S. 551. В том же духе Гитлер говорил и в традиционном выступлении 8 ноября 1938 года, посвященном ноябрьским событиям 1923 года, в пивной "Бюргербройкеллер", где он однозначно признал себя сторонником формулы Клаузевица: "Я считаю и заверяю в том этот и грядущий мир, что ложное умничанье, стремящееся уйти от опасности, я нахожу самым отвратительным из всего того, что может внушать страх и ужас". См.: Domarus M. Op. cit. S. 966.

239

См. в указанной последовательности выступление 22 августа 1939 года: Domarus M. Op. cit. S. 1234 f.

240

IMT, Bd. XX, S. 397. Кейтель заявил в Нюрнберге, что немецких наступательных средств не хватило бы даже для того, чтобы прорвать приграничные укрепления Чехословакии; IMT, Bd. X, S. 582.

241

ADAP, Ser. D, Bd. IV, Dok. 476, S. 529 f.

См.: Gilbert M., Gott R. Op. cit. S. 144 ff.

243

Ibid. S. 147, 150; ссылка на участие СД и гестапо взята из VB, 10. X. 1938.

244

См., напр., донесение британского временного поверенного в делах в Берлине: Documents on British Foreign Policy, 2nd Series, Bd. til, S. 277; цитату из газеты "Дас Шварце кор" см.: Bracher K. D. Diktatur, S. 399. Подробности о реакции в различных частях рейха на погром см.: Steinert M. G. Hitlers Krieg, S. 75.

Domarus M. Op. cit. S. 1058.

246

Эта речь, относящаяся к ключевым документам о Гитлере, опубликована в: VJHfZ, 1958, H. 2, S. 181 ff.

Братиславе. – Примеч. пер.

248

Запись советника Хевеля, ADAP, Ser. D, Bd. IV, Dok. 228.

Schmidt P. Op. cit. S. 430.

250

Zoller A. Op. cit. S. 84; приводимая ниже цитата взята из "Обращения к немецкому народу" от 15 марта, явно написанного еще до переговоров с Гахой; см.: Domarus M. Op. cit. S. 1095.

Ciano G. Op. cit. S. 225.

252

См.: Nolte E. Faschismus, S. 330; по поводу речи Чемберлена в Бирмингеме см.: Ursachen und Folgen, Bd. XIII, S. 95 ff.; затем: Gilbert M., Gott, R. Op. cit. S. 164.

253

IMT, Bd. XXVIII, S. 377 (Dok. 1780-PS).

См.: Wendt B.-J. Muenchen, S. 72.

255

Kordt E. Wahn und Wirklichkeit, S. 153; по поводу более поздней критики Гитлером пражской операции см.: Le Testament politique de Hitler, p. 119 f.; поручение проинструктировать прессу, данное 16 марта 1939 года, см.: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 15.

Здесь автор явно в целях подчеркивания динамизма политики Гитлера после захвата Праги смещает хронологическую канву в германо-польских отношениях. Риббентроп действительно выдвинул перед Липским упомянутую программу «генерального урегулирования» двусторонних отношений, но это произошло не 21 марта 1939 года, а 24 октября 1938 года. В 20-х же числах марта в ходе нескольких встреч между Риббентропом и Липским окончательно выяснилась невозможность достичь соглашений на выдвинутых Гитлером условиях – Примеч. ред.

257

По всему этому комплексу вопросов см.: Freund M. Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten, Bd. II, S. 58 ff.; затем: Ursachen und Folgen, Bd. XIII, S. 151 ff.

258

Выражение Себастьяна Хафнера из очень живого и остроумного эссе "Пакт с дьяволом", где рассматриваются также и три представлявшиеся возможными варианта гитлеровской политики: Haffner S. Der Teufelspakt, S. 92.

Burckhardt C. J. Op. cit. S. 157.

260

Это следует из протокола переговоров между Беком и Чемберленом с участием Галифакса 4 апреля 1939 г., см.: Freund M. Weltgeschichte, Bd. II, S. 122.

См.: Ibid. S. 97.

Ibid. S. 101 f.

263

Так выразился Гитлер в беседе с южноафриканским министром Пайроу 24 ноября 1938 г.: ADAP, Ser. D, Bd. IV, Dok. 271: "Он всю свою жизнь боролся за взаимопонимание между Германией и Англией. Он изложил это в книге "Майн кампф"….. однако англичане ни с кем не обошлись так подло, как с ним, фюрером…. В конечном счете он скрепя сердце стал действовать вопреки труду своей молодости, когда заметил, что Англия не идет навстречу".

264

По свидетельству Х. Б. Гизевиуса: Gisevius H. в Bis zum bitteren Ende, Bd. II, S. 107.

Domarus M. Op. cit. S. 1119 ff.

266

См., напр.: Francois-Poncet A. Op. cit. S. 397. Затем: Gafencu G. Derniers Jours de I'Europe, P. 98 ff. к изложенному ниже см.: Ursachen und Folgen, Bd. XIII, s 211 f., 214 f.

267

IMT, Bd. XXXIV, S. 380 ff. (Dok. 120-C).

Shirer W. L. Op. cit. S. 438; аналогично высказывается и Буллок: Bullock A. Op. cit. S. 506.

Domarus M. Op. cit. S. 1148 ff.

Цит. по: Freund M. Weltgeschichte, Bd. II, S. 273 f.

271

Из записи советника-эксперта Юлиуса Шнурре 5 мая 1939 г. о беседе с советским временным поверенным в делах в Берлине Георгием Астаховым, см.: ADAP, Ser. D, Bd.. VI, S. 355; затем см. запись фон Вайцзеккера о переговорах с советским послом Мерекаловым 17 апреля 1939 г.; Ibid. Dok. 215.

Bracher K. D. Diktatur, S. 345.

Domarus M. Op. cit. S. 509.

Burckhardt C. J. Op. cit. S. 348. О нерешительности и колебаниях Гитлера см.: Ibid. S. 325 f.; затем: Bullock A. Op. cit. S. 518. Реплика о "Пакте с сатаной" прозвучала на совещании 28 августа, см.: Haider F. KTB, Bd. I, S. 38.

Nolte E. Faschismus, S. 286.

Ciano G. Op. cit. S. 92, 89.

277

ADAP, Ser. D, Bd. VI, S. 514 ff.

IMT, Bd. XXXVH, S. 546 ff.

См.: Booms H. Der Ursprung des Zweiten Weltkriegs – Revision Oder Expansion? In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 1965, H, 6, S. 349 f.

Freund M. Weltgeschichte, Bd. III, S. 15; по поводу замечания Аттолико, а также ситуации в Данциге см.: Burckhardt C. J. Op. cit. S. 305, 318.

281

Из отчета К. Я. Буркхардта 14 августа 1939 г. в записи одного служащего британского МИД, Burckhardt C J. Op. cit. S. 59.

Burckhardt C. J. Op. cit. S. 341 ff.

283

Ciano G. Op. cit. S. 122. Накануне Чиано провел пень с Риббентропом и сделал об этом такую запись: "Желание начать войну непоколебимо. Он отклоняет любое решение, которое могло бы удовлетворить Германию и предотвратить войну. Я убежден, что даже если бы немцы получили больше, чем требуют, то и тогда они предприняли бы наступление, поскольку одержимы демоном разрушения".

ADAP, Ser. D, Bd. VI, Dok. 729.

285

Haider F. KTB, Bd. I, S. 11; знаменитая телеграмма Риббентропа воспроизведена в: Freund M. Weltgeschichte, Bd. III, S. 143 f.

IMT, Bd. XXVI (Dok. 798-PS).

Weizsaecker E. v. Op. cit. S. 235.

Bonnet G. Vor der Katastrophe, S. 255.

289

Цит. по: Freund M. Weltgeschichte, Bd. III, S. 115.

290

Ibid. S. 124; там же приводится и заявление польского министра иностранных дел от 23 августа 1939 г. (S. 123), а также телеграммы, которыми обменивались Риббентроп и Гитлер (S. 165).

Советским судьям удалось все-таки добиться того, чтобы дополнительный протокол не фигурировал в качестве документа-доказательства, так что во время процесса он не играл никакой роли.

Nolte E. Krise, S. 204.

293

Rosenberg A. Das politische Tagebuch, S. 82. "Это – возмущенно замечает Розенберг, – пожалуй, самое наглое оскорбление, которое можно нанести национал-социализму".

294

Из записи советника-референта Хенке от 24 августа 1939 г., цит. по: Freund M. Weltgeschichte, Bd. III, S. 166 ff.

С Риббентропом – Примеч. пер.

Gafencu G. Op. cit. (здесь цит. по: Freund M. Weltgeschichte, Bd. III, S. 174); этот автор и дает приведенную тут ссылку. Об уважительном отношении Гитлера к Сталину см., напр., ряд его высказываний, приводимых Г. Ликером в "Застольных беседах". И в рассуждениях весной 1945 года Гитлер весьма почтительно высказывался о Сталине, что примечательным образом отличалось от его абсолютно презрительного отношения к образу врага, см.: Le Testament politique de Hitler, p. 134, 137.

297

Hoffmann H. Op. cit. S. 103. По поводу высказывания о неиспользованных исторических моментах см.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 122.

298

Что касается этой речи, то существуют в общей сложности шесть отличающихся друг от друга своей акцентировкой версий; см. в этой связи сравнительный анализ Винфрида Баумгарта: VJHfZ, 1968, H. 2, S. 120 ff. Процитированный здесь вариант см.: IMT, Bd. XXVI, Dok. 798-PS (первая часть) и Dok. 1014-PS (вторая часть). О том впечатлении, которое произвела речь на присутствовавших, см., напр.: Raeder E. Op. cit. Bd. II, S. 165 ff.; Manstein E. v. Verlorene Siege, S. 19 f.

299

Haider F. KTB, Bd. I, S. 27.

Цит. по: Freund M. Weltgeschichte, Bd. III, S. 271.

301

Schmidt P. Op. cit. S. 450 f.

Ciano G. Op. cit. S. 123 ff. (13-18 августа 1939 г).

303

Ibid. S. 131. Речь идет о перечне, который по названию самого ценного тогда для производства вооружений материала (которого итальянцы требовали ни много ни мало, а минимум 600 тонн) стал позднее фигурировать как "молибденовый список". Этот список приводится в кн.: Hofer W. Die Entfesselung des Zweiten. Weltkriegs, S. 256 f.

Haider F. KTB, Bd. I, S. 34; затем: Schmidt P. Op. cit. S. 453.

305

Haider F. KTB, Bd. I, S. 38, 40.

306

Из послания Муссолини Гитлеру от 29 августа 1939 г., цит. по: Freund M. Weltgeschichte, Bd. III, S. 328; см. также отчет французского посла Р. Кулондра министру иностранных дел Франции о своей беседе с Адольфом Гитлером (Coulondre R. Op. cit. S. 287), а также донесение Гендерсона Галифаксу: Gilbert M., Gott R. Op. cit. S. 232.

Через территорию Польши. – Примеч. пер.

Германии. – Примеч. пер.

309

Из записок сэра Айвона Киркпатрика, сэра Орма Сарджента и лорда Галифакса. Gilbert M., Gott R. Op. cit. S. 320 ff.

310

Haider F. KTB, Bd. I, S. 42. О немецком "мирном плане" см.: ADAP, Ser. D, Bd. VII, S. 372 ff.; затем: Schmidt P. Op. cit. S. 459 f.

311

Dahlerus B. Der Letzte Versuch, S. 110; затем запись сэра Н. Гендерсона от 31 августа 1939 г., цит. по: Freund M. Weltgeschichte, Bd. III, S. 372 f.

312

Из записок Шмидта о беседе между Гитлером и Аттолико, состоявшейся 31 августа 1939 г. в 19 часов, см.: Freund M. Weltgeschichte. Bd. III, S. 391; о "Директиве № 1" см.: ADAP Ser. D, Bd. VII, S. 397 ff.

313

Domarus M. Op. cit. S. 1312 ff. Что касается времени начала военных действий, то Гитлер оговорился; как и было намечено в "Директиве № 1", наступление началось в 4. 45 утра.

314

На переговорах с Англией Франция выразила пожелание начать военные действия лишь 4 сентября, а именно, как настоятельно говорил Бонне Галифаксу, в понедельник вечером, см.: Freund M. Weltgeschichte, Bd. III, S. 412 f.; по поводу цитируемого ниже выступленияЧемберленав палате общин см.: Das Blaubuch der brit. Regierung, Basel, 1939, Nr. 105.

315

ADAP, Ser. D, Bd. VII, S. 425.

Schmidt P. Op. cit. S. 463 f.

317

Stehlin P. Op. cit. S. 234; затем: ADAP, Ser. D, Bd. VII, S. 445. На указанное примечательное расхождение обратил внимание У. Ширер: Shirer W. L. Aufstieg und Fall, S. 562.

См.: Gilbert M., Gott R. Op. cit. S. 284 f.; упоминаемый ниже эпизод приводится там же, S. 274.

319

IMT, Bd. XV, S. 385 f.

320

Выражение будущего премьер-министра Польши, приведенное М. Фройндом, см.: Freund M. Weltgeschichte, Bd. III, S. 406.

Burckhardt C. J. Op. cit. S. 164.

Nolte E. Krise, S. 205.

323

По свидетельству К. Я. Буркхардта: Burckhardt C. J. Op. cit. S. 351.

Weizsaecker E. v. Op. cit. S. 258; о неуверенности Гитлера и его попытках самоуспокоения см. также: Zoller A. Op. cit. S. 156; Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 196; затем: Haider F. KTB, Bd. I, S. 39. Высказывания о слабости и декадансе Англии содержатся и в других цитировавшихся здесь выступлениях Гитлера с 5 ноября 1937 г. по 22 августа 1939 г.

325

«Странная война» (англ.), буквально «фальшивая». – Примеч. ред.

Конец Германии. – Лат.

Doenitz K. Zehn Jahre und zwanzig Tage, S. 45.

328

Так Гитлер заявил в своем выступлении в гамбургском "Национальном клубе" в 1919 г., цит. по: Jochmann W. Im Kampf, S. 83.

329

Из выступления перед офицерами и выпускниками военных училищ 15 февраля 1942 г., цит. по: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 308; затем: Hitlers Tischgespraeche, S. 248.

330

Hitler's Table Talk, p. 661; см. также: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S 388.

331

Rauschning H. Gespraeche, S. 12; см. также: Hitlers Tischgespraeche, S. 172.

Hitlers Tischgespraeche, S. 328.

Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 388.

334

См.: Dietrich O. Zwoelf Jahre, S. 156; слова Геббельса см.: Kirkpatrick I. Im Inneren Kreis, S. 69. Приведенную фразу из "Второй книги" см.: Hitlers zweites Buch, S. 77.

Rauschning H. Gespraeche, S. 16.

336

Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 102 f. В той же беседе Гитлер заметил, что займется подводными лодками "со всей энергией" только с осени 1940 года, "однако надеется, что до этого времени он уже расправится со своими врагами"; Ibid. S. 92 f. Содержащийся в следующей фразе намек, что Англия, по сути дела, вступила в войну только из-за колеблющейся позиции Италии, сделан в ходе его беседы с Чиано: Ciano G. Op. cit. S. 42.

Weizsaecker E. v. Op. cit. S. 258.

Так заявил Гитлер осенью 1933 г., обосновывая свое решение о выходе Германии из Лиги наций, см.: Rauschning H. Gespraeche, S. 101 f.

339

См., напр., "Информационный бюллетень" от 26 апреля 1922 г.: цит. по: Horn W. Op. cit. S. 69; другие примеры см.: Ibid. S. 67 ff. Предыдущая цитата взята из обращения Гитлера к штурмовым отрядам 16 декабря 1922 г. См.: PND-Bericht Nr. 393, HA 65/1483.

Freund M. Weltgeschichte, Bd. HI. S. 189.

Domarus M. Op. cit. S. 1425 f.

342

Так Гитлер высказался при обсуждении обстановки 31 июля 1944 года, см.: Hitlers Lagebesprechungen, S. 587; затем: Weizsaecker E. v. Op. cit. S. 258. Ссылка на Чингисхана содержится в его выступлении 22 августа 1939 года, см.: VJHfZ, 1968, H. 2, S. 139.

343

Из записи одного из старших офицеров генштаба, опубликованной в: Kriegstagebuch des OK.W (KTB/OKW), Bd. IV, T. 2, S. 1704; приведенную выше реплику Гитлера см.: Hitlers Lagebesprechungen, S. 862.

344

Высказывание в ходе беседы с членами регентского совета Болгарии в замке Клесхайм 16 марта 1944 г., цит. по: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 377; в той же беседе Гитлер сказал, что эту войну ведешь тем решительнее, чем меньше думаешь, что есть еще и другие пути для ее окончания"; Ibid. S. 376.

345

Это распоряжение было отдано в виде письма следующего содержания: "Рейхсляйтеру Булеру и д-ру медицины Брандту поручается под их личную ответственность расширить полномочия поименно рекомендуемых врачей до предоставления им права умерщвлять из милости тех пациентов, болезнь которых по человеческим понятиям представляется неизлечимой, а состояние – критическим. Адольф Гитлер". См.: IMT, Bd. XXVI, S. 169. Однако программа эвтаназии не была осуществлена в полном объеме прежде всего из-за последовавших вскоре протестов со стороны церкви.

346

Поворотное сражение в ходе греко-персидской войны (500-449 гг. до н. э.), происходило в 480 г. до н. э. в Саламинском проливе. – Примеч. ред.

347

Из беседы с маршалом Антонеску 13 апреля 1943 г., см.: Hillgruber A. Staatsmaenner. Bd. II, S. 232 f.

348

Это было сказано в беседе с Муссолини на Бреннерском перевале 18 марта 1940 года, цит. по: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. 4, S. 90. По поводу замечания Ульриха фон Хасселя см.: Vom anderen Deutschland, S. 27.

349

Опубликовано в: IMT, Bd. XXXVII, S. 469 (Dok. 052-L); фон Браухичу и Гальдеру Гитлер заявил: "Время' будет в целом работать против нас, если мы не сумеем всемерно использовать его. Экономические средства противной стороны сильнее. (Противники) в состоянии делать закупки и организовывать перевозки. И. с военной точки зрения время' работает не на нас… По психологическим и материальным причинам время в военном отношении работает против нас"; Haider F. KTB. Bd. I, S. 86 f. См. в этой связи также замечание Гитлера в одном из его выступлений примерно пять лет спустя, незадолго до наступления в Арденнах, что "более удачного срока, чем в 1939 году … вообще не могло быть", см.: Hitlers Lagebesprechungen, S. 717.

350

IMT, Bd. XXVI, S. 332 (Dok. 789-PS); к приведенным выше высказываниям см.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 125, 51, 57.

351

Из донесения службы безопасности по вопросам внутреннего положения от 8 января 1940 года, см.: Boberach H. (Hrsg.) Meldungen aus dem Reich, S. 34 f.

352

Так Гитлер заявил в своем выступлении перед командирами дивизий 12 декабря 1944 г., см.: Hitlers Lagebesprechungen, S. 718; Затем: Hitlers zweites Buch, S. 138. Разного рода попытки Гитлера накануне войны обеспечить себе алиби во избежание обвинения в развязывании в ойны, т. е. алиби, которое имело бы все-таки мобилизующее значение, были настолько несерьезны, что обесценивали сами себя; позднее Гитлер прямо скажет о предложениях, сделанных им в последние дни августа 1939 по поводу решения проблемы Данцига и Данцигского коридора: "Мне нужно было алиби главным образом в глазах немецкого народа, чтобы показать ему, что я сделал все, чтобы сохранить мир"; см.: Schmidt P. Op. cit. S. 469.

353

Опубликовано в: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 345.

См.: Milward A. S. Die deutsche Kriegswirtschaft 1939-1945, S. 30 .

355

См.: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 31 f., где приводятся дополнительные данные о литературе, в том числе по экономическому аспекту московского договора; см. также: Milward A. S. Op. cit. S. 30. Упомянутое высказывание Молотова прозвучало в беседе 13 ноября 1940 г. в Берлине. См.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 307.

356

Согласно данным "Статистического справочника Германского рейха" расходы на вооружение в годы господства национал-социалистов составляли: 1933/34 финансовый год – 1, 9 млрд. (из общей суммы расходов 8, 1 млрд.), 1934/35 г. – 1, 9 млрд. (из 10, 4 млрд.), 1935/36 г. – 4, 0 млрд. (из 12, 8 млрд.), 1936/37 г. – 5, 8 млрд. (из 15, 8 млрд.), 1937/38 г. – 8, 2 млрд. (из 20, 1 млрд.) и, наконец, 1938/39 г. – 18, 4 млрд. (из 31, 8 млрд.).

357

Bensel R. Die deutsche Flottenpolitik von 1933 bis 1939. Berlin; Frankfurt/M., 1958, S. 68; затем: Raeder E. Op. cit. Bd. II, S. 172, а также: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 35. ff., где приводятся дополнительные данные.

См.: IMT, Bd. XV, S. 385 f. (показание Йодля, включавшее в себя и приведенное выше замечание; в той же связи Йодль заявил также, что "настоящее вооружение приходилось осуществлять уже в ходе самой войны"). Кроме того: Jacobsen H.-A. Fall Gelb, S. 4 ff.; о положении с боеприпасами см., в частности: Haider F. KTB, Bd. I, S. 99. В люфтваффе на 1 сентября 1939 г. насчитывалось: 1180 бомбардировщиков, 771 истребитель, 336 пикирующих бомбардировщиков, 408 истребителей-бомбардировщиков, 40 штурмовиков, 552 транспортные машины, 379 самолетов-разведчиков, а также 240 самолетов морской авиации. До конца 1939 года было произведено еще 2518 самолетов, в 1940 г. – 10392; в 1941 г. – 12392; в 1942 г. – 15497; в 1943 г. – 24795; в 1944 г. – 40593 и даже в 1945 г. еще 7541 самолет; см.: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 38, Anm.

IMT, Bd. XXXVII, S. 468 f. (DOk 052-L).

Мысль о том, что идея "блицкрига" представляла собой не только возникший всего лишь из тактических соображений современный метод ведения войны, а нечто большее, впервые развил А. С. Милворд в уже упоминавшемся исследовании "Германская военная экономика" (Milward A. S. Die deutsche Kriegswirtschaft). См. в этой связи также: Le Testament politique de Hitler, p. 106 ff.

361

См.: KTB/OKW, Bd. I, S. 150 E.

362

Milward A. S. Op. cit. S. 17; см. затем: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 45, где содержится дополнительная информация.

363

IMT, Bd. XXVI, S. 330; см. также: Rauschning H. Gespraeche, S. 120, аналогичную мысль Гитлер высказал в речи 8 ноября 1941 года: "Это старый, вечный спор и старая вечная борьба. И в 1918 году она не завершилась. Тогда у нас украли победу… Но это было только начало, первый акт этой драмы, ее второй акт и финал развертываются сейчас, и на этот раз мы уж возместим все то, что у нас тогда украли. Пункт за пунктом, позицию за позицией мы все теперь снова включим в счет и взыщем долги" См.: Domarus M. Op. cit. S. 1781.

Так звучит прямо или косвенно высказанный тезис Фрица Фишера и его школы, см., в частности: Fischer F. Griff nach der Weltmacht; Fischer F. Krieg der Iilusionen; Boehme H. Deutschlands Weg zur Grossmacht; Wernecke K. Der Wille zur Weltgeltung. См. также и некоторые порой резко противоположные мнения: Zechlin E. Die Illusion vom begrenzten Krieg. In: Die Zeit, 17. IX. 1965; Stern F. Bethmann Hollweg und der Krieg. In: Recht und Staat, H. 351/352; Mommsen W. J. Die deutsche Kriegspolitik 1914-1918. In: Juli 1914 (немецкое издание "Journal of Contemporary History", Muenchen, 1967, а также в первую очередь предисловие Карла Дитриха Эрдмана к дневникам, статьям, документам Курта Рицлера: Riezler K. Tagebuecher, Aufsaetze, Dokumente, S. 17 ff.

365

Цит. по: Mommsen W. J. Die deutsche "Weltpolitik" und der Erste Weltkrieg. In: NPL, 1971. H. 4, S. 492; речь идет о том месте из дневника Рицлера, где тот вторит распространенным утверждениям; правда, Рицлер Добавляет, что Бетман-Хольвег "возмущается подобной чепухой". См. также: Fischer F. Iilusionen, S. 359 ff.

366

Riezler K. Op. cit. S. 217 (11 октября 1914 г.); с м. также: Ibid. S. 285 (16 июля 1915 г.), где говорится, что для Бетмана-Хольвега уже сама мысль о "мировом господстве и т. д. традиционно несимпатична".

367

Был основан 9 апреля 1891 г, в Берлине, первоначально именовался Всеобщим германским союзом, а с 1894 г. Пангерманским союзом. – Примеч. ред.

Основанная в 1871 г. газета католического направления, считалась неофициальным органом католического центра. – Примеч. ред.

369

Kruck A. Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890-1939, S. 85 и S. 44. Приведенное замечание ф0н Мольтке и обе цитаты из периодической печати см.: Augstein R. Deutschlands Fahne auf dem Bosporus. In: Der Spiegef, 1969, Nr. 48, S. 94; затем: Fischer F. Illusionen, s 62 ff.

370

Цит. по: Steglich W. Die Friedenspolitik der Mittelmaechte, Bd. I. Freiburg i. Br., 1964, S. 418; затем: Augstein R. Op. cit. S. 100. Представление о том, что Англия является главным соперником Германии на пути ее устремлений, также существовало до, во время и после войны. Генерал Гренер в докладе о сложившейся обстановке, с которым он выступил в Главной ставке 15 мая 1919 г., охарактеризовал первую мировую войну как неудавшуюся попытку "бороться с Англией за мировое господство". Далее Гренер сказал: "Если собираешься бороться за мировое господство, то готовиться к этому нужно заблаговременно, с учетом перспективы и с беспощадной последовательностью. Тут нельзя колебаться и проводить миролюбивую политику, а следует безоговорочно проводить политику силы. Но для этого необходимо, чтобы почва, на которой ты стоишь, оставалась как внутри, так и вовне, твердой и непоколебимой. Мы же бессознательно стремились к мировому господству – об этом я могу сказать, конечно же, только в самом узком кругу, однако тот, кто более или менее ясно и исторически смотрит на положение вещей, не может в этом сомневаться, – не укрепившись достаточно прочно на континенте". См.: Fischer F. Illusionen, S. 1. Это именно то соображение, которое Гитлер положил в основу своих замыслов.

См.: Hillgruber A. Kontinuitaet und Diskontinuitaet in der deutschen Aussenpolitik von Bismarck bis Hitler. Duesseldorf, 1969, S. 19.

372

Из заявления Гиммлера в одной из его речей в Позене (4 октября 1943 г.), которая, несомненно, передает в концентрированном виде точку зрения Гитлера, выражавшуюся в это время, например, в "Застольных беседах"; см.: IMT, Bd. XXIX, S. 172 (Dok. 1919-PS).

373

Это слова Отто Хинце, сказанные Фридриху Майнеке, см.: Die deutsche Katastrophe, S. 89.

Hitler A. Mein Kampf, S. 508.

375

В этот день в Москве был подписан еще один дополнительный протокол к договору «о дружбе и границе» между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г, конкретизирующий прохождение новой государственной границы обеих стран «на территории бывшего Польского государства». Важнейшей же частью переговоров явился второй визит Риббентропа в Москву (27-29 сентября), в ходе которого были заложены основы тесного сотрудничества обоих тоталитарных режимов в политической, военно-экономической и идеологической сферах, не говоря уже о чисто военных вопросах. – Примеч. ред.

См.: Goerlitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 547.

377

IMT, Bd. XXVI, S. 378 f. (Dok. 864-PS).

377.1

Цит. по: Wulf J. Das Dritte Reich und seine Vollstrecker. Berlin, 1961, S. 352 ff.; упомянутое письмо немецкого офицера приводится в: VJHfZ, 1954, H. 3, S. 298 f.

Hitlers Lagebesprechungen, S. 63 f.

Цит. по: Jacobsen H.-A. Der Zweite Weltkrieg, S. 67.

Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 76.

381

IMT. Bd. XXXVII, S. 466 ff. (Dok. 052-L).

382

Слова Гитлера из его комментария к зачитанной памятной записке; см.: Haider F. KTB, Bd. I, S. 102.

383

Ibid. S. 98; см. также: S. 93 ff. О "безумном наступлении" говорил командующий группой армий генерал-полковник фон Лееб, см.: Jacobsen H.-A. Fall Gelb, S. 50 f.; фон Лееб высказался также и по поводу провозглашенного Гитлером "призыва к миру": "Речь фюрера в рейхстаге оказалась в результате лишь одурачиванием немецкого народа". Относительно альтернативного предложения "усыпить" войну см. написанный в Нюрнберге очерк генерал-полковника Йодля "Гитлер-стратег", опубликованный в: Kriegstagebuch des OKW (KTB/OKW), Bd. IV, Hlbd. 2, S. 1717. Об офицерской оппозиции в этот период времени в целом см.: Deutsch H. C. Op. cit. S. 71 ff.

384

GrosCurth H. Op. cit. S. 224; затем: Kosthorst E. Op. cit. S. 96; Haider F. KTB, Bd. I, S. 120, а также показания фон Браухича на Нюрнбергском процессе: IMT, Bd. XX, S. 628.

385

См.: Hoch A. Das Attentat auf Hitler im Muenchener Buergerbraeukeller 1939. In: VJHfZ, 1969, H. 4. S. 383 ff.

386

Guderian H. Erinnerungen eines Soldaten, S. 383 ff. Цитируемая ниже речь сохранилась в нескольких, во многом идентичных версиях; из двух взятых в данном Случае за основу версий одна представляет собой документ Нюрнбергского процесса PS-789 (IMT, Bd. XXVI, S. 327 ff.), другая же находится в Военном архиве во Фрайбурге (№ 104/3); записана она предположительно Х. Гроскуртом.

Groscurth H. Op. cit. S. 233.

Churchill W. S. The Second World War, Vol. II, S. 74.

389

Haider F. KTB, Bd. I, S. 302.

Jacobsen H.-A. (Hrsg.) Dokumente zum Feldzug 1940. Goettingen; Berlin; Frankfurt/M., I960, S. 121.

391

Haider F. KTB, Bd. I, S. 332; о заявлениях Геринга см.: Lossberg B. v. Im Wehrmachtfuehrungsstab, s. 80 ff. Относительно сути дискуссии по поводу "стоп-прика-за" см.: Liddell Hart B. H. The Other Side of the Hill, p. 185 ff, ; затем: Bryant A. Kriegswende, а также: Jacobsen H.-A., Rohwer J. Duenkirchen 1940. in . Entscheidungsschlachten des Zweiten Weltkriegs, S. 7 ff.

392

Выражение генерал-лейтенанта Алана Брука, цит. по: Bryant A. Op. cit. S. 142.

393

Так называется книга Жака Бенуа-Мешена с подзаголовком "Трагедия Франции 1940 года"; об упомянутых выше эпизодах сообщает А. Брук (Bryant A. Op. cit. S. 116), а также Р. Картье (Cartier R. Der Zweite Weltkrieg, Bd. I, S. 175, 168).

Cartier R. Op. cit. S. 177.

395

См.: Ciano G. Op. cit. S. 39, 168, 179, 212. Приводимое ниже письмо Муссолини Гитлеру см.: Hitler e Mussolini, lettere e documenti. Milano, 1946, p. 35.

396

Это письмо Муссолини направил Гитлеру 3 января 1940 г. – Примеч. ред.

Ciano G. Op. cit. S. 222, 208.

Ibid. S. 251; предыдущее замечание приводится в: Cartier R. Op. cit. S. 176; см. также: Ursachen und Folgen, Bd. XV, S. 150 .

Zoller A. Op. cit. S. 141.

400

Так сообщил А. Шпеер автору; см. также уже упоминавшийся очерк Йодля в: KTB/OKW, Bd. IV, Hlbd. 2, S. 1718 f. Заслугой Гитлера Йодль считает, в частности, и своевременную разработку 75-миллиметрового противотанкового орудия.

401

Hitlers Lagebesprechungen, S. 30. См. по этому вопросу публикации, представляющие иногда противоречивые точки зрения, в частности: Bor P. Op. cit.; Buchheit G. Hitler, der Feldherr; Jacobsen H.-A. Fall Gelb, S. 145 ff.; Manstein E. v. In: KTB/OKW, Bd. IV, 2, S. 1705 ff. и 1724 ff. и, наконец: Schramm P. E. Hitler, Oberster Befehlshaber der Wehrmacht, als "Feldherr". In: KTB/OKW, Bd. I, S. 37 ff.

402

Ciano G. Op. cit. S. 249. О притязаниях Италии, которые позднее Муссолини охарактеризовал как "скромные", см.: ADAP, Ser. D. Bd. X, S. 207 f. (телеграмма немецкого посла в Риме фон Маккензепа от 17 июля 1940 г.).

403

См. описание, данное Ширером: Shirer W. L. Berlin Diary, p. 331.

Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 435.

Подробнее см.: Steinert M. G. Op. cit. S. 136 f., затем: Meinecke F. Ausgewaehlter Briefwechsel, hrsg. v. L. Dehio, u. P. Classen. Stuttgart, 1962, S. 363 f. О состоянии подавленности среди участников Сопротивления свидетельствует, например, дневник У. фон Хасселя (Hassel U. v. Op. cit. S. 156 ff.), где речь идет об "угнетенном состоянии духа" Остера, Донаньи и Гуттенберга; примерно то же самое говорится о Карле Герделере; согласно этому свидетельству, фон Кессель также "совершенно подавлен и собирается лучше заняться изучением археологии". Один неназванный по имени видный участник Сопротивления даже – и это было весьма типично для распространившегося настроения – "склонялся к тому, чтобы поверить, что если уж у человека такие успехи, то на его стороне Бог". Сам же фон Хассель так сформулировал суть внутреннего конфликта многих консерваторов-оппозиционеров: "Можно было прийти в отчаяние под грузом трагической ситуации из-за того, что не можешь радоваться успехам". – Об описанном ниже эпизоде в Брюли-ле-Пеш см.: Speer A. Op. cit. S. 185 f.

См.: Greiner H. Die oberste Wehrmachtfuehrung, S. 110; затем: Speer A. Op. cit. S. 186 f., а также: Hitlers Tischgespraeche, S.134 f., где Гитлер, правда, заявляет, что Рим произвел на него гораздо более сильное впечат ление, чем Париж, в котором "нет ничего величественного в стиле Колизея, замка Святого Ангела или Ватикана": "Что бы я ни увидел в Париже, взор не останавливается ни на чем, а вот Рим меня просто потряс".

407

Речь идет о статье 8 соглашения, где говорилось: "Правительство Германии торжественно заявляет правительству Франции, что оно не намеревается использовать в своих военных целях французский военно-морской флот, находящийся в контролируемых немецкой стороной портах".

Ciano G. Op. cit. S. 257; далее в этой связи: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 150 ff. Относительно предложений по мирному договору, выработанных посланником д-ром Карлом Клодиусом и послом Риттером, см.: ADAP, Ser. D, Bd. IX. S. 390 ff. u. S. 407 ff.

Churchill W. Reden, Bd. I. Zuerich, 1948, S. 333.

Churchill W. Der Zweite Weltkrieg, Bd. II, Hlbd. 1, S. 272.

411

Domarus M. Op. cit. S. 1557 f., предыдущая цитата взята из речи Черчилля 14 июля, см.: Churchill \y. Reden, Bd. I, S. 380 f.

412

Цит. nos Hubatsch W. (Hrsg.) Hitlers Weisungen, S. 61 ff. О сохранявшейся у Гитлера надежде на уступки со стороны Англии см.: Hiflgruber A. Hitlers Strategic, S. 146 ff.

413

"Совещания командного состава по военно-морским вопросам", обсуждение 21 июля 1940 г., цит. по: Bullock A. Op. cit. S. 598. Еще 19 июля, сразу же после выступления в рейхстаге, Гитлер сказал генерал-фельдмаршалу фон Рундштедту, что, несмотря на только что отданное распоряжение, он рассматривает подготовку к высадке лишь как психологический маневр; так передает П. Э. Шрамм сообщение фон Рундштедта, см.: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. V. 1958. См. в этой связи также: Klee K. Das Unernehmen "Seeloewe", S. 244. Несколько другую версию дает А. Хильгрубер: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 171.

Haider F. KTB, Bd. II, S. 21.

См.: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 157 ff., особенно S. 165.

416

Klee K. Dokumente zum Unternehmen "Seeloewe". Goettingen; Berlin; Frankfurt/M., 1959, S. 441 f. Об упомянутом рапорте адмирала Редера, где, кстати, говорилось, что флот имеет шанс на успех десантной операции "только при условии достижения господства в воздухе", см.: KTB/OKW, Bd. I, S. 63.

417

Эти слова были сказаны им сэру Эдварду Спирсу 6 июня 1940 г., цит. по: Ursachen und Folgen, Bd. XV, S. 261. В точно таком же духе попытался представить это событие в своей речи перед палатой депутатов Франции 28 ноября 1940 г. Альфред Розенберг: "Эпигоны Французской революции столкнулись с первыми отрядами великой Немецкой революции. Тем самым… эпоха 1789 года подходит теперь к своему концу. Триумфальная победа… низвергла ее, уже проигравшую, но все еще стремившуюся претендовать на роль властительницы судеб Европы и в XX веке" Цит. по: Rosenberg A. Gold und Blut. Muenchen, 1941, S. 7

418

Это всегда имевшее место опасение особенно усилилось после резкой, однозначно воспринятой как реш тельный вызов речи Рузвельта 19 июля 1940 г.; см. в . связи заметки немецкого посла в Вашингтоне Дикхофа (После еврейских погромов в ноябре 1938 г в Германии и вплоть до декабря 1941 г отношения между США и «третьим рейхом» поддерживались на уровне временных поверенных в делах. Документ на который ссылается автор, был составлен Хансом Дикхофом, продолжавшим работать в центральном аппарате МИД в Берлине – Примеч. ред.) от 21 июля 1940 г.: ADAP, Ser. D, Bd. X, S. 213 f., затем: Haider F. KTB, Bd. II, S. 30 (22 июля 1940 г.). Начиная с этого момента такое опасение находит свое выражение почти во всех беседах, касающихся стратегического планирования, см., напр.: Raeder E. Op. cit. Bd. II, S. 246 f.; затем: KTB/OKW, Bd. I, S. 88 ff. По всей этой тематике в целом см. также: Friedlaender S. Auftakt zum Untergang. Hitler und die Vereinigten Staaten von Amerika.

419

Из дневника Энгеля, запись от 4 ноября 1940 г., цит. по: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 354, Anm.

420

Так Гитлер говорил в штабе группы армий "А" (командующий – фон Рундштедт) в Шарлевилле, см.: Klee K. Das Unternehmen "Seeloewe", S. 189 f.

421

Речь идет о совещании с высшим военным руководством рейха в «Бергхофе» – Примеч. ред.

422

Haider F. KTB, Bd. II, S. 49; аналогично высказался Гитлер и на совещании с высшими чинами ОКВ и главного командования сухопутных войск 9 января 1941 г., см.: KTB/OKW, Bd. I, S. 257 ff.

423

Haider F. KTB, Bd. II, S. 165, 158. Ведь и первое решение означало не отказ от войны на Востоке, а лишь ее отсрочку.

424

Из дневника Энгеля, цит. по: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 358, Anm. И в "Политическом завещании" продиктованном Борману в начале 1945 года, Гитлер также заявит, что окончательное решение о нападении на Советский Союз он принял вскоре после отъезда Молотова из Берлина; Le Testament politique, S. 96.$Подготовка к строительству командных пунктов началась в первых числах октября 1940 г., см.: Haider F. KTB, Bd. II, S. 121, а именно под Растенбургом, Спалой и Поги.

425

KTB/OKW, Bd. I, S. 996. Вопрос о том, когда Гитлер принял окончательное решение о нападении на Советский Союз, вызывает много споров; см. наряду с уже упоминавшейся литературой прежде всего: Weinberg G. L. Der deutsche Entschluss zum Angriff auf die Sowjetunion. In: VJHfZ, 1953, H. 2, S. 301 ff., а также возражения на этот «чет Х. Г. Серафима и А. Хильгрубера, Ibid. 1954, H. 2, S. 240 ff.

Le Testament politique de Hitler, p. 93 ff. (обратный перевод с французского). В качестве еще одного аргумента Гитлер привел, наконец, и зависимость Германии от экономических поставок из России, что Сталин мог в любой момент использовать для шантажа, главным образом в связи со своими планами насчет Финляндии, Румынии Болгарии и Турции. Далее он сказал: "Третьему рейху как представителю и защитнику Европы не пристало приносить эти дружественные государства на алтарь коммунизма. Это обесчестило бы нас, и, кроме того, мы были бы наказаны за это. Поэтому это было бы ошибочным решением как с моральной, так и со стратегической точки зрения. См.: ibid. P. 96. Аналогичная аргументация была высказана Гитлером 12 июня 1941 г. и главе румынского государства маршалу Антонеску, см.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 588 ff. То, что война против Советского Союза и была "настоящей" войной Гитлера, доказывает и одно замечание, сделанное им в июле 1940 г. Войну на Востоке, говорил он, нужно начать до окончания войны на Западе, поскольку "при том настроении, которое воцарится после победы над Англией, ему вряд ли удастся подвигнуть парод на незамедлительную войну против России"; см.: Lossberg в. v Op. cit. S. 105.

427

KTB/OKW, Bd. I, S. 258; см. в этой связи также: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 391.

428

Министру иностранных дел Финляндии Виттингу он, например, заявил 27 ноября 1941 г.: "Для Германии существует один закон, который гласит: при любых обстоятельствах избегать одновременной борьбы на два фронта" См: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 639.

429

Так доложил генерал-полковнику Гальдеру старший адъютант вермахта полковник Шмундт; см.: Haider F. KTB, Bd. U.S. 203, затем: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 385.

430

Цит. по: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 373. Вскоре после начала русской кампании Ханс Фрицше, выступая перед берлинским объединением представителей зарубежной прессы, так охарактеризовал восточную концепцию Германии: "На каком-то восточном рубеже немецкие войска остановятся, и тогда там мы проведем границу! которая… отделит великую Европу от Востока. Военно напряжение, да и мелкие вооруженные конфликты, возможно, будут еще продолжаться лет восемь или десять; одна такое положение дел никак не повлияет на волю немец го государственного руководства построить евроиене континент и организовать его по собственным, проди ванным Германией законам. Конечно, это будет "Европа колючей проволокой", но эта Европа будет в экономическом, промышленном и аграрном отношении абсолютно независимой и, в принципе, неуязвимой с военной точки зрения". Цит. по: Boelcke W. A. (Hrsg.) Wollt ihr den totalen Krieg?, S. 189.

Это были в первую очередь Редер, Роммель, фон Вайцзеккер, германский посол в Москве фон дер Шулен-бург, а также тамошний германский военный атташе генерал Кестринг. Об идее наступления на Ближнем Востоке см.: Bullock A. Op. cit. S. 644; Буллок считает, что не более четверти выделенных для нападения на Советский Союз сил было бы наверняка достаточно, чтобы нанести сокрушительный удар по всему британскому господству в Передней Азии.

432

Из беседы с Муссолини 20 января 1941 г., см.: KTB/OKW, Bd. I, S. 275.

433

См.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd.I, S. 586, 384 f., 352, а также в этой связи S. 366, 385, 421, 495, 516 и др. По поводу "глиняного колосса" см.: KTB/OKW, Bd. I, S. 258.

Правда, это донесение было написано уже 1 августа 1941 года, то есть после начала русской кампании, однако такое настроение чувствовалось и раньше. Донесение, опубликованное в кн.: Steinert M. G. Op. cit. S. 207 f., содержит и такие многозначительные строки: "В результате предпринятого сейчас наступления на Россию, такой, как считает народ, трудноразрешимый даже для бывшей Польши, вопрос подлинного успокоения и умиротворения проживающего в этих областях населения охватит и дальнейшие области… В принципе, в общественном сознании прочно укоренилось представление о Великом германском рейхе как о чисто национальном государстве (для которого даже Богемия и Моравия являются чужеродным телом) в ряду с другими по сути равноправными европейскими нациями". См. также дневник фон Бока. In: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 370. Anm.

Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd.I, S. 517.

См.: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 440.

437

Из дневника Энгеля, цит. по: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 369.

Ciano G. Op. cit. S. 340.

439

ADAP, Bd. XII, T. 2, S. 892.

Gisevius H. B. Adolf Hitler, S. 471; о подавленном состоянии Гитлера в предшествовавшие началу наступления дни, которое резко контрастировало с оптимизмом военного командования, см., напр.: Schellenberg W. Op. cit. S. 179 f

441

22 июня 1941 г советская авиация потеряла 1200 самолетов, однако есть основания утверждать, что их общее количество, находившееся на вооружении ВВС Красной Армии к этому времени, значительно превышало приводимую автором цифру – Примеч. ред.

442

Так было сказано в беседе с британским послом цит. по: Jacobsen H.-A. Nationalsozialistische Aussenpolitik S. 377.

443

KTB/OKW, Bd. I, S. 341.

Haider F. KTB, Bd. II, S. 335 ff.

445

См.: Krausnick H. Judenverfolgung. In: Anatomie des SS-Staates, Bd. II, S. 363 ff., где приводятся также дополнительные источники и литература. По поводу поручения Гиммлеру, которое, кстати, было включено в директиву ОКВ от 13 марта 1941 года по прямому указанию Гитлера и в его личной редакции, см.: KTB/ OKW, Bd. I, s. 340 ff., см. затем: Warlimont W. Im Hauptquartier der Wehrmacht, S. 167 ff.

См.: Nuernberg-Dok. NOKW-1692, опубликовано в: Jacobsen H.-A. Kommissarbefehl und Massenexekutionen sowjetischer Kriegsgefangener. In: Anatomie des SS-Staates, Bd. II, S. 223 f.; Ibid. S. 225 ff., а также так называемый "приказ о комиссарах". См. в этой связи и показания генералов в Нюрнберге: IMT, Bd. XX, S. 635, 663; далее: 1MT. Bd. XXVI, S. 406 ff., а также: Bd. XXXIV, S. 252 ff., 191 ff.

447

IMT, Bd. XXXVIII, S. 86 ff. (Dok. 221-L). 20 июня 1941 года Розенберг точно в том же духе заявил, выступая перед "непосредственными участниками решения восточной проблемы": "С сегодняшнего дня мы ведем "крестовый поход" против большевизма не для того, чтобы на веки вечные освободить "бедных русских" от этого большевизма, а чтобы осуществлять германскую мировую политику и обеспечивать интересы Германского рейха. См.: IMT, Bd. XXVI, S. 614 (Dok. 1057-PS).

Ohlendorf O. Eidesstattliche Aussage, Nuernberg-Dok., BD. IV, S. 312 ff.; подробнее см.: Krausnick H. Op-cit. S. 367 f.

449

Цит. по: Hillgruber A. Die "Endloesung" und das deutsche Ostimperium. In: VJHfZ, 1972, H. 2, S. 142.

450

Еще в выступлении 5 декабря 1940 года Гитлер так изложил оперативный план похода на Россию: наступлении на русскую армию следует избегать опасное простого оттеснения русских. Наш метод начала кампан должен обеспечить расчленение русской армии и удушение е е в "мешках". Значит, следует создать исходную позицию для проведения крупных операций по окружению". См.: Haider F. KTB, Bd. II, S. 214. К вопросу о том, насколько поразительные успехи немцев на начальном этапе войны объяснялись фактором неожиданности и, несмотря на многочисленные предупреждения, недостаточной готовностью советской стороны, см. интересные данные в кн.: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 430 ff.

451

Из беседы с японским послом Осимой 15 июля 1941 г., цит. по: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 600 ff. Процитированную выше запись Гальдера см.: Haider F. KTB; Bd. III, S. 38.

См.: Dallin A. Deutsche Herrschaft in Russland, S. 74; о перепрофилировании производства вооружений и планировании возвращения войск из Советского Союза см. "Директиву 32-6" от 14 июля 1941 г., опубликованную в; Hubatsch W. Hitlers Weisungen, S. 136 ff., а также: KTB/OKW, Bd. I, S. 1022 ff.

453

См.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 622 ff.

Hitler's Table Talk, p. 44. О будущей судьбе Ленинграда и Москвы см.: Haider F. KTB, Bd. III, S. 53; Hitlers Tischgespraeche, S. 251; Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 643; KTB/OKW, Bd. I, S. 1021, 1070, Zoller A. Op. cit. S. 143. И в речи 8 ноября 1941 года Гитлер также заявил, что Ленинград будет не взят приступом, а просто задушен голодом, см.: Domarus M. Op. cit. S. 1775. Как должно было выглядеть уничтожение города в деталях, указывалось в распоряжении начальника штаба командования военно-морских сил адмирала Курта Фрике от 29 сентября 1941 г.: "Предполагается окружить город тесным кольцом и обстрелом из артиллерийских орудий всех калибров и постоянным применением авиации сравнять его с землей. Возможные в таких условиях просьбы города о сдаче будут отклоняться, так как мы не можем и не Должны решать проблему существования и питания населения, в этой войне за существование с нашей стороны нет никакой заинтересованности в сохранении даже части населения этого крупного города". Цит. по: Ursachen und Folgen, Bd. XVII, S. 380 ff.

455

Haider F. KTB, Bd. III, S. 193. Гитлер изложил свои аргументы в памятной записке от. 22 августа 1941 г.; см. в этой связи: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 547 ff. По поводу обвинения в том, что генералитет ничего не понимает в военной экономике, см.: Guderian H. Op. cit s 182.

Domarus M. Op. cit. S. 1758 ff. Неделю спустя статс-секретарь министерства пропаганды Отто Дитрих по распоряжению Гитлера сообщил прессе, что исход Восточной кампании решен; см.: Dietrich O. Zwoelf Jahre, S. кц ff. См. в то же время в этой связи: Stephan W. Joseph Goebbels, S. 226.

457

По данным немецкого исследователя Московской битвы К. Рейнгардта, средняя температура воздуха в ноябре под Москвой была на уровне -5, 30 С, ее наибольшее понижение (до -20˚С) произошло между 13 и 18 ноября (См Рейнгардт К Поворот под Москвой Перев. с нем – М, 1980. – С 205) – Примеч. ред.

Paulus F. Ich stehe hier auf Befehl, S. 49 f.

459

См., например, свидетельства на этот счет в его различных беседах: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, s. 64, 594, 619, 628. По сообщению Гальдера, воспоминания маршала Коленкура (Коленкур, Арман Огюстсн Лун, герцог Виченцкий (1772-1827) французский дипломат и военный, в 1807-1811 г г посол в ПетероуР министр иностранных дел в 1813 и 1815 гт , генерал. – Примеч. ред.) о походе 1812 года были изъяты из продажи зимой 1941-1942 гг., см.: Dallin A. Op. cit. S. 93.

460

См. взвешенную оценку Рудольфа Хофмана: Hoffmann R. Die Schlacht von Mosk.au 1941. In: Jacobsen H.-A., Rohwer J. Entscheidungsschlachten des Zweiten Weltkriegs, S. 181 ff.; затем критические высказывания фон Манштейна в книге "Утраченные победы": Manstein E. v. Verlorene Siege, S. 310 ff., сам текст "приказа выстоять" см.: KTB/OKW, Bd. I, S. 1084. О стычке Гудериана с Гитлером см.: Guderian H. Erinnerungen eines Soldaten, S. 240 ff.

461

Haider F. KTB, Bd. III, S. 295; затем: Hillgruber A. Hitlers Strategic, S. 551 f. Весной следующего года Гитлер еще раз заявил, что "хотел бы вести эту войну против большевизма, имея партнерами английские военно-морские и военно-воздушные силы", см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 224.

KTB/OKW, Bd. IV, Hlbd. 2, S. 1503.

463

Так это было сказано во время переговоров со шведским министром иностранных дел Скавениусом, а также хорватским министром иностранных дел Лорковичем, цит. по: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 657, 661.

Ibid. S. 683.

Dollmann E. Op. cit. S. 27.

Hitlers Tischgespraeche, S. 50, 71.

Hitlers Lagebesprechungen, S. 786.

Haider F. KTB, Bd. III, S. 332.

Bor P. Op.cit. S. 214.

Так говорил Гитлер послу Осиме 15 июля 1941 г., цит. по: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 605; о его оценке фон Браухича см.: Goebbels J. Tagebuecher aus den jahren 1942/43, S. 132. Смертный приговор фон Шпонеку был, правда, заменен Гитлером на заключение в крепости, но спустя два с половиной года, после покушения 20 июля 1944 г., в крепости Гермерсхайм появились гестаповцы и без долгих проволочек расстреляли генерала.

471

Точная цифра составляет 1 005 636 человек, включая раненых, убитых и пропавших без вести, но не считая больных; статистические данные см.: Haider F. KTB, Bd. III.S. 409. Потери в результате обморожения составили, согласно У.Ширеру, в общей сложности 112 627 человек, см.: Shirer W. L. Op. cit. S. 793.

472

Goebbels J. Tagebuecher 1942/43, S. 186; см. также: Ibid. S. 131, 133, 177. О высказываниях Гитлера см.: Hitler's Table Talk, p. 221, 339; затем: Hitlers Tischgespraeche, S. 263, 300 363 – здесь Гитлер, ссылаясь на китайцев, заявляет, что "восприятие белого цвета как цвета скорби существовало изначально. Сам же он по-настоящему радуется Альпам только тогда, когда с них сходят снежные массы, эти "саваны мертвецов".

Guderian H. Op. cit. S. 231.

Haider F. KTB, Bd. HI, S. 489.

Goebbels J. Tagebuecher 1942/43, S. 133.

Haider F. Hitler als Feldherr. Muenchen, 1949, S. 50, 52. По свидетельству А. Шпеера (Speer A. Op. cit. S. 253), одним из внешних поводов для недовольства Гитлера было, в частности, восхождение на Эльбрус, из-за чего он "бушевал в течение нескольких часов", утверждая с характерным для него обобщением, что "эта операция загубила весь его план военной кампании".

Warlimont W. Op. cit. S. 271.

478

Из дневника Г. Энгеля, цит. по вступительной статье А. Хильгрубера к: KTB/OKW, Bd. II, Hlbd. 1, S. 67. Приводимое ниже замечание Гитлера см.: Schroeter H. Stalingrad… bis zur letzten Patrone. Osnabrueck, S. 13.

479

См.: Speer A. Op. cit. S. 300. В личной беседе с втором Шпеер заявил: "Осуществление плана, направленного на то, чтобы парализовать "становой хребет", наталкивалось, как я теперь знаю от одного из членов штаба английских BBC, па технические препятствия: скажем, невозможно было обнаружить с помощью электронных приборов цель ночью на большой высоте и, конечно, слишком небольшим был радиус действий истребителей, сопровождавших американские дневные бомбардировщики. Те попытались бомбить Швайнфурт днем без сопровождения, но понесли большие потери. Положение дел изменилось только в 1944 г." Ведение войны Германией примерно на одну треть зависело от производства синтетического бензина, а авиация зависела от него на все сто процентов, см.: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 420 f.

Путеводители по различным странам для путешественников и туристов. Названы по имени немецкого книготорговца К. Бедекера (1801-1859). – Примеч. ред.

Цит. по: Jacobsen H.-A. Der Zweite Weltkrieg, s. 210.

482

Из приказа фюрера генерал-фельдмаршалуРоммелюот 3 ноября 1942 г., см.: Jacobsen H.-A. Op. cit. S. 352.

См.: Domarus M. Op. cit. S. 1935, 1937 f., 1941.

Ibid. S. 1937.

485

Speer A. Op. cit. S. 259 f., а также: Warlimont W. Op. cit, S. 284 f.

6-я армия поначалу делала ежедневные заявки на 700 тонн, затем сократила свои требования до 500 тонн; реальные поступления воздушным путем составляли в среднем 104, 7 тонн в день, см. в этой связи насыщенное фактическими данными исследование Вальтера Герлица: Goerlitz W. Die Schtacht um Stalingrad 1942-1943. In: Jacobsen H.-A.. Rohwer J. Entscheidungssclilachten, S. 303 f. В. Варлимонт (Warlimont W. Op. cit. S. 295 ff.) указал, в частности, на то, что дебаты о Сталинграде в ставке фюрера были отнюдь не столь ожесточенными, как это будет утверждать кое-кто впоследствии, и что значительной доли успеха Гитлер добивался своей тактикой разговоров на не относившиеся к делу темы.

Свидетельство Цайтцлера, см.: The fatal decisions, опубликовано в: Wieder J. Stalingrad und die Verantwortung des Soldaten, S. 307 f.

Warlimont W. Op.cit. S. 296.

489

Schroeter W. Op. cit. S. 13; немного отличающуюся версию дает в своих показаниях Паулюс, см.: 1MT, Bd. VII, S. 320.

490

Вар Публий Квинтилий (род ок. 46 до н. э.), римский полководец. В сентябре 9 г. н. э. потерпел поражение в битве с германскими племенами под предводительством Арминия в Тевтобургском лесу. – Примеч. ред.

Hitlers Lagebesprechungen, S. 126 ff.

492

Речь идет о сражениях семилетней войны (1757-1763): при Колине (18 июня 1757), Лейтене (5 декабря 1757), Хохкирхе (14 октября 1758), Кунерсдорфе (12 августа 1759), Лигнице (15 августа 1760), Торгау (3 ноября 1760), Буркерсдорфе (21 июля 1762). – Примеч. ред.

493

Boberach H. Op. cit. S. 346; затем: Boelcke W. A. Op. cit. S. 329, а также: Steinert M. C Op. cit. S. 326ff. гдесодержится ряд дополнительных сведений.

Ciano G. Op. cit. S. 500; затем: Goebbels J. Tagebuecher 1942/43, S. 126, а также: Speer A. Op. cit. S. 315.

Frank H. Op. cit. S. 413.

Goebbels J. Tagebuecher 1942/43, S. 241; по поводу предыдущего наблюдения см.: Speer A. Op. cit. S. 263.

Hitlers Lagebesprechungen, S. 615 f.

Guderian H. Op. cit. S. 401; о попытках создать "уютную атмосферу" см.: Speer A. Op. cit. S.309.

499

См. в данной последовательности: Hitlers Tischgespraeche, S. 210, 212, 303, 348, 171, 181.

Ciano G. Op. cit. S. 501.

501

См. в данной последовательности: Hitlers Tischgespraeche, S. 355. 351, 361. 468, 258, а также: Zoller A. Op. cit. S. 174; по поводу его замечания о фон Манштейне см.: Der Spiegel, 1968, Nr. 21, S. 31.

502

Hitlers Tischgespraeche, S. 465. Сравнение с так называемым временем борьбы впервые, причем неоднократно, встречается в уже упоминавшемся выступлении Гитлера 8 ноября 1942 года, см.: Domarus M. Op. cit. S. 1935, 1936, 1937, 1941, 1943; затем: Ibid. S. 2085, а также: Hitlers Tischgespraeche, S. 364 и др.

503

См., напр.: Hitlers Tischgespraeche, S. 338.

Speer A. Op. cit. S. 372 ff.

505

Свидетельство Г. Пикера в: Hitlers Tischgespraeche, S. 130 u. S. 132. Приведенное ниже замечание Гитлера см.: Ibid. S. 337.

506

См.: Speer A. Op. cit. S. 318; Guderian H. Op. cit. S. 402; см. затем предисловие П. Э. Шрамма к "Застольным беседам": Hitlers Tischgespraeche, S. 106.

507

Hitlers Lagebesprechungen, S.779 f.; см. также: свидетельство Г. Пикера в: Hitlers Tischgespraeche, S. 128, 130; затем: Speer A. Op. cit. S. 255.

508

Свидетельство Риббентропа, данное им в Нюрнберге судебному психиатру Дугласу М. Келли, цит. по: Roehrs H.-D. Hitler. Die Zerstoerung einer Persoenlichkeit, S. S3 f.

509

Подробности на этот счет см.: Maser W. Hitler, S. 332 f.

510

Speer A. Op. cit. S. 119, см. также подтвержденное свидетельствами других очевидцев сообщение К.В.Краузе Krause K. W. Op. cit. S. 56. ff.

511

Согласно записям Морелля, см.: Maser W. Op. cit. S. 339; речь шла о простакрине, экстракте из семенных пузырьков и простаты. О Морелле и применявшихся им методах лечения см.: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage S. 86 ff.

512

Из свидетельства врача д-ра Эрвина Гизинга от 12 июня 1945 г., цит. по: Maser W. Op. cit. S. 429.

513

Так он сказал бывшему сотруднику министерства Шпеера Хансу Керлю, см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 108 f. То же самое имел в виду и Геринг, сказавший в 1943 году, что Гитлер выглядит так, будто с момента окончания успешного этапа войны он состарился на пятнадцать лет; см.: Bullock A. Op. cit. S. 720.

Так совершенно ошибочно утверждает Х. Д. Рерс: Roehrs H. D. Op. cit. S. 121. К вопросу о том, страдал ли Гитлер одной из разновидностей болезни Паркинсона или же только так называемым синдромом Паркинсона, см.: Ibid., в частности, S. 43 ff., а также S. 101 f.; Кроме того см. исследование Иоганна Ректенвальда "Чем болел Адольф Гитлер?", где автор предполагает у него наличие синдрома Паркинсона как последствия энцефалита: Recktenwald J. Woran hat Adolf Hitler gelitten? Далее: Maser W. Op. cit. S. 326 ff., Bullock A. Op. cit. S. 720. Вопрос о точных причинах болезни Гитлера так и останется, видимо, неразрешенным, поскольку специального исследования по этому поводу никогда не проводилось. Вследствие крайнего недостатка источников ни один из диагнозов не может быть ни достаточно подтвержден, ни отвергнут; такой же главный симптом и болезни Паркинсона, и синдрома Паркинсона, как дрожание руки и ноги, мог быть вызван и самыми разными другими заболеваниями.

515

Слова из выступления перед 30 000 штурмовиков в берлинском парке "Люстгартен" 30 января 1936 г., цит. по: Domarus M. Op. cit. S. 570; аналогичные свидетельства о таком своего рода обмене энергией см., напр.: Ibid. S. 609, 612, 643.

516

См.: Hitlers Lagebesprechungen, S. 608, а также уже упоминавшееся выступление 8 ноября 1942 года: Domarus M. Op. cit. S. 1944.

Speer A. Op. cit. S. 271.

518

Мотивы и подоплека этой речи интерпретируютс по-разному. Одни связывали ее с выдвинутым примерно три недели до того в Касабланке требованием о "безоговорочной капитуляции" (см., напр.: Stephan W. Joseph Goebbels, S. 256 f.), другие – с попыткой министра пропаганды возвысить свое собственное положение и заявить о намерении стать вторым человеком, когда в условиях распада личности Гитлера и одновременного падения престижа Геринга эта позиция приобретала небывалую значимость; см. в этой связи: Semler R. Coebbels – the man next to Hitler, p. 68 f., затем: Manvell R., Praenkel H. Goebbels, S. 275 ff.; Heiber H. Joseph Goebbels, S. 328 ff., а также взвешенное обобщение Гюнтера Мольтмана: Moltmann G. Goebbels' Rede zum totalen Krieg. In: VJHfZ, 1964, H. 1, S. 13 ff. По поводу плана Геббельса, Шпеера, Лея и Функа см. также: Speer A. Op. cit. S. 266 ff.

519

Так, например, в Англии обслуживающий персонал в частных домах сократился на две трети, в то время как в Германии он даже возрос, см.: Speer A. Op. cit. S. 234, а также S. 548 f. Численность занятых на производстве женщин возросла в Германии во время войны лишь незначительно: с 2 620 000 на 31 июля 1939 г. до 2 808 000 на 31 июля 1943 г., а через год вновь упала до 2 678 000; см.: USSBS, The Effects of Strategic Bombing on the German Economy. См., кроме того, секретный доклад, сделанный 26 февраля 1943 г. на совещании по экономическим вопросам. BAK 115/1942; см. также: BAK NS 19/1963. По поводу приведенного выше замечания Гитлера см.: Rauschning H. Gespraeche, S. 22.

Zoller A. Op. cit. S. 43.

Ibid. S. 223.

См.: Speer A. Op. cit. S. 311.

523

Мания чисел. – Фр.

Ibid. S. 315 f.

525

Это было пребывание в группе армий "Юг" (под командованием фон Манштейна). До того в этом году было всего два посещения фронтовых штабов: 17 февраля в той же группе армий "Юг" и 13 марта в группе армий "Центр" (командующий фон Клюге). На 19 июня 1944 года было запланировано еще одно посещение группы армий на театре вторжения союзников, т.е. штаб-квартиры Роммеля в Ла-Рош-Гюйоне, однако отменено незадолго до назначенного срока; см. в этой связи: Speidel H. Invasion 1944, S. 112 ff.

Speer A. Op. cit. S. 259, 312, 308.

527

Hitlers Lagebesprechungen, S. 535, затем: Hitlers Tischgespraeche, S. 196, а также: Goebbels J. Tagebuecher

Krebs A. Op. cit. S. 124 ff.

529

См.: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 331, а также текст речи: Ibid. S. 335 ff.

530

См. Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 647; затем свидетельство Г. Пикера в: Hitlers Tischgespraeche, S 127.

Hitlers Tischgespraeche, S. 356.

532

Ibid. S. 174; затем: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. II, S. 130. Уже обращаясь к своему опыту в Польше, Гитлер говорил Муссолини, что у него часто бывали моменты, когда он "спрашивал себя, не стоит ли ему лучше повернуть назад и просто оставить в покое эту безотрадную страну с ее еще более безотрадными людьми"; см.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 95.

533

Heiber H. (Hrsg.) Reichsfuehrer!... Briefe an und von Himmler, S. 201.

Rauschning H. Gespraeche, S. 45 f. О "золотом веке" см.: Griessmayr G. Das voelkische Ideal (опубликовано на правах рукописи/, S. 160.

535

Hitlers Tischgespraeche, S. 387; приведенная выше цитата взята из опубликованной Гиммлером тиражом в 4 млн. экземпляров погромной антисемитской брошюры под названием "Недочеловек" (Der Untermensch).

Buchheim H. Befehl und Gehorsam. In: Anatomie des SS-Staates, Bd. I, S. 338 f.

Ibid. S. 329.

538

Rauschning H. Gespraeche, S. 129. В связи с замечанием Геббельса см. запись от 27 марта 1942 г. в его дневнике 1942/43 гг.: Goebbels J. Tagebuecher 1942/43. 27 Maerz 1942.

Hitler A. Mein Kampf, S. 772.

540

IMT, Bd. XXVI, S. 266 (Dok. 710-PS). Замечание Розенберга цит. по: Kempner R. M. W. Eichmann und Komplicen, S. 97. К вопросу о конкретной дате принятия так называемого "окончательного решения" см.: Krausnick H. Judenverfolgung. In: Anatomie des SS-Staates, Bd. II, S. 360 ff. Понятие "окончательное решение" впервые появляется примерно в это же время в одном из распоряжений Главного управления имперской безопасности 20 мая 1941 г., см.: IMT, Dok. NG-3104.

541

30 января 1939 г., выступая перед рейхстагом по случаю очередной годовщины прихода к власти, Гитлер совершенно недвусмысленно заявил: «Если международному еврейскому финансовому капиталу в Европе и за ее пределами удастся еще раз столкнуть народы в мировую войну, в таком случае ее итогом будет не большевизация Европы и тем самым победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе». – Примеч. ред.

542

Помимо упомянутого намека Розенберга и столь же туманного замечания в дневнике Геббельса имеется лишь высказывание Гитлера в его речи 8 ноября 1942 года, в которой он угрожает евреям "искоренением"; при этом он мрачно добавляет, что его, бывало, "как пророка поднимали на смех". Однако "несть числа тем, кто тогда смеялся, а сегодня уже не смеется, те же, кто еще смеется сейчас, через некоторое время, видимо, перестанут это делать"; см.: Domarus M. Op. cit. S. 1937. О практике засекречивания см. также указание Бормана гауляйтерам: "При публичном обсуждении еврейского вопроса не допускается никакого упоминания о будущем общем решении"; СМ.: ВАК, NS b/vol. 344.

543

См. свидетельство обергруппенфюрера СС Эриха фон дем Бах-Целевски: ND, N0-2653.

544

Из показания инженера Германа Фридриха Гребе о массовом расстреле эсэсовцами и украинской милицией около 5 000 евреев 5 октября 1942 г. в Дубно на Украине, см.: IMT, Bd. XXXI, S. 446 ff. (Dok. 2992-PS).

Цит. по: Krausnick H. Op. cit. S. 417 f.

См.: Bracher K. D. Diktatur, S. 463. Об общем количестве евреев, уничтоженных в крупных лагерях смерти на Востоке, см.: Hoehne H. Op. cit. S. 349. Высказывание Рудольфа Хесса см. в его автобиографической книге: Hoess R. Kommandant in Ausschwitz. Stuttgart, 1958, 1961, S. 120. Здесь, кстати, с поразительно извращенным самодовольством утверждается, будто только в Освенциме было уничтожено около 3 миллионов человек.

Hitlers Tischgespraeche, S. 330; Hitler's Table Talk, p. 426.

Ibid. P. 270, где приводится такое характерное уточнение: "Стоит предоставить людям личную свободу, они начинают вести себя как обезьяны".

549

Приведенные выше цитаты и рассуждения см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 143, 270, 469 f.

550

Hitlers Tischgespraeche, S. 469, 190, 271 f. Именно в таком духе в памятной записке рейхсфюрера СС от 27 апреля 1942 г. по генеральному плану "Ост" предусматривалось переучить акушерок в восточных областях на "специалисток по абортам", см.: Heiber H. Der Generalplan Ost. In: VJHfZ, 1958, H. 3, S. 292.

Ursachen und Folgen, Bd. XIV, S. 154 ff.

552

Этот документ см.: VJHfZ, 1958, H. 3. S. 299. Заявление О. Хофмана см.: ND, NO-4113.

553

Германский таможенный союз был основан в 1834 г. по инициативе Пруссии, которая в нем и доминировала; просуществовал до образования Германской империи в 1871 году. – Примеч. ред.

IMT, Bd. XXVI, S. 550 (Dok. 1017-PS). Затем: VJHfZ, 1958, H. 3, S. 298.

555

Hitlers Tischgespraeche, S. 143. Об образовании сект см.: Heiber H. Reichsfuehrer!… S. 273 f. "Если каждая Деревня будет иметь свою собственную секту, – заявил Гитлер, – то мы будем это только приветствовать, так как это еще больше увеличит число деструктивных элементов на территории России"; цит. по: Dallin A. Op. cit. S. 486. Упомянутая памятная записка опубликована в: VJHfZ, 1958 H. 3. S. 281 ff.

Hitlers Tischgespraeche, S. 174, 475.

557

IMT, Bd. XXXVII, S. 517; затем: Hitlers Tischgespraeche, S. 253.

Hitler A. Mein Kampf, S. 421.

559

Libres propos, p. 93; затем: Hitlers Tischgespraeche, S. 256.

Ibid. S. 137.

Ibid. S. 288, а также: Zoller A. Op. cit. S. 105.

562

Из высказывания Кальтенбруннера, ссылавшегося на аналогичное мнение руководства СС; см.: IMT, Bd. XXXII, S. 297 (Dok. 3462-PS). См. в этой связи прежде всего меморандум Мартина Бормана от 29 января 1944 г., опубликованный в: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit. в соответствующем хронологическом разделе.

Страна готов – Примеч. пер.

В честь короля остготов Теодериха (456-526) – Примеч. ред.

565

Hitler's Table Talk, p. ПО, 621. См. также заметку о беседе Розенберга с Гитлером 14 декабря 1941 г. In: IMT, Bd. XXVII, S. 272 (Dok. 1517-PS). Наимен ование "Таврия" отвечало пожеланию Розенберга, в то время как Гитлер предпочитал название "Готенланд".

566

Hitlers Tischgespraeche, S. 429 f.; см. также; Ibid. S. 336 и последовавшее обсуждение этого вопроса в переписке между Гиммлером и Фрауенфельдом. In: ND, N0-2417.

567

Тюркское название главной гряды в системе Крымских гор. – Примеч. ред.

Dallin A. Op. cit. S. 293.

569

Hitlers Tischgespraeche, S. 320. Сравнение с "переходящим кубком" звучало и в других высказываниях Гитлера, например, в ходе его ночного монолога 30 января 1933 г., см.: Goerlitz W., Quint H.-A. Op. cit. S. 367.

Из выступления в мае 1943 г. перед рейхсляйте-рами и гауляйтерами в рейхсканцелярии после государственной церемонии, посвященной памяти погибшего в результате несчастного случая начальника штаба СА Виктора Лутце, см.: Goebbels J. Tagebuecher 1942/43, S. 324. О заявлении Гитлера Тисо см.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 186; а по поводу сравнения с ситуацией Древнего Рима см., напр.: Hitler A. Zweites Buch, S. 129 ff. По всему комплексу в целом см. в первую очередь: Kluke P-Nationalsozialistische Europaideologie. In: VJHfZ, 1955, H. 3, S. 240 ff.

Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 655 f.

Rauschning H. Gespraeche, S. 218 f.; об упомянутом предложении французской стороны см.: JaeCkel E. Frankreich In Hitlers Europa, S. 159, а также: Kluke P. Op. cit. S. 263 f., где приводятся и дополнительные сведения.

Gruchmann L. Op. cit. S. 213 f.

574

Из проекта, представленного статс-секретарем Штуккартом, см. протокол допроса сотрудника Штуккарта Х. Глобке от 25 сентября 1945 г., RF-602, IMT, Bd. IV, S. 472 ff., затем: ND, NG-3572, NG-3455, кроме того, см. протокольную запись совещания о захватнических планах, состоявшегося 19 июня 1940 г. в ставке Геринга, опубл. в: IMT, Bd. XXVII, S. 29 ff. Как пишет Э. Кордт (Kordt E. Nicht aus den Akten, S. 393), Кале и Булонь должны были остаться у немцев в качестве опорных баз. О высказывании Гитлера по поводу позиций на побережье Ла-Манша см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 336; относительно упоминаемых далее памятных записок см.: Kluke P. Op. cit. S. 256, Anm.

Таким было предложение Зейс-Инкварта, см.: Ursachen und Folgen, Bd. XV, S. 435, затем: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 239, а также: Speer A. Op. cit. S. 196.

Clauss M. Tatsache Europa. Эта статья была опубликована в незадолго до того созданном журнале с примечательным, дезавуировавшим всю европейскую идеологию названием "Рейх"; см.: Kluke P. Op. cit. S. 252. Об экономической гегемонии см. документы в: Ursachen und Folgen, Bd. XV, S. 501 ff. Характерной чертой этих документов является не в последнюю очередь отражение в них безудержного стремления отдельных германских предприятий к расширению сферы своих интересов. Еще в июне 1940 года на упоминавшемся совещании в ставке Геринга рейхсмаршал заявил: "Стремления германской промышленности уже сейчас прибрать к рукам предприятия на оккупированной территории должны быть отвергнуты самым решительным образом. Въезда промышленников на оккупированную территорию допускать пока нельзя", IMT, Bd. XXVII, S. 30 (Dok. 1155-PS).

Hitlers Tischgespraeche, S. 195.

Ibidem, S. 334; см. также: Ibid. S. 463.

С 1940 г. действовал "Генеральный архитектурный совет по обустройству кладбищ немецких воинов" под руководством проф. Вильгельма Крайза. Его главная строительная задача формулировалась так: "На скалах атлантического побережья поднимутся обращенные к Западу великолепные архитектурные сооружения как вечный памятник в честь освобождения континента от британской зависимости и объединения Европы под руководством символизирующего ее сердце немецкого народа. Суровая и благородная красота солдатского кладбища на Фермопилах – это одновременно и олицетворение унаследования немцами духа античной культуры Эллады. Мощные и устремленные ввысь башни, установленные на восточных равнинах, станут символами укрощения необузданных стихий восточных степей дисциплинированной мощью германских сил порядка – в окружении могил целого поколения воинов немецкой крови, которое, как это уже не раз случалось за двухтысячелетнюю историю, спасло западный мир культуры от разрушительных потоков из азиатских глубин"; цит. по: Brenner H. Op. cit. S. 128 f.

Hitlers Tischgespraeche, S. 146; об упомянутой памятной записке министерства по делам восточных территорий см. неоднократно цитировавшееся собрание документов "Генеральный план "Ост". In: VJHfZ, 1958, H. 3, S. 295.

581

Эти примеры взяты из упоминавшегося тома писем Гиммлера (Heiber H. Reichsfuehrer!..); см. в порядке цитирования: S. 194, 222 f., 251, 145, 95, а также предисловие Хайбера, в частности, S. 22 f.

582

Zolier A. Op. cit. S. 73, а также: Libres propos, p. 123, Hitler A. Mein Kampf, S. 723. О вере Гитлера в самые немыслимые теории см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 166 f., S. 333.

583

Hitlers Tischgespraeche, S. 186; предыдущую цитату см.: Kluke P. Op. cit. S. 269.

Goebbels J. Tagebuecher 1942/43, S. 319.

585

Hitler e Mussolini, p. 165 f., цит. по: Bullock A. Op. cit. S. 718 f. Шмидт свидетельствует, что Гитлер "просто отчитал" Муссолини. Муссолини же был "настолько взволнован" известием о воздушном налете на Рим, что, "вернувшись в Рим, он срочно затребовал оттуда мои записи бесед. Он, как нам было сказано, не все уловил". Цит. по: Schmidt P. Op. cit. S. 567.

Ciano G. Op. cit. S. 33; а также: Boberach H. Op. cit. S. 424.

587

Hitlers Lagebesprechungen, S. 315; упоминаемое ниже замечание Гитлера см.: Ibid. S. 329.

См.: Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 299.

Hitlers Lagebesprechungen, S. 231 (20 мая 1943 г.).

Speer A. Op. cit. S. 314.

591

Goebbels J. Op. cit. S. 392 ff. По поводу слов Гитлера фон Риббентропу см.: Rlbbentrop J. v. Zwischen London und Moskau, S. 265, а о мнении самого Риббентропа см.: Ehlers D. Op. cit. S. 113.

Ibid. S. 155. Замечание Йодля касалось ситуации, сложившейся к концу 1942 года, см.: KTB/OKW, Bd. IV, Hlbd. 2, S. 1721.

593

Так писал Г. Гиммлер, ссылаясь на Гитлера; необходимо добиться, говорилось в его письме от 7 сентября 1943 года руководителю СС и полиции в Киеве Прюц-ману, чтобы "не осталось ни одного человека, ни одного домашнего животного, ни центнера зерна, ни одной рельсы; чтобы не сохранился ни один дом, ни одна шахта, для восстановления которой не потребовались бы годы, ни одного колодца, который не был бы отравлен. Враг должен обнаружить действительно полностью выжженную и разрушенную страну… Сделайте для этого все, что в человеческих силах". Цит. по: Heiber H. Reichsfuehrer!…. S. 233.

См.: Henkys R. Die nationaisozialistischen Gewaltverbrechen, S.124.

Domarus M. Op. cit. S. 2038.

Это касается, к примеру, графа Г. Дж. фон Мольтке и большинства его друзей по Крайзаускому кружку. Самому фон Мольтке Дж. Ф. Кеннан, например, дал такую характеристику: "Это – высоконравственная личность и в то же время человек с поистине глобальными и даже светоносными идеями, подобного которому я во время второй мировой войны не встречал ни по эту, ни по ту сторону фронта"; см.: Kennan G. F. Op. cit. p. 121.

См.: Ehlers D. Op. cit. S. 92.

598

О многочисленных попытках покушения в 1943-1944 гг. см. детальное исследование П. Хофмана: Hoffmann P. Op. cit. S. 309 ff., а также: Ehlers D. Op. cit. S. 126 ff., Zeller E. Geist der Freiheit, S. 221 ff., Schlabrendorff F. v. Op. cit. S. 88 ff. Не до конца выясненной остается готовность Штиффа лично осуществить покушение, см. в этой связи сведения, которые приводит П. Хофман; Hoffmann P. Op. cit. S. 776.

599

См.: Scheilenberg W. Op. cit. S. 279 ff. о полученном Гиммлером медицинском заключении см.: Kersten F. Totenkopf und Treue, S. 209 ff. Ознакомившись с этой врачебной справкой, которая, правда, была составлена без проведения обследования, Керстен пришел к выводу, что Гитлеру следовало срочно отправляться в лечебницу для нервнобольных, а не пребывать в ставке фюрера, о проблеме "сопротивления" СС в целом, его побудительных мотивах и конкретных инициативах см.: Hoehne H. Op. cit S. 448 ff.

Schlabrendorff F. v. Op. cit. S. 91.

601

Цит. по: Ehlers D. Op. cit. S. 102; распространенным заблуждением является выдвинутая впервые, видимо, А. Буллоком та точка зрения, что участники Крайзауского кружка не шли дальше рассуждений и даже гордились тем, что с презрением относятся к насильственным деяниям любого рода (Bullock A. Op. cit. S. 739); см. в этой связи прежде всего: Roon C. van. Neuordnung und Widerstand, где на многих убедительных фактах, пожалуй, полностью доказывается вся несостоятельность такой точки зрения.

См. Ehlers D. Op. cit. S. 93; о принципиальных возражениях относительно заговорщиков из числа дойч-на-ционалов см., напр.: Arendt H. Eichmann in Jerusalem, S. 134 f.

603

Это свидетельство Густава Дарендорфа, цит. по: Ehlers D. Op. cit. S. 93; и Герман Маас тоже заявил, что социалисты рассматривали сотрудничество с генералами и консервативными элементами лишь как временное; в случае успеха государственного переворота они немедленно взяли бы власть в свои руки.

603.1

Опросы среди рабочих, проведенные по инициативе члена Крайзауского кружка иезуитского священника Альфреда Дельпа, показали весьма неутешительные результаты; меморандумы фон Тротта также свидетельствовали о большой пассивности рабочих; см.: Mommsen H. Geselschaftsbild und Verfassungsplaene des deutschen Widerstands. In: Schmitthenner W., Buchheim H. (Hrsg.) Der deutsche Widerstand gegen Hitler, S. 75. Опрос общественного мнения, организованный социал-демократами в 1942 году, привел их к такому выводу: "Мы не сможем вывести массы на улицы"; см.: Henk E. Die Tragoedie des 20. Juli 1944. Heidelberg, 1946, S. 21 ff., а также: Dulles A. W. Verschwoerung in Deutschland, S. 138. К вопросу о левом Сопротивлении в целом см., прежде всего: Weissenborn C Der lautlose Aufstand. Кстати, сколь-нибудь заметным сопротивление левых радикалов в годы войны стало только после нападения на Советский Союз. Центром этого сопротивления была так называемая "Красная капелла" под руководством обер-лейтенанта Харро Шульце-Бойзена и старшего правительственного советника Арвида Харнака, которые частью занимались и шпионажем в пользу Советского Союза. В августе 1942 года было арестовано около 100 человек, связанных с деятельностью этой организации, и вскоре большинство из них казнено. Другая группа под руководством Антона Зефкова была схвачена в начале июля 1944 года. Как это будет показано ниже, она сыграла определенную роль в принятии Штауффенбергом решения о незамедлительном переходе к действиям.

Dulles A. W. Op. cit. S. 171; см. затем: Bell G. K. A. Die Oekumene und die innerdeutsche Opposition. In: VJHfZ, 1957, H. 4, S. 374.

605

В самую суть дела. – Лат.

606

Ehlers D. Op. cit. S. 143. К биографииШтауффенбергасм.: Mueller Ch. Oberst i. G. Stauffenberg. Кстати, в день кончины Стефана Георге 4 декабря 1933 года в Минузио под Локарно Штауффенберг с обоими своими братьями и еще восемью друзьями Георге находился у постели умирающего.

607

Во что бы то ни стало. – Фр.

Schlabrendorff F. v. Op. cit. S. 138.

См.: Cartier R. Op. cit. Bd. II, S. 753.

610

См.: Warlimont W. Op. cit. S. 452 f. Именно в указании точной даты высадки Гитлер усмотрел доказательство попытки дезинформации, см.: Speer A. Op. cit. S. 364.

611

См.: Norman A. Die Invasion in der Normandie. In: Jacobsen H.-A., Rohwer J. Entscheidungsschlachten des Zweiten Weltkrieges, S. 419 ff. Речь при этом шла, прежде всего о том, не следует ли, использовав ближайшие резервы, встретить противника максимально близко к воде и сбросить его в море, как считал, например, Роммель, или же отдать предпочтение плану Рундштедта, по которому централизованные резервы должны были ликвидировать плацдарм "из глубины"; помимо этих точек зрения существовало еще несколько альтернативных предложений.

Сведения о разногласиях по поводу использования находившихся в полной боевой готовности на Западе четырех дивизий резерва см.: Warlimont W. Op. cit. S. 455.

Ibid. S. 457.

Speidel H. Op. cit. S. 113 ff. Весьма примечательно, что Гитлер известил обоих фельдмаршалов о месте и времени встречи лишь за несколько часов до ее начала.

615

Причиной внезапного возвращения Гитлера называют иногда то.что вскоре после отъезда Рундштедта и Роммеля сбившаяся с курса ракета "Фау-1" взорвалась в районе ставки фюрера. На самом деле в этом можно усмотреть в лучшем случае лишь предлог, которым Гитлер воспользовался, чтобы избежать конфронтации; как будто ракета, разорвавшаяся по ошибке в Марживале, делала встречу, назначенную в расположенном далеко отсюда Ла-Рош-Гюйоне, более опасной; о самом ходе этих событий см.: Speidel H. Op. clt. S. 119.

Ibid. S. 155 ff.

Hoffmann P. Op. clt. S. 445.

Ibid. S. 462 f.

619

Об этом рассказала автору баронесса фон Белов.

620

Zoller A. Op. cit. S. 184. Гитлер попросил послать эти вещи "фрейлейн Браун в Бергхоф и тщательно хранить их".

Schmidt P. Op. cit. S. 582.

Domarus M. Op. cit. S. 2127 f.

623

Акция "Гроза" началась подобно "удару грома" 22 августа 1944 года и коснулась около 5 000 парламентариев и функционеров бывших партий, в том числе, например, Конрада Аденауэра и Курта Шумахера; см.: Hammer W. Die Gewitteraktion vom 22.8.1944. In: Freiheit und Recht, 1959, Nr. 8-9, S. 15 ff.

Zeller E. Op. cit. S. 455; о других способах пыток см.: Hoffmann P. Op. cit. S. 620 ff.

625

Scheldt W. Gespraeche mit Hitler, цит. по: Zeller E. Op. cit. S. 538; см. также: Hitlers Lagebesprechungen, S. 588.

Цит. по: Ehlers D. Op. cit. S. И3; затем: Zeller E. Op. cit. S.461.

627

Так утверждает Джон У. Уилер-Беннетт на основе опроса свидетелей, см.: Wheeler-Bennett J. W. Die Nemesis der Macht, S. 705; см. затем: Hoffmann P. Op. cit. S. 628 f., а также: Speer A. Op. cit. – S. 404. Первыми восемью жертвами стали фельдмаршал фон Вицлебен, генералы Хепнер, Штифф, фон Хазе, подполковник Бернардис, капитан Клаузинг, обер-лейтенант Йорк фон Вартенбург, обер-лейтенант Хаген. Позднее некоторым осужденным стали отрубать голову. Одним из немногих офицеров, которых расстреляли по приговору военно-полевого суда, был генерал-полковник Фромм.

628

Эта речь опубликована в: VJHfZ, 1953, H. 4, S. 357 ff., а цитату см. S. 384 f.

629

См. стенографическую запись процесса в Народном суде 7 и 8 августа 1944 года: Bd. XXXIII, S. 403 f. (Dok. 3881-PS).

630

См.: Ehlers D. Op. cit. S. 123; а также: Hoffmann P. Op. cit. S. 437. О вызове фон Фричем на дуэль см.: Foertsch H. Op. cit. S. 134. Автор ссылается на свидетельство фон Рундштедта, который, в свою очередь, якобы отговаривал фон Фрича от этого намерения.

Hoffmann P. Op. cit. S. 611 и 438 f.; о Клаузинге см.: Ehlers D. Op. cit. S. 31 f.

Так заявил руководитель службы по обработке данных д-р Георг Кизель, добавив, правда, при этом: "Хотя они и пытались выгораживать своих товарищей, однако для опытных криминалистов не составляло особого труда кирпич за кирпичом возвести все здание"; цит. по: Hoffmann P. Op. cit. S. 607. О том же в большей или меньшей степени свидетельствуют так называемые доклады Кальтенбруннера, опубликованные под названием "Зеркало заговора". Другой оценки заслуживает однако готовность к даче показаний со стороны Герделера, который, как замечает его биограф Герхард Риттер, хотел пролить свет на правду, поскольку рассчитывал на просветление Гитлера, после того как тот узнает, насколько широка и многочисленна была оппозиция; см.: Ritter G. Op. cit. S. 442 ff.

Имеются в виду оберфюрер СС Хумберт Пифра-дер и командующий 3-м военным округом Берлин-Бранден-бург генерал фон Корцфляйш. Генерал-полковник Фромм тоже был арестован, а затем отпущен под честное слово в свою служебную квартиру, из которой он в конечном счете сбежал и получил возможность приступить к арестам заговорщиков.

Domarus M. Op. cit. S. 2127.

Более подробно см. в этой связи: Ehlers D. Op. cit. S. 182, где автор в "вопросе сослагательного наклонения" усматривает суть вопроса о национальной вине. Оптимизм Герделера, кстати, разделяли не все заговорщики. Цезарь фон Хофаккер, например, заявил в беседе с Эрнстом Юнгером, что Гитлера нужно "разнести в клочья. До тех пор, пока мы не помешаем этому парню выскакивать к микрофону, ему будет достаточно пяти минут, чтобы снова обратить массы на свою сторону". В ответ на это замечание, которое явно не учитывало снизившуюся силу гипнотического воздействия Гитлера на массы, Юнгер сказал: "Значит, вам и у микрофона нужно быть сильнее. До тех пор, пока у вас нет этой силы, вы не сможете обрести ее, сколько бы вы ни совершали покушений". Это замечание характерным образом не учитывает моральные побуждения заговорщиков, а также тот факт, что они вовсе и не собирались соперничать с Гитлером в демагогии. См.: Juenger E. Werke, Bd. III (Strahlungen). Stuttgart, 1962, s, 251. По этой же причине, будучи обеспокоенными все еще достаточно большим авторитетом Гитлера, путчисты долгое время планировали замаскировать покушение под несчастный случай.

636

Это слова С. Хаффнера из его рецензии на книгу К. фон Хаммерштайна "Разведгруппа" (Hammerstein K. v. Spaehtrupp), опубликованной в: Konkret, 1964, № 2.

Heusinger A. Befehl im Widerstreit, S. 367.

См.: Siedler W, J. Behauptungen, S. 11.

639

Цит. по: Rothfels H. Op. cit. S. 79.

Schlabrendorff F. v. Op. cit. S. 154. Об упомянутом ниже запрете уже оккупационными властями публикации книг о Сопротивлении см.: Rothfels H. Werden die Historiken dem 20 Juli gerecht? In: Die Zeit, 18.VII. 1966.

Так, во всяком случае, утверждает Э. Целлер: Zeller E. Op. cit. S. 539. Руководителем института был проф. д-р Г. Штиве, на показании которого и основывается это свидетельство. В отличие от него, Вальтер Хаммер утверждает, что урны по указанию Гитлера были переданы в распоряжение министра юстиции Тирака, который "позаботился затем об их исчезновении и, якобы, потихоньку предавал их земле на какой-то лесной просеке, выезжая по выходным дням в свое имение в районе Тельтов" (Ibid.), Возможно, что имело место и то, и другое, если учесть большое количество казненных (около двухсот человек). Кстати, тела тех пяти заговорщиков, которые еще 20 июля были приговорены Фроммом к смерти, т.е. фон Штауффенберга, фон Хефтена, Ольбрихта, Мерца фон Квирнхайма и Бека, по приказу Гиммлера были эксгумированы и сожжены, пепел же развеян по ветру.

Цит. по: Bullock A. Op. cit. S. 760.

643

См. статистический материал в: Jacobsen H.-A. 1939-1945, S. 561 ff.

Speer A. Op. cit. S. 414 f.

Пример такого рода вмешательства в ведение конкретных операций на местах приводит генерал Блюмент-ритт, бывший начальник штаба у фок Клюге: в начале августа, когда американские войска создали "коридор" под Авраншем, Гитлер приказал начать наступление с целью отсечения этих частей. "Мы получили разработанный до мельчайших деталей план. В нем назывались конкретные дивизии, которые мы должны были использовать… Точно обозначался участок, на котором должно было начаться наступление, а также те дороги и деревни, по которым должны были продвигаться войска. Весь этот план подготовили в Берлине по картам. С генералами в самой Франции никто не посоветовался".

Hitlers Lagebesprechungen, S. 615, 620 (31 августа 1944 г.).

647

Подробности и ссылки на источники см.: Maser W. Hitler, S. 344 ff.

648

Из выступления по радио 30 января 1944 г., цит. по: Domarus M. Op. cit. S. 2083.

Hitlers Tischgespraeche, S. 468; см. также: Ibid. S. 376.

650

Так свидетельствует генерал Байерляйн, цит. по: Cartier R. Op. cit. S. 918. Описание Гитлера дано генералом фон Мантойфелем; цит. по: Shirer W. L. Aufstieg und Fall, S. 997.

651

Hitlers Lagebesprechungen, S. 721 ff. Об истории наступления в Арденнах см. также исследование Германа Юнга: Jung H. Die Ardennenoffensive 1944/45. Ein Beispiel fuer die Kriegsfuehrung Hitlers. Goettingen; Zuerich; Frankfurt/M., 1971; а также описание наступления с точки зрения одного из непосредственных участников высокого ранга: Manteuffel H. v. Die – Schlacht in den Ardennen 1944-1945. in: Jacobsen H.-A., Rohwer J. Op. cit. S. 527 ff.

Ibid. S. 740.

653

Guderian H. Op.cit. S. 350 f.; тем генералом, которого Гитлер приказал немедленно отправить в сумасшедший дом, был генерал Рейнхард Гелен.

Domarus M. Op. cit. S. 2198.

Zoller A. Op. cit. S. 203.

Rauschning H. Gespraeche, S. 115.

657

Le Testament politique de Hitler, p. 67; предыдущая цитата основывается на личном сообщении О. Э. Ремера автору. В ходе разговора с Гитлером Ремер напомнил ему о том, что несколько недель тому назад тот назвал наступление в Арденнах последним шансом в этой войне, и если оно не удастся, то и война в целом будет проиграна.

Hitlers Lagebesprechungen. 27. IV.I045. Опубликовано в: Der Spiegel, 1966, Nr. 3, S. 42; о планировавшихся разрушениях см.: Speer A. Op. cit. S. 412.

659

См.: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 96.

660

См.: Speer A. Op. cit. S. 433; 20 июля 1944 года Гитлер заявил Муссолини о своем "твердом намерении" использовать ракеты "Фау-2", чтобы" полностью сравнять Лондон с землей. Обстрел Лондона будет продолжаться до тех пор, пока не будет разрушен весь город". См.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. II, S. 470 f. Приказ защитить Париж или превратить его в руины был отдан 23 августа 1944 года, непосредственно перед освобождением города, но не был выполнен генералом фон Хсльтицем; см. в этой связи репортаж Лэрри Коллинза и Доминика Лапье-ра "Горит ли Париж?": Collins L., Lapierre D. Brennt Paris? Bern; Muenchen; Wien, 1964; сам приказ опубликован в: Jacobsen H.-A. 1939-1945, S. 587 nf.

661

Это высказывание Й. Геббельса цит. по: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 80.

662

См. описание бункера у А. Цоллера: Zoller a. Op. cit. S. 149 ff. Впрочем, обитатели отдельных помещений, расположенных справа от центрального коридора, неоднократно менялись; например, спальня Геббельса принадлежала до этого Мореллю, а предназначенная для оказания первой медицинской помощи комната д-ра Штумпфеггера служила одно время пристанищем камердинеру Гитлера Линге.

663

Опубликовано в: KTB/OKW, Bd. IV, Hlbd. 2, S. 1701 f.; см., напр., также описание Гитлера у Герхарда Больдта: Boldt G. Die letzten Tage, S. 15.

Zoller A. Op. cit. S. 150.

665

Guderian H. Op. cit. S. 376; затем: Boldt G. Op. cit. S. 26 f. В случае с упомянутым врачом речь идет о д-ре Гизинге, см. его рассказ у В. Мазера: Maser W. Hitler, S. 350 f.

666

Zoiler A. Op. cit. S. 230. "Время от времени, – говорится далее, – Гитлер поднимал глаза на портрет Фридриха Великого, который висел над его письменным столом, и повторял его изречение: "С тех пор, как я узнал людей, я полюбил собак".

Ibid. S. 204, 232.

Характерным примером является обсуждение обстановки в полдень 27 января 1945 года, когда одно упоминание о том, что знаменитую танковую дивизию "Великая Германия" планируется использовать на одном из критических участков фронта в Восточной Пруссии, заметно подняло настроение Гитлера, и это несмотря на замечание Гудериана, что для проведения намечаемой перегруппировки у дивизии нет горючего; см.: Hitlers Lagebesprechungen, S. 839.

Speer A. Op. cit. S. 408.

Zoiler A. Op. cit. S. 152.

671

См.: KTB/OKW, Bd. IV, Hlbd. 2, S. 1700.

Zoller A. Op. cit. S. 29 f. В январе, во время одного из совещаний Гитлер размышлял о том, "не стоит ли приступить к созданию нового снаряда" (Hitlers Lagebesprechungen, S. 867), а когда 18 апреля его посетил генерал Карл Вольф, Гитлер распространялся перед ним о своих "планах на ближайшее будущее"; см.: Dollmann E. Op. cit. S. 235.

Guderian H. Op. cit. S. 360.

Цит. по: Goerlitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 616; а также: Domarus M. Op. cit. S. 2202 ff.

675

См.: Boldt G. Op. cit. S. 38; об отставке Гудериана см. его воспоминания: Guderian H. Erinnerungen, S. 386 ff.

Speer A. Op. cit. S. 433.

677

Римский император Нерон (37-68) по преданию организовал грандиозный пожар 64 г., уничтоживший 10 из 14 районов Рима. – Примеч. ред.

Упомянутый "приказ о флагах" опубликован в: Jacobsen H.-A. 1939-1945, S. 591 f.; см. также: Speer A. Op. cit. S. 586, 451. Так называемый "нероиовский приказ" опубликован, напр., в: KTB/ OKW, Bd. IV, Hlbd. 2, S. 1580 f.

The Bormann Letters, ed. by H. R. Trevor-Roper, p. 198.

Свидетельство начальника службы безопасности в Берхтесгадене Франка; см.: Koller K. Der letzte Monat, S. 48 ff. К высказыванию Гитлера о том, что демократии предали сами себя, см.: Hillgruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 463.

Zoller A. Op. cit. S. 150.

682

Письмо Шпеера Гитлеру цит. по: KTB/OKW, Bd. IV, Hlbd.2, S. 1581 ff.

Speer A. Op. cit. S. 456 ff.

См.: Goerlitz W.. Quint H. A. Op.cit. S. 618.

685

Императрица Елизавета Петровна умерла 5 января 1762 г. – Примеч. ред.

686

Из неопубликованного дневника графа Лутца Шверина фон Крозига, цит. по: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 116.ТреворомФридриха Великого, которого имеет в виду Шверин фон Крозиг, был граф д'Аржансон.

687

Из дневника Шверина фон Крозига, см.: Op cit S. 117.

688

Speer A. Op. cit. S. 477; позиция Геббельса подтверждается многочисленными свидетельствами, приведенное здесь высказывание было сделано при обсуждении обстановки 23 апреля 1945 года, см.: Der Spiegel, Op. cit S. 34.

Ibid. S. 477.

Ibid. S. 463.

Roller K. Op. cit. S. 19 ff.

692

Свидетелями этих событий были, в частности, Кейтель, Йодль, генерал Кристиан, полковник фон Фрей-таг-Лорингхофен, Лоренц, полковник фон Белов и секретарша Бормана фрейлейн Крюгер. Описание событий основывается преимущественно на их передаче Х. Р.Тревором который сверил высказывания упомянутых свидетелей друг с другом и там, где они совпадают, свел их в единое целое; см.: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 131 f.; свидетельство стенографиста Герхарда Херргезелля см. в: KTB/OKW, Bd. IV, Hlbd. 2, S. 1696 f.

693

Так это передано в записи его рассказа Карлом Коллером, см.: Koller K. Op. cit. S. 31. См. также: Goerlitz W. Keitel, S. 346 ff.; Ibid. S. 352, упоминается и об идее вывезти Гитлера силой.

Цит. по: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 138; относительно письма Евы Браун от 22 апреля см. его репродукцию в: Gun N. E. Op. cit. (страница не указана).

Speer A. Op. cit. S. 483; см., однако: Ibid. S. 488.

Цит. по: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 139.

697

Опубликовано в: Der Spiegel. Op. cit. S. 42 (обсуждение обстановки 25 апреля 1945 г.).

См.: Speer A. Op. cit. S. 486.

699

См. рассказ Ханны Райч в: N.B. 3734-PS; армия Венка состояла из трех сильно потрепанных дивизий и находилась примерно в 60 километрах к юго-западу от Берлина. Подробнее см.: Kurowski F. Armee Wenck.

Так. это передано в упоминавшемся рассказе Ханны Райч.

701

См.: Speer A. Op. cit. S. 433 f. Привгдеигюе высказывание Геббельса см.: Heifcer H. Joseph Goebbels, S. 398.

Le Testament politique de Hitler, p. 61 (4 февраля 1945 г.). Так как тексты оригиналов этих записей до сих пор недоступны, они здесь повсюду даны в обратном переводе с французского. Видимо, с этим связано некоторым образом и то обстоятельство, что все высказывания достаточно точны в языковом и смысловом отношении, что в целом Гитлеру свойственно не было. Необходимо, наверное, также учитывать, что речь явно идет об обработанной рукописи и что процитированные здесь отрывки представляют собой своего рода выжимки из пространного текста, изобилующего отступлениями и чрезмерным многословием. Кроме того, в беседе с автором Альберт Шпеер высказал ту точку зрения, что Геббельс сильно отредактировал рукопись, а, может, даже местами что-то сочинил сам, во всяком случае, в целом текст напоминает скорее стиль министра, чем Гитлера.

Мать Черчилля Дженни Джером была дочерью американского дельца. – Примеч. ред.

Ibid. P. 57 ff. (4 февраля 1945 г.).

Ibid. P, 87 ff.; 129 ff. (14 и 25 февраля 1945 г.); абсолютно аналогично Гитлер говорил и в ходе обсуждения обстановки 5 марта 1943 года, см.: Hitlers Lagebesprechungen, S. 171; см. также замечание, приведенное Г. Раушнингом: Rauschning H. Gespraeche, S. 115.

Мусульманский религиозный орден, основанный в 30-х годах XIX в, Мухаммедом эс-Сенусси в Северной Африке. – Примеч. ред.

Ibid. P. 101 ff. (17 февраля 1945 г.). Начало Восточной кампании было, действительно, отложено на несколько недель, однако это решение было связано не только с нападением Муссолини на Грецию; свою роль сыграли также погодные условия, время, необходимое для развертывания войск союзников, и т.д.; см. исследование, находящееся в архиве Фрайбургского научного центра по изучению военной истории "Задержали ли действия англичан в Греции нападение Германии на Россию?" См. в этой связи также: Hillgruber A. Hitlers Strategie, S. 506. Впрочем, Гитлер как-то раз высказался – по крайней мере, перед Муссолини – в другом смысле, см. свидетельство, которое приводит Нольте: Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 586.

Le Testament politique de Hitler, p. 78.

709

Ibid. P. 108 (17 февраля 1945 г.). К высказыванию Х.Р.Тревора-Роупера см. p. 46 f. Мнение Гитлера, кстати, удивительным образом совпадает с замечанием французского поэта Дрие ла Рошеля, который еще в конце 1944 года, незадолго до своего самоубийства, так объяснял причины поражения: "Причина краха немецкой политики заключается не в ее неумеренности, а в ее недостаточной решимости. Немецкая революция не продвинулась достаточно далеко ни в одной сфере… Немецкая революция чересчур мягко обошлась со старыми деятелями экономики и рейхсвера; она слишком щадила старую бюрократию. Это двойная ошибка стала очевидной 20 июля. Гитлеру следовало бы со всей жестокостью расправиться с отщепенцами слева, но также беспощадно и с отщепенцами справа. Так как он либо не сделал этого вовсе, либо не довел дело до конца, то последствия, которые уже невозможно было исправить, стали в ходе войны приобретать все более роковой характер: во всех оккупированных странах Европы немецкая политика оказалась отягощенной всяческими предрассудками старых методов ведения войны и устаревшей дипломатии; она не сумела использовать новизну и широту великолепной задачи, которая ей предоставилась; она показала себя неспособной превратить завоевательную войну старого стиля в войну революционную. Она полагала что сможет свести жестокость ведения войны до минимума, чтобы тем самым расположить к себе европейское общественное мнение, – а столкнулась с тем, что это мнение обернулось против нее, поскольку ему не было предложено ничего нового и настоятельно необходимого". См.: Nolte E, Faschismus, S. 380.

N.B. 3734-PS.

Ibidem.

См.: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 173.

713

Как политическое, так и личное завещание Гитлера воспроизведены в: N. B. 3569-PS.$Правительство рейха, возглавляемое Геббельсом, имело следующий состав: Борман – министр по делам партии; Зейс-Инкварт – министр иностранных дел; Ханке – рейхсфюрер СС; Гислер (гауляйтер Верхней Баварии) – министр внутренних дел; Заур – министр вооружений; Шернер – главнокомандующий сухопутными войсками; Лей, Функ и Шверин фон Крозиг сохраняли за собой свои прежние посты.

714

Оригинал этого документа был уничтожен и передается здесь в интерпретации фон Белова так, как это воспроизведено Х. Р.Тревором Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 188.

715

См.: Besymenski L. Der Tod des Adolf Hitler, S. 92; затем: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 189.

См.: Nolte E. Faschismus in seiner Epoche. S. 306.

Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 190.

718

В деле номер 12 судебно-медицинской экспертизы, проведенной советской комиссией, утверждается, что в полости рта покойного, предположительно Гитлера, обнаружены осколки раздавленной ампулы с ядом; однако в заключении не отмечается наличие характерного запаха горького миндаля, присущего цианистым соединениям, что установлено у остальных обнаруженных трупов. Немецкие эксперты отрицали возможность обнаружения осколков стекла в столь сильно обгоревшем трупе; см.: Maser W. Hitler, S. 432 f. Учитывая озабоченность Гитлера возможным неудачным исходом самоубийства, не исключено и предположение, что он раздавил ампулу с ядом и одновременно нажал курок. Попытка Безыменского исключить такую возможность ссылкой на "известного советского судебного эксперта" неубедительна уже по своей форме; Besymenski L. Op. cit. S. 91 f. – Об упомянутых показаниях свидетелей из окружения Гитлера см.: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 35 f.

719

Из показаний Отто Гюнше, цит. по: Maser W. Hitler, S. 432. Приведенные выше высказывания принадлежат охраннику Герману Карнау, его подробное свидетельство см.: Fest J. C. Op. cit. S. 431.

720

VB, 8-9, IV. 1923.

721

Так сообщил автору А. Шпеер. Другой архитектор, которому Гитлер также благоволил, – Герман Гислер, отрицает однако желание Гитлера быть захороненным внутри башни с колоннами, которую планировалось соорудить на берегу Дуная под Линцем; там, по его словам, должна была быть захоронена только мать Гитлера. Тем не менее, Шпеер уверенно заявил, что помнит о высказываниях Гитлера, согласно которым тот хотел быть похороненным в Линце именно в этом месте.

Лев Безыменский объясняет нагнетание секретности советской стороной в этом вопросе тем, что обнародование результатов судебно-медицинской экспертизы придерживалось на тот случай, если кто-нибудь вздумает претендовать на роль "чудом спасшегося фюрера", и, кроме того, желанием исключить какую-либо ошибку. Первый довод не заслуживает серьезного обсуждения, поскольку такое умалчивание, напротив, должно было провоцировать на такого рода действия и на самом деле спровоцировало; второй аргумент также вряд ли убедителен, поскольку результаты вскрытия оттого, что пройдет много времени, не могут стать более достоверными, см.: Besymenski L. Op. cit. S. 86. По поводу различных слухов см.: Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 5 f. Этот же автор подробно рассказывает о безуспешных попытках получить разъяснения от советской стороны или побудить ее к сотрудничеству.

723

См.: Hiligruber A. Staatsmaenner, Bd. I, S. 187.

Trevor-Roper H. R. Hitlers letzte Tage, S. 74 f.

Kubizek A. Op. cit. S. 100.

Rauschning H. Gespraeche, S. 212.

Этот снимок имеется в распоряжении автора.

Kubizek A. Op. cit. S. 233 f.

Тут водятся львы (лат.): надпись на средневековых картах. – Примеч. ред.

Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 507.

См.: Ursachen und Folgen, Bd. IX, S. XXXIX.

732

Hitlers Zweites Buch, S. 174; затем: Hitler A. Mein Kampf, S. 732. См. также: Le Testament politique de Hitler, p. 62 f. (4 февраля 1945 г.), где говорится: "У Германии не было выбора… Мы не могли удовлетвориться мнимой независимостью. Это могло быть достаточным для шведов или швейцарцев, которые всегда готовы довольствоваться пустыми обещаниями при условии, что при этом набиты их карманы. И Веймарской республике не требовалось большего. Однако третий рейх не мог удовлетвориться столь скромными притязаниями. Мы были обречены на то, чтобы вести войну".

Hitlers Tischgespraeche, S., S. 273; затем: Rauschning H. Gespraeche, S. 105.

Наиболее известным является высказывание Уин-стона Черчилля, которое часто цитируется, преимущественно в немецкой апологетической литературе: "Можно презирать систему Гитлера и все же восхищаться его патриотическим достижением. Если наша страна будет побеждена, то я надеюсь, что у нас тоже найдется столь достойный восхищения вождь, который вновь вселит в нас мужество и вернет нам наше место среди других наций (Churchill W. Great Contemporaries. New York, 1937, p. 226) См. далее реплику Ллойд Джорджа после посещения им Оберзальцберга, когда его дочь приветствовала его у гостиницы в Берхтесгадене ироническим возгласом "Хайль Гитлер!": "Вот именно, хайль Гитлер. То же говорю и я, ибо это действительно великий человек", см.: Schmidt P. Op. cit. S. 340.

Le Testament politique de Hitler, p. 139 (26 февраля 1945 г.).

Hitlers Tischgespraeche, S. 489.

Llbres propos, p. 306; Беспокойство по поводу перенаселенности Германии до 140 человек на один квадратный километр находит свое выражение во многих речах Гитлера, см., напр., его высказывания в первые месяцы войны: Domarus M. Op. cit. S. 1177 (28 апреля 1939 г.); IMT, Bd. XLI, S. 25 (22 августа 1939 г.); Domarus M. Op. cit. S. 1422 (23 ноября 1939 г.); S. 1456 (30 января 1940 г.) и т.д. Характерно то обстоятельство, что и так называемую внутреннюю колонизацию Гитлер отвергал с самого начала, см., напр.: Hitler A. Mein Kampf, S. 145 ff.

738

См. тезисы Гитлера к речи "Отечество или колония". In: Maser W. Zeugnisse, S. 341.

739

Hoffmann H. Op. cit. S. 254; затем: Adolf Hitler in Franken, S. 26.

Rauschning H. Gespraeche, S. 212.

Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 409.

742

Из выступления Гитлера 26 февраля 1924 года на процессе в мюнхенском Народном суде, см.: Boepple E. Op. cit. S. 110.

743

См. протоколы расширенного пленума Исполкома Коминтерна, Москва, 12-13 июня 1923 г., опубликованные в: Nolte E. Theorien, S. 92; это выступление интересно не в последнюю очередь тем, что в нем, в отличие от всех вошедших позднее в оборот левых теорий заговора, фашизм со всей серьезностью рассматривается как сборный пункт для разочаровавшихся в социализме масс.

Nietzsche F. Werke, Bd. I, S. 1258.

См. в этой связи прежде всего: Dahrendorf R. Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, S. 431 ff. О консервативном Сопротивлении нельзя вспоминать, не испытывая двойственных чувств. В период между 30 июня 1934 г. и 20 июля 1944 г. "Ancien regime" потерял в Германии свой руководящий слой, а позднее – в утраченных восточных областях и в ГДР – лишился значительной части своей экономической и общественной базы, в результате же проявившихся во множестве фактов коррупции и некомпетентности полиняла и память о его безупречности. Его уход имел множество последствий. Он неизбежно означал сужение и обеднение сцены; он привел к тому, что позиция консерваторов в ФРГ осталась незанятой. Однако вместе с тем этот уход уберег государство от воинствующего антагонизма и тем самым от многих бед, которые в немалой степени способствовали краху Веймарской республики.

Из речи 25 января 1939 г., см.: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit. S. 9 (в соответствующем хронологическом разделе). Его замечание по поводу германской социал-демократии см.: Libres propos, p. 36. Чтобы уйти от по-своему морально отягощенной терминологической проблемы, американские социологи ввели в дискуссию понятие "Modernization" ("модернизация"). Согласно этому термину, фашистские системы в Италии или Германии предстают прежде всего как этапы в процессе вытеснения традиционных общественных структур. Правда, при этом далеко не в полной мере учитывается то обстоятельство, что это может быть лишь одним из многих аспектов толкования и что фашизм нельзя определить исключительно его отношением к процессу индустриализации, урбанизации и рационализации. Более глубокое и всестороннее исследование тут еще отсутствует. См.: Apter D. The Politics of Modernization. Chicago, 1965; Turner H. A. Faschismus und Antimodernismus, In: Faschismus und Kapitalismus in Deutschland, S. 157 ft"., где есть дополнительная библиография.

Adorno Th. W. Op. cit. S. 28.

Первой ласточкой была знаменитая статья в "Нью-Йорк пост" от 20 декабря 1941 г. об умерщвлении в газовых камерах тысяч варшавских евреев.

749

Brecht B. Gedichte, Bd. IV, S. 143. Из стихотворения Б.Брехта "К потомкам". В контексте это звучит так: "Сейчас пришли такие времена, /Что даже о деревьях разговоры/ Уже в вину поставит можно нам – / Как укрывательство бесчинства этой своры".

Sforza C. Europaelsche Diktaturen, S. 131.

См.: Nolte E. Theorien, S. 71.

Rauschning H. Gespraeche, S. 212.

Ibid. S. 150, 262, 264.